

Аннотация книги

...Танцевать начнем, естественно, от печки. А точнее, от реактора Первой в мире АЭС. Именно он, родимый, вдохновил писателя БОРИСА БОНДАРЕНКО на создание в 1973 году знаменитого романа «Пирамида», повествующего о физиках-атомщиках. Книга была написана с отменным юмором – физики тогда любили и умели шутить – и интонационно напоминала повесть Стругацких «Понедельник начинается в субботу», что положительно сказалось на ее популярности у молодежи. До начала 80-х «Пирамида» еще считалась культовой среди студентов-первокурсников тогдашнего ОФ МИФИ – основной кузницы ФЭИшных кадров. Но прошло буквально десять лет, и студенты ИАТЕ уже бесстыдно зачитывались альковными романами типа «Анжелики в Новом Свете». Бондаренко сочинил еще несколько весьма неплохих книг, но тем не менее ни одной из них шумной славы «Пирамиды» превозмочь не удалось даже частично.



Сергей Коротков

Борис Бондаренко Пирамида

(М: Советский писатель, 1978)

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

1

В восемь я уже сидел в читалке и раскладывал на столе свои бумаги и книги.

И опять все было так, как много дней подряд, все эти полтора месяца. Я засиживался до поздней ночи, обложившись ворохом бумаг и стопками книг и журналов, и пытался доказать себе, что я ошибаюсь. Сейчас мне больше всего на свете хотелось, чтобы я ошибся. Ошибку, дайте ошибку! Лучше всего какое-нибудь маленькое недоразумение, которое легко исправить на ходу и чтобы можно было идти дальше. Но на это рассчитывать уже не приходилось. Ну что ж, пусть будет крупная ошибка, я не против. Я — за. Пусть будут потеряны месяцы, год, наконец, но должно же остаться хоть что-нибудь! Лишь бы не начинать все заново.

И я был уверен, что ошибка существует. Я не последовал совету Ольфа и не усомнился в идее. Идея верна, просто мы где-то наврали. Ведь могли же мы ошибиться. И я, и Ольф, и Виктор. Так было всегда, но в конце концов ошибки находились. Правда, тогда было намного легче — ведь нас было трое. Сейчас я остался один. И ситуация изменилась. Раньше мы как огня боялись ошибок, а сейчас ошибка была просто необходима мне, иначе всему приходил конец. Если мы не ошиблись — значит, мы правы. Просто, как дважды два... Мы — Дмитрий Кайданов, Рудольф Добрин, Виктор Афанасьев. Иногда я мысленно произносил наши фамилии и даже писал их, представляя, как выглядели бы они, напечатанные типографским шрифтом. И рядом писал другие имена — Ландау, Ли, Янг.

С одной стороны — трое студентов-четверокурсников. С другой — три лауреата Нобелевской премии. Силы были, мягко говоря, не равны. И получилось, что если правы мы, то не правы Ландау, Ли и Янг.

Если это всерьез сказать кому-нибудь, нас отведут к психиатру. Или посмотрят примерно так же, как смотрели мы сами на нашего однокурсника Левку Штейнберга, когда он сообщил нам, что нашел доказательство «Великой теоремы Ферма», той самой печально знаменитой теоремы, которую тщетно пытаются доказать математики всего мира вот уже в течение трехсот лет.

Было от чего прийти в отчаяние, и мне стоило немалого труда, чтобы не поддаваться ему. Проще всего было бы ненадолго бросить работу и как следует отдохнуть. Но я просто не мог этого сделать. Я не переставал надеяться, что все-таки придет минута, когда в нагромождении формул и уравнений я увижу эту проклятую ошибку. И я по-прежнему каждый день засиживался до ночи, разбирая груды бумаг — все наши прежние расчеты, и старался не думать о том, что будет, если я все же не сумею ничего найти. Это началось сразу после зимней сессии и вот продолжалось второй месяц. Давно уже шли занятия на факультете, но за это время я всего два или три раза появлялся в своей группе и на кафедре и неделю назад увидел свою фамилию в приказе по деканату — мне объявили выговор «за систематическое непосещение занятий и халатное отношение к учебе». Я невольно усмехнулся, когда прочел приказ, но потом мне стало не до смеха — я подумал, что получится, если так будет продолжаться еще месяц. Представить оказалось совсем не трудно — такое уже случалось со мной, и выговор этот был не первым.

Тогда я аккуратно переписал основные выкладки, отнес Ангелу и попросил его посмотреть. Он ни о чем не стал расспрашивать и через неделю пообещал вернуть их. Я решил, что не притронусь к этой галиматье до тех пор, пока Ангел не выскажет своего мнения, а сейчас возьмусь за хвосты. Но на следующий же день я с утра отправился в библиотеку, и все продолжалось по-прежнему.

И сейчас я сидел в читальном зале и смотрел на листок, исписанный неряшливым почерком Виктора. Я отлично помнил, когда это было написано — примерно два года назад, и Витька нес какую-то ахинею, а мы с Ольфом издевались над ним, и Ольф даже написал прямо на формулах: «Аззакатандер!» Это было одно из коронных его словечек, означавшее крайнюю степень презрения. В конце концов Витька сдался. И сейчас я пытался по этим записям восстановить ход наших рассуждений. Я сидел здесь с самого утра, почти семь часов, зверски устал и боялся что-нибудь пропустить, несколько раз путался и возвращался назад.

Интересно, к чему относилось это «аззакатандер»? Я снова остро ощутил свое одиночество. Будь рядом Ольф, не пришлось бы гадать, он наверняка вспомнил бы.

Читать листки было трудно — мы все не отличались аккуратностью. Единственное, что мы твердо усвоили: нельзя выбрасывать ни одного клочка бумаги с выкладками, потом все это может пригодиться. Писали же мы как попало, уравнения налезали друг на друга, иногда шли поперек листа, было множество всяких подчеркиваний, стрелочек, галочек, крестиков; и вдруг это прервалось, и шла размашистая цитата из Шекспира:

Пороки же богами нам даны,
Чтоб сделать нас людьми, а не богами.

А это к чему?

Дальше был какой-то разрыв. Я тупо смотрел на листок и повторял строчки Шекспира, зачем-то пытаюсь вспомнить, когда они были записаны здесь. Голова гудела от усталости.

Я собрал бумаги, поплелся к себе и сразу лег спать.

2

Разбудили его голоса за стеной. Дмитрий с трудом поднялся, включил свет и посмотрел на часы. Четверть десятого... Чем же заняться? Работать? Но работать совсем не хотелось. За стеной слышны были громкие голоса, потом раздался какой-то отчаянный перебор гитары, и

Ольф запел на мотив быстрой плясовой:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

А челны-то то, что надо!..

Ольф как-то сказал: «Граждане, психуйте по очереди! Сегодня ты, а завтра я!» Сегодня была очередь Ольфа.

Дмитрий вспомнил другого Ольфа, который возбужденно расхаживал по комнате и кричал:

— Полцарства за идею!..

Они познакомились на первом курсе. Тогда все было первым — лекции, семинары, задачи в практикуме.

И первую задачу Дмитрию пришлось делать вместе с Ольфом.

Ольф лениво развалился на стуле — длинный, худой, мосластый, — пренебрежительно рассматривал аудиторию, приборы-и потом сказал:

— Какая мура! Задача для детей дошкольного возраста, делать ее — только время переводить. Кому это нужно, а?

Дмитрий ничего не ответил — этот парень не нравился ему. Он не любил людей слишком самоуверенных.

— Вот этому пижону — нужно, — вместо Дмитрия ответил Ольф, показывая на преподавателя. — А если помыслить, за каким чертом ему-то это нужно? Представляю, как ему осточертело проверять одни и те же цифирьки...

Дмитрий молча делал измерения. Ольф насмешливо взглянул на него и зевнул:

— Скучно, девушки.

И нехотя принялся помогать ему, а потом бросил латунный стержень, деформацию которого они должны были определить, уселся верхом на стул и сказал:

— Подохнуть можно! Слушай, Кайданов, давай сыщем какую-нибудь идейку и поэкспериментируем, а?

Дмитрию тоже надоело возиться с этой примитивщиной, и он согласился:

— Давай.

Ольф обрадовался:

— Ого, да ты, оказывается, не такой уж хмырь, как мне померещилось.

И они стали искать идейку. Они изменили в задаче почти все, что можно было, и в конце концов получили набор каких-то нелепых цифр. Ольф, встав одним коленом на стул и нависая светлой растрепанной гривой над столом, вычерчивал графики и бормотал:

— Господи, какая несуразная чушь. Какие мы все-таки кретины, Кайданов. Надо же было додуматься до такой дрянненькой и пошленькой идейки. А ведь идейка выглядела почти прилично... А что получилось — смотреть тошно. Из сих цифирей нам не удастся извлечь ни единой, даже самой жалкой крупички истины. Великолепно говаривал на эту тему старик Гегель: вместо неба истины мы овладели облаками заблуждения. Однако — что есть истина? Сакраментальный вопрос, вопрос вопросов, король вопросов... Вы не знаете, я не знаю, мы не знаем, они не знают. И черт его знает, кто это знает.

Он отшвырнул карандаш и сказал:

— Так что пойдем получать наши двойки, мой доблестный соратник по идиотизму?

— Пойдем, — с улыбкой согласился Дмитрий.

Преподаватель был очень молод, красив, ярко и модно одет, и они не ожидали от него ничего хорошего. Ольф положил перед ним листки с «идейкой», пижон несколько секунд всматривался в них и с усмешкой спросил:

— Это что такое?

— Велосипед, — дерзко сказал Ольф.

Пижон пошевелил бровями и приказал:

— Излагайте.

Они стали излагать.

Пижон слушал молча, наклонив голову к левому плечу, не пряча пренебрежительной усмешечки, рисовал ехидные ушастые рожицы прямо на их графиках. Когда они кончили, пижон хмыкнул и сказал:

— Великолепнейшая чушь и ересь! Давно мне не приходилось выслушивать подобной ахинеи... Что? — посмотрел он на них, заметив, что Ольф собирается возразить.

— Нет, ничего, — поспешно сказал Ольф.

Пижон помолчал немного и вдруг разразился:

— Первоклашки! Беретесь решать задачу, которая требует знания тензорного исчисления, механики сплошных сред и еще дюжины теорий, о которых вы не имеете никакого понятия! Что же я должен поставить вам за такую самостоятельность?

— Двойки, — сказал Ольф.

— И вы их получите! — угрожающе сказал пижон, схватил их листки и стал быстро перечеркивать строчки, ставить вопросительные знаки, писать формулы и стремительно бросал уничтожающие реплики, забыв о знаках препинания: — Неучи по какому-то недоразумению натолкнулись на ценнейшую мысль и тут же все испортили так нельзя было сделать мозгов не хватило откуда вы взяли такую чепуху разве нельзя было обратиться ко мне сколько времени зря потеряли или у вас его миллион.

Тут он набрал в грудь воздуха и разразился новой тирадой, и постепенно выяснялось, что задачка их — нелепость, попытки сделать ее по-другому выглядят просто жалко, и вообще вся механика — сплошное недомыслие и бородастая химера и что во всей науке есть только одна область, достойная изучения, — это физика Элементарных Частиц.

— Основа основ мироздания!!! — гремел пижон. — Громаднейшее поле деятельности! Наука, о которой можно сказать: мы не знаем даже, знаем ли мы о ней что-нибудь! Где вы еще найдете такую великолепную возможность свихнуть себе мозги! Да знаете ли вы, что это такое? И что вообще вы знаете?

И он грозно посмотрел на них.

Они сидели, раскрыв рты, и во все глаза смотрели на него.

Пижон обрушил на них град вопросов, вытряхнул из них все их знания и воскликнул:

— Чудовищное невежество! Почему вы ничего не знаете об элементарных частицах? Сколько вам лет?

— Двадцать один, — сказал Ольф.

— Девятнадцать, — пробормотал Дмитрий, вконец подавленный этим потоком обвинительного красноречия.

— О господи! — с неподдельным ужасом развел руками пижон. — Дожить до сорока лет и ничего не знать об элементарных частицах! Для чего вы тогда на свет родились? Зачем попали на физфак? Вам только в дворники! В домохозяйки!

Он схватил карандаш и стал писать. Все уже разошлись, они остались втроем, и пижон рассказывал им об элементарных частицах. От напряжения у Дмитрия даже ноги онемели. Это был какой-то водопад фактов, парадоксальных выводов, сумасшедший мир невозможных идей и неизвестности.

Только через полчаса пижон спохватился:

— Мне давно уже нужно идти! Проводите меня, я попытаюсь еще что-нибудь вдолбить в ваши пустые головы! Правда, вы все равно ничего не поймете, но это страшно интересно.

И он стал торопливо засовывать бумаги в портфель, не прерывая своей лекции.

— Вы забыли поставить нам двойки, — напомнил ему Ольф.

— Ах да, ваши двойки...

Он отыскал в своем журнале их фамилии и поставил против них «н/з» — незачет.

И пока они шли в общежитие, пижон продолжал рассказывать, и в лифте тоже. Они не

заметили, как он привел их к себе в комнату, — оказывается, он жил на соседнем этаже. Пижон говорил еще минут пять, потом спохватился и спросил:

— Ну что, хватит с вас?

— Хватит, — сказал Дмитрий. У него уже голова шла кругом.

— Да? — удивился пижон. — В самом деле хватит? А жаль, — огорчился он, подумал немного и полез в шкаф за книгами. Он выложил перед ними целую стопку и просительно сказал: — Почитайте, а? Ей-богу, здесь бездна интересного. Для вас, правда, немного трудновато будет, но вы постарайтесь. Что непонятно, прошу ко мне.

Они поблагодарили его и направились к выходу. У двери Дмитрий спохватился и спросил:

— Простите, а как вас зовут?

— Аркадий Дмитриевич Калинин, ваш покорный слуга.

Дмитрий растерянно уставился на него. Значит, это и есть тот самый знаменитый Ангел, о котором столько говорили на факультете, один из самых блестящих преподавателей?

Калинин с недоумением посмотрел на него:

— Забыли что-нибудь?

— Нет-нет, — пробормотал Дмитрий, и они вышли.

В коридоре Ольф восторженно хлопнул его по плечу:

— Вот это парень, а? Нет, каков? Ты представляешь, как нам повезло? Такая лекция, такие книжки!

И Ольф стал жадно перебирать книги. Они тут же, в коридоре, начали делить их и чуть не поссорились, а потом вместе отправились в комнату Дмитрия и принялись читать.

Они решили не размениваться на мелочи и сразу взялись за фундаментальную монографию. За неделю они одолели одну главу — самую легкую, где излагались начальные сведения. Но для того чтобы понять эту главу, им пришлось перерыть кучу учебников и проштудировать несколько сот страниц.

Потом пришел Ангел и спросил:

— Ну, каковы успехи?

Они мрачно сказали, каковы успехи.

— Целую главу? — переспросил Калинин. — Так много? И все поняли?

Они решили, что Ангел смеется над ними.

— Почти все, — проскрипел Ольф.

Калинин серьезно сказал:

— Излагайте.

Когда они кончили излагать, Калинин одобрительно сказал:

— Неплохо, ребята, совсем неплохо. Я начинаю думать, что вы кое на что способны. Работайте.

Они урывали каждую свободную минуту и с нетерпением дожидались каникул, чтобы засесть в читалке. С каким наслаждением они тогда учились! А вскоре к ним присоединился Виктор. И как же не терпелось им поскорее взяться за какую-нибудь самостоятельную работу. Они не раз пытались придумать что-нибудь свое, заняться настоящими теоретическими исследованиями, но все их попытки неизменно кончались неудачей — они слишком мало знали. И они торопились. Скорее, скорее, ведь так мало времени, так много надо узнать. Они и не подозревали того, что начнется, когда наконец-то, спустя два года, они наткнутся на свою идею. Много времени прошло, пока они нашли это свое.

Дмитрий посмотрел на часы — половина десятого. Вряд ли за стеной скоро утихомируются. Он чувствовал, что не заснет, встал, закурил и разложил перед собой бумаги. Работать ему не хотелось, но еще больше не хотелось думать об Ольфе и о том, почему он сидит сейчас один и разбирается в своих ошибках, и что же все-таки будет, если он ничего не сумеет найти.

А от таких мыслей было только одно спасение — работа.

И он стал читать то, что лежало перед ним.

Ольф зашел к нему часов в двенадцать.

— Ну? — угрюмо сказал он. — Все мыслишь, мой юный гений?

Дмитрий промолчал.

— Молчишь... — процедил Ольф, сел к столу и стал небрежно перебирать бумаги. — Наверно, называешь меня подонком и предателем. Помнишь, как мы Витьку матюкали? Теперь Витька почитывает дюдективные романы и спит с молодой женой. Видал я его вчера... И, знаешь, ему очень неплохо живется... Гораздо лучше, чем нам с тобой... Я даже позавидовал ему. И одеваться он стал прилично, не то что мы, голодранцы. И морда стала сытая, гладкая.

Он помолчал и спросил, повысив голос:

— Почему ты ничего не говоришь?

— Иди спать, — сказал Дмитрий, не глядя на него.

— Спать?.. А ты знаешь, что такое пять процентов? О, вы не знаете, что такое пять процентов... — протянул Ольф. — Это максимальная вероятность добиться успеха в какой-нибудь более или менее значительной теоретической работе. В физике, по крайней мере... Это не я говорю, это академик Берг... Не больше пяти процентов, ты хоть понимаешь, что это такое? Меньше — сколько угодно, но не больше пяти. И это еще при том условии, что в твоём распоряжении новейший теоретический аппарат, самые современные вычислительные машины и куча помощников, которые проделают за тебя всю черновую работу. Это не наводит тебя на размышления, человек Кайданов? Ведь у нас нет ни кучи помощников, ни даже ржавого арифмометра. Может быть, и правы те, кто говорит, что время гениальных одиночек в науке миновало, теперь наука делается в коллективах, не берите на себя слишком много, каждый сверчок знай свой шесток... А ведь мы наверняка не гении, Димка, хотя и одиночки... Что ты так смотришь на меня? Ты думаешь, я уже совсем сдался? Это мы еще посмотрим. Я, может быть, еще вернусь к этому. — Ольф с силой хлопнул по столу. — Хотя самым разумным и логичным было бы послать все это подальше и заняться чем-нибудь попроще. Но я еще подумаю над этим. Подожду только, что скажет Ангел... Завтра идешь на спектра?

— Да.

Спектра — практикум по спектральному анализу.

У них в ходу было немало таких словечек. Многие называли лекции уроками, факультет — школой, математику — арифметикой, стипендию — пенсией.

— Тогда обязательно разбуди меня, — сказал Ольф и пошел к двери.

Дмитрий еще немного посидел, глядя перед собой и думая о том, что сказал Ольф. Он и сам все это знал, о пяти процентах. Но всегда старался поменьше думать об этом. А чтобы не думать об этом, тоже было только одно средство — работа. И он сидел за столом до тех пор, пока не стали закрываться глаза.

В два часа он лег спать и мгновенно заснул.

3

Ольф открыл окно, собрал карты и вытряхнул пепельницу. Прислушался к тому, что делается за стенкой, но там было тихо.

Ольф вспомнил, какое отчаянное лицо было вчера у Дмитрия, как сегодня он сидел над выкладками — и наверняка сидит и сейчас, пытаясь в одиночку разобраться в том, что они делали втроем два года, — и ему захотелось опять пойти к нему и сказать: «Хватит». Но что толку? Все равно Димка не отступится, пока есть какая-нибудь надежда найти ошибку. А ведь неудача очевидна. По крайней мере для него, Ольфа. А вот для Димки нет. Почему? А если он все-таки прав?

Ольфа иногда злила способность Кайданова оставаться всегда невозмутимым и любую неудачу воспринимать как что-то естественное, почти неизбежное. Сам Ольф при неудачах

разражался потоками восклицаний, ругательств и порой просто убегал куда-нибудь, чтобы вдоволь побеситься и не видеть уныло-невозмутимую физиономию Дмитрия. Потом он быстро отходил, начинался обычный треп, а Дмитрий по-прежнему был спокоен и работал с еще большим упорством. Однажды после двух недель утомительной работы, когда они бились над уравнением и получали один неверный ответ за другим и начинали снова, а потом оказалось, что очередной ответ тоже неверен, Ольф отшвырнул ручку и вскочил из-за стола, сжав кулаки. Дмитрий с рассеянным видом положил ручку на место, потер небритый подбородок и в раздумье сказал:

— Пожалуй, надо еще раз прикинуть с прежними граничными условиями, а?

Ольф взорвался:

— Димка, ты чудовище! У тебя вместо души математический справочник! Наори на меня, швырни что-нибудь. А то сидишь, как Будда...

Дмитрий усмехнулся.

— Всяк по-своему с ума сходит. Ты — громко, я — молча.

— Как же, — в сердцах сказал Ольф, — сойдешь ты с ума. Ты сам кого угодно в гроб заgonишь.

Дмитрий промолчал.

Очень скоро Ольф понял, чего стоит невозмутимость Дмитрия. Его способ сходить с ума молча оказался на поверку куда более тяжелым. Ольф понял это как-то сразу, после очередной неудачи. Он, как обычно, психанул, забежал по комнате. Так продолжалось минуты три, и вдруг он взглянул на Дмитрия и сразу умолк. Дмитрий, как обычно, за это время не сказал ни слова. Он сидел за столом и чинил карандаш. Наверно, он чинил его все эти три минуты, и карандаш все время ломался, мелкие стружки и кусочки сломанного грифеля лежали в пепельнице маленькой аккуратной горкой, а Дмитрий внимательно смотрел на свои руки и медленными, неуверенными движениями продолжал чинить карандаш, от которого осталось меньше половины. И этот внимательный взгляд его был так тяжел и безнадежен, что Ольф со страхом спросил:

— Что ты делаешь?

Дмитрий поднял голову и спокойно сказал:

— Да вот никак не могу починить карандаш. Почему-то все время ломается.

Он отложил карандаш и вздохнул:

— Ну ладно, черт с ним. Давай кофейку выпьем.

Ольф ничего не сказал ему. Кажется, именно тогда он впервые подумал: Дмитрию нельзя заниматься физикой. Рано или поздно физика уничтожит его, потому что ни одна неудача не проходит для Дмитрия бесследно. Бесследно — слишком слабо сказано. Неудача никогда не проходит бесследно — и для него, Ольфа, тоже, конечно. Но одно дело, если след похож на царапину, проведенную тонким прутиком на песке, и совсем другое — если это длинная рваная борозда, проведенная плугом. Это сравнение пришло в голову Ольфа гораздо позже, когда он по-настоящему понял, что значит неудача для Дмитрия. А было это, как ни странно, в те дни, когда после многих неудач они наконец-то узнали, что такое настоящая удача.

Они не сразу поняли, что это такое. Они смотрели на строчки, которые написали несколько минут назад, и эти строчки неопровержимо свидетельствовали, что они сделали нечто такое, чего до сих пор не сделал никто на свете. Конечно, это было не бог весть какое открытие, но все же это было открытие. Так, по крайней мере, они думали тогда. Ольф понял это, когда увидел, как улыбается Витька — глупо, растерянно и как-то неловко. Ольф почувствовал, как такая же растерянная и глуповатая улыбка расплывается по его лицу. Он хихикнул и «понесся». Минут пять он болтал какую-то ерунду, потом обвел уравнение аккуратными жирными линиями, написал дату — 24 апреля 1961 года, поставил свою роскошную подпись и протянул листок Дмитрию:

— Поставьте свой автограф, мэтр! Запечатлейте этот великий день в своем сердце, в мозгах и печенках!

Дмитрий улыбнулся и расписался. Ольфу вдруг стало не по себе. Он спросил:

— Димка, почему ты не радуешься?

Дмитрий с удивлением взглянул на него:

— С чего ты взял? Я рад... Очень рад, — не сразу добавил он, как будто пытался убедить самого себя в том, что он рад.

Ольф с тревогой посмотрел на него. Дмитрий улыбнулся. Пожалуй, он и в самом деле был рад, а точнее говоря, доволен. Но почти так же он бывал доволен, когда слушал музыку, когда выигрывал Спасский и когда «Спартак» стал чемпионом. Он был доволен, и только — и было в этом что-то неестественное, ведь именно он должен был бы порадоваться больше всех, так как этой удачей они были обязаны в первую очередь ему.

А дальше было вот что.

Опьяненные успехом, они занялись только своей работой, почти перестали появляться на факультете, схватили по выговору, но и это не остановило их. Они надеялись, что как-нибудь вывернутся.

Но когда нагрянула сессия, вывернуться не удалось. Их просто не допустили к экзаменам — слишком много хвостов. Они спохватились, отложили работу и засели за учебники. С физикой и математикой разделились быстро, но на политэкономии застряли так основательно, что не помогла и отсрочка. Только Витьке удалось сдать ее, а Ольфу и Дмитрию экономичка с недоброй улыбкой поставила «н/з» и передала ведомость в деканат. Запахло крупной неприятностью и перспективой остаться на лето без стипендии. Два дня они ходили мрачные, надеялись на помощь Ангела, но и тому не удалось выручить их. Тогда Ольфа осенило:

— О мамма миа! Мы же можем удрать в академики!

Дмитрий протестующе махнул рукой.

— Терять целый год? Не выдумывай.

— Ха! — сказал Ольф. — Потеряем год, но зато сколько мы будем иметь! Ты только вообрази — один целый год и два целых месяца мы будем иметь свободное время! Мы будем иметь книги и время — что может быть лучше?

— А что мы будем жрать? Пенсию-то нам не дадут.

— Ха! — опять сказал Ольф. — Двое взрослых сильных мужчин не заработают сотню в месяц? Скажите это кому-нибудь — и все куры во всей Одессе подохнут со смеху!

И в конце концов Дмитрий сдался. Только спросил:

— А как же Витька?

— А Витька будет так, как он захочет.

Витька обещал подумать. Он сдал экзамены и все еще ничего не мог придумать и пока решил поработать с ними до осени, а там видно будет.

Видно стало прежде, чем пришла осень, — Витька вообще бросил работать с ними, потом женился, и пути-дорожки их окончательно разошлись.

И они остались вдвоем.

Пожалуй, именно в тот год они по-настоящему научились работать. И только тогда поняли, как еще мало знают и умеют и как сложна проблема, за которую они взялись. Теоретически они знали все это и раньше, но тогда было совсем другое. Можно сколько угодно трепаться о том, как все это невообразимо сложно и какие трудности их ожидают, и клясться, что никогда не отступишь перед ними, но если неудачи следуют одна за другой и неделями не покидает противное ощущение собственного бессилия, — тогда все это выглядит иначе.

И однажды Ольф понял, что работать больше нельзя. Надо дать себе основательную передышку. Это, было прошлой весной, в начале мая, а перед этим были два великолепных месяца, когда они думали, что их работа — вернее, первый ее этап, самый важный, — подходит к концу.

Гром грянул, когда стоял ясный и теплый день, они сидели в одних плавках, подставив спины солнцу, и делали последнюю проверку своих выводов.

Ольф мурлыкал какую-то песенку и небрежно разбрасывал на бумаге свои каракули, изредка поглядывая в окно. Великолепный стоял день, и они решили сегодня закончить пораньше и сходить на футбол.

Ольф досадливо поморщился и зачеркнул последние строчки — он домурлыкался до того, что стал писать явную чушь. Он пробежал глазами последние листки, надеясь быстро найти место, с которого начиналось вранье, — ошибка была очень уж грубая, он наверняка где-то перепутал знаки, поэтому время и получилось отрицательным. Но ничего крамольного он не заметил и решил проделать все выкладки заново, сверяя их с прежними. Где-то в середине он почувствовал неприятное покалывание в висках — выкладки повторялись с абсолютной точностью. И когда Ольф написал последнюю строчку, он еще несколько секунд тупо смотрел на нее — время опять получилось отрицательным. Он закурил, потер ладонями виски и еще раз внимательно просмотрел все сначала. И опять все сошлось.

— Дим! — хриплым голосом сказал Ольф.

— Да?

— Посмотри-ка мои художества. Я где-то крупно сбрыхал, но где — никак не могу сообразить.

Дмитрий взял его листки и стал смотреть. Ольф ждал, что он быстро укажет ему ошибку, — они всегда проверяли друг друга, и такие недоразумения уже случались у них. Дмитрий дочитал до конца и стал просматривать все сначала, повторяя некоторые выкладки заново. Ольф так и впился в него глазами. Дмитрий досмотрел до конца, и Ольф увидел, как изменилось его лицо — оно стало даже не белым, а серым.

— Здесь нет никакой ошибки, — сказал Дмитрий.

— Но этого не может быть! — закричал Ольф. — Время не может быть отрицательным, ты же знаешь! Мы где-то наврали, только и всего.

Он помолчал и уже спокойнее добавил:

— Давай проверим еще раз. Мы где-то наврали, и ошибка обязательно найдется. Ты возьми этот вариант, а я еще раз проверю старый.

И они еще раз проверили все с самого начала. И опять все сошлось. Вывод напрашивался один — либо уравнение неверно, либо время может быть отрицательным.

Ольф сказал это вслух и почувствовал, что у него трясутся губы. Он встал, подошел к окну и несколько минут стоял, обхватив плечи руками. Потом взглянул на часы и повернулся к Дмитрию:

— Давай будем собираться. Пора.

Они сходили на футбол, вернулись домой и разошлись по своим комнатам — спать.

Ольф проснулся в три часа ночи и увидел, что в комнате Дмитрия горит свет. Он встал, выпил воды, немного постоял в коридоре и снова лег.

Утром его разбудила музыка. Прелюдия и fuga си-минор Баха — любимая Димкина пластинка. Не было ничего удивительного в том, что именно сейчас Дмитрий слушал ее. Но когда музыка зазвучала в третий раз, Ольф забеспокоился. А когда Дмитрий поставил эту же пластинку в шестой раз, Ольф встал и пошел к нему. Он выключил проигрыватель и сказал:

— Димыч, кончай дурить. Надо как-то примириться с этим. И вообще, нам обоим не мешает отдохнуть. Мы изрядно вымотались за этот год.

— Кстати, — спросил Дмитрий, — почему время не может быть отрицательным?

Первое, что пришло в голову Ольфу, — что это шутка. Он внимательно оглядел Дмитрия, но тот не шутил — он серьезно смотрел на Ольфа и о чем-то думал.

— Брось болтать, — сказал Ольф.

— Я не шучу, — сказал Дмитрий, и Ольф подумал, что он сошел с ума.

— Димыч, — как можно спокойнее сказал Ольф, — вся эта история достаточно скверно выглядит, и тут уж не до шуток.

— И все-таки, — прервал его Дмитрий, — почему время не может быть отрицательным?

— Потому что это абсолютная чепуха. Время не может быть отрицательным, потому

что оно положительно. Потому что мы сначала рождаемся, а потом умираем, а не наоборот. Потому что этот сумасшедший мир все-таки подчиняется каким-то законам, и никто никогда не замечал и не предполагал, что время может быть отрицательным.

— И все-таки, — задумчиво сказал Дмитрий, — не существует закона, который позволял бы времени быть отрицательным.

Ольф с отчаянием посмотрел на него — его очень пугали эти спокойствие и сосредоточенность. Он не сразу нашел что возразить и наконец ухватился за единственную возможность:

— Как же не существует? А принцип причинности?

— Принцип — это не закон, — спокойно возразил Дмитрий.

— Димка, ради бога, не думай об этом, — взмолился Ольф. — Иначе можно просто свихнуться. А нам это пока ни к чему. Мы еще ничего не успели сделать.

Они разговаривали еще полчаса, и Олфу, кажется, удалось убедить его. Дмитрий больше не заговаривал о том, что время может быть отрицательным. Но за последующие три дня беспокойство Ольфа усилилось. Дмитрий почти не разговаривал, отлеживался у себя в комнате и все время о чем-то думал — Ольф не сомневался, что все о том же уравнении с отрицательным временем. Ольф и сам чувствовал себя неважно. Он не думал, что эта неудача так сильно подействует на него, и ждал, когда все это пройдет и можно будет снова сесть за работу. Но ничего не проходило, и ему становилось все хуже...

(Три года спустя один из физиков опубликует работу, которая произведет сенсацию. Суть ее будет в том, что существование антимира — мира наоборот — может оказаться вполне реальным. Время в этом мире наоборот должно быть отрицательным...) И однажды Ольф сказал:

— Димыч, в холле висит объявление. Требуются коллекторы для работы на Курилах и Камчатке. Выезд в конце мая, возвращение — в середине сентября. По-моему, это как раз то, что нам сейчас нужно.

— Я пас, — сказал Дмитрий не задумываясь.

— Почему?

— Потому что мне это не нужно. Я не хочу терять четыре месяца.

— Димыч, это очень нужно нам обоим. Нам просто необходимо на время бросить работу, иначе мы перегорим и долго еще ничего не сможем делать. Я уже видеть не могу эти уравнения.

— Ты поезжай, если хочешь, — равнодушно сказал Дмитрий.

— Я не хочу ехать один. Нам надо держаться вместе.

— Ну, в данном случае это не так уж необходимо...

Ольф два дня уговаривал его, Дмитрий так и не согласился. И тогда он уехал один.

За все лето Дмитрий прислал ему всего лишь одно коротенькое письмо. Он писал, что ему удалось найти место, с которого начинается вранье, и он уже успел кое-что сделать совершенно по-другому, и похоже, что на этот раз все обойдется благополучно.

Ольф вернулся, как и обещал, в середине сентября — загорелый, отдохнувший, нетерпеливый. Он отчаянно стосковался по физике и в первый же вечер устроил Дмитрию допрос с пристрастием. Он удивился, как много успел Дмитрий сделать за лето.

— Ты здорово поработал, — с завистью сказал Ольф.

— Пожалуй, — согласился Дмитрий.

Он не выглядел особенно усталым, только похудел и был какой-то вялый.

Они тогда отлично провели вечер, выпили по бутылке сухого вина, закусывая красной икрой, привезенной Олфом.

И уже на следующее утро Ольф набросился на работу. Ему пришлось немало постараться, чтобы влезть в то, что успел сделать Дмитрий.

Они великолепно работали до самой зимы, и опять, казалось, удача не покидает их. А потом, когда они увидели, что их уравнения не удовлетворяют закону сохранения комбинированной четности, Ольф понял, что это настоящая катастрофа. Для него, по

крайней мере.

Он не мог больше заставить себя сесть за работу и искать ошибку, хотя мучительно было видеть, как Дмитрий один занимается этим. Один, вот уже полтора месяца. Дмитрий ничего не говорил ему и ни разу даже взглядом не упрекнул его, но от этого было не легче. Ольф чувствовал себя предателем, однако ничего не мог поделать с собой. Он больше не верил в эту работу.

4

Хуже всего было вставать по утрам. Я заводил будильник до отказа и просыпался только к концу его пронзительной трели. А из-за Ольфа мне приходилось вставать на пятнадцать минут раньше. На него звон будильника действовал не больше, чем писк комара. Вероятно, он преспокойно мог бы спать на колокольне Ивана Великого во время пасхальной службы.

И эти пятнадцать минут мне были нужны, чтобы разбудить его. Обычно я начинал с того, что открывал окно и сдергивал с Ольфа одеяло, потом тряс его за плечи и говорил прямо в ухо:

— Вставай, уже пора.

Ольф, конечно, не отзывался.

И сегодня было то же самое.

Я посмотрел в окно. Шел мокрый снег, было слякотно, сыро и мерзко. Март в Москве — довольно противный месяц. Каждый второй ходит с насморком, отовсюду доносятся шмыганье, чиханье и разноголосые кашли.

Ольф лежал на диване в позе невинного младенца и продолжал безмятежно спать. Я начал трясти его. Он отчетливо сказал:

— Сейчас встаю.

Ольф говорил так всегда, но, если бы я поверил ему и оставил в покое, он мог бы проспять и до обеда. И я продолжал трясти его еще сильнее.

— Ольф, да вставай же, пора.

— Угу, — сказал он и открыл глаза. Но я знал, что он ничего не видит и не понимает. Мне не раз приходилось замечать, как он спит на лекциях с открытыми глазами.

Теперь его надо было посадить, что мне не сразу удалось. Ольф сидел, скрестив руки на груди, сжавшись в клубок от холода, смотрел на меня и ждал, когда я отвернусь, чтобы тут же лечь снова. Тогда пришлось бы начинать все сначала, и я не отворачивался и сердито сказал:

— Не валяй дурака, времени нет.

— Да я же встаю, — убежденно сказал Ольф и тут же закрыл глаза и стал валиться на бок — он уже опять спал.

Я вовремя ухватил его за костлявое плечо, встряхнул и сунул ему в рот сигарету. Он почмокал губами, удобнее ухватил сигарету и опять заснул. Тогда я прислонил его к стене, нашел спички, зажег и опять встряхнул его. Ольф открыл глаза, сообразил, что я даю ему прикурить, и сунулся лицом к огню. Сделав две затяжки, он взглянул на меня почти осмысленно и убедительным голосом сказал:

— Все. Я уже встал.

Я все-таки не поверил ему — уж очень он старался убедить меня в том, что он уже встал. Ольф знал, что я не отстану от него, пока он не будет стоять на ногах, и стал покорно слезать с дивана. Я подозрительно посмотрел на него — Ольф заискивающе ухмыльнулся мне и затянулся сигаретой. Тут же один его глаз стал закрываться, но другим он продолжал усиленно смотреть на меня, покачиваясь взад и вперед.

Я сказал:

— Старый тампон убрать, новый поставить.

— Что? — удивленно спросил Ольф, широко раскрыв оба глаза.

Если бы я сказал ему, что уже половина девятого и мы опаздываем, Ольф согласно кивнул бы и тут же снова заснул. Только такими нелепостями и можно было заставить его мыслить.

И я увидел, что Ольф уже и в самом деле не спит, потому что он спросил совершенно нормальным человеческим голосом:

— Сколько?

— Половина.

— А... — с сожалением сказал Ольф. — Вас понял.

Я пошел умываться и мысленно стал просматривать сегодняшнее расписание. Практикум до трех. Если постараться, можно выгадать час-полтора, задачка не очень сложная. В пять — спецсеминар на кафедре. Перед этим придется еще кое-что просмотреть в читалке. Час? Пожалуй, маловато. Значит, все-таки до трех... Потом... А впрочем, к чему загадывать, все равно будет что-то непредвиденное. Вот только непредвиденных денег ждать не приходится. Денег было всего рубль с мелочью, а до пенсии еще целых три дня. Придется у, кого-то занять... Легко сказать — у кого-то. У кого сейчас могут быть деньги?

— Слушай, — спросил я Ольфа, — как твои финансы?

Ольф пошарил в карманах, вытащил металлический рубль и подбросил его на ладони.

— И это все?

— Увы и ах.

Мы не стали завтракать — времени уже не было — и бодро помчались на факультет.

Задача мне попала не очень сложная и неинтересная, но надо было сделать много измерений и потом обработать их, и я старался сделать все как можно быстрее, чтобы выгадать хоть немного времени.

Я положил пластинку со спектром под микроскоп, механически делал измерения и выписывал колонки цифр. И вдруг мне стало противно. Господи, кому все это нужно? Шесть часов кропотливой и утомительной работы — и все только для того, чтобы получить формулу, которая приводится в десятках учебников. Я положил ручку и уставился на цифры. В самом деле, зачем это нужно? Чтобы получить отметку? Охотнее всего я отправился бы в библиотеку и засел за свою работу. Просто плюнуть на все и уйти. До сессии как-нибудь выкручусь. Не в первый раз... Но жаль было напрасно потерянных двух часов. Да и не так-то просто будет потом сделать сразу столько задач...

И я решил довести ее до конца и опять нагнулся над микроскопом. Но меня хватило только на полчаса. Я просто не мог этим заниматься. Все равно это не имело никакого смысла...

Я посмотрел на Алину, дежурившую в лаборатории. Можно было рискнуть. Показать ей эти цифры, а потом списать у кого-нибудь остальное. И я решил, что так и сделаю. Я всегда носил с собой бумаги с выкладками и теперь вытащил их и стал думать о своей работе. Только спокойнее, приказал я себе. Попробуем еще раз. С самого начала. Я стал перебирать в уме все, что мы сделали за два с половиной года, разыскал самые первые записи и начал восстанавливать в памяти, как это было.

...На работу Икобуки по теории бета-распада я наткнулся случайно, готовясь сдавать странички по английскому. Когда я в первый раз просмотрел ее, то многого просто не понял, но она показалась мне очень интересной, и я опять прочел ее, тщательно разбирая каждую формулу. На это ушло две недели. А непонятного оказалось еще больше, и я уже хотел бросить эту статью, но потом опять вернулся к ней, и даже не ко всей работе, а только к одному уравнению, которое почему-то привлекло мое внимание. Почему именно оно? Ни тогда, ни после я не мог объяснить себе этого. Уравнение было довольно сложным, раздражало своей громоздкостью и неясностью, многочисленными ограничениями и допущениями, сделанными при выводе его. К тому же видно было, что многие существенные предположения и промежуточные выкладки опущены, и приходилось только догадываться, каким путем Икобуки пришел к окончательному результату.

Я выписал уравнение на отдельном листке и рядом — все предположения и допущения,

все эти «исходя из...», «согласно...», «следуя...», всегда носил листок с собой и день за днем обдумывал уравнение, постепенно восстанавливая детали этой работы. И наконец как будто все стало ясно, и оказалось, что уравнение верно. Верно! Когда я увидел это, то почувствовал разочарование и облегчение... Наконец-то загадка перестала быть загадкой и можно заняться чем-то другим.

Я разорвал вконец истрепавшийся листок с уравнением, а выкладки засунул куда-то в стол. А уже через два дня аккуратно переписал уравнение, разыскал выкладки и все снова тщательно проверил. И опять все сошлось, но теперь я почему-то был уверен: здесь что-то неладно. И я опять засел за книги и узнал о бета-распаде, кажется, все, что можно было, разыскал еще две статьи Икобуки, но это были уже совсем другие работы. И вообще казалось, та статья прошла незамеченной, и никто из физиков не ссылался на нее и не упоминал в своих работах.

Я сидел в читальном зале, и когда понял, в чем дело, ясно видно было, что никакой ошибки в моих расчетах нет, — у меня закружилась голова и тошнота подкатила к горлу. Я собрал свои бумаги, пошел в общежитие, увидел Ольфа и сказал ему:

— Зови Витьку.

— Нашел? — догадался Ольф.

Я кивнул, и Ольф ничего не стал больше спрашивать и пошел за Витькой. Когда они пришли, я стал рассказывать. И сейчас я вспомнил, что говорил им тогда. Я показывал вот эти самые листки, а они проверяли меня и ставили на полях вопросительные знаки, и я подробно объяснял им, в чем тут дело. А дело было в том, что в одном месте при выводе своего уравнения Икобуки неявно опирался на гипотезу Майораны. По этой гипотезе нейтрино, образующиеся при позитронном бета-распаде, и антинейтрино, образующиеся при электронном бета-распаде, не должны отличаться друг от друга. Сам Икобуки даже не упоминал о гипотезе Майораны, потому что его работа совсем не касалась нейтрино, и лишь в одном из промежуточных уравнений он использовал факт мнимой тождественности нейтрино и антинейтрино. Мнимой — потому что эта нетождественность была установлена уже после того, как Икобуки опубликовал свою работу, и он, конечно, не мог учесть этого.

Нейтрино и антинейтрино отличаются только спиральностью, это, в общем-то, было не так уж много, но мы решили тогда как следует заняться этой неточностью и попытаться выяснить, как она скажется на окончательном результате. Если бы такая проблема встала перед нами год или два спустя, мы бы сразу поняли, что заниматься этим безнадежно, — опыт подсказал бы нам, что нейтринная нетождественность не внесет существенной поправки в окончательный результат. Но тогда нам и в голову не пришло усомниться в необходимости такой проверки, и мы рьяно взялись за работу.

Это была уже настоящая физика, а не те школярские упражнения, которыми мы занимались раньше. Мы забросили все занятия и сидели только над этим уравнением, спотыкаясь на каждом шагу, поминутно обращаясь к книгам и справочникам. Только через два месяца мы увидели, что проработали впустую. Это здорово обескуражило нас. Мы изрядно приуныли тогда, но скоро Ольф обнаружил одну вещь, которую мы не заметили в пылу работы: Икобуки использовал не только гипотезу Майораны, но и одно из следствий ее, которое неизбежно приводило к довольно-таки существенным результатам, — при некоторых условиях, не противоречащих предпосылкам Икобуки, должен нарушаться закон сохранения комбинированной четности. Это опять-таки не было ошибкой Икобуки — гипотеза о сохранении комбинированной четности была выдвинута Ли, Янгом и Ландау в пятьдесят седьмом году, а свою статью Икобуки опубликовал в пятьдесят пятом.

Мы опять взялись за работу, пока снова не зашли в тупик.

И сейчас я внимательно проверял все выкладки и опять ничего не мог найти... Все было правильно.

Было в этом что-то загадочное, почти мистическое. Ведь уравнение Икобуки послужило нам только толчком, мы давно уже отошли от всего, что было в его работе, наши результаты не имели ничего общего с его результатами, и вдруг выяснилось, что и наши

уравнения тоже противоречат закону сохранения комбинированной четности! Было над чем задуматься...

Я невольно улынулся, наткнувшись на два четверостишия, и вспомнил, как они были написаны. Было это в те дни, когда мы бились над очередной загадкой и у нас ничего не получалось, мы сидели злые как бобики и огрызались друг на друга. И однажды Ольфа как будто осенило. Он схватил лист бумаги, сел на диван и стал быстро что-то писать. Мы с Витькой вытянули шеи и с надеждой уставились на него. Вид у Ольфа был страшно довольный, и мы подумали, что ему наконец-то удалось найти какое-то решение. Ольф кончил писать и стал перечитывать. Лицо его прямо-таки лоснилось от удовольствия.

— Получилось? — не выдержал Витька.

— Угу, — промурлыкал Ольф. — У меня да не получится. Не было еще такого.

Витька выхватил листок у него из рук. Ольф подмигнул мне и потер ладони. Витька стал читать — и вдруг отшвырнул листок и выругался.

— Смотри, — сказал он мне, — что этот болван нацарапал.

Я взял листок и прочел:

Сверкало солнце
Луна сияла
Двурогий месяц
По небу плыл
Дожди хлестали
Жара стояла
И снег сыпучий
Поля покрыл.

Я засмеялся. Витька с удивлением посмотрел на меня и в сердцах сплюнул:

— Тьфу, шизофреники...

— Дитя мое, — наставительно сказал Ольф, — тебе явно не хватает чувства юмора, красоты и гармонии. Ты совершенно напрасно так пренебрежительно отнесся к моему шедевру. — Он взял у меня листок и бережно разгладил. — Ты забыл старое мудрое изречение — гони природу в дверь, она влетит в окно. Если природа нашей теории не желает выражаться в гениальных уравнениях, она выразилась в этих четырежды гениальных строчках. Разве ты не видишь, что эти стихи с изумительной точностью воспроизводят суть не только нашей работы, но и всей теории элементарных частиц? Разве в этой теории меньше бессмысленного, чем в моих строчках? Ты ничего не понимаешь ни в науке, ни в искусстве. Да эти стихи, если хочешь знать, надо положить на музыку, сделать официальным гимном и исполнять перед началом заседаний Ученого совета! И это будет!

Ольф взял гитару и стал подбирать аккомпанемент. Потом он не раз исполнял свой «шедевр», а Витька бесился и грозился проломить Ольфу голову...

Я сидел, не замечая времени, и очнулся от вопроса Алины:

— Кайданов, что у вас?

— Я не сделал графики.

— Покажите.

Я показал ей свои записи. Алина стала бегло просматривать их и, кажется, думала о чем угодно, только не о моей задаче. Она даже не стала сверять мои цифры с записями в своей тетради, расписалась и сказала:

— Графики покажете потом.

— Хорошо, — сказал я, даже не обрадовавшись тому, что она не заметила моей халтуры.

Пожалуй, на физфаке ни о ком не рассказывали столько потрясающих легенд и анекдотов, как об Ольге. Если собрать все рассказы и разделить их на две группы по принципу «черное — белое», то получилось бы вот что. Из рассказов «черной» группы, а таких было большинство, следовало, что Иванова — человек совсем никудышный, без царя в голове, несусветный лодырь и скандалистка, она может мимоходом, без всякого повода оскорбить любого, кто не пришелся ей по вкусу, она у всех занимает деньги и никогда не отдает их, а у родителей шикарная квартира и дача... Из рассказов же «белой» группы всякий непредубежденный человек наверняка заключил бы, что Ольга — человек талантливый и оригинальный, бесконечно добрый и отзывчивый, по-настоящему красивый и вообще — человек что надо.

Для Ольфа и Дмитрия Ольга была человеком что надо.

Они в один год поступили в университет, но учились в разных группах и до второго курса не были по-настоящему знакомы. Ольф и Дмитрий немало слышали о ней, видели ее картины и рисунки, были как-то вместе в одной компании, здоровались, встречаясь в коридорах, но дальше дело не шло, хотя Ольф как-то и выразился, что неплохо было бы познакомиться с этим феноменом поближе.

«Феномен» однажды сам явился к ним в первом часу ночи.

Она заявила и сказала:

— Привет, мальчики. Вы еще не собираетесь спать?

— Да вроде нет, — растерянно сказал Дмитрий.

— Тогда я с вами немного поболтаю.

Сейчас Ольф уже не мог вспомнить, о чем они говорили тогда. Вероятно, о живописи, хотя Ольга могла говорить о чем угодно, и говорить интересно. Но по-настоящему с увлечением она могла говорить только о живописи. Вероятно, Ольга знала все обо всех художниках, когда-либо живших на свете, потому что, сколько бы она ни рассказывала о них, оставалось впечатление, что она говорит новое и неизвестное. А потом Ольга сказала:

— Слушайте, ребята, я вдрызг разругалась со своими предками. Ничего, если я у вас переночую?

— Ну конечно, — сказал Ольф.

Ольга посмотрела на него и объяснила:

— Удобнее было бы, конечно, пойти к девчонкам, но не хочется будить их. Да, откровенно говоря, я терпеть не могу этих девчонок так же, как и они меня...

Это верно, девчонки не любили ее. Да и не только девчонки. Зато те немногие, с кем она по-настоящему была дружна, платили ей самоотверженной преданностью и готовы были для нее на все. Такими друзьями скоро стали для нее Ольф и Дмитрий.

Но это было потом, а в тот вечер они чувствовали себя не очень естественно.

Они хотели постелить ей на диване, но Ольга запротестовала:

— Нет, я уж лучше на полу лягу. Терпеть не могу все эти диваны и кровати, вечно ноги за что-нибудь цепляются. Мне бы одеяло, подушки ваши тоже конфискую, больше ничего не надо...

Утром Ольга быстро оделась, открыла окно и с наслаждением втянула ноздрями воздух.

— Хорош денек сегодня!

А день был обычный — серый, осенний... Ольга, кажется, любой день встречала так, как будто он специально для нее создан. По утрам она выглядела гораздо лучше, чем днем, и обычно сизоватый цвет лица был почти незаметен, и она казалась красивой. Совсем другое бывало по вечерам, и тогда никому в голову не пришло бы назвать ее красивой. А Ольга действительно была красива — четкие, отточенные черты лица, великолепные густые волосы, большие темные глаза, тонкие, словно нарисованные, брови.

Ни Ольф, ни Дмитрий не могли по-настоящему примириться с тем, что Ольга безнадежно больна и болезнь так уродует ее.

(Болезнь у Ольги была какая-то редкостная, неизлечимая, что-то вроде

злокачественного поражения крови, Ольга толком не объясняла им, что это такое, лишь однажды небрежно бросила:

— По статистике только десять процентов таких больных доживают до тридцати лет. Так что кое-какие шансы у меня имеются.) Бывали дни, когда на Ольгу страшно было смотреть — лицо ее наливалось нездоровой сизой полнотой, кожа туго натягивалась, становилась неестественно гладкой и блестящей.

Но бывали и другие времена — месяца на полтора-два болезнь давала передышку, Ольга выглядела совсем здоровой и необыкновенно хорошела, красота ее становилась ослепительной. Тогда Ольга, по ее собственному выражению, начинала жечь свечу с обоих концов. Флиртвала направо и налево, дурачила своих поклонников, которые вдруг в изобилии начинали увиваться вокруг нее, и ни в грош не ставила их.

В первый год их знакомства Ольф, задумываясь о судьбе Ольги, порой просто поражался. Он никогда не видел ее мрачной или подавленной и иногда не мог поверить ее жизнерадостности, считая ее наигранной. Он не понимал, как можно быть такой непоколебимой оптимисткой, зная, что жить осталось каких-нибудь пять-шесть лет, самое большее — десять. И ее фразу, случайно оброненную в одну из тех редких минут, когда Ольга позволяла говорить о своем состоянии, он считал не совсем искренней и чересчур красивой. Ольга сказала: «Мои дела слишком плохи, чтобы я могла позволить себе такую роскошь — быть мрачной». Но потом он понял, что это отнюдь не было красивой позой.

Однажды вечером Ольга пришла к ним и положила перед ними рисунок. Они несколько минут разглядывали его. Дмитрий спросил:

— Как ты назвала его?

— Просто «Ветер».

Ветер бушевал на рисунке с такой силой и страстью, что хотелось поежиться и поднять воротник. Ветер гнул к земле могучие деревья, странные, фантастические, которых никогда и нигде не было, они цеплялись ветвями за землю, переплетались друг с другом, летели по воздуху, поднимая к небу черные, узловатые корни. Деревья не помещались на бумаге, резко обрывались на краю и незримо существовали где-то за пределами ватманского листа, этот лес как будто заполнил всю комнату, он резко и отчетливо существовал как бы сам по себе. Ветер и деревья окружили маленькое яркое пятно в центре рисунка, и казалось непонятным, каким образом кусочек обыкновенной белой бумаги может быть таким ярким, брызжащим светом. В центре пятна была маленькая человеческая фигурка — неясная, небрежно намеченная, лицо только чуть обозначено двумя-тремя резкими штрихами, ноги широко и неестественно расставлены, а руки нелепо болтаются, тщетно пытаясь нащупать опору в пустоте. Человек сильно наклонился вперед, пытаясь противостоять напору урагана, но кругом была сплошная стена деревьев, стонущая под напором ветра...

Ольга стояла сзади и вдруг протянула руку и выхватила рисунок.

— Дайте-ка сюда.

Она стала поправлять его резкими, уверенными движениями. Ольф смотрел на нее и понимал многое из того, что прежде казалось ему непонятным. Понимал истоки ее жизнерадостности, неиссякаемого оптимизма, ее причуды и странности.

Все это объяснялось одним — ее талантом.

Талантом бесспорным, но необычным и странным на взгляд большинства людей. Кто-то однажды выразился даже так — талант не только бессмысленный, но и вредный. Ольф набросился на него с ругательствами, но скоро остыл — бесполезно было что-то доказывать. Да в этом и не было необходимости — Ольга не нуждалась в защите. Сам же Ольф чувствовал талант Ольги настолько хорошо, что иногда ему становилось не по себе, когда он разглядывал ее рисунки. Иногда он просто не понимал, как самые обычные, хорошо знакомые понятия могут принимать такую необыкновенную, порой совершенно неожиданную форму.

Да, талант у Ольги был, странный и жестокий талант. Но так было не всегда.

Однажды у нее дома Ольф наткнулся на ее ранние работы и удивился, узнав, что это

рисовала Ольга. Самые обычные, заурядные рисунки, на них люди почти ничем не отличались друг от друга, у них были, конечно, свои лица, позы, все правильно, пропорционально, естественно, — и все оставляло равнодушным.

— Это действительно ты рисовала? — спросил Ольф.

— Да. Какая чепуха, правда? — улыбнулась Ольга.

— Когда же это было?

— Да не так уж давно. Лет десять, наверно... маленькая я тогда была и глупенькая, ничего не понимала...

Маленькая? Но тогда ей было пятнадцать, и она уже много лет болела. (А если уж совсем точно — всю жизнь!) Врачи предсказывали, что она не доживет и до двадцати. Сейчас ей было двадцать пять, а она жила и не собиралась умирать. Но врачи не так уж сильно ошиблись. Дважды в течение двух лет ее положение признавали безнадежным и отправляли умирать в изолятор. Ольга умирала в полном одиночестве, не допуская к себе ни родственников, ни друзей, и это казалось странным и жестоким. Умирала без стонов и жалоб, находясь в полном сознании и зная, что умирает.

Не умерла.

Первый раз это случилось, когда ей было шестнадцать лет.

Ольга вышла из больницы еще более жизнерадостной и как будто беспечной. Объясняли это просто — девчонка еще, ничего не понимает. Ее щадили, баловали. А ей ничего особенного и не нужно было — лишь бы не мешали вволю рисовать.

И она рисовала — много, упорно, забыв о школьных делах. И рисунки ее неожиданно для всех приобрели какую-то совсем не детскую силу и выразительность.

От ее рисунков все чаще веяло мраком и холодом, и теперь уже никто не говорил, что она девчонка и ничего не понимает. Понимает. Знает. Но внешне это никак не сказывалось на ней — так же весела, проказлива, любит посмеяться, подурочить. Это ставило взрослых в тупик, и они гадали — знает или не знает?

Ольга знала.

Ольга знала, что обречена, но не чувствовала себя несчастной, ведь у нее было все, что нужно для счастья: талант, друзья, независимость, возможность заниматься любимым делом. Она знала, что многим недоступна и десятая доля того, что есть у нее, и была счастлива.

Любовь? Но так ли уж она необходима, если есть все остальное?

6

Увидев Ольгу, Ольф заспешил к ней. Проталкиваясь через толпу, мягко взял ее под руку.

— Оля!

Ольга повернулась и радостно улыбнулась:

— Здравствуй!

— Давно из больницы?

— Вчера.

— А мы к тебе на днях собирались, — виновато сказал Ольф. — Вообще-то мы порядочные свинтусы, что так долго не были, но понимаешь...

— А, брось, — отмахнулась Ольга. — Не хватало еще, чтобы ты извинялся. Ты куда?

— Да я сам не знаю... Муторно что-то.

— Давай сходим в кино.

— Давай.

— Может, Диму прихватим? — предложила Ольга. — Сходим потом в пивбар. У меня есть деньги.

Ольф заколебался.

— Не стоит, — наконец сказал он. — С практикумом у него дела швах, ничего еще почти не сделано. А ждать смысла нет — потом семинар Ангела.

— Ну ладно.

Они сходили в кино, посидели в пивбаре, Ольф проводил Ольгу до автобусной остановки и немного постоял, раздумывая, что делать. Было десять минут пятого, он вполне мог успеть на семинар Ангела, но ему не хотелось идти туда, потому что на семинаре вплотную придется столкнуться с тем, о чем он не хотел сейчас думать, — с физикой и мыслями о своей работе.

И он решил не ездить на семинар и пошел по набережной мимо реки, по краям затянутой льдом. Мысли были отрывочные, бессвязные. Он думал о себе, о работе, о Дмитрие, об Ольге. Больше всего — об Ольге... Думал с завистью — это была одна из тех минут, когда он отчаянно завидовал ей, зная, что никогда не сможет жить такой сложной и в то же время на удивление цельной жизнью. Он завидовал ее таланту — такому бесспорному и яркому, ее силе, богатству ее натуры и ревновал к тем случайным проходимцам, с которыми она проводила свои дни и ночи, когда бывала красива, обаятельна и весела. Эта зависть появилась не так давно, особенно отчетливо он почувствовал ее в прошлом году. Ольга лежала в больнице, они с Дмитрием часто навещали ее и всегда заставляли веселой и жизнерадостной. Однажды они пришли к ней в такой же вот хмурый, неласковый день, только зимой, часов в пять, за окном уже густели сумерки и падал ленивый белый снег. Ольга лежала на кровати и рисовала. Выглядела она просто страшно — все лицо ее было залеплено пластырями, а шея и руки замотаны бинтами — ее отравленная кровь не могла справиться и с самой ничтожной инфекцией, и от минутного сквозняка ее тело покрылось крупными волдырями. Ольга не сразу заметила их, и они с минуту стояли у двери и смотрели, как она рисует. Наконец Ольга подняла голову, увидела их и вскинулась в радостном оживлении, потянулась к ним. Они выложили свою скромную передачу — банку компота, два апельсина, стопку хорошей бумаги. Они потратили почти все свои деньги, чтобы купить ей это, и Ольга была так рада их подаркам, словно это было что-то необыкновенное. Дмитрий спросил:

— Что тебе еще принести?

Ольга сказала:

— Еще такую стопку отличной бумажки — если, конечно, найдете.

Когда они вышли из больницы, Ольф сказал:

— Вот женщина! Нам бы так, а, Димыч? Все-таки какая сила духа!

Ольф медленно шел вдоль набережной и через час вошел в университет, немного постоял в фойе, раздумывая, куда идти. К себе в комнату не хотелось. И он пошел в шахматный клуб и долго играл в блиц. Потом поужинал, послонялся по коридорам и наконец поднялся к себе. День — длинный, утомительный и бесполезный — подходил к концу. Ольф осторожно приоткрыл дверь в комнату Дмитрия, тот спал не раздеваясь, уткнувшись лицом в подушку, забыв выключить свет. Ольф погасил лампу и пошел к себе.

7

Наша группа была в сборе, мы стояли в коридоре, трепались обо всем понемногу и за минуту до конца перерыва уже сидели по местам — все знали, что Ангел войдет, как обычно, со звонком.

Семинар по теоретической физике Калинин вел с третьего курса. Первое занятие началось почти знакомо для меня — Ангел вошел точно со звонком, сказал, оглядывая нас:

— Здравствуйте, садитесь, в дальнейшем прошу не вставать мы не институтки вас попрошу к доске заниматься будем без перерыва кому нужно выйти можете в любое время курить можете здесь только откройте окна почему нет Ефремова пропускать настоятельно не рекомендую запишите начальные условия закройте дверь...

И сегодня началось как обычно. Через пятнадцать секунд после звонка мы уже работали. Мы научились полностью отключаться от всего обычного и житейского — настолько необыкновенным было все, что происходило здесь. Это была какая-то

интеллектуальная вакханалия, языческая оргия мыслителей, фанатическое служение единственному в мире богу — ФИЗИКЕ. Нас не покидало постоянное, ни на секунду не ослабевающее напряжение — настолько неожиданным был ход мыслей Ангела. Он ставил перед нами проблемы иногда просто нелепые и парадоксальные, заставлял думать над вещами, казалось, совершенно немыслимыми, объяснял, бросал реплики и задавал вопросы, подсказывал и подталкивал, и шло время, и мы постепенно начинали понимать связь между этими немыслимыми и несвязуемыми вещами, постигали красивую, логически безупречную простоту «нелепых» явлений, видели закономерность и необходимость в парадоксах. И когда нам начинало казаться, что вырисовываются контуры чего-то законченного и бесспорного, и мы, довольные результатами своих умствований, воодушевленно расставляли точки и запятые по своим единственным местам — две-три реплики Ангела возвращали нас к действительности. Мы продолжали думать, спорить, толпились у доски, выхватывали друг у друга мел, орали — и видели, как из безупречно скроенного тела нашей теории выступают острые кости вопиющих противоречий, нерешенных и неразрешимых проблем, бессмысленных следствий, и начинали понимать, что этот хилый, недоношенный уродец — всего лишь крошечное серое пятно в многоцветной и бесконечно разнообразной картине мира... Мы отчаянно хватались за головы, чертыхались, курили одну сигарету за другой, и дым не успевал вытягиваться в открытые окна и плавал по комнате сизыми косматыми волнами... Ангел, развалившись на стуле и расстегнув свой немыслимо модный пиджак, подавал реплики, вставлял насмешливые замечания, его непочтительно хватали за руки, кто-то в пылу спора говорил ему «ты», а он с ясной улыбкой объяснял все и всем, но иногда говорил «не знаю», «не думаю» и свое любимое «быть может, да, быть может, нет», и наступал момент, когда казалось — все, конец, тупик, абсурд, ерунда, чушь... Тогда Ангел бросал еще две-три реплики, задавал наводящие вопросы, и оказывалось, что вот оно — выход, свет, озарение, конечная и единственная истина, вы гений, Арка Дмич, да не лезь ты со своей чепухой, дай человеку слово сказать, и только вот здесь немножко неясно, надо еще подумать, ну да, конечно, я уверен, что все будет в порядке, смотрите, видите, это же просто здорово, как бы не так, я сейчас закончу, да куда же вы, Арка Дмич? Ангел, еще несколько минут назад сказавший «все, на сегодня кончаем», уже застегивал пиджак и шел к двери, все валили за ним гурьбой и говорили все сразу, хватали его руками, запачканными мелом, и он машинально отряхивался и говорил с улыбкой:

— Подумайте, поищите, возможно, вы и правы, расскажете на следующем занятии...

И я тоже что-то орал и доказывал ему, я был уверен, что ухватился за великолепную идею и только она может быть верной, а все остальные порют несусветную чушь, и я пытался сказать об этом Ангелу и кричал в правое ухо, и мне казалось, что Ангел не слушает меня, потому что в левое ухо ему тоже кто-то кричал, но оказалось, что Ангел все слышал и наконец повернулся и ответил мне.

Он сказал всего одну фразу, и когда я не сразу понял его, вдруг споткнулся и чуть не упал, хотя мы шли по абсолютно ровному и гладкому коридору второго этажа. Но ведь о мысль можно споткнуться точно так же, как о камень или кочку. А мысль была совершенно четкая и определенная — что я болван и тупица, если не заметил эту вещь, которую сразу увидел Ангел, слушавший меня вполуха, и эта вещь мгновенно превратила мою великолепную идею в наивнейшее измышление невежественного и абсолютно ничего не соображающего недоучки.

Я отошел в сторону, а толпа покатила дальше, ее распирали гениальные идеи и сногсшибательные доказательства, она протопала по коридору и застыла по лестнице, кто-то прогремел по ступеням, громко чертыхнулся — и стихло все.

Я взгромоздился на подоконник и привалился спиной к стене и только сейчас почувствовал, как сильно устал. Домой я вернулся поздно вечером. Лег на диван не раздеваясь и стал прикидывать, что придется делать завтра. Думая об этом, я заснул.

Через несколько секунд кто-то стал трясти меня за плечи — я послал его к черту и опять заснул, но меня продолжали трясти. Я наконец открыл глаза и увидел Саньку Орлова.

— Есть приличная ночная съемка, — сказал Орлов.
— Да пошел ты... — выругался я.
— Не дури, я уже подал список.
— Вот гад... — пробормотал я. — Кто тебя просил?
— Ольф.
— Скажи ему, что я его убью.
— Ладно. А пока все-таки вставай.
— С выездом? — спросил я, чуть-чуть приоткрыв глаз.
Санька кивнул.
— Полторы?
— Да.

Полторы ставки — это четыре пятьдесят. Приятно иметь талон на четыре рубля пятьдесят копеек, даже если эти деньги получишь только через неделю. Но из-за этого талона придется всю ночь проторчать на холоде...

— Когда ехать? — проворчал я.

— К двенадцати, — сказал Санька.

Я посмотрел на часы и окончательно проснулся — было двадцать минут двенадцатого.

— Ладно, поехали.

И стал собираться.

Мы ездили на «Мосфильм», если не оставалось ничего другого. Кто-то шутя называл это — «жизнь в искусстве, или искусство жить». Обычно один день жизни в искусстве приносил нам чистый доход в три рубля. Мы назывались — массовка. Иногда — групповка. Это было уже рангом выше и иногда оценивалось на рубль дороже. Групповка — это самое большое восемь — десять человек, создающих фон для актеров. Групповка иногда видела себя на экране — обычно не больше полутора-двух секунд. На массовках же иногда бывало до тысячи человек.

Я был обречен на массовку. Иногда я случайно попадался на глаза режиссеру, который искал подходящие типы для крупного плана, но меня неизменно отсылали обратно. Оказывалось, что я не умею ходить в кадре, стоять в кадре, сидеть в кадре. Единственное, на что я был способен в этом виде искусства, — это просто ходить, просто стоять, просто сидеть где-нибудь в глубине толпы. В общем, я был массовка — что иногда удручало меня, особенно в холодные дни. Не потому, конечно, что мой вклад в искусство был меньше, чем у групповки. Просто групповке жилось легче. Они чаще всего снимались в павильонах, где всегда было тепло и даже удавалось поспать в перерыве между съемками, разумеется сидя. А массовка обычно разъезжала по всей Москве и окрестностям и иногда забиралась в такие места, где нельзя даже сесть. Но у массовок были и свои преимущества — они нередко снимались ночью, что было удобнее для нас, да и платили за ночные съемки дороже.

На улице я спросил:

— Что за фильма?

— «Они шли на восток», — сказал Санька.

Я поежился и ничего не сказал — мне, в общем-то, было все равно, какой фильм. Не все равно было только то, что всю ночь придется побыть на улице.

Массовка собиралась, как обычно, внизу, в большом зале, две длинные очереди выстроились у стойки — выписывать желанные талоны на четыре пятьдесят. Мы были стреляные воробьи и в очередь не встали. Чем позже, тем лучше. Народу собралось уже много, и, может быть, не хватит автобусов, чтобы увезти всех сразу, и тогда удастся побыть здесь два лишних часа. Правда, последним приходилось хуже в костюмерной — им доставалось самое разнокалиберное обмундирование. Но зато были шансы не получить оружие — на больших массовках его обычно не хватало.

Мы поискали место, но все скамейки были заняты, и нам пришлось устроиться на полу. Ольф стал оглядываться кругом. Санька принялся читать книгу, а я положил голову на руки и скоро заснул.

Когда Ольф разбудил меня, массовка шла на посадку. У стойки сиротливо торчали несколько фигур, и нам пришлось подняться и встать в очередь.

Было уже два часа.

В костюмерной почти никого не было, и мы начали неторопливо переодеваться. Шинели остались только большие, и выбирать было не из чего. Ботинки тоже были на два номера больше. Оглянувшись на костюмершу, я сунул за пазуху второй подшлемник — я знал, как он потом пригодится. Шинель была тонкая, и я надел брюки и китель прямо на свою одежду и сразу стал толстым и неуклюжим.

— Ну, пошли? — сказал Ольф и засмеялся, глядя на меня.

— Ты что? — спросил я.

— Да так... На месте де Сантиса я снимал бы только тебя и только крупным планом. Жалкое зрелище... Настоящий итальянец, замерзающий в российских снегах...

Мы надеялись, что автобусов не хватит, но все машины стояли на улице, забитые до отказа, а нас осталось всего человек двадцать, и бригадиры массовки рыскали по машинам, выискивая свободные места, и вталкивали людей туда, где еще можно было сидеть на полу.

— Кажется, мы стали жертвой собственной предусмотрительности, — с досадой сказал Санька.

Нас наконец растолкали по разным автобусам. Я пристроился на полу между чьими-то ногами. В автобусе было темно, светились красные угольки сигарет, пахло псиной, портянками, кожей и сыростью. Травили анекдоты, смеялись, некоторые спали, положив голову на руки. Наконец тронулись — и долго мчались куда-то на большой скорости по темным пустым улицам, потом выехали за город, и за окнами ничего не было, кроме густой темноты. Я опять попытался заснуть, но никак не удавалось — сильно трясло и мотало. Холодно было сидеть на полу, и потом мне кто-то дал одеяло, но все равно было холодно. И стало совсем холодно, когда нас привезли и высадили из автобусов. Мы увидели темноту, разрезанную на куски светом прожекторов, и пустое ровное поле, а под ногами — звонкое стеклянное крошево разъезженной дороги, и по обочинам ее — фанерные танки с намалеванными крестами, крашеные деревянные рельсы, обмотанные колючей проволокой, скелеты разбитых грузовиков и еще что-то громоздкое и черное поодаль, скрытое темнотой. Где-то слышен был шум моторов, и, когда с треском вспыхнули ракеты и осветили все вокруг мертвым белым светом, мы увидели, что это танки.

Я отыскал Ольфа и Саньку, и до самого конца мы держались вместе. А пока до нас никому не было дела. Ассистенты, пиротехники, бригадиры и прочие служители искусства бегали взад-вперед, кричали, ругались, что-то согласовывали и увязывали. Как всегда, о чем-то забыли, чего-то не предусмотрели, чего-то не предвидели. Массовка разбрелась на небольшие кучки, выискивая удобные места. Удобных мест не было — везде было одинаково пусто и холодно, нигде было укрыться от ветра, и все сразу же замерзли. Кое-где загорались маленькие костры, их почти не было видно из-за кучи окруживших тел. Да и все, что могло гореть, сожгли за полчаса, и стало еще холоднее.

Мы пристроились за фанерным танком, прижавшись друг к другу, но все равно дуло со всех сторон. Я подумал, что на будущую зиму мне обязательно надо купить свитер. Я пытаюсь купить его уже два года. Я знаю, где можно достать очень хороший, очень теплый и сравнительно недорогой свитер, но у меня еще ни разу не было столько денег. Однажды я почти собрал эти деньги, но тут некстати выяснилось, что единственные мои приличные брюки уже в неприличном состоянии.

По дороге с ревом ползли крытые грузовики. Это были настоящие итальянские (или немецкие?) машины — приземистые, тупорылые, и свастики на них были нарисованы явно не в мосфильмовской мастерской — такие они были затертые. Машины прошли совсем близко от нас, и мне показалось, что я уже где-то видел их. Наверно, в каком-нибудь фильме

о войне, подумал я.

Машины остановились, и массовка бросилась к ним — все решили, что нас посадят в эти грузовики. Но там уже сидели студенты циркового училища, во время съемки они изображали падения, срывались под колеса машин, цеплялись друг за друга. Наша массовка стала с руганью разбредаться, а многие остались стоять у дороги, опираясь на винтовки.

А мы все сидели на своем танке, съезжившись от холода, курили и молчали. Совсем не хотелось разговаривать. Хотелось только одного — чтобы было тепло.

Мы просидели так целый час, и становилось все холоднее, иногда кто-нибудь из нас вставал и грелся — топал ногами, бил себя по бокам и размахивал руками.

— Троглодиты, — сказал Ольф после очередной такой разминки, — не могли заранее все приготовить, чтобы зря не держать людей на холоде.

— Зачем? — насмешливо спросил Санька. — Ведь они платят нам деньги.

Санька так часто бывал на массовках — это был единственный доступный ему способ подработать, — что давно уже ничему не удивлялся.

А потом нас всех собрали, и кто-то стал говорить речь. Я не слушал его. Я и так знал, что нам предстоит. Нам придется изображать разбитую, отступающую итальянскую армию, голодных, замерзших и отчаявшихся солдат. Вряд ли придется особенно стараться, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. Вряд ли итальянцам было тогда холоднее, чем мне сейчас, подумал я. Я чувствовал, что холод уже где-то глубоко внутри меня, холод перестал быть атмосферным явлением, он стал частью моего тела.

Я смотрел на человека, стоявшего в трех шагах от меня. Невысокого роста, худой, черноволосый, с острым птичьим лицом. Он стоял весь скрюченный от холода, засунув руки в рукава шинели, полы которой волочились по земле, и таким унынием, почти безнадежностью веяло от всей его фигуры, что я без труда вообразил: так же, наверно, выглядел какой-нибудь безымянный итальянец, один из тех, что брел по задонским степям зимой сорок третьего года. Частичка той орды, что катилась по нашей земле на запад, спасаясь от разгрома. Но перед этим-то они проделали другой путь — они шли на восток, все дальше и дальше, и, наверно, многие тогда задавали себе вопрос: найдется ли такая сила, что способна остановить их, и когда это будет? Такая сила нашлась, и очень скоро. И одним из тех, кто остановил эту орду и погнал ее на запад, был мой отец...

Я почти не помнил его. Он уходил на фронт летом сорок второго, когда мне шел четвертый год. Смутно, почти нереально всплывала в моей тогда еще только начинавшейся памяти его фигура — отец всегда помнился мне большим, хотя мать и говорила, что роста он был невысокого и сложения далеко не богатырского... Мы с Ленкой часто расспрашивали мать об отце. И получалось из ее рассказов, что был он человеком на редкость добрым, но в то же время и непримиримым к подлости и любой, даже самой маленькой несправедливости. Он защищал любого, если считал, что кто-то нуждается в защите, и никогда не думал о том, что сам может пострадать в этих схватках. И я хорошо могу представить, что почувствовал он, когда началась война. Тогда защищать нужно было не отдельных людей и не только свою семью — всю страну. И он в первый же день отправился в военкомат — записываться добровольцем. Его долго не брали — и здоровье у него было неважное, да и в тылу он был очень нужен: слесарь-лекальщик высшего разряда. Но он писал одно заявление за другим и через год добился своего. Воевать — и жить — довелось ему всего полгода, но какие же это были полгода — лето и осень сорок второго под Сталинградом... Погиб он в январе сорок третьего года, незадолго перед тем, как покатила обратно на запад эта разбитая, голодная, замерзающая орда, еще недавно такая сытая, веселая и самоуверенная... Отец был всего лишь одним из сотен тысяч и миллионов, которые преградили путь этой оголтелой фашистской орде, но я всегда не то чтобы впрямую думал, а скорее ощущал, что не пойдя он на фронт, не погибни, как тысячи тысяч других, — и не было бы ни сегодняшнего спокойного неба над головой, и меня, может быть, не было бы или был бы я кем-то другим, таким, что и вообразить невозможно, и ни физики моей не было бы, ни работы моей... Моя ненависть к фашизму никогда не была абстрактной, умозрительной. Для меня фашизм — не

просто условное обозначение какого-то исторического явления. Это прежде всего — убийца моего отца и слово «безотцовщина», автоматически прилепившееся ко мне и Ленке и звучавшее в послевоенные годы вовсе не презрительно, а скорее жалостливо, — нас, безотцовщины, было по всей стране миллионы, и нам зачастую прощалось многое, что не сходило тем, у кого были отцы, — и преждевременная смерть надорвавшейся в нескончаемой работе матери, и еще очень многое, что вошло в мою плоть и кровь, в мою жизнь и судьбу... Я не знаю и теперь уже никогда не узнаю, что такое отцовская ласка, откровенный мужской разговор по душам, когда так остро необходимо дружеское слово не просто родного человека, но именно мужчины, отца, — и в этом тоже повинен фашизм... И то, что отец погиб, сражаясь против фашизма, всегда означало для меня нечто большее, чем смерть близкого человека. Мне не приходилось напоминать себе, в каком огромном долгу я перед отцом, перед всем его поколением, двадцать лет назад спасшим меня — и миллионы других — от того, что, возможно, было бы хуже смерти... И сейчас я попытался представить, что чувствовал, о чем думал отец в предсмертные зимние дни января сорок третьего года. И такими ничтожными показались мне все мои горести... Да что из того, что я замерз, что мне хочется есть и спать? Ведь все это — мелочь, пустячный эпизод по сравнению с тем, что пришлось когда-то пережить моему отцу. Через несколько часов я вернусь к себе в комнату, лягу в теплую постель, выплюсь, а потом займусь своей работой — тем, что составляет смысл и цель моей жизни. И тем, что все это есть у меня, я обязан отцу, и я не должен забывать это. И не отступать. Не жаловаться. И постараться, чтобы сделать за свою жизнь как можно больше и хотя бы частично вернуть отцу этот неизмеримый, неоплатный долг...

И тут я подумал, что даже в том, что мне сейчас приходится голодать и мерзнуть, есть свой смысл, и, может быть, немалый. Трудно, конечно, заранее с уверенностью сказать, каким будет этот фильм, но ведь известно, что де Сантис — большой, честный художник, и он постарается показать войну и трагедию своего народа так, что наверняка получится не просто обычный развлекательный фильм — посмотрел и тут же забыл, — а фильм-напоминание, фильм-предостережение, фильм прежде всего антивоенный и антифашистский... И в этом фильме будет частичка и моего труда — пусть частичка малая, незаметная, но она все же будет...

Кто-то впереди дал команду трогаться. Я плотнее запахнул шинель и двинулся вместе со всеми мимо камеры.

9

В комнате было темно, я включил настольную лампу, смотрел на часы — они показывали двадцать минут седьмого — и пытался сообразить, что сейчас — утро или вечер? Голова гудела от тяжелого сна, и я не сразу вспомнил, что была длинная холодная ночь. Я лег спать во втором часу дня, и сейчас, конечно, должен быть вечер.

Я встал, быстро поужинал и взялся за работу.

Я смотрел на листки, исписанные формулами и уравнениями. На одном из них была замысловатая роспись Ольфа. Может быть, здесь? Но ведь мы проверили тогда все, вплоть до самой ничтожной запятой... И все-таки где-то ошибка должна быть... Как мне не хватало сейчас Ольфа. С отсутствием Виктора я примирился давно, но сейчас вспомнил и его, и как мы работали тогда, позапрошлой зимой... Нам казалось, что наши дела так плохи, что хуже и быть не может. Третий месяц мы не могли сдвинуться с места. Все, что мы сделали до этого, казалось нелепым и бессмысленным — ведь дальше пути не было. Опять, в который уже раз, слышалось восклицание Ольфа: «Полцарства за идею!»

Идея пришла, как всегда, неожиданно.

— Ребята, — пробормотал я, еще не веря себе, — а ведь мы ослы и кретины...

— А ты еще сомневался в этом? — спросил Ольф.

Я сунул ему под нос кулак и продолжал:

— Помнишь, что мы делали три дня назад? Когда мы писали лагранжиан пион-

барионного взаимодействия...

Ольф покрутил пальцем около виска. Я схватился за ручку. Потом Ольф говорил, что у меня дрожали руки. Наверное, так оно и было. Единственное, что я тогда чувствовал, — это страх. Я очень боялся, что то едва уловимое и почти бесформенное, еще не ясное до конца мне самому, окажется такой же дребеденью, как и все остальное. Я боялся, что все исчезнет прежде, чем я успею записать. И пока я расписывал лагранжиан, старался ни о чем не думать, кроме этого, и ничего не слышать.

Ольф разочарованно протянул, глядя на мои записи:

— А-а... Ну, это старая песенка, отсюда мы не выберемся еще тридцать лет и три года.

— Подожди ты, Цицерон. Мы не заметили одну вещь. Дело в том, что здесь матрица Дирака относится к обычному пространству...

— Ну и что?

— А то, что тогда пионное поле должно описываться самодуальным антисимметричным тензором, — медленно, почти по складам сказал я.

— Стоп! — сказал Ольф. — Повтори!

Я повторил.

— А из этого следует... — начал Ольф. — А ну-ка пиши дальше, а я сделаю то же самое. Витька, следи за ним.

И он стал быстро писать. Я тоже продолжал свои выкладки и, когда закончил, перевернул лист. Я сидел, сцепив руки на коленях, и старался не смотреть на то, что пишет Ольф. Он наконец тоже закончил и спросил:

— Ну?

Я перевернул свой лист и положил рядом.

Уравнения были одинаковыми, если не считать разницы в обозначениях. Витька свистнул и пробормотал:

— Вот это финт, и я понимаю...

Я почувствовал, что мое лицо расплывается в глупой торжествующей улыбке.

— Это настолько хорошо, что даже не верится, — сказал Ольф.

Чтобы окончательно убедиться в моей правоте, нам понадобилось еще два дня. И в эти два дня мы были сдержанны, сосредоточены и очень серьезны. Даже Ольф прекратил свои обычные хохмы. Мы уже научились не доверять самым очевидным и само собой разумеющимся вещам. Мы знали, что в новом уравнении, каким бы приблизительным и ориентировочным оно ни было, надо подвергать сомнению все. Потом, при детальной разработке и исследовании этого уравнения, мы наверняка еще не раз будем ошибаться и возвращаться назад, но сейчас ошибаться было нельзя. Пусть рушится постройка, но фундамент должен быть незыблем.

Фундамент казался на редкость прочным и основательным. Было удивительное ощущение: после многих дней застоя и бесплодных попыток что-то сделать — наконец-то настоящая работа, какие-то осязаемые результаты, движение вперед, а не топтание на месте. Мы были уверены, что идем по правильному пути и нужно только время, чтобы получить что-то новое.

Никогда мы не работали так много, как в те дни. Никогда не были такими дружными, такими внимательными друг к другу. Но снова наступило время, когда мы не знали, что делать дальше. Не стало прежней уверенности. Пришла усталость. И все-таки тогда было проще. А сейчас...

Я все еще никак не мог смириться с тем, что остался один, и старался не думать о том, почему так получилось. О Викторе я уже давно не вспоминал, мы редко виделись. Но Ольф-то был рядом. И я совсем не думал про него, что он предатель. Да и Виктора я никогда не обвинял. Я понимал его. Я знал, что он когда-нибудь уйдет от нас. Он всегда чувствовал себя среди нас не совсем уверенно. За все время нашей совместной работы он не предложил ничего ценного, ни одной мало-мальски приличной идеи и очень мучился из-за этого. Даже ошибки у него были тривиальные. Но тут уж ничего нельзя было сделать. Он старался изо

всех сил и работал не меньше нас, а у него ничего не получалось. Но Ольф — почему сдался он? Что происходит с ним? А что, если он прав? Тогда рано или поздно придет и моя очередь, спокойно подумал я. Тогда придется собрать все эти бумажки и спрятать куда-нибудь подальше, чтобы не попадались на глаза. И примириться с тем, что все это было напрасно. Интересно, что я тогда буду делать? Пойду играть в преферанс? Или — женюсь и буду почитать детективы?

Стоп, стоп. Не надо думать об этом, сказал я себе. Надо работать. Ведь еще ничего не решено. Я еще не использовал все возможности. Просто надо найти ошибку. Не может быть так, чтобы все оказалось неверным. Что-то обязательно должно остаться. Ведь так уже бывало. И не раз казалось, что это все — нет никакого выхода, надо все бросать и прикрывать лавочку. Но ведь до сих пор выход всегда находился. Только не надо отчаиваться. Ведь бросить никогда не поздно. А начинать потом будет намного труднее.

И я работал до тех пор, пока от усталости не стали слипаться глаза.

Было уже два часа. Ольф все еще не приходил.

Я завел будильник и лег спать.

10

Будильник звонил резко и долго, я медленно просыпался, вновь засыпая на какие-то доли секунды, и наконец проснулся совсем, потянулся к будильнику и нажал на кнопку, и тишина установилась такая полная и неподвижная, что зазвенело в ушах. Мне очень хотелось спать, и я сказал себе, что надо сразу же встать, иначе я опять засну. И вдруг подумал — а зачем вставать? Я посмотрел на стол. Опять работать? А кому, это нужно? Почему бы мне не послать все к черту?

Я подумал об этом спокойно. Я не забыл вчерашних размышлений и своего решения драться до последнего. Но сейчас все это как-то не имело значения. Вчерашний день кончился — начинался новый, И я устроился поудобнее на постели и опять заснул.

А когда открыл глаза и посмотрел на часы, было уже половина второго. Я проспал одиннадцать с половиной часов, но чувствовал себя разбитым. Тупая боль в голове и знакомое ощущение опустошенности, когда ничего не хочется — только лежать, и ни о чем не думать, и чтобы тебя оставили в покое.

Кто-то постучал. Я не отозвался. У Ольфа есть ключ. А больше мне никого не хотелось видеть. Постучали еще раз, и я опять не отозвался. Голос Виктора неуверенно сказал:

— Это я, Дима. Ты не спишь?

Я встал и открыл ему.

— Привет, — сказал Виктор. — Я не разбудил тебя?

— Нет. Но, с вашего позволения, я опять лягу.

Наверно, это прозвучало не очень-то любезно, потому что Виктор виновато сказал:

— Я ненадолго. Просто зашел узнать, как дела. Давно ведь не виделись.

Я неопределенно пожал плечами и неохотно ответил:

— Дела как дела. Обыкновенно.

И когда посмотрел на Виктора, мне вдруг стало жаль его. Он сидел сутулясь и как будто намеренно не смотрел ни на меня, ни на стол, где в беспорядке были разбросаны бумаги. А ему, вероятно, очень хотелось взглянуть на них — ведь это была и его работа.

Вид у него был какой-то подавленный. Вряд ли ему живется так хорошо, как показалось Ольфу. Правда, одет он и в самом деле прилично, и физиономия заметно округлилась, — видимо, он давно уже забыл те времена, когда питался картошкой и килькой. Ему, наверно, тогда приходилось особенно туго — он весил под восемьдесят.

Он наконец взглянул на меня и кивнул на стол:

— Как работа?

— Плохо, — сказал я.

— А что такое?

— Слишком долго рассказывать. В общем, мура всякая пошла. А ты занимаешься чем-нибудь?

— Нет. Так только, на кафедре кое-что делаю.

И опять наступило неловкое молчание. Виктору явно хотелось что-то сказать мне, но он не знал, как это сделать. Я спросил его о жене, он ответил, но видно было, что думает он о другом. И наконец он сказал:

— Слушай, может быть, я чем-нибудь смогу помочь тебе?

И он опять кивнул на стол.

Я внимательно посмотрел на него. Для этого он и пришел? Виктор с надеждой смотрел на меня.

— Нет, Витя, — тихо сказал я, — не стоит. Да и смысла в этом нет.

Он опустил глаза:

— Ну, смотри, тебе виднее.

И мне опять стало жаль его. Я охотно принял бы его помощь, но в этом действительно не было смысла. Ведь прошло уже почти два года, как он бросил работать с нами, и тогда мы только начинали. Вряд ли он даже представляет, как далеко мы ушли с тех пор.

Мы еще немного поговорили, и он собрался уходить. И, уже одевшись, сказал, как будто только что вспомнил:

— Да, я захватил для тебя сигареты.

И смущенно отвел глаза, и мне стало неловко за него — ведь он все время помнил, что надо оставить мне сигареты. Какими же чужими мы стали, если приходится прибегать к таким уловкам.

— Спасибо, — сказал я.

Он выложил сигареты и сказал:

— Если тебе нужны деньги, я могу дать. У меня есть немного.

И он робко посмотрел на меня. Ему очень хотелось, чтобы я взял у него деньги, и я сказал:

— Давай, я как раз сижу без гроша.

Он обрадовался, положил на стол пять рублей, и я опять сказал:

— Спасибо.

И вспомнил, что когда-то мы совсем не говорили друг другу «спасибо». Тогда это показалось бы нам просто смешным — все, что мы делали друг для друга, было естественным или просто необходимым.

Виктор вопросительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:

— Ну, я пойду.

Я поднялся и протянул ему руку:

— Пока, Витя. Еще раз спасибо за сигареты и деньги. Они мне очень кстати. Заходи, не пропадай.

Он кивнул и вышел, а я опять лег. И вспомнил, как уходил от нас Витька...

Это было позапрошлым летом, после сессии. Мы остались в Москве и по-прежнему работали целыми днями. Лето стояло очень жаркое, и обычно мы вставали рано утром — в три, четыре часа, а днем отсыпались. Мы решили, что поработаем до августа, потом перехватим какой-нибудь калым — летом можно было неплохо подработать на стройках — и съездим в Прибалтику недели на две. Витьке явно не хотелось оставаться в Москве, но он безропотно согласился с нашим решением. Что-то неладное тогда творилось с ним. Он стал молчалив, раздражался при неудачах больше обычного, по вечерам куда-то исчезал, но утром неизменно приходил к нам — невыспавшийся и злой.

И однажды он сорвался.

Последние две недели мы занимались анализом специфической группы тензорных преобразований и проделали уже больше половины работы. И вот Ольф пришел из библиотеки и сказал:

— Мальчики, есть отличный новенький велосипед.

Это была его обычная манера выкладывать неприятные новости.

— Ну? — хмуро спросил Витька. В этот день он был особенно не в духе.

— Вся наша арифметика уже опубликована в прошлом году.

— Где? — недоверчиво спросил Витька.

Ольф сказал. Это был итальянский журнал.

— Брось трепаться, — разозлился Витька. — Ты же ни хрена не смыслишь по-итальянски, как ты мог понять что-нибудь?

— А тут и понимать нечего, — сказал Ольф. — Я случайно наткнулся на одну формулу, очень похожую на нашу. А сейчас Амадези перевел мне весь текст. Да и без перевода почти все ясно. Смотрите сами.

Он раскрыл журнал и бросил его на стол.

Действительно, уравнения были очень похожи на наши. А мы-то еще собирались написать об этом статью...

Витька тупо смотрел на журнал, перевернул страницу и вдруг изо всей силы грохнул кулаком по столу и вскочил, отшвырнув стул ногой.

— К чертовой матери! — заорал он таким диким голосом, что я невольно вздрогнул. — С меня хватит! Мы перерыли все американские и английские журналы за последние три года, прежде чем взяться за эту работу, а тут какой-то паршивенький итальянский журнальчик показывает нам язык! А если все, что мы сделали и собираемся сделать, тоже где-то опубликовано, что тогда? Может быть, прежде чем заняться физикой, нам надо стать полиглотами, а? Мало ли кто сейчас занимается физикой?

И он с яростью посмотрел на нас.

— Не ори, — холодно сказал Ольф. — Если понадобится, станем и полиглотами. И будем читать не только паршивенькие итальянские журнальчики, но и древнеиrokeзские тоже, если выяснится, что индейцы занимались физикой.

Я поднял стул, попробовал его на прочность и пробормотал:

— Я тоже когда-то был великим физиком, но зачем же стулья ломать?

— Да пошел ты... — огрызнулся на меня Витька. — Мне твоя песенка давно известна. Может, ты еще скажешь, что нам повезло?

— Да, скажу! — Я вдруг тоже заорал и отшвырнул стул. — Повезло, да еще как! Если бы Ольф не наткнулся на эту статью, мы бы еще две недели просидели над этой белибердой, да и то не было бы никакой уверенности, что все сделали правильно! А теперь стоит только свериться со статьей и идти дальше! И нечего делать из этого трагедию! Лучше будет наперед зарубить на носу, что паршивенькие итальянские журнальчики тоже надо иметь в виду!

Мы еще что-то кричали, стоя друг против друга и размахивая руками. Ольф молча вышел из-за стола и поднял стул, который я отшвырнул к двери. Спинка у него почти совсем отошла. Ольф потянул ее на себя, спинка легко выскочила из пазов. Ольф кое-как приладил ее к сиденью, поставил стул позади Витьки и подмигнул мне. Я понял его и, продолжая кричать на Витьку — правда, чуть потише — стал потихоньку подталкивать его к стулу.

Витька наткнулся на стул, оглянулся и сел на него и тут же грохнулся на пол, задрав ноги. Ольф с любопытством посмотрел на него. Витька чертыхнулся, потирая затылок.

— Вот паразиты, — сказал он, немного остыв, и вытащил из-под себя обломки. — И так башка ни хрена не соображает, так вы еще последние мозги вышибить хотите.

— Извини, — сказал Ольф. — Я не предполагал, что ты так основательно уляжешься, да еще во всю длину. Искренне сожалею, тем более что твоя светлая, умная головка нам еще понадобится, и не далее как сегодня.

— Ну уж дудки! — вскипел Витька. — С меня хватит! Тем более, — передразнил он меня, — что, если верить вам, мы сэкономили целых две недели! — Он язвительно засмеялся. — Кто как, а я беру тайм-аут!

Витька хлопнул дверью и вышел.

Он пропадал где-то три дня. И ночью его тоже не было. А потом он пришел и встал в

дверях.

Мы даже не взглянули на него.

— Ну? — сказал Витька. — Открыли что-нибудь гениальное?

Ольф промолчал, только хмуро сдвинул брови, а я повернулся к Витьке. Он был пьян в доску и пристальным, немигающим взглядом смотрел на нас.

— Только не сидите с прокурорским видом, — наконец сказал он и подошел к столу. — Обвинительные речи оставим на потом.

Витька осторожно взял листок, который лежал передо мной, и медленно прочел:

— «Согласно работам Джексона, Треймана и Уалда, дифференциальная вероятность распада поляризованного нейтрона определяется выражением... — И гнусавым, ехидным голосом стал читать уравнение: — Дэ-вэ, деленное на дэ-е-по-е дэ-омега-по-е дэ-омега-по-ню...

Мы молчали и ждали, чем он кончит. Витька аккуратно положил передо мной листок и засмеялся.

— Парни, — сказал он, — вообразите на минуточку, что один из этих джексонов, трейманов и уалдов чуть-чуть ошибся. Ну, скажем, вместо дэ-е-по-ню поставил дэ-е-по-кси... Я, конечно, того... немного преувеличиваю, но предположим на минуточку, что я прав, мог же кто-нибудь из них ошибиться? Может быть, в тот вечер Джексон был в плохом настроении или от Треймана ушла жена, да мало ли причин может быть... мог же ошибиться кто-нибудь из этих ориров, сардов, крюгеров, на которых вы ссылаетесь? Ведь в нашей работе десятки таких фамилий. А если поглубже копнуть, то и сотни... А ведь фамилии-то принадлежат человекам, которым, как известно, свойственно ошибаться. Но мыто исходим из того, что все эти формулы, уравнения, теоремы — стопроцентная истина, пересмотру и обжалованию не подлежащая... Нуте-с?

И он с каким-то торжеством посмотрел на нас.

— Дальше, — спокойно сказал Ольф.

— А дальше то, что я говорю «пас». И вам советую сделать то же. Ничего у вас не получится. И кому все это нужно? Чего мы добьемся? Только угробим время и здоровье. Это же просто смешно. Мы же недоучки, дилетанты, кустари. И вообще надо быть круглым идиотом, чтобы заниматься релятивистской теорией. В ней же никто ни хрена не смыслит. Одни сплошные гипотезы и предположения. И вы всерьез уверены, что выберетесь из этого болота сухими, да еще и откроете что-нибудь? Беретесь соревноваться с Ландау, Понтекорво, Гелл-Манном, Швингером? Может быть, вы и Эйнштейна возьметесь опровергать?

— Если понадобится — почему бы нет, — сказал Ольф.

Витька смотрел на нас.

— У тебя еще что-нибудь есть? — спросил Ольф.

— Да, — не сразу сказал Витька. — Я женюсь.

— Это на ком же? — безразлично поинтересовался я.

— На Тане.

— Тогда тебе надо говорить — не женюсь, а выхожу замуж, — сказал Ольф.

— И ты уже предложил ей руку и сердце? Тебе ответили согласием? Назначили день свадьбы?

Витька молчал.

— Что, начинаешь устраивать свое будущее? — продолжал Ольф. — Московской прописки захотелось? Приличной жратвы?

Витька молчал.

Ольф приподнялся и перегнулся через стол, глядя прямо ему в глаза, и негромко спросил:

— Как жить-то будешь, человек?

Тогда Витька поднялся и вышел.

Месяца через два была его свадьба. Виктор встретил меня в коридоре и пригласил нас

обоих. Я сказал, что мы не придем. Он только беспомощно пожал плечами:

— Ну, как знаете...

11

Два дня я еще пытался работать, а потом не выдержал и пошел к Ангелу. Его не было — уехал в Дубну. «По твоим дурацким делам», — сердито сказала мне Нина, его жена. Я молча проглотил «комплимент» и вернулся к своим выкладкам.

Аркадий сам пришел ко мне в тот же вечер, в двенадцатом часу. В руках у него была тощая картонная папка с моими выкладками.

— Привет, — сухо бросил он, сел за стол и стал развязывать папку. — Давай поговорим.

— Давай, — согласился я, чувствуя, как отвратительно заныло где-то под ложечкой.

— Прежде всего я хочу кое о чем спросить тебя. — Аркадий протянул мне листок. — Это уравнение ты хорошо проверил? В частности — некоммутативность операторов исключается?

— Да.

— Отлично, поедem дальше.

Он задал мне еще несколько вопросов, я обстоятельно ответил и со страхом ждал, что он скажет. Аркадий не торопился. Он долго разминал сигарету, закуривал, разглядывал меня и был таким серьезным, каким я никогда его не видел.

— А теперь слушай меня внимательно, — наконец сказал он. — Я не могу гарантировать, что в вашей работе нет ошибок. Много сделано слишком приблизительно, многое надо было бы проверить тщательнее и строже. Не ваша вина, что вы не смогли этого сделать, и это, конечно, ничего не меняет. Но я не вижу в вашей работе никаких ошибок, — отчетливо сказал он. — Больше того — я уверен, что их нет.

Я засмеялся.

— Здорово! Если быть логичным, придется признать, что мы совершили гениальное открытие. Мы доказали, что четность сохраняется даже при слабых взаимодействиях. Ничего себе... Значит, Ли и Янг зря получили Нобелевскую премию? Если уж им дали ее за свержение закона сохранения четности, то что же нам полагается за восстановление этого закона? Может быть, две Нобелевские премии? А как же знаменитый эксперимент с кобальтом-шестьдесят? Его мы тоже опровергли? Интересно, каким образом? Простым росчерком пера? Ха-ха... Ну почему ты не смеешься? Разве это не смешно?

И я захохотал как сумасшедший, потому что над этим нельзя было не смеяться. Я смеялся, чтобы оттянуть тот момент, когда придется всерьез задуматься над тем, что сказал мне Аркадий, и по-настоящему понять, что все, абсолютно все полетело к черту, вся наша работа, все неверно, от первой до последней строчки, и что из того, что даже Аркадий не нашел никаких ошибок? Ведь ошибка наверняка существует, если мы пришли к этому нелепому, парадоксальному выводу — четность сохраняется при слабых взаимодействиях!!!

— Перестань! — резко сказал Аркадий, и я сразу оборвал смех. — Ничего вы не открыли и ничего не опровергли, и ты сам отлично знаешь это. Вы просто залезли в очередную яму. Давай порассуждаем. Вот ваше уравнение. Вы получили его, исходя из множества самых разнообразных предпосылок, теорем, гипотез, установленных кем-то и общепринятых на данном этапе развития теории элементарных частиц. Заметь — на данном этапе... Каждая из этих предпосылок как будто верна сама по себе. Во всяком случае, нет таких экспериментальных данных или теоретических работ, которые опровергали бы их. Пока нет, — подчеркнул Аркадий, и я подался вперед и стал слушать его очень внимательно, стараясь ничего не упустить. — Но не тебе же надо доказывать, что к доброй половине этих предпосылок можно поставить вопросительный знак. Ты уже достаточно грамотный для этого. И отлично знаешь, что в теории нельзя обойтись без таких вопросительных знаков. Никому еще не удавалось с ходу сотворить стопроцентную истину. И придет время, когда

окажется, что многое из того, что вы использовали в своей работе, — просто неверно. Но когда это будет? Через месяц, через год? Через десять лет? Кто знает, что именно окажется неверным? Неужели я ничему не научил тебя за эти пять лет? Сколько раз тебе нужно объяснять, какое бедственное положение с теорией элементарных частиц, как ничтожно мало мы знаем о них? Ведь неизвестно даже, что следует называть элементарной частицей. Никто не знает, когда будет создано то, что с полным правом можно было бы называть теорией элементарных частиц. Ведь нет этой теории, Дима, нет ее... А была бы она — не стоило бы и заниматься всем этим. Но ты же и сам все отлично знаешь. Знаешь, насколько малы твои шансы на успех. Но разве только твои? Посмотри на стену.

Я повернул голову.

— Читай, — сказал Аркадий.

Я молчал. Я давно уже выучил наизусть это изречение, которое сам написал крупными буквами и повесил на стене три года назад:

СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНА ИСТИНА И БЕСЧИСЛЕННОЕ
МНОЖЕСТВО ОШИБОЧНЫХ ПУТЕЙ: НУЖНА СМЕЛОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ
НАУКЕ, ЧТОБЫ ОТДАВАТЬ КАЖДЫЙ ЧАС СВОЕЙ ЖИЗНИ, ВСЕ СВОИ
СИЛЫ, ИМЕЯ ЛИШЬ МАЛЫЙ ШАНС НА ПОБЕДУ.

ЭЙНШТЕЙН

— Это высказывание ты впервые услышал от меня, — продолжал Аркадий. — Смелость и преданность науке... У тебя есть и то и другое. Так иди же вперед, как бы трудно это ни было. Малый шанс на победу, но ведь он не равен нулю.

Аркадий замолчал. Он выглядел очень усталым. Я тихо сказал:

— Конечно, все это правильно, Аркадий. Но ведь так тяжело иногда бывает, когда подумаешь, что все может оказаться бесполезным... Особенно сейчас. У меня просто сдали нервы. Я не знаю, что делать. Не вижу никакого выхода. Ты что-нибудь можешь предложить?

— Я тут кое-что набросал для тебя. Думаю, что ничего страшного не произошло. Давай вспомним, как бывало раньше. Ведь вы уже сталкивались с такими вещами. Что-то у вас не получалось, и вы начинали пересматривать все сначала. Искали места, где ошибка казалась наиболее вероятной. Начинали делать как-то по-другому и наконец добивались более или менее приемлемых результатов. Но, в сущности, вы заменяли какую-то часть предпосылок другими, хотя в принципе и те и другие были верны. А результаты получались разными. Понимаешь, что я хочу этим сказать?

— Да.

— Сейчас дело в том, что противоречие получилось очень уж... фундаментальным. Но никаких явных ошибок ни вы, ни я не обнаружили. Кстати, в Дубне я кое с кем посоветовался, и они тоже ничего крамольного не нашли. Давай порассуждаем. В вашем уравнении только одна эта неувязка — противоречие с законом сохранения комбинированной четности. Все остальное как будто не вызывает сомнений. Но ведь само по себе ваше уравнение к этому закону никакого отношения не имеет. Логично предположить, что некоторые из ваших предпосылок содержат какие-то неявные противоречия, которые нам пока не известны. А если еще учесть, что вы не всегда достаточно четко могли определить область применения тех или иных предпосылок? Как видишь, возможные истоки этого противоречия довольно обширны. Разбираться сейчас, почему так получилось, — слишком сложно, да и не под силу тебе одному. Это уже тема большой самостоятельной работы. Остается одно из двух: либо прекратить работу, либо пойти на компромисс — не обращать внимания на это противоречие и идти дальше. Не исключена возможность, что потом это противоречие устранится само собой. Или появятся какие-то новые данные, которые помогут тебе выбраться из этой ловушки.

— Или окончательно угробят всю работу, — сказал я.

— Может быть и так, — согласился Аркадий.

Мы курили и молчали. Я думал о том, что говорил мне Аркадий. Он ни о чем не спрашивал меня, а потом сказал:

— Я не хочу сейчас спрашивать, что ты собираешься делать. И тем более — навязывать свои решения. Хочу только немного рассказать о себе. Ты слушаешь?

— Да.

— Мне, как ты знаешь, тридцать два года. Физика еще со школьных лет была для меня тем единственным, чему стоило посвятить жизнь. Мне предсказывали блестящую карьеру. Я и сам думал, что мне многое удастся сделать. Я блестяще учился в университете, был, пожалуй, одним из лучших студентов. Все шло как нельзя лучше. Диплом с отличием, аспирантура... Я работал у самого Дау, он подбросил мне одну из своих идей, которую надо было только чуть-чуть развить, и кандидатская была готова. Чего же лучше? Я стал работать самостоятельно. С тех пор прошло уже шесть лет, можно бы и подвести кое-какие итоги. А подводить-то нечего, Дима. Тридцать два года — и ничего, совсем ничего. Ни одной сколько-нибудь оригинальной идеи, ничего значительного. Разве что репутация хорошего преподавателя. Это, пожалуй, единственное, что я умею по-настоящему делать, — показать, насколько ничтожны наши знания, как мизерны наши успехи, какие невероятно трудные и сложные проблемы стоят перед нами. Наверно, я делаю это настолько хорошо, что никто из моих учеников не решается замахнуться на эти проблемы. Никто — и я сам тоже. Блестящее ничто — вот кто я! — с яростью сказал Аркадий. — Я уже не уверен, что мне вообще удастся что-нибудь сделать. Я временами чуть ли не молюсь, чтобы мне пришла какая-нибудь настоящая идея. Хоть что-нибудь свое! Но никакие молитвы не помогают. Или я просто бездарен, или напуган физикой, ее бесконечной сложностью... А впрочем, это одно и то же. Когда я читал твои выкладки, я завидовал тебе... Да-да, завидовал и радовался за тебя. Знаешь, у меня были большие надежды на вас. Особенно на тебя и Ольфа — у Виктора, пожалуй, нет данных, чтобы стать большим физиком. И очень обидно было, когда Ольф сдался. Теперь остался ты один. В тебя я верю — поверь и ты в себя. Я постараюсь помочь тебе чем только смогу. Ты только продержись сейчас. Я понимаю — отчаянно трудно, но ты постарайся. Может быть, тебе удастся то, что не удалось мне.

Он невесело посмотрел на меня и ждал, что я скажу.

— Я не знаю, Аркадий, — тихо сказал я. — Ничего сейчас не знаю. Единственное, что могу тебе обещать, — что буду драться до последнего. Но надолго ли меня хватит — вот вопрос.

Он улыбнулся и встал.

— Пойду. Ты посмотри это, — кивнул он на папку, — а потом еще поговорим. А сейчас тебе надо спать.

12

После разговора с Аркадием стало как-то легче и спокойнее. Я думал о том, что Аркадий говорил мне и что же все-таки делать дальше. Я вспомнил свое обещание — драться до последнего. Но во имя чего драться? Стоит ли игра свеч, если действительно так ничтожны мои шансы на успех? Я невольно повернул голову к стене и еще раз прочел высказывание Эйнштейна. «Бесчисленное множество ошибочных путей...» Значит, наиболее вероятный результат моей работы — ошибки, еще раз ошибки, в лучшем случае — создание еще одной недолговечной теории, и даже если это удастся, через несколько лет, может быть и месяцев, кто-то усядется за мои формулы и уравнения и четко, как дважды два, докажет: ложь, абсурд, чепуха. И что толку утешать себя — такова природа науки, неизбежные издержки при движении вперед. Ведь главное в конце концов — результаты.

Я вспомнил, как на втором курсе нам начали читать оптику. Лектор, известный своим остроумием и язвительностью, сказал на первой лекции:

— Начнем мы, друзья, вот с чего: мы не знаем, что такое свет.

Аудитория сдержанно засмеялась. Лектор продолжал:

— Памятуя о скептицизме современного молодого поколения, примем мое утверждение за некую рабочую гипотезу, которую я постараюсь превратить в бесспорную истину, и надеюсь сделать это в течение ближайших трех с половиной месяцев. Если мне это удастся, я буду считать, что выполнил свою задачу. На последней лекции увидим, как это получится у меня.

Теперь уже смеялась вся аудитория. А профессор даже не улыбнулся, но это показалось естественным — ведь не принято смеяться собственным шуткам.

И началось... Профессор рассказывал о вещах, как будто известных еще со школьной скамьи и никогда не вызывавших сомнений, и тут-то оказывалось, что вещи эти непостижимо сложны и не изведаны. Профессор был беспощаден. На каждой лекции он говорил:

— Это знать совершенно необходимо, если мы хотим что-то знать, и тем не менее мы этого пока не знаем.

И еще:

— Если кто-нибудь найдет способ решить это уравнение, гарантирую, что пожизненная слава ему обеспечена. Всего одно уравнение!

И еще:

— Эта задача сформулирована сто двадцать лет назад, и все эти годы физики безуспешно пытаются решить ее. Кто-нибудь хочет потратить на нее те сорок — пятьдесят лет жизни, которые есть в его распоряжении?

Желающих не было. Но ведь кто-то решал эту задачу в течение ста двадцати лет... А история физики не сохранила и сотой доли их имен.

На последней лекции профессор сказал:

— Итак, подведем итоги. Они таковы: мы по-прежнему не знаем, что такое свет.

Смеха не было. Никто даже не улыбнулся.

Теперь улыбался профессор:

— По вашим серьезным и задумчивым лицам вижу, что моя рабочая гипотеза, высказанная на первой лекции, действительно превратилась в бесспорную истину. Было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь попытался доказать мне, что я не прав.

Желающих не было. Профессор сказал:

— Все. На этом ставим точку.

И вдруг взял мел и действительно поставил точку посреди пустой черной доски и спросил:

— Кстати, кто-нибудь знает, что такое эта точка?

Никто не отозвался.

— И я не знаю, — со вздохом сказал профессор и тряхнул седой шевелюрой.

Так закончилась эта лекция.

А ведь оптика — наука старая и сравнительно несложная, она существует больше трехсот лет. Триста лет, и — «итак, мы по-прежнему не знаем, что такое свет». Однажды я рассказал эту историю знакомому геологу, человеку разносторонне образованному и очень неглупому. Он весело смеялся, слушая меня. Для него это был веселый анекдот, и только. Ему, кажется, и в голову не приходило, что это правда. Но я вспомнил, как мы смеялись на той первой лекции, и ничего не стал говорить ему.

Так что же тогда — бросить работу? И что дальше? Спокойно, по инерции, дотянуть до диплома, поехать куда-то по распределению, а там все пусть идет своим ходом. Будет тема, выбранная кем-то, руководитель, отвечающий за все... Так? О нет... Я никак не мог вообразить, что не станет *моей* работы, будет только служба. В далекой древности было сказано: не хлебом единым жив человек. Но другие как-то живут этим хлебом единым. Значит, есть же и в этом какой-то смысл. И может быть, для человечества куда более важны не физика и абстрактные теории, а именно эти простые и абсолютно необходимые вещи — хлеб, мир, любовь, ясное небо над головой? А разве у меня самого не было такого времени,

когда все мои представления о счастье заключались в буханке черного хлеба и я мечтал о том, как буду есть его, а не о каких-то великих открытиях. Ну-ка, вспомни... Какие это были годы — сорок пятый, сорок шестой?

Сейчас я уже не мог вспомнить, как выглядели хлебные карточки, но отчетливо помнилось, сколько хлеба в день мы получали на троих. Одну буханку и небольшой довесок.

Очередь за этой буханкой выстраивалась с четырех-пяти часов утра, и мы с Ленкой — моим братом — по очереди вставали затемно, но, как бы рано ни будила нас мать, когда мы приходили к магазину, там уже всегда была очередь. Мать чуть не плакала, когда ей приходилось будить нас, потому что мы никак не могли проснуться. Мы не понимали, кто и зачем нас будит, и наконец открывали глаза и говорили «сейчас, мама», садились на кровати, начинали одеваться и тут же опять засыпали. Зимой в избе было очень холодно, но даже этот холод не мог сразу разбудить нас. Холод начинал мучить потом, когда мы стояли в очереди перед закрытой на огромный замок дверью магазина и старались спрятаться за спины взрослых, и иногда кто-нибудь, жалея нас, распахивал пальто и прижимал нас к себе, и не помню уж, сколько человек обнимало меня в ту зиму, сколько тел согревало меня... Зима вообще помнилась плохо; вероятно, мать чаще всего сама ходила в магазин, а утром кто-то сменял ее — ведь ей надо было идти на работу. Но кто? Наверно, Ленка — он был старше меня двумя годами. (Почему был? Он и сейчас есть, живет всего в двенадцати часах езды от Москвы, и я каждый год собираюсь съездить к нему и до сих пор не выбрался. Почему?) А вернувшись с работы, мать до поздней ночи сидела, согнувшись над швейной машинкой, и по воскресеньям продавала стеганные одеяла и телогрейки. Она делала очень хорошие ватные одеяла, и покупали их быстро. А сами мы спали под тонкими и холодными суконными одеялами — матери никак не удавалось сделать хорошее одеяло хотя бы для нас с Ленкой, потому что всегда не хватало денег. И телогрейку себе мать тоже не сумела сшить — слишком часто мы голодали.

Как давно это было... Но ведь было. И сейчас-то хоть хлеба у меня вдоволь — если даже нет денег, я могу просто взять его в столовой, и никто слова не скажет мне. И это настоящий белый хлеб, а не те черные недопеченные кирпичи пополам с отрубями, которые мы ели тогда. И голодать мне, в общем-то, не приходится. Да я и не жаловался ни на ночные массовки, ни на то, что приходится ездить на склады и стройки и месяцами жить на картошке и кильке. Все это не имело большого значения и давно уже стало привычным. Значение имело только одно — моя работа. Разве только работа? Стоп, об этом сейчас не надо. Хватит на сегодня. Давай думать о работе.

Я посмотрел на папку, которую оставил Аркадий, и стал читать то, что он написал для меня. Я тщательно обдумывал каждую строчку и перечитывал по несколько раз, стараясь все как можно лучше понять. Это было не так-то просто — Аркадий писал очень сжато, только самое основное, и каждая строчка, каждая формула — это целое явление или гипотеза, которые надо раскрыть и понять. Да и не очень-то я годился сейчас для такой работы — у меня болела голова, что-то тупо и размеренно било в левый висок. Но я упрямо продолжал читать, мне хотелось поскорее вернуться в этот знакомый и привычный мир, где в конце концов все выражается четкими формулами и уравнениями. И, подумав об этом, я усмехнулся и отложил листки в сторону. Как все было бы просто, если бы для меня действительно только работа имела значение, если бы смысл и цель жизни заключались только в том, чтобы сделать как можно больше и лучше... Стоп. Давай подумаем об этом. В чем же еще, кроме работы, смысл и цель моей жизни? В чем были цель и смысл жизни у моего отца? А ведь это надо доказать еще, что я с тобой, отец...

13

Однажды Ольф заявился ко мне весь какой-то взвинченный и, сунув руки в карманы, прошелся по комнате. Я молча ждал, что он скажет.

— Ты бы хоть спросил, какие новости, — с раздражением сказал Ольф.

— А у тебя есть новости?

— Да брось ты свои бумажки! — взорвался вдруг Ольф. — Зарылся, как крот, и ничего не хочешь больше видеть!

Меня почему-то даже не удивила беспричинная ярость Ольфа. Я спросил:

— А что я должен видеть?

Ольф глубоко вздохнул и сел.

— Ольга пропала. Пять дней уже — ни на факс, ни дома. Пойдем поищем, а?

— Пошли, — тут же согласился я. Мне было все равно, куда идти.

Ольга жила рядом с Новодевичьим монастырем и не любила ходить далеко, чтобы всегда можно было улизнуть из компании и добраться до дома пешком, и мы были уверены, что сумеем быстро найти ее. И действительно, уже через час мы увидели ее в кафе «Орион» — необыкновенно красивую, в компании каких-то долгогривых типов и густо размазанной девицы. Ольф даже зубами скрипнул, глядя на них.

— Иди найди такси и жди на улице, — сказал он мне и решительно направился к их столику.

Минут через пять Ольф вывел ее. Ольга смеялась:

— Куда это ты хочешь увезти меня? Домой? Не-ет, домой я не поеду. Я хочу к тебе, Ольф...

— Ладно, ладно, поехали ко мне, — торопливо согласился Ольф.

Увидев меня, Ольга улыбнулась и поцеловала.

— Ди-и-мка... И ты здесь... Соскучилась я по вас, ребяташки... Ах, мальчики, вы даже не представляете, как хорошо с вами и какие вы настоящие по сравнению с этими вылощенными пижонами, которые даже рюмку коньяку не могут выпить, не подражая монпарнасской богеме, о которой они ничего не знают. Какие они все лжецы, трусы, ничтожества. Как они разговаривают об искусстве, если бы вы только слышали! Можно подумать, что в их багаже по меньшей мере десяток шедевров, достойных украсить Люксембургский дворец. А в действительности они не способны и двух часов подряд просидеть за работой, у них сразу начинает болеть зад, и неодолимая жажда заставляет их хвататься за бутылку.

Мы приехали на такси домой, и Ольф провел Ольгу в свою комнату, а я прошел к себе и приготовил для него постель. Но Ольф так и не пришел. Я слышал, как щелкнул ключ в его двери, потом погас свет, и подумал, что когда-нибудь это должно было случиться.

Первые дни Ольф ходил сияющий. Я часто слышал за стеной их смех и веселую возню, изредка заходил к ним, но оставался недолго — я видел, что мешаю им. Да они и не удерживали меня. Ольга была такая красивая, какой я прежде никогда не видел ее. Они часто уходили куда-нибудь вдвоем, и каждую ночь Ольга оставалась у Ольфа.

Так продолжалось дней десять, а потом Ольга стала приходить реже, и настроение Ольфа сразу потускнело. Когда Ольга появлялась, он оживлялся, но стоило ей уйти, как в его комнате наступала мрачная тишина. Он все время сидел у себя и делал вид, что работает, но у него явно ничего не получалось, уж в этом-то я хорошо разбирался. Если ему надо было ненадолго уйти, он всегда говорил мне, где его найти, на тот случай, если придет Ольга, и просил отвечать на все телефонные звонки.

Однажды Ольга исчезла на два дня, и Ольф стал таким, что на него жалко было смотреть, и я понял, что у них далеко не все так просто, как мне казалось.

Наконец она появилась вечером, часов в одиннадцать, веселая, вероятно, чуть выпившая. Я уже лег спать, и свет у меня не горел. Ольф осторожно приоткрыл дверь в мою комнату и недолго постоял на пороге, но я не пошевелился — мне не хотелось идти к ним. Ольф закрыл дверь, и я слышал, как он сказал Ольге:

— Он уже спит.

Она что-то ответила, но я не расслышал. Они еще долго сидели, и я уснул под их говор за стеной.

Утром я встал в шесть, умылся, приготовил кофе и сел работать, но тут же пришел

Ольф. Лицо у него было такое, что я подумал: наверно, он вообще не спал этой ночью.

— Кофе хочешь? — спросил я.

Он кивнул, я налил ему кофе, но он не стал пить. Он сидел на диване, согнувшись и упираясь локтями в колени, курил и смотрел прямо перед собой в пол. Я спросил:

— Ольга спит?

Он кивнул. Я не знал, надо ли мне с ним говорить, и наконец спросил:

— Где она пропадала?

Ольф пожал плечами:

— Не знаю. Я не спрашивал, а она ничего не говорила.

Он немного помолчал и с горечью сказал:

— Я вообще ничего не знаю. Где она бывает, когда вернется и вернется ли вообще когда-нибудь. Чудная жизнь, ничего не скажешь...

Несколько минут мы сидели молча, и я не знал, что делать. Наконец Ольф сказал:

— Ты работай, не обращай на меня внимания. Я пока здесь посижу, покурю, И он еще с полчаса сидел у меня, потом за стеной заскрипели пружины дивана, и Ольф тут же встал:

— Пойду.

И потом за стеной я услышал его голос — спокойный и уверенный.

Началась сессия, и прошла она спокойно и буднично. Уже семнадцатого июня мы с Ольфом сдали последний экзамен, Ольга закончила еще раньше, и в тот же день устроили небольшую пирушку. Ольф был очень неспокоен — то пытался веселиться, пел, хохмил, то надолго замолкал.

За несколько дней до этого он спросил у меня:

— Ты ничего у Ольги не замечаешь?.

— Чего именно?

— Она говорит, что у нее опять начинается обострение. Но ведь на лице еще ничего нет, правда?

— По-моему, нет. Я, во всяком случае, ничего не заметил.

Но в тот вечер уже стало ясно, что Ольга права. Она по-прежнему была очень красива, но под глазами залегла легкая синева. Так у нее всегда начиналось.

Веселье в тот вечер никак не получалось. И уже в десять часов Ольга собралась уходить. Она говорила, что сегодня ей обязательно надо быть дома. Ольф пошел провожать ее, а я остался один за пустым столом и решил подождать его. Но он долго не возвращался, и в двенадцать я лег спать. А утром, когда я встал, его уже не было. Я знал, что он собирался поехать в Дубну и пробыть там весь день. Знала об этом и Ольга, и я удивился, когда она пришла, но не стал выходить. Она недолго побыла в комнате Ольфа и постучалась ко мне. Она была одета так, словно собиралась куда-то уезжать, и я заметил, что в коридоре стоит небольшой чемодан.

— Ты что, уезжаешь? — удивился я. Вчера Ольга ни словом не обмолвилась об этом.

— Да.

— Куда?

— К бабушке в деревню.

Я не слышал, чтобы Ольга когда-нибудь говорила об этой бабушке.

— А где эта деревня?

— А, да не все ли равно, — поморщилась Ольга.

— И надолго? — продолжал допытываться я.

Она как будто не расслышала меня и не ответила.

— А Ольф знает об этом?

— Я оставила ему записку.

— А все-таки — когда ты вернешься?

— А, какое это имеет значение, — с досадой сказала Ольга, не глядя на меня.

— Как это какое значение? Ты что, не собираешься больше приходить к нам?

— Ну почему же... Загляну как-нибудь.

Я молча смотрел на нее. Я уже и сам догадывался, что между нею и Ольфом произошло что-то такое, что непременно должно изменить наши ясные дружеские отношения. Но Ольга, похоже, вообще решила поставить крест на всяких отношениях.

— Да не смотри ты на меня так. — Ольга повысила голос. — Мне и без того тошно.

Я осторожно тронул ее за плечо:

— Оля, не уходи от нас. Нам будет плохо без тебя. Да и тебе без нас.

Ольга вымученно улыбнулась:

— Что мне без вас будет плохо — это уж точно. Я не знаю, Дима, как дальше будет. Вряд ли я смогу... — Она покачала головой и глубоко вздохнула. — Ну, прощай. Пожалуйста, ничего не говори Ольфу о нашем разговоре.

Она поцеловала меня и легонько оттолкнула.

— Провожать меня не нужно.

И она ушла.

Ольф вернулся в первом часу ночи, и минут пятнадцать в его комнате было очень тихо. Потом он вошел ко мне в наполовину расстегнутой рубашке, зажав в зубах потухшую сигарету.

— Когда она была здесь?

— Утром, часов в десять.

— К тебе заходила?

— Да.

— И что говорила?

— Сказала, что уезжает. Что все написала тебе. Попрощалась и ушла.

Он задумался и машинально затянулся погасшей сигаретой. Он был в каком-то странном оцепенении, необычном для него, мне очень не нравилось, какое у него лицо — застывшее, неподвижное. Я зажег спичку и поднес ему, он машинально прикурил и встал.

— Пойду спать.

Утром он куда-то ушел и пропадал до вечера, и я боялся, что он сорвется и выкинет что-нибудь. Но он вернулся спокойный, только весь грязный и усталый.

— Есть неплохой калым, Кайданов.

Мы давно уже решили, что после сессии где-нибудь основательно поработаем — у обоих были долги, да и хотелось съездить куда-нибудь хотя бы недели на две и как следует отдохнуть.

— Симпатичный подвальчик в одном горящем доме в Новых Черемушках, — рассказывает Ольф. — Если до пятого июля мы забетонируем его, получим неплохую валюту. Но поработать придется здорово.

— Когда начнем?

— Завтра. Подъем в шесть.

Нам и раньше приходилось заниматься бетонированием, но я уже забыл, как это тяжело. Вечером, после первого дня работы, когда мы пришли в столовую, я низко нагнулся над тарелкой — у меня так дрожали руки, что суп выплескивался из ложки. Ольф был крепче меня, но и он выглядел совершенно измотанным.

— Ничего, — бодро заявил он, когда мы поднимались к себе. — Две недельки — и потом до самой осени никаких забот.

Мы закончили работу к пятому июля. Но эти две недели потом вспоминались как один сплошной день с короткими перерывами для сна и еды. Мы вставали рано утром, торопливо завтракали и с первым автобусом отправлялись на стройку. Дожидаясь, когда придет машина с бетоном, выкуривали по сигарете и ныряли в черную сырую пасть подвала. Дни стояли жаркие, но по утрам там всегда бывало холодно. Мы снимали с себя все, оставались в плавках и дрожали от озноба, но уже через несколько минут становилось жарко. И так шел день за днем.

В один из таких дней я получил письмо от брата. Писали мы друг другу редко — раз в два-три месяца. Особых событий у Леонида не было, а у меня ни разу не возникало желания

рассказать ему о своих бедах.

И это письмо было обычным: на работе все нормально, дети здоровы, жена недавно болела, но сейчас уже поправилась, и приветы от знакомых, которых я уже почти не помнил.

Я быстренько проглядел письмо, сунул его в ящик стола и тут же забыл о нем.

Я наткнулся на это письмо через два дня после того, как мы закончили с подвалом, отоспались, и я собирался сесть за работу. Я почему-то еще раз прочел его и задумался.

14

Ольф все разглядывал Дмитрия, слушал его, а тот как будто не замечал его изучающего взгляда, мямлил, тянул дым из сигареты, был какой-то «муторный», как определил его Ольф, и думал явно не о том, что говорил.

— Ты что, переспал? — спросил наконец Ольф.

— Чего это ты? — с недоумением взглянул на него Дмитрий.

— Да говоришь как-то... не по-кайдановски.

Дмитрий помолчал и вдруг спросил:

— Слушай, а тебе не хочется к себе домой съездить?

— Куда это — домой? — не понял Ольф.

— Ну, к себе на родину, в Приморье.

— Ха! — удивился Ольф и крутнул головой. — Да ты, я гляжу, комик. При наших-то богатствах мне только и делать, что на край света ездить. Одна дорога в две сотни станет, и то если поездом, да еще три недели потеряешь.

— Но тебе ведь и не хочется.

— И это верно, — согласился Ольф. — Да ведь от дома моего одно название осталось. С отчимом мы всегда прохладно жили, а еще к кому туда ехать?

— Но ты же все-таки родился там, вырос. Неужели не тянет побывать там?

— Вон ты о чем... — протянул Ольф. — Сначала тянуло, особенно в первый год. Как-то все... мелко и тесно казалось после тайги и моря. Съездить хотелось, конечно. А потом сообразил, что незачем беречь себя — все равно, пока не кончу, побывать там не удастся. Ну и стал забывать потихоньку. Сейчас если и вспоминаю, то мимоходом, когда по радио сводку погоды слушаю... А с чего ты этот разговор затеял? Вспомнил свой райгородик?

— Вспомнил, — вздохнул Дмитрий. — Прочел братово письмо — и что-то невесело стало.

— Стучилось у него что-нибудь?

— Да ничего у него не случилось, — с досадой сказал Дмитрий. — И почему обязательно должно что-то случиться, чтобы вспомнить о городе, в котором прожил двадцать лет?

— Да ты не злишь.

— Не злюсь я, — тоскливо посмотрел на него Дмитрий. — Но видишь ли, какая вещь получается... Брат ведь он мне. По идее должен он быть мне самым близким человеком, сам знаешь, родных, кроме него, у меня никого нет. Ведь столько лет вместе прожили. А что на самом деле? Разъехались, и вспоминаю я о нем, только когда письма получаю, да и в письмах этих — одни «здравствуй» и «прощай». Я о нем ничего не знаю, он обо мне. И мать я уже почти не помню, а ведь всего пять лет прошло, как она умерла. Тебе не кажется, что есть что-то не совсем естественное в этой нашей забывчивости?

— Ну, не так уж это странно, — возразил Ольф. — Не знаю, как ты, но я в своем поселке жил и во сне видел, как бы уехать оттуда. Я только потому и в училище пошел, чтобы обратно не возвращаться.

— Да я не о том, — поморщился Дмитрий. — Я и сам рвался поскорее уехать. Но вот уехали, пять лет уже здесь живем, знаем, что в эту глушь нам возвращаться не надо, но ведь с этой глушью столько всего связано и хорошего, и плохого, ведь это часть нашей жизни, и немалая часть. Почему мы должны забывать о ней? Почему мы должны быть людьми

ниоткуда и делать вид, что настоящая наша жизнь началась только здесь, пять лет назад?

— Потому что она действительно началась только здесь, — спокойно сказал Ольф. — И ничего с этим не поделаешь. У меня, по крайней мере, все так и было.

— Чепуха! — сердито сказал Дмитрий. — Ты что, хочешь сказать, что предыдущие двадцать лет для тебя ничего не значили?

— Нет, почему же, значили, конечно. Ожидание — вот что такое были эти годы для меня. Но ведь ожидание — это не настоящее. О нем быстро забываешь, когда приходит то, чего ждал. Вот и все объяснение нашей забывчивости.

— Ну-ну, — сказал Дмитрий и вскоре ушел к себе. А вечером заявил: — Я завтра поеду.

— Куда? — удивился Ольф, он уже забыл о том разговоре.

— К брату.

Ольф пожал плечами:

— Поезжай. Долго там будешь?

— Не знаю. Дня три, наверно.

И Дмитрий уехал.

Ехал он весь день с утра до вечера, в общем вагоне небыстрого поезда, плотно забитого говорливым народом, изнемогающим от духоты и жажды. Дмитрий забросил на третью полку свой легкий чемоданчик, в котором с шорохом перекатывались книжка и кулек с конфетами, вышел в тамбур, закурил, да так и простоял там всю дорогу, иногда присаживаясь на откидную скамеечку.

Поезд часто останавливался на нешумных станциях, и к вагонам торопливо семенили пожилые запыхавшиеся женщины, бежали ребятишки, перепрыгивая через рельсы, разворачивали свой товар, ищущими глазами оглядывали пассажиров, наперебой предлагали огурцы, помидоры, вареную картошку. Когда поезд трогался, они все еще шли рядом с вагонами, все быстрее и быстрее, все еще предлагали — купите совсем дешево свежие помидоры, малосольные огурчики, купите... Но покупали мало — слишком часто останавливался поезд, да и большинство пассажиров было из ближних мест. Дмитрий вспоминал, как и сам он когда-то ходил на станцию, и томился в ожидании поезда, и все поглядывал на дальний лесок — не покажется ли дым паровоза, а потом в обратную сторону... И так весь день — то вправо, то влево. В то время поезда редко ходили по расписанию, и нельзя было сказать, когда они придут.

Это было время, когда карточки уже отменили, но жилось все еще неважно, по-настоящему сытым он бывал редко. И не так-то просто было весь день смотреть на огурцы в маленьком эмалированном ведерке, вдыхать запах укропа, лаврового листа — чертовски аппетитный запах! — только смотреть и знать, что эти огурцы съест кто-нибудь другой. Единственное, что можно было позволить себе, — время от времени отпивать глоток пахучего рассола, и надо только следить, чтобы рассол полностью покрывал огурцы, иначе на воздухе они станут дряблыми и неаппетитными, и тогда их уже точно никому не продашь. А продать их и так-то было непросто, почти у всех в городе были огороды и всем нужны были деньги.

В тамбуре всегда толпился народ, курили, смеялись, говорили. Пахло углем и железом. За мутными стеклами двери было солнечно и зелено, тянулись леса — темные еловые и очень светлые березовые. Запахи нагретой солнцем земли ощущались даже здесь, в горячем, настоящем на табачном дыму и человеческом поте воздухе.

В полдень поезд неторопливо въехал в грозу, стало легче дышать, хорошо было смотреть на грохочущее сияние молний по ту сторону надежных стекол, исхлестанных длинными косыми струями. Но кончилась недолгая гроза, выкатилось солнце и продолжало неумолимо подогревать и без того еще не остывшие железные вагоны, и ехать стало еще тяжелее.

Тихим светлым вечером Дмитрий приехал в свой родной город, сошел с поезда, огляделся — и все вспоминалось ему так свежо и ярко, словно только вчера он сидел вот у

этого заборчика, прячась в его короткой горячей тени, и смотрел на огурцы в маленьком эмалированном ведерке. Но присмотрелся — и увидел, что заборчик хоть и стоит на том же самом месте, но явно другой, новый, и здание вокзала было, кажется, другого цвета, и водокачки нет на прежнем месте. И все-таки ощущение необыкновенной похожести сегодняшнего дня на те, другие, давно прошедшие дни не исчезло, а стало еще сильнее, когда он направился к своему дому и оказалось, что он до мельчайших подробностей помнит эту дорогу, ничуть не изменившуюся с тех пор, — булыжная мостовая, деревянные дома с палисадниками и кустами сирени, водоразборные колонки, старые липы. Где-то на горизонте виден был другой город — новый, каменный, он начал строиться давно, когда Дмитрий еще не уезжал отсюда, — но здесь, на окраине, ничего не изменилось и, видимо, жилось так же тихо и медленно.

Брат сидел на крыльце, что-то строгал. Увидев Дмитрия, в изумлении поднялся, шагнул навстречу, забыв положить маленький топорик.

— Димка! Братуха!..

Они обнялись и расцеловались, Дмитрий почувствовал неожиданный комок в горле, он не думал, что Леонид так обрадуется ему, что у самого сладко занает под сердцем от этой встречи, что потом он долго и жадно будет разглядывать дом, огород, комнаты, где почти ничего не осталось от прежнего убранства, и все-таки были они так знакомы и дороги, что казалось, ничего не может быть дороже этого.

Вышли Таня, жена брата, и дети — девочки шести и семи лет, очень похожие на мать, тихие и серьезные. Дмитрий здоровался с ними, что-то говорил, улыбался и все разглядывал Леонида, своего Леньку, и видел, как он не то чтобы повзрослел за этап пять лет, а скорее постарел, у него поредели волосы, появились морщины у глаз, а лицо было чуть желтоватым. Изменилась и Таня, и тоже не к лучшему — стала худой, плоскогрудой, улыбалась она неуверенно, словно сомневалась: а надо ли улыбаться?

Леонид суетился, руки у него ненужно болтались, он явно растерялся от неожиданной встречи, торопливо говорил:

— Ну, проходи, проходи, братуха. Явился наконец-то, а? Вот хорошо ты придумал, молодец! Я уж жду, жду, смотрю, не едет, думаю, может, обиделся на что?

— Ну что ты, Леня, за что обижаться? Времени у меня мало.

— Вот и я думаю, — подхватил Леонид, — обижаться вроде не за что. И я так решил, что некогда тебе, иначе почему, думаю, не едет? Ну, садись, говори, рассказывай. Похудел ты, Дима, похудел... Трудно учиться?.

— Всяко бывает.

— Вижу, что трудно, вижу. Раньше ты справнее был. Ну, ты пока сиди, смотри, я сейчас... того... — он подмигнул, — а потом уж поговорим как следует, потолкуем. Я недолго.

Через полчаса они сидели за густо уставленным столом, под неярким желтым светом абажура, слегка выпившие, ели и говорили. Дмитрий расспрашивал Леонида, а тот даже удивлялся на его расспросы:

— Ты о себе расскажи, у тебя как?

И Дмитрий рассказывал, но что он мог сказать о своей работе? И говорил все больше об Ольфе, какой он замечательный друг и как они хорошо живут и работают вместе.

— Друг — это хорошо, — кивал Леонид. — Но ты о себе расскажи.

Дмитрий пожимал плечами:

— Да что обо мне... У нас ведь тоже... разнообразия немного. Учимся, работаем.

— Где работаете?

— Ну как где? — пытался объяснить Дмитрий, — У себя в комнате, в библиотеке.

— Да что это за работа?

И Дмитрий принимался объяснять, но видел, что Леонид очень смутно представляет, что это такое — их работа. Он кивал, поддакивал, а под конец спросил:

— И сколько вам платят за эту работу?

Дмитрий вздохнул:

— Да ничего не платят. Мы же еще студенты, для себя работаем.

Леонид с недоумением посмотрел на него:

— Что же, так на одну стипендию и живете?

— Нет, почему же. Иногда подрабатываем на складах, на стройках. Ничего, обходимся.

— А как кончите, куда вас?

— Наверно, в Москве оставят или под Москвой где-нибудь.

— На этом будете работать... на реакторе?

— Нет, мы ведь теоретики.

И он пытался объяснить, что физики делятся на теоретиков и экспериментаторов.

Дети уже спали, они сидели втроем, но Таня почти не говорила, пододвигая Дмитрию тарелки, угощала:

— Вы кушайте, кушайте...

И Дмитрий не мог вспомнить, говорила ли она ему когда-нибудь «ты». Лицо у нее было очень усталое, и наконец Леонид сказал, тронув ее за плечо:

— Ты иди, ложись, мы тут сами управимся.

Она запротестовала, но Дмитрий поддержал Леонида, и Таня согласилась:

— Ну, тогда пойду. Что-то я и в самом деле устала. — И робко улыбнулась Дмитрию:
— Вы уж извините.

И они остались вдвоем. Бутылка водки так и стояла недопитой. Леонид весь вечер пил одну рюмку, виновато объяснив:

— Ты не смотри на меня, пей, я ведь не любитель этого дела.

Но Дмитрий помнил, что когда-то Леонид, хоть пьяным и не напивался, при случае выпить не отказывался, и сказал ему об этом.

— Как ребяташки подрастать стали, — объяснил Леонид, — я совсем перестал пить, только по праздникам когда рюмку-две пропущу, и хватит. Добра от водки еще никому не было, а у меня все-таки семья не маленькая... Таня часто болеет, все больше на одного себя рассчитывать приходится. Да и не тянет меня к водке.

— На жизнь-то хватает?

— Сейчас ничего, лучше стало. Я ведь по шестому разряду работаю — так сказать, потолка своего достиг, — улыбнулся Леонид. — Сто шестьдесят в месяц выходит, да дома кому стол или шкаф смастеришь — тоже деньги. И хозяйство, конечно, выручает — свиней держим, мясо всегда свое, картошка, овощи тоже. Нет, сейчас жить куда легче стало.

Леонид робко посмотрел на него:

— Я и тебе мог бы посылать.

— Это ты ни к чему, Лень, — решительно сказал Дмитрий. — Договорились же.

Первый год Леонид раза два посылал ему деньги, но Дмитрий воспротивился этому, знал, как нелегко приходится брату с двумя детьми и больной тещей.

В первом часу ночи Дмитрий вышел во двор, огляделся. Ночь, большая и тихая, обняла его, над головой — яркая белая полоса Млечного Пути, привычный изгиб Большой Медведицы, узкий острый серпик молодого месяца. И тишина была такая, какой он давно уже не слышал, редкий лай собак и шорох деревьев только подчеркивали ее, от этой тишины звенело в ушах, в этой тишине хотелось быть очень добрым, тихим и ласковым, таким, как Леонид, который стоял рядом и молчал.

— Тихо-то как здесь, — почему-то шепотом сказал Дмитрий.

— Да, — отозвался Леонид.

— В Москве никогда не бывает так тихо, даже на рассвете. И такого неба...

— Там, говорят, дыму много.

— Не знаю, — сказал Дмитрий. — Как-то не замечаем. Привыкли, наверно... Ну, давай спать. Ты с утра на работу?

— Да. А ты спи сколько влезет, мешать тебе никто не будет. Девчонки у меня тихие.

— Я с утра на кладбище пойду.

— Могилу сам найдешь?

— Найду.

15

Он думал, что сразу найдет могилу матери, но скоро увидел, что плохо ориентируется в этом красивом, спрятавшемся в тени огромных лип городе мертвых. Кладбище сильно разрослось, и он долго кружил по желтым песчаным дорожкам, вглядывался в кресты и надгробия, пока не увидел знакомый серый обелиск, и почувствовал, как сильными толчками забилося у него сердце.

Он хорошо помнил похороны, серый апрельский денек с мелким морозящим дождем и как с тяжелым гулким стуком падали на крышку гроба первые комья черной мокрой земли. И когда он уходил с кладбища и оглянулся, могила казалась очень унылой, а обелиск и мокрая, тусклая от дождя ограда из черных железных прутьев были лишними. А сейчас заросшая травой и цветами могила выглядела опрятной, ограда недавно была покрашена в голубой цвет.

Он осторожно, словно боясь потревожить мать, открыл калитку и сел на скамейку.

Еще вчера Дмитрий боялся, что совсем забыл мать, но сейчас вспомнил ее всю — рано постаревшее лицо, изрезанное морщинами, горькие складки у рта, всегда усталые глаза и тяжелую походку. В первые дни после похорон он никак не мог примириться с тем, что она умерла, это казалось жестоким, нелепым, неестественным, ведь матери было только сорок шесть лет — в такие ли годы умирать... Слишком жестоко обошлась с нею жизнь, слишком много ей приходилось работать в военные и послевоенные годы, слишком часто она голодала. Она держалась, пока была цель — поднять их на ноги. Она долго и слышать не хотела о том, чтобы Леонид бросил учебу и начал работать, и только когда он клятвенно пообещал, что будет учиться в вечерней школе, она согласилась. Жить сразу стало легче — она уже не надрывалась на сверхурочных, не гнула спину над швейной машинкой. И все-таки выглядела такой же измученной, как и прежде, а спустя полгода и вообще уже не могла работать и вышла на пенсию по инвалидности. Дмитрий кончал тогда девятый класс и летом тоже пошел на завод, хотя и мать и Леонид были против. Но на ее маленькую пенсию и зарплату Леонида жить можно было разве что впроголодь. Это был трудный год для Дмитрия — первый год из тех, когда каждый день до отказа заполнен многочисленными и разнообразными обязанностями. День начинался в шесть часов с пронзительной трели будильника и заканчивался в двенадцать, когда будильник заводился снова, и уже через минуту после того, как рука поворачивала выключатель, Дмитрий спал. Тот год прошел очень быстро, вернее, шел быстро до тех пор, пока Дмитрий думал, что год будет последним в этом городе. Они уже все решили — летом Дмитрий отправится в Москву поступать в университет, а Леонид останется с матерью.

В том, что Дмитрий поступит, никто не сомневался — учился он блестяще. И в тот год, несмотря на усталость и постоянное недосыпание, настроение у него всегда было приподнятое, да и отчего бы ему унывать? Все шло хорошо, даже, можно сказать, отлично, до того солнечного майского дня, когда все потеряло смысл — учеба, работа — и впереди ничего не было, только зыбкие надежды на какой-то неясный благополучный исход. И причиной катастрофы была Таня — робкая миловидная девушка, чем-то похожая на Леонида, такая же добрая и тихая. Они уже год встречались, но никто не думал, что они пожениятся — обоим было по девятнадцать, у обоих на руках семьи, до женитьбы ли? И Леонид никак не решался сказать об этом и наконец начал разговор с того, что не надо беспокоиться, все равно Дмитрий поедет в Москву, это он твердо обещает, о матери он сам позаботится. Дмитрий никак не мог понять, почему он должен беспокоиться, ведь они все решили, о чем может быть речь? А когда Леонид сказал, что Таня беременна и ничего уже не поделаешь, он засмеялся — такое лицо было у Леонида, что впору было его самого утешать. Дмитрий еще не догадывался, что это конец всем его мечтам, и думал, что действительно

как-нибудь обойдется, но понадобилось всего несколько часов, чтобы понять — ничего не обойдется, и, когда на следующий день Леонид снова заговорил об этом, Дмитрий грубо оборвал его:

— Брось дурачком прикидываться! Вы и сами-то вряд ли концы с концами сведете.

Он сразу же пожалел о том, что сказал это, — такое несчастное лицо сделалось у Леонида, — и стало стыдно. Он тронул его за плечо и тихо сказал:

— Прости, я не хотел. Но ведь теперь ничего не поделаешь. Ты же и сам знаешь, что я не смогу уехать.

Он сразу потерял интерес к занятиям. По инерции сдал экзамены, получил аттестат и золотую медаль.

Свадьба Леонида была в июне, и он сразу перебрался к Тане. Дмитрий остался вдвоем с матерью.

Очень длинным было то жаркое лето. Мать несколько раз начинала говорить о том, что ему надо ехать в Москву, плакала, убеждала его, что и одна проживет, незачем ему оставаться здесь. Дмитрий покорно выслушивал ее и наотрез отказывался ехать. Никак он не мог тогда уехать. Мать все больше слабела, быстро уставала даже от самой легкой домашней работы, иногда лежала весь день не вставая, и Дмитрий, возвращаясь домой, сам готовил ужин и кормил ее. Она молча съедала несколько ложек супа и сама не замечала, как время от времени из ее глаз катятся редкие крупные слезы. Плакать она стала часто, но ни на что не жаловалась и к врачам не обращалась.

Но долго, конечно, так продолжаться не могло — Дмитрию было семнадцать, и не так-то просто было убить в нем надежду на перемену в жизни. И однажды после бессонной ночи — это была ночь с субботы на воскресенье — он отправился в библиотеку и набрал книг по математике и физике. Он решил жить просто, не терзая себя бесплодными размышлениями. Ясно, что сейчас он не может уехать отсюда, но ведь когда-нибудь все равно станет физиком, и стоит потратить это время на то, чтобы как можно лучше подготовиться к экзаменам и обзавестись каким-то теоретическим багажом.

И в первые месяцы жить было действительно просто. Очень скоро его занятия стали чем-то неизмеримо большим, чем подготовкой к экзаменам, — о них он уже не думал. Формулы и уравнения открыли ему новый, неведомый прежде мир, и этот мир был куда более значительным и интересным, чем его внешняя жизнь, размеренная и небогатая событиями. Память у него была отличная, и он довольно своеобразно пользовался ею: перед началом работы на заводе бегло прочитывал несколько страниц, не слишком вдаваясь в подробности, набрасывал на листке основные формулы, записывал условия двух-трех задач и потом, на работе, клал листок перед собой и, по его собственному выражению, «включив конечности на самоход», восстанавливал в памяти прочитанные строчки, разбирался в выводах, искал пути к решению задач. (Потом Ольфа не раз поражало то, как сильно развита у него логическая память, и Дмитрий рассказал ему об этом методе подготовки.) Сначала получалось плохо, отвлекали разговоры и шум, но скоро он перестал обращать на это внимание и, случалось, просто не слышал, если ему что-нибудь говорили. На него удивлялись, иногда сердились, но привыкли и к этому, а некоторые откровенно крутили пальцем у виска.

Тогда и установился у него тот режим, который сохранился на годы. Он вставал в два часа ночи и занимался до семи, и это были лучшие часы суток. А дальше все шло само собой — работа, домашние дела, ужин, и в восемь поневоле ляжешь спать, потому что больше уже ни на что не способен. Труднее всего было по понедельникам — все равно что разогревать застывший мотор. Но потом до субботы обычно все шло по расписанию, и жизнь определялась не календарем или какими-то внешними событиями, а тем внутренним ритмом, которого никто, кроме него самого, не ощущал.

Дмитрий и сам не заметил, как сильно изменился он за те несколько месяцев, а вероятнее всего, не придавал значения этим изменениям. Он стал рассеянным, неразговорчивым, его не интересовали окружающие люди и их дела, и в цехе относились к

нему неприязненно, чем он ничуть не огорчился. Его трудно было вывести из себя, он был равнодушен к тем неприятностям, которые иногда случались с ним на работе. Он не скрывал, что ни в грош не ставит эту работу, и ему не прощали пренебрежения к тому, что для большинства значило так много. В конце концов он оказался совершенно один, но нисколько не тяготился этим. Он называл это независимостью и внутренней свободой...

(Спустя несколько лет, когда он впервые почувствует, что нет в мире ничего страшнее одиночества, он вспомнит это время и поймет, что все началось именно тогда, в первый год его «свободы и независимости».) И он продолжал эту жизнь, очень нравившуюся ему, — занятия, работа, занятия... Прежде всего — уравнения и формулы, а потом уже все остальное.

Шли дни, очень похожие друг на друга, была осень, дожди заливали маленький тихий город, и был он в эту пору, как обычно, унылым, серым и грязным, в цехах весь день горел неяркий, утомительно желтый свет; но для Дмитрия эти перемены ничего не значили, если не считать легкого гриппа, который пришелся очень кстати — он пять дней провалялся в постели, отоспался и прочел уйму интересных вещей.

В ту осень он читал две книги — «Мартина Идена» и «Бальзака» Стефана Цвейга. Эти книги помогали ему выдерживать изматывающий темп. Просыпаясь ночью, он бил по голове трясущегося будильника и бормотал ему: «Привет, Мартин». Он с удовольствием прочел бы еще что-нибудь, но на это не было времени. Дмитрий решил, что, как ни хороша литература, пятитомный «Курс высшей математики» Смирнова вещь куда более ценная и нужная, чем сто томов беллетристики. Он как будто забыл, что еще совсем недавно восторженно заявлял: «Написать одну такую вещь, как „Идиот“, и можно спокойно умирать». Но он знал, что никогда не напишет второго «Идиота», а вот стать вторым Ландау — что ж, об этом стоило подумать.

Он многое перестал замечать. И не было уже так больно и горько видеть потухшие глаза матери и ее слезы и измученное лицо Леонида, с которым он виделся все реже и реже. «Тут уж ничего не поделаешь» — эта формула все объясняла и все оправдывала.

И то воскресенье начиналось как обычно: подъем в четыре, обтирание снегом — стояла зима, — кофе, сигарета. Машина завелась с пол-оборота. Несколько тихих, черных за окном часов, бодрящий холод в остывшей за ночь комнате и, наконец, чуть слышные шаги матери за дверью и синий рассвет — надо затопить печку, принести воды, а потом можно снова браться за книги.

Мать сидела на неубранной постели, закутавшись в платок, и он спросил, как спрашивал каждый день, на всякий случай:

— Может, ты ляжешь? Я сам все сделаю.

Он не задумывался о том, какой у него голос и выражение лица и почему мать ответила не сразу:

— Не надо, сынок, я сама. Печку только затопи.

И он растопил печку, принес воды и сразу ушел к себе — очень не хотелось терять время. Кухня была в другом конце дома, и он не слышал, как упала мать, и не знал, долго ли она лежала на полу с посиневшим лицом. Он увидел ее только потому, что проголодался, взглянул на часы и удивился, почему мать не зовет его завтракать, и пошел на кухню. У него тряслись руки, когда он поднимал странно тяжелое тело матери, ведь она была такая маленькая, и не знал, что надо делать, она была без сознания. Наконец догадался сбегать за соседкой, вызвал «Скорую помощь» и поехал с матерью в больницу. Потом он долго ходил по чистому желтому коридору, зажав в зубах незажженную сигарету, и ждал. Наконец ему сказали, что с матерью ничего страшного, все обойдется, только придется недели две пролежать в больнице.

Дмитрий вернулся домой, к своему столу, с раскрытыми книгами, и подумал: а какой во всем этом смысл? И ответ на этот простой вопрос был также прост и страшен: смысл есть, но только в том случае, если мать умрет. Иначе ему еще на много лет придется остаться здесь, ежедневно заниматься опостылевшей работой и — ждать какого-то конца... Но теперь

в слове «какого-то» уже не было прежней спасительной неопределенности. Конец мог быть только один...

Несколько дней он не прикасался к учебникам. Работал, спал, ходил к матери, думал. А на четвертый или пятый день, ложась спать, он поставил будильник на два часа и заставил себя встать и сесть за стол. Сначала приходилось по нескольку раз перечитывать одно и то же, прежде чем он мог что-то понять. Но он не вставал из-за стола, пока не приходило время идти на работу.

И когда мать вернулась из больницы, ничего не изменилось. Он по-прежнему много занимался, работал, и когда с матерью случился второй удар — это было через год, — он принял его довольно спокойно. Он знал, что это должно было случиться, и тут уж действительно ничего нельзя сделать. Знал он и то, что мать может умереть в любую минуту, и заранее смирился с этим. И когда она умерла — неожиданно, после пустяковой операции, — Дмитрий молча выслушал эту весть. Он не плакал ни в те два дня, когда гроб стоял в пустой холодной комнате с занавешенным Зеркалом и остановленными часами, ни на похоронах, ни после. Он почти не разговаривал тогда, много курил и безразлично выслушивал соболезнования знакомых. Пустота внутри была почти осязаемой — словно из груди что-то вынули и забыли положить обратно. Расплакался он в тот день, когда приехал из Москвы, уже зная, что принят в университет, и пришел на могилу матери проститься, — он уже решил, что никогда не вернется сюда...

И сейчас, спустя пять лет, он вспомнил этот день и снова заплакал неожиданными слезами...

С кладбища он возвращался дальней дорогой, через лес. Было душно, на небо быстро накатывались фиолетовые тучи, и лес стоял тихий, приготовившийся к грозе. Дмитрий стал прикидывать, где можно укрыться от ливня, но тут же вспомнил, как в детстве они любили бегать под дождем, и, усмехнувшись, пошел дальше. И когда сильно загудели от ветра вершины деревьев, он разделся, спрятал одежду в кустах и встал на опушке, разглядывая многоэтажное, медленно падающее на лес небо.

Ливень хлынул густой и теплый, это был настоящий потоп, вода падала толстыми косыми нитями, и в десяти шагах уже ничего не было видно — только дождь, и ничего больше. На мгновения в сиреновом свете молний возникали темная сплошная стена леса и черное полотно неба; это было зрелище, при виде которого хотелось орать от восторга и прыгать... И Дмитрий выбежал на середину поляны и действительно что-то заорал, но в рот сразу набилась вода, и он поперхнулся. И было жаль расставаться с грозой, такой недолгой и сильной. Она оборвалась сразу, и шум ее, глухой и широкий, медленно затихал вдали. Выкатилось солнце, неожиданное и яркое. Лес выпрямился, задымился паром. Дмитрий еще немного постоял, вдыхая пьянящий, резко пахнувший озоном и соснами воздух, лотом достал одежду — она все-таки промокла. Он по привычке потянулся в карман за сигаретами, но они размокли, и он тихо засмеялся, подхватил под мышку узелок с одеждой и пошел по дороге.

Приятно было идти босиком по прохладной, обильно вспотевшей земле, исходящей паром. Он выбрался на открытое место, огляделся и беззвучно ахнул, увидев радугу. Это была редкостная, двойная радуга, дуги ее были широки и огромны: ярко-желтая внутренняя, резкая по краям, и бледно-оранжевая, размытая, разорванная сверху внешняя. Внутри радуги небо было очень светлым, молочным, а снаружи — темно-синим и ярким... Дмитрий долго стоял и смотрел на радугу, до боли в глазах, и побрел напрямик, без дороги, повалился на крошечной полянке, густо окаймленной молодыми елками. Лежа на спине, он смотрел на чистое, бесконечно высокое небо, и было ему так легко, как давно уже не бывало.

Возвращался домой он уже к вечеру, голодный и счастливый. Думалось как-то неясно, сбивчиво, да он и не хотел сейчас никакой определенности и весь отдался этому редкому для него состоянию, когда не нужны четкие формулировки и можно переходить из одного воспоминания в другое, как из комнаты в комнату, или совсем ни о чем не думать, просто смотреть, дышать, жить. И вспомнилось ему только хорошее, радостное, давно, казалось,

забытое, и он удивлялся, как можно было это забыть, и радовался, что все снова вспомнилось.

Ночью, лежа на чистых, пахнувших свежестью простынях, он подумал: а ведь тебе дьявольски повезло, Кайданов... Ведь у тебя отличная, можно сказать, великолепная жизнь. Тебе везло с самого начала даже в том, что ты вырос в семье, где на счету была каждая копейка, и ты рано узнал о таких вещах, как голод и хлеб, и научился серьезно относиться к ним. Тебе повезло в том, что ты хорошо знаешь, что такое работа, и научился по-настоящему работать. Тебе необыкновенно повезло, потому что уже с шестнадцати лет ты оказался свободным и независимым и знал, что тебе никто не сможет помочь и надо во всем рассчитывать только на себя. Повезло в том, что у тебя есть настоящее, большое дело, которого хватит на всю жизнь, и ты можешь без помех заниматься им. И у тебя есть друзья, настоящие друзья. У тебя хорошая жизнь, человек Кайданов, помни об этом.

На следующий день он уехал. Ему очень хотелось работать, и он знал, что, как только приедет в Москву, будет работать много и хорошо. Он объяснил брату, почему должен ехать, и тот, кажется, понял его.

Поезд уходил поздно вечером, и они долго сидели за столом в комнате, где были открыты окна и пахло зеленью из палисадника, и неторопливо разговаривали. Не было сказано ничего важного, просто решили, что будут чаще писать друг другу, Леонид как-нибудь постарается приехать в Москву, а на будущий год Дмитрий погостит здесь подольше.

16

Лето стояло очень жаркое, днем трудно было заниматься, да мы уже и привыкли работать по ночам, и я вставал в три часа, будил Ольфа, мы выпивали по стакану очень крепкого кофе и расходились по своим комнатам, и я садился за стол, заваленный бумагами и книгами.

Иногда я вставал, чтобы пройтись по комнате и размяться, постоять у окна, покурить и подумать, и слышал за стеной шаги Ольфа. Иногда мы заходили друг к другу на несколько минут, спросить что-нибудь, взять книгу или просто покурить и переброситься двумя-тремя фразами, и я опять оставался один.

Так шло время — почти незаметно, если работалось хорошо, и медленно, если что-то не ладилось.

Обычно мы работали часов до двенадцати, потом шли в столовую, принимали холодный душ и немного разговаривали перед тем, как лечь спать. Вечером мы еще шли в библиотеку, просматривали журналы, иногда ходили в кино или на футбол или просто прохаживались по набережной.

Вот так и шло это лето, и один день был очень похож на другой, и работа вытесняла почти все. Нам никто не мешал, я многое сделал за полтора месяца и был почти уверен в том, что иду по верному пути. Были, конечно, и неудачи, и знакомое ощущение беспомощности, когда не знаешь, что делать дальше, но и это я принимал как должное. Я был уверен, что выход все-таки должен быть, обязательно найдется какое-нибудь решение, надо только как следует подумать и быть очень внимательным, и решение в конце концов действительно находилось, и я шел дальше.

В конце августа мы поехали в Прибалтику. Мы благополучно доехали в общем вагоне. На побережье нам удалось отыскать сравнительно безлюдное место, и мы разбили палатку.

Закончив устройство лагеря, пошли купаться. Вода была холодная, но солнце светило ярко, и, если верить прогнозам, хорошая погода должна была продержаться до конца сентября.

Я смотрел на море и думал о том, какие хорошие дни мы проведем здесь.

Первые три дня мы ничего не делали, только спали, ели и купались. По очереди ходили в поселок за провизией. Разговаривали мало. Я ни о чем не думал и не хотел думать, разве что о том, как хорошо мне жилось в это лето, и мне было легко и спокойно.

Над нами часто летали самолеты, и я замечал, что Ольф подолгу смотрит на белые, медленно расплывающиеся следы инверсий.

— Какой это самолет? — спросил я его однажды.

— Наверно, «МИГ-21», — не сразу ответил Ольф, не поворачивая головы.

— А на каких ты летал?

— Тоже на «МИГах», только девятнадцатых.

— Слушай, а почему ты ушел из училища?

Он помолчал и неохотно сказал:

— Да вот решил, что физика интереснее. Пошли купаться.

К вечеру неподалеку от нас остановилась компания, прикатившая на красном «Москвиче». Двое рослых, спортивного вида парней и две девушки: одна — жгучая красавица брюнетка, другая — тихая, миловидная, совсем почти девчонка. Вечером они устроили шикарный ужин с коньяком и сухим вином. Ольф с раздражением поглядывал в их сторону, а я только посмеивался про себя.

И на следующий день Ольфу не давала покоя эта компания. Искупавшись, он плюхнулся со мной рядом на песок и сказал:

— Скучно, девушки.

Я промолчал. Ольф выждал немного и зло спросил:

— Слушай, Кайданов, зачем мы сюда приехали? Смотреть, как потасканные пижоны донжуанствуют на папашиних кабриолетах?

— Это что — прелюдия к атаке? — осведомился я.

— К какой еще атаке?

— А к такой... Что ты все смотришь на них? Пусть себе веселятся.

— А может, я тоже хочу веселиться?

— Ну так и веселись, кто тебе не дает.

— С тобой, что ли? Не дай бог оказаться на необитаемом острове с таким типом... В первый же день взвоешь.

Он вскочил и пошел купаться.

Вечером, заметив, что он опять то и дело смотрит в их сторону, я спросил:

— Не понимаю, зачем тебе это нужно?

— Что?

— Да эта... очи черные, очи страстные.

Ольф улыбнулся:

— Как ни странно, но меня интересует не эта секс-бомба.

— Разве?

— Представь себе. Тебе не кажется, что та девочка случайно попала в их компанию?

Я с сомнением посмотрел на него.

— Ну, во-первых, девочка не поехала бы в такой вояж...

— А во-вторых?

— Ты несколько преувеличиваешь. Ей не так уж плохо с ними.

— Слушай, может, наведаемся?

— Это еще зачем?

— А что, так и будем друг на друга смотреть?

— А не смотри.

Ольф в сердцах даже сплюнул и повернулся ко мне спиной. Минут через пятнадцать он поднялся и спросил:

— Ну что, идешь?

— Нет.

— Ну, тогда я один пойду.

Ольф направился к ним. Уже через полчаса был в этой компании своим в доску, называл всех на «ты», спел несколько песенок, рассказывал какие-то хохмы, от которых вся четверка заходила в смехе, и я невольно позавидовал умению Ольфа находить со всеми

общий язык. Даже собаки от первого его взгляда начинали махать хвостиком и умильно поглядывать на него... Для меня же сойтись с кем-то всегда было задачей нелегкой. И, по существу, Ольф был единственным человеком, с которым я по-настоящему подружился (уж не наша ли работа тому причина?). Даже с Ольгой отношения у меня были не такие простые и непринужденные, как хотелось бы. Я задумался — почему так? Свойство характера? Удобная отговорка — не более.

Я забрался в палатку, но уснуть не мог. Ольф пришел только в первом часу ночи и стал осторожно укладываться.

— Как ее зовут? — спросил я.

— Светлана, — тут же отозвался Ольф. Он явно выжидал, не спрошу ли я еще что-нибудь, но я молчал, и Ольф заговорил сам: — Знаешь, а она и в самом деле довольно случайный человек в этой компании. Ей всего семнадцать лет. В этом году закончила школу, провалилась в университет, отца у нее нет, мамаша укатила в отпуск и перепоручила ее своей племяннице — этой самой «очи черные, очи страстные», которую в действительности зовут Верой. За ней ухлестывает Алики, тот, что помоложе, но Вера пока держит его на дистанции.

— Тебя они, очевидно, тоже будут держать на дистанции?

Ольф помолчал и серьезно сказал:

— Димыч, не надо так говорить. Я ведь, в конце концов, не хлюст какой-нибудь.

— Извини.

Все следующие дни Ольф пропадал в их компании. Мне тоже пришлось сходить к ним, раза два я сыграл с ними в преферанс, но больше предпочитал оставаться один и уходил куда-нибудь по побережью. А на четвертый день к вечеру я вдруг обнаружил, что в соседнем лагере неестественно тихо. Я посмотрел туда и увидел, что Ольфа и Светланы нет. Через час они вышли из леса и медленно пошли к их лагерю. Встретили их мрачным молчанием. Я разозлился на Ольфа и подумал: все может кончиться тем, что эти спортивные мальчики набьют нам физиономии и будут по-своему правы. Ольф что-то негромко сказал Светлане, она кивнула, а Ольф подошел ко мне. Был он очень серьезным, залез в палатку и позвал меня:

— Димыч, ползи сюда.

И когда я тоже залез в палатку, он спросил:

— Сколько у нас денег?

— Рублей сто сорок, а что?

— Сколько тебе нужно, чтобы добраться до Москвы и протянуть до стипендии?

Я уставился на него.

— Что ты надумал?

— Поехать со Светланой в Ленинград, — невозмутимо сказал он.

— Ты что, серьезно?

— Вполне.

Я молчал. Ольф выжидающе смотрел на меня.

— А она? — спросил я.

— Она согласна.

— Когда вы хотите ехать?

— Сегодня вечером. Они собираются на танцы, а Света откажется.

— А что дальше?

— А дальше мы уедем.

Он сделал вид, что не понял моего вопроса. Я пожал плечами.

— Как знаешь. Я могу оставить себе десятку, в Москве перехвачу у кого-нибудь.

— Оставь двадцать.

Я отдал ему деньги. Ольф сунул их в карман и стал собирать вещи. Я выбрался из палатки и пошел купаться.

Потом мы ждали вечера и не показывались из палатки. Я ни о чем не расспрашивал

Ольфа, и он заговорил сам:

— Понимаешь, Димыч, какое дело... Может, все это покажется тебе блажью, но... у меня такое ощущение, что эта девочка — моя судьба... Никогда у меня такого не было...

— А как же Ольга?

— Я знал, что ты скажешь это... С Ольгой все по-другому было. Я ведь знал, что она уйдет.

— Знал?

— Ну да, она сама сказала мне в первый вечер. Что, как только почувствует, что заболевает, тут же уйдет. Сначала мы даже решили, что не стоит рисковать нашей дружбой, да вот... не удержались.

— Что же она... вообще больше не придет к нам?

— Не знаю... Наверно, нет.

Я едва сдержался, чтобы не наорать на Ольфа, я вдруг остро ощутил, как не хватает мне Ольги, и решил, что, как только вернусь в Москву, разыщу ее.

Ольф виновато сказал:

— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Я уже и сам жалею, что с Ольгой так вышло. Но по-другому получиться просто не могло, поверь мне.

Я промолчал.

Наконец мы услышали, как загудел мотор «Москвича» и через минуту смолк, удаляясь, и тут же выбрались из палатки. Светлана уже шла к нам, издали улыбаясь Ольфу, и с радостью сказала:

— Слава богу, уехали.

Ольф с нежностью погладил ее по плечу и спросил:

— Все нормально?

— Да... — Светлана робко посмотрела на меня и заторопилась: — Я пойду, быстренько соберусь.

Мы молча ждали, пока Светлана соберет свои вещи. Наконец она вышла с чемоданом в руке, Ольф тут же подхватил его, закинул на плечо рюкзак и подал мне руку:

— Ну, дружище, пока. Ты когда отсюда?

— Завтра.

Светлана как-то виновато посмотрела на меня и тихо сказала:

— Не сердись на меня, Дима.

— За что?

Она не ответила, повернулась и пошла.

Они вернулись в первом часу ночи.

Я ждал, что кто-нибудь придет ко мне выяснять, почему Светлана уехала с Ольфом, но никто не пришел.

Утром я встал рано, осторожно, стараясь не шуметь, собрал палатку и вещи. Но никто из них не проснулся.

В Риге я отправил вещи багажом и налегке пошел бродить по городу. Уезжать я решил ночью, чтобы легче было договориться с проводниками.

17

Общих вагонов было всего два, и оба переполнены. Билеты на этот поезд распродали еще три дня назад. Я даже не стал разговаривать с проводниками, это было бесполезно. Мне удалось проникнуть в вагон под видом провожающего, и я сразу забрался на третью полку и прижался к стене. Было очень душно, и я обливался потом. Но скоро привык к этому, и меня стало клонить в сон. Когда поезд тронулся и потянуло ветерком из открытого окна, я быстро уснул.

Разбудили меня ревизоры. Я сразу сказал, что у меня нет билета, и слез с полки.

— Документы, — потребовал старик ревизор.

Я показал студенческий билет.

— Почему зайцем едешь?

— Не было билетов, — сказал я, — а ждать больше не могу, у нас уже занятия начались.

Ревизор недоверчиво хмыкнул и сказал:

— Пошли.

На первой же остановке они высадили меня. Было пять часов утра.

Станция была маленькая, названия ее я не запомнил, следующий поезд шел только в девять. Я поднял воротник куртки, закурил и пошел в лес. Было очень тихо, и треск сучьев под моими ногами разносился далеко вокруг. Туман окружил меня со всех сторон, и видел я не больше чем на десять шагов. Трава была очень сырая, ноги у меня промокли, и я замерз.

На небольшой полянке я разложил костер, снял ботинки и протянул ноги к огню. Туман еще долго не расходился, и я чувствовал себя словно вне пространства — кругом была белая сплошная стена, отгородившая меня от мира. Времени я тоже не ощущал, его как будто не было. Часы тикали, секундная стрелка равномерно двигалась по своему бесконечному кругу, но этот механизм не имел никакого отношения ко времени. Временем было что-то другое, находившееся внутри меня, и сейчас оно застыло, остановилось.

Я смотрел на огонь и думал о том, что ждет меня в Москве. Работа. Моя теория, о которой я совсем не вспоминал с тех пор, как уехал и оставил на столе бумаги. Я провел несколько великолепных дней, не думая о работе. Я делал самые простые вещи: разжигал костер, готовил еду, купался, загорал, эти действия не требовали и самых ничтожных усилий ума, — и был спокоен и счастлив. Теперь я возвращаюсь к тому, что называю целью и смыслом своей жизни, и тревога сразу охватывает меня. Я знаю, от прежнего покоя и счастья не останется и следа, как только я сяду за стол и прочту первую строчку своих выкладок. Начнется то, что принято называть творчеством. Из того, что уже известно науке, плюс то, что называют талантом, — поскольку другие считают, что таковой талант у меня имеется, примем это за истину, — я должен создать что-то новое, еще не известное людям. Такова цель моей жизни. Все это аксиома, не требующая доказательств. Она начала действовать сразу, как только я стал заниматься физикой. Я сделал первый ход в игре, еще не зная всех ее условий, всех сложностей и тонкостей. Сложности начали выявляться потом. Одна из них — проблема так называемых «радостей и мук творчества». Я читал о них в книгах, знал, с чужих слов конечно, что радость творчества — одна из самых великих радостей, доступных человеку, высшее проявление человеческого духа. Действительно, дарить людям открытия — что может быть благородней? Разве этому не стоит посвятить жизнь? И уж конечно ради этого стоит пройти через муки творчества. Еще один абстрактный термин из сферы духовной жизни человека. Подразумевается, что без мук творчества не может быть и радости творчества. Это тоже аксиома. Ведь открытие нового — это всегда преодоление старого и требует огромных усилий. Но вот вопрос: могут ли быть муки творчества без радости творчества? Первое, что приходит в голову, — такого не может быть. Ведь творчество уже само по себе предполагает какой-то результат. Понятие «бесплодное творчество» — абсурд, чепуха. Если это бесплодно, то уже не творчество. Так кажется на первый взгляд.

Теперь подумаем. Возьмем все ту же знаменитую теорему Ферма. Триста лет математики всего мира доказывали ее. Не доказали. Результата как такового нет. Если быть логичным — радости творчества тоже. Зато мук хоть отбавляй — творческих или нетворческих, какое это, в конце концов, имеет значение? Но придет время, и кто-то докажет эту теорему. Значит, наконец-то появится и радость творчества? А как же те, которые занимались этой проблемой сотни лет и ничего не достигли? Наивно было бы утверждать, что они были менее талантливы, чем будущий счастливый обладатель «радости творчества». Просто состояние науки в их время было таково, что они не могли решить эту задачу имеющимися в их распоряжении средствами. Ведь известно, что открытия никогда не совершаются внезапно. Они подготавливаются всем ходом развития науки. Если открытие назрело — оно будет сделано. Если нет — будь ты хоть трижды гений и работай всю жизнь

не покладая рук, тебе все равно ничего не удастся добиться. Яркий пример тому — великий Эйнштейн. Вот уж никому не придет в голову отказать ему в радости творчества. Еще бы — гениальный создатель теории относительности, прославившийся на весь мир.

Но ведь теория относительности была создана к тысяча девятьсот шестнадцатому году. С тех пор Эйнштейн прожил еще сорок лет, и что же он сделал за этот огромный срок? Ничего. То есть ничего такого, что хоть немного могло бы сравниться с тем, что уже было создано им. А ведь он работал в эти годы так же много, как и прежде. И гений его не ослабел за это время. Но его мозг был занят непосильной задачей — созданием общей теории поля. Эту теорию он так и не создал. Некоторые физики утверждают, что она не будет создана еще в течение ближайших трехсот лет. Не пришло еще время для создания этой теории. Значит ли это, что Эйнштейн зря потратил сорок лет? Кто может сказать это сейчас? А пришло ли время для создания теории элементарных частиц? Кто знает? Тогда какой смысл в этих словах — «радость творчества»? О каких «радостях творчества» может идти речь, если никто — ни ты сам, ни другие — не в состоянии даже приблизительно определить действительную ценность твоей работы? Разве что история науки когда-нибудь все расставит по своим местам... Когда-нибудь... И какое же место будет у тебя? Что толку от этого «когда-нибудь»? Что толку от твоего так называемого таланта, если он будет растрачен впустую? «Ничтожны твои шансы на успех, но разве только твои?» — вспомнил я слова Аркадия. А разве от этого легче?

Опять возвращаешься к тому, с чего начал, — стоит ли игра свеч. Может, еще не поздно смешать фигуры и начать новую партию? Предпочесть синицу в руках журавлю в небе? Наплевать на все эти «муки и радости творчества», стать исполнителем чьей-то воли, делать что-то конкретное, наверняка полезное и нужное людям, а не тратить себя на радужные химеры.

Если бы можно было не думать об этом, только работать, работать, не тратя сил на бесплодные сомнения. Как те чудачки не от мира сего из лживых легенд об ученых. Как много этих легенд! В этих легендах ученые ходят небритые, забывают о еде, пишут свои гениальные уравнения на салфетках и полях книг, а перед смертью оставляют человечеству яркие афоризмы, свидетельствующие об их одержимости. «Не трогай моих чертежей!» — и возникает легенда о Пифагоре. «А все-таки она вертится!» — и готова легенда о Галилее. Можно подумать, что эти гениальные чудачки жили только ради своих уравнений и формул. Может быть, это и так... Но я-то наверняка не гений. Да и вряд ли это верно. Живое может жить только ради живого, а не ради абстрактных идей. Чтобы жить, надо от кого-то брать, надо отдавать самому. От кого же брать мне? Кому я должен отдавать себя? Людям? Но ведь люди — это прежде всего какой-то конкретный человек, родной, близкий, который нужен тебе и которому ты очень нужен. Кому нужен я? Кто ждет меня в Москве?

Я взмолился кому-то: сделай так, чтобы я всегда, был кому-то нужен! Чтобы мое существование стало для кого-то событием, необходимостью, тем единственным светом в окошке, без которого невозможна жизнь человеческая... Иначе зачем я?

Костер погас. Я надел ботинки и пошел на станцию.

18

В Москве первые два дня я оформлялся в общежитие и отсыпался. Нам дали другой блок, я перетаскивал все вещи и книги и еще полдня не спеша разбираю их.

Но вот пришло утро, когда все дела были закончены и можно было приниматься за работу.

Я начал с того, что перечитал все, что было сделано раньше.

Читал медленно, делал заметки и ставил на полях вопросительные знаки, заглядывал в книги и справочники и к вечеру дошел до того места, где остановился перед тем, как уехать в Ригу. Прочел самую последнюю строчку своих выкладок и поставил жирную точку. Дальше ничего не было — только чистая белая бумага.

Я встал и прошелся по комнате.

Мне показалось, что я схожу с ума.

Я не верил ничему, что было написано в этой груде бумаг. Ни одному уравнению, ни одной формуле. Все чушь, детский лепет. Нет никакого смысла заниматься этим дальше.

Я закурил и, когда подносил зажженную спичку, увидел, что у меня дрожат пальцы. Спокойно, приказал я себе. Спокойно...

Взял чайник, пачку кофе и пошел на кухню. Я так тщательно проделывал простейшие операции по приготовлению кофе, словно от них зависела моя жизнь. И нес чайник так осторожно, как будто это была бомба.

Выпил стакан кофе и стал думать. Что же, в конце концов, случилось? Ничего. Абсолютно ничего не случилось. Нет никаких оснований для паники. Я не должен не верить. Ведь все это неоднократно проверено — и мной, и Аркадием — и не должно вызывать никаких сомнений. Здесь все правильно. Все? Да, все, если не считать закона сохранения комбинированной четности... Вот в чем все дело. Но ведь с этим тоже решено. Все обдумано вместе с Аркадием, и принято единственно приемлемое, самое разумное решение. Самое разумное... «Достаточно ли безумна эта идея, чтобы быть верной?» Знаменитая фраза Нильса Бора. Подумаем. Итак, если поверить Бору, чтобы добиться действительно чего-то важного, логике разума следует предпочесть логику безумия. В моем случае, следуя этой логике, нужно поверить своим результатам. То есть согласиться с тем, что закон сохранения комбинированной четности неверен. На минутку допустим, что это так. Что дальше? Восстать против закона, принятого всем научным миром, против всей армии физиков, доказать им, что прав я, а все они ошибались...

Я засмеялся. Для этого действительно надо быть сумасшедшим. Но ведь подобные истории уже случались. Когда Дирак вывел свое уравнение для электрона, он получил еще одно, «лишнее» решение, которое не подтверждалось никакими экспериментальными данными. Следуя логике разума, все физики решили, что это просто фокусы математики и «лишнее» решение нужно отбросить. Но Дирак предположил, что это «незаконное» решение описывает какую-то еще неизвестную частицу, и в конце концов оказался прав. Спустя четыре года эта частица — позитрон, первая из ряда античастиц, — была обнаружена. А история с мезонами Юкавы...

Стоп. Аналогия с позитроном не совсем удачная. Ведь Дирак никого не опровергал, он просто открыл новое. Если кто-то и пытался доказать, что позитрон не существует и существовать не может, то это были просто голословные утверждения, ничем не подкрепленные, кроме все той же логики разума. Но в основе закона сохранения комбинированной четности — сложнейшие эксперименты с кобальтом-шестьдесят, проведенные еще в пятьдесят шестом году. С тех пор прошло семь лет, и ни у кого не возникло сомнений в правильности этого закона. В моем случае куда более уместна другая аналогия.

Когда физики обнаружили, что при бета-распаде исчезает энергия, никто всерьез не стал опровергать закон сохранения энергии. Все предпочли логику разума и приписали «украденную» энергию новой элементарной частице — нейтрино. Пришлось ждать двадцать пять лет, прежде чем нейтрино было обнаружено экспериментально, но опять-таки никто не посягнул на закон сохранения энергии. Разум восторжествовал над безумием... Да ведь и Дирак ввел позитрон только потому, что иначе его уравнение противоречило бы закону сохранения энергии! Оказывается, у безумия должны быть какие-то границы...

К черту!

Я отшвырнул листки и встал. Выпил еще стакан кофе и пошел в кино.

Несколько дней потом я просидел в читальном зале. Просмотрел все новые журналы и книги, поступившие в последний месяц. Приступая к очередной статье, не мог избавиться от какого-то странного чувства, очень похожего на страх. Мне казалось, что каждое новое сообщение имеет самое непосредственное отношение к моей теории, и я просто обязан пересмотреть всю свою работу и как-то учесть эти изменения. Вся физика представлялась

мне чем-то единым и монолитным, пронизанным миллиардами нервных волокон, и малейшее возбуждение хотя бы одного из них мгновенно передавалось всему этому огромному живому телу и вызывало какие-то неизвестные мне изменения. Я видел связь между вещами, как будто совершенно несвязуемыми. Однажды даже в коротенькой заметке о сверхпроводимости мне почудилось что-то такое, что должно иметь отношение к элементарным частицам. Но самое главное, что не переставало мучить меня, — все тот же закон сохранения комбинированной четности. Снова тщательно перечитывал работы Ли и Янга и отчеты об экспериментах Ву с кобальтом-шестьдесят. Я восхищался их безупречной логикой, и мои построения казались мне все более ничтожными и незначительными...

19

Через два дня приехал Ольф. Я не ожидал его так скоро и удивился, когда он вошел ко мне, — это было в семь часов утра. Он выглядел очень усталым, похудел и даже как будто постарел.

Он сбросил рюкзак и протянул мне руку:

— Привет, Кайданов.

И тяжело сел на диван.

— Есть хочешь? — спросил я.

Он кивнул. Я выложил на стол колбасу, хлеб и пошел на кухню подогреть чай. Когда я вернулся, Ольф спал, уронив голову на руки.

Я принес чайник и тронул Ольфа за плечо. Он вздрогнул, провел рукой по лицу и стал есть. Я ни о чем не стал расспрашивать его. Потом мы закурили, Ольф несколько раз подряд глубоко затянулся, погасил сигарету и встал.

— Пойду спать, старик... Понимаешь, такое дело — двое суток почти не спал.

Я ушел в читалку и просидел там до вечера. В восемь часов пришел Ольф и сказал:

— Пошли.

Я молча поднялся и пошел за ним.

Стол был накрыт в моей комнате. Бутылка сухого вина и закуски. Мы выпили, и Ольф спросил:

— Как ты думаешь, чем закончилась моя поездка?

— Ничем.

Ольф даже побледнел. Несколько секунд он молча смотрел на меня и тихо спросил:

— Почему ты так думаешь?

Я пожал плечами.

— Ты и тогда так думал, что все кончится ничем?

Вид у него был растерянный и какой-то жалкий. Я встревоженно спросил:

— А что случилось?

— Почему ты думал, что это кончится ничем?

— Да что случилось, бога ради? — не на шутку испугался я.

— Да в том-то и дело, что ничего не случилось! — выкрикнул Ольф. — Ничего! Встретились двое, провели несколько веселых деньков и расстались! Но ты так сказал это слово «ничем», как будто ничего не могло и быть! А почему не могло, я тебя спрашиваю? Неужели я такой, что все мои встречи с женщинами должны вот так и кончаться — ничем?

Он уже кричал на меня.

— Почему это так должно кончаться? Разве я не могу кого-то полюбить? Я же нормальный человек, у меня две руки, две ноги, одна голова и одно сердце! Что ты так смотришь на меня?

— Долго не видел, — сказал я.

— Сам знаешь, я не сторонник душевно-кровавых излияний, но сейчас постараюсь высказать тебе все... В общем, то, что было в эти пять дней... Понимаешь, что случилось... То есть ничего не случилось, если, конечно, не считать того, что я понял, что не могу, не

умею любить... Я, взрослый двадцатилетний мужчина, до сих пор не смог понять того, что для нее, семнадцатилетней девочки, было азбучной истиной. Смешно, да?

— Нет, — сказал я.

— У меня такое ощущение, — с усилием продолжал Ольф, — что эти пять дней рассекли мою жизнь. Надвое, натрое — уж не знаю, но то, что начинается сейчас... для меня как земля неведомая. И куда идти, как жить дальше — не знаю. Без нее не могу, а она... она сказала, что не хочет больше видеть меня. Вот... — Ольф, зажав между колен сцепленные руки и покачиваясь из стороны в сторону, смотрел на меня.

Я тихо сказал:

— Ольф, не надо так.

— А как надо? Скажи, если знаешь.

Я промолчал. Ольф вдруг поднялся и ушел к себе в комнату. Я подождал несколько минут и пошел к нему. Ольф сидел за столом, обхватив голову руками, и мне показалось, что он плачет. Я тронул его за плечо, и он сказал, не поднимая головы:

— Димыч, а тебе не кажется, что мы... неправильно живем?

— Кажется.

— А я вот... только сейчас это начинаю понимать. А как же все-таки правильно-то надо, а?

— Не знаю, — сказал я.

20

С каждым днем мне все труднее становилось работать. Я быстро уставал, чаще ошибался и уже не мог избавиться от гнетущего чувства неуверенности. Иногда я часами просиживал над чистым белым листом бумаги и не мог написать ни строчки. Когда-то этот лист бумаги представлялся мне чем-то вроде экрана, на котором я в конце концов увижу четкие контуры своей новой теории. Теперь экран превратился в обыкновенное матовое стекло, сквозь которое я тщетно пытался что-нибудь рассмотреть. Ничего. Ничего, что подтверждало бы мою правоту или опровергало мои построения. Было такое ощущение, словно я повис в пустоте вместе со своей теорией и мне совершенно не на что опереться. Безразличное равновесие — так это называется в физике, — и достаточно малейшего толчка, чтобы столкнуть меня куда-то. Но куда — к победе или к поражению?

И скоро такой толчок произошел.

В начале октября пришел Аркадий и молча положил передо мной увесистый том. Это был стенографический отчет о Стэнфордской конференции по элементарным частицам. Я с каким-то суеверным страхом посмотрел на него и перевел взгляд на Аркадия:

— Есть что-нибудь новое?

Он как-то странно взглянул на меня.

— Конечно. Иначе за каким дьяволом все эти конференции?

— А именно? — как можно спокойнее спросил я.

— Сам увидишь. Я успел только бегло просмотреть, — уклончиво ответил он, не глядя на меня, и я понял, что дела мои плохи.

— Ну ладно, — сказал я. — Когда вернуть этот кирпич?

— Не к спеху, — проворчал Аркадий, поднимаясь. — Если что — заходи, я весь вечер дома.

Конец веревки, протянутый утопающему. Но ведь давно известно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Аркадий ушел, а я тут же взялся за отчет. Большинство докладов было на английском языке. Я просмотрел заглавия. Три статьи были отмечены карандашом, — вероятно, это сделал Аркадий. Все три доклада были посвящены теории моделей, основанных на полюсах Редже. Вот, значит, как выглядит мое поражение...

Я принялся за один из этих докладов. Читал спокойно, стараясь ничего не упустить. И,

прочитав последнюю строчку, удивился тому, что ничего не испытываю. Никакого разочарования, никакой горечи. А ведь это была настоящая катастрофа. Теория Редже благополучно преставилась, исполнив свое назначение. Она вызвала немало плодотворных идей, помогла возникновению новых теорий — верных, неверных, кто может сказать это сейчас? — и вот ее решительно отбрасывают прочь, как ненужный хлам. Упокой, господи, душу твою. Аминь.

Ну, а мне тоже говорить «аминь»? Ведь я тоже использовал теорию Редже в своих расчетах, и не раз... О мертвецах не принято говорить плохо. Их надо хоронить с подобающими почестями и возложением венков. Что ж, на Стэнфордской конференции теории Редже отслужили великолепную заупокойную обедню. Там много говорили о заслугах покойного. Теперь этим придется заняться мне. Конечно, погребение будет куда более скромным. А может быть, еще не все потеряно?

Я посмотрел другие статьи. Нет, все то же.

Оставалось еще одно слабое утешение. Нужно просмотреть все сначала, всю работу, и, если необходимо, заменить теорию Редже чем-нибудь другим. Ведь это же всего один из инструментов, которыми я пользовался. Очень важный и изрядно сложный инструмент, но в принципе вполне заменимый. Нужно только как следует поработать, чтобы найти полноценную замену. Может быть, заменить теорию Редже методом дисперсионных соотношений. Он ведь уже не раз выручал меня. Я усмехнулся. Как следует поработать! Сейчас даже трудно представить, как много будет этой работы. А все-таки — сколько? Год? Вполне возможно. Всего один год — много это или мало? Чтобы вернуться к тому, на чем остановился сейчас, — убийственно много. А там будет еще одна конференция и, может быть, еще одно сообщение о кончине теории имярек. А что, собственно, в этом странного? Такова жизнь. Такова научная жизнь. Ведь все это в интересах Науки, «из сотни путей, ведущих к истине, еще один испытан и отброшен, и осталось только девяносто девять» — так, кажется, говорили герои одного очень современного фильма об очень современных физиках. Блестящая формула — такова жизнь! И да здравствует, если она такова! Неважно, что в конце концов она может оказаться безрезультатной. Зато она «творческая», «всегда в поиске», «насыщенная событиями», «захватывающая», «интересная». Так любят писать в книгах об ученых и в статьях об одержимых наукой. А что, может быть, это и верно? Виват, молодые исследователи! Так держать! Не падать духом! Самое главное — не падать духом. Ведь вы борцы, бесстрашные искатели истины. Ну, а если все-таки страшно? Страшно, что когда-нибудь начнешь подводить итоги этой «творческой и захватывающей» жизни и увидишь, что все время шел по этим девяноста девяти путям, которые вели к истине и не привели к ней?

Я машинально перелистывал отчет, иногда читал две-три строчки, приглядывался к формулам, и мне было как-то уж очень спокойно. Как будто и не случилось ничего...

Взгляд мой скользнул по картинке. Странно было видеть ее после сотен формул, уравнений, графиков... Я стал разглядывать ее. Семь человеческих фигур с лопатами в руках на дне разрытой ими ямы. Все окружили небольшую пирамиду и задумчиво смотрели на нее. И подпись: «Если это то, что я думаю, то давайте засыпем и забудем все». Я стал читать весь текст. Это было заключительное слово председателя конференции. А картинка символически изображала настроение, царившее в Стэнфорде. Пирамида — это и была теория элементарных частиц. «Если это то, что я думаю, то давайте засыпем и забудем все». А вы, оказывается, шутники, господа теоретики. Правда, ваш юмор несколько мрачноват. Ну что ж, и это утешение. По крайней мере, не мне одному страшно... Все, с меня хватит.

Я захлопнул отчет, пошел к Аркадию. Он лежал на диване и курил. Я небрежно шлепнул отчетом о стол и сел у него в ногах.

— Ну? — спросил он. — И что же ты собираешься делать?

Я пожал плечами.

— Не знаю. Наверно, жить.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся:

— Простите, а что же ты делал раньше?

— Раньше? — серьезно переспросил я его. — Сейчас подумаю. Первые девятнадцать лет я почти ничего не делал. Сначала получал в школе отметки и почитывал книжки, потом зарабатывал себе на жизнь и опять-таки почитывал книжки. Потом полмесяца был счастливым кретином, который никак не мог понять, каким чудом он попал в этот храм науки... Потом появился ты со своими паршивыми элементарными частицами, и я решил, что моя миссия — это научные подвиги и добывание истины во славу свою и человечества. Я стал трудиться в поте лица, но почему-то вместо «а» у меня всегда получалось «бэ», а вместо «бэ» — «мэ». А еще я иногда высоким штилем рассуждал о том, в чем назначение человечества и каково мое место в нем. Вот так я и дожил до двадцати пяти неполных лет...

Аркадий даже не улыбнулся.

— Ну, и до чего ты дорассуждался?

— Это о чем?

— О назначении человечества и твоём месте в нем.

— Аа-а... Да в общем все то же. Совершать научные подвиги — что же я еще могу делать? А когда они не получаются, надо, наверно, плюнуть на все и жить так, как живется. Так что я сейчас пойду поем, потом посплю, а потом...

— Перестань юродствовать, — спокойно прервал меня Аркадий.

— Ну ладно. — Я встал. — И в самом деле хватит. Пойду я, Аркадий. Ты не обращай внимания на мой треп. Сам знаешь, что никуда я от этой... науки не уйду, хотя бы потому, что ничем другим я заниматься не способен.

В дверях я столкнулся с женой Аркадия Ниной. Наверно, такое уж было у меня лицо, что она страдальчески сморщилась и протянула:

— Ой, Дима...

И положила мне руки на плечи.

— Ты только не убивайся так. Ну что же теперь делать, если так получилось...

И мне захотелось уткнуться ей в грудь и расплакаться. Я сколько угодно мог хорохориться перед Аркадием, но устоять перед женской лаской было намного труднее. Я попытался улыбнуться.

— Постараюсь не убиться.

— Не шути так, — с тревогой сказала Нина. — Знаешь что? Приходи сегодня вечером к нам. И Ольфа приведи. Только часов в девять, не раньше, пока я Сережку уложу. Посидим, поговорим. Давно ведь не собирались вместе. Придете?

— Не стоит, наверно, — сказал я. — Четыре физика в одной компании — слишком густо. Как-нибудь в другой раз.

Я зашел за Ольфом, и мы отправились в профессорскую столовую. Я заказал роскошный обед.

— У тебя что, праздник? — любопытствовал Ольф.

— Ага, — сказал я. — Большущий праздник.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Празднуется поражение, — пояснил я. — Знаешь, люди, по-моему, совершенно напрасно празднуют удачи. Удача хороша и сама по себе. А вот поражение... Ты знаешь, что такое поражение? О нет, вы не знаете, что такое поражение! — торжественно продекламировал я. — Это колыбель всех побед, мать всех открытий, квинтэссенция всего сущего и живущего, в жизни всего дающего, взятки ни от кого не берущего, коньяка никогда не пьющего, багажа и имущества не имеющего...

— Передай перец, пожалуйста, — перебил меня Ольф.

— О, пожалуйста.

— Выкладывай, в чем дело.

Я коротко рассказал. Он внимательно выслушал меня и сказал тост:

— За победу!

Когда мы вернулись, я сразу лег спать, хотя не было еще восьми. Я проспал часов

двенадцать и еще немного полежал, прежде чем встать. Торопиться было некуда. Странное это было ощущение — не надо вставать и садиться за работу, не надо куда-то спешить, и времени сколько угодно, делай с ним что хочешь. Даже на факультет идти не надо — все заняты своими дипломами, а мне и об этом беспокоиться не стоит. Моей работы хватит, пожалуй, на полдюжины дипломов. Надо будет только аккуратно переписать несколько десятков страниц.

Я сходил в столовую, почитал газеты, послонялся по коридорам и зашел к Ольфу. Он работал. Мы немного потрепались, и я видел, что Ольф ждет, когда я уйду, чтобы снова взяться за работу. Я вернулся к себе и стал смотреть в окно. Шел дождь...

Дожди шли весь октябрь. Я почти никуда не выходил, много спал и целыми днями читал, лежа на диване. Я давно уже не следил за тем, что появлялось в журналах, и сначала читал все подряд, но потом взялся перечитывать старые вещи — Шекспира, Достоевского. Длинный был этот месяц — октябрь. Очень длинный и дождливый. Солнце почти не показывалось, и мне хотелось уехать куда-нибудь. Но я не мог этого сделать — не было денег.

Не было ни денег, ни работы — только время и книги.

Однажды пришел Аркадий и принес с собой несколько журналов. Он просто положил их на стол, и мы немного поговорили о том о сем, и он словно невзначай открыл один из журналов и стал просматривать его, не прекращая разговора. Потом замолчал и выжидающе посмотрел на меня.

— Ну? — спросил я. — Хочешь что-то сказать?

— Да. Посмотри-ка вот эту статейку.

И он протянул мне журнал. Я бегло просмотрел уравнения и выводы. Ничего особенного — обычная работа по теории К-мезонных распадов. И опять эти проклятые «возможно», «вероятно», «можно полагать»...

— Ты хочешь, чтобы я этим занялся?

— Да.

— Почему именно этим?

— Мне кажется, что это подойдет тебе лучше всего.

Я молча смотрел на него, потом опять стал читать статью. Что ж, может быть, Аркадий прав. Надо ведь чем-то заняться. Попытаться превратить одно из этих «возможно», «вероятно» во что-то определенное и более или менее бесспорное. Почему бы нет?

Я хладнокровно взвешивал все «за» и «против». Работа как работа. Вероятно, не хуже и не лучше, чем многие другие. Можно попытаться.

Я бросил журнал на стол.

— Ладно, я посмотрю. Может быть, я и займусь этим.

Аркадий ушел, а я стал думать о том, что он сказал мне. Наверно, все-таки нужно взяться за эту работу. Нельзя же все время читать Шекспира и Достоевского. Нужно когда-то начинать работать.

А работать не хотелось. Ладно, потом еще подумаем об этом.

И я снова взялся за Шекспира и вдруг словно споткнулся, прочитав:

...жизнь — это тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И вмиг исчезнувший.
Это повесть, Которую пересказал дурак.
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.

Я закрыл книгу и встал. «В ней много слов и страсти, нет лишь смысла...» Только этого мне и не хватало. Сейчас я начну раздумывать о том, много ли в моей жизни было слов и страсти и есть ли в ней смысл. Нет уж, хватит с меня. Достаточно я нарасуждался о смысле жизни. Не стоит пережевывать эту жвачку. Все равно, сколько бы я ни рассуждал, никто и

ничто не убедит меня в том, что жизнь бессмысленна. Это было бы слишком удобно — рассуждать о бренности бытия, приводить в свое оправдание цитаты из Шекспира и ничего не делать. Это не для меня. Надо работать.

Я сел за стол, стал читать журналы и делать выписки. Составил длинный список литературы, которую надо будет просмотреть, и вечером отправился в библиотеку. Внимательно и добросовестно читал все, что нужно было узнать. Плохо было только то, что все это нисколько не волновало меня. Все равно что брак по расчету, невесело подумал я. Ну что ж, пока придется примириться с этим. Может быть, потом и сыщется моя любовь. Найдется какое-нибудь уравнение, которое вдоволь помучает меня. Наверняка возникнет какая-нибудь идея и завладеет мной. Только не стоит слишком задумываться над тем, к чему это может привести. Может быть — к победе, может быть — опять к поражению. Лучше думать о том, чтобы как можно меньше делать ошибок, если уж нельзя совсем обойтись без них.

21

И такая идея действительно пришла. И когда прошел год, я все еще работал над распадами К-мезонов. Я не знал, долго ли еще продлится моя работа и чем она закончится. Я старался не думать об этом и редко вспоминал о той жестокой неудаче, которая постигла меня с первой работой. Такие воспоминания не прибавляют мужества.

Событий на этот год было немного. В январе прошумело сообщение об открытии новой странной частицы — омега-минус-гиперон. Это был блестящий успех «восьмеричной» теории Гелл-Манна и Неймана, предсказавших существование этой частицы. Они даже описали ее свойства, и эксперимент с точностью до одного процента подтвердил их предположения. Физикам показалось, что наконец-то они ухватились за ниточку, которая поможет распутать весь клубок. Но в конце концов теория «восьмеричного пути» не оправдала этих надежд.

Зимой Ольф ездил в Ленинград к Светлане и пробыл там две недели. Когда я спросил его, чем закончилась поездка, он неопределенно улыбнулся:

— Да я и сам не знаю... Надеждами, наверно. Решили, что попытаемся совместными усилиями подремонтировать наши отношения.

— Как она живет?

— Работает на заводе, много занимается. Будет опять поступать. Мы решили пока довериться почте, а ближе к лету встретимся где-нибудь.

Летом я остался в Москве и работал.

А потом мне опять пришлось вспоминать о неудаче, постигшей меня год назад.

Конец августа и весь сентябрь я работал под Москвой, на строительстве овощехранилища, и возвращался домой веселый, весь обросший, в грязной залатанной куртке и развалившихся ботинках, один из них даже пришлось связать куском проволоки, чтобы подошва совсем не отвалилась. Должно быть, я представлял странное зрелище — прохожие удивленно поглядывали на меня, но я только посмеивался в бороду. Настроение у меня было превосходное. Мне не терпелось поскорее добраться до общежития и увидеть Асю, с которой я неожиданно встретился в апреле после семилетнего перерыва. А потом... Потом будет великолепно. Я буду встречаться с ней ежедневно и буду работать. Ох, как мне хотелось скорее взяться за работу! Я соскучился по своим уравнениям до того, что они снились мне по ночам.

Я невольно улыбался, вспоминая телефонный разговор с Асей. Я позвонил ей с вокзала, и, когда услышал в трубке ее голос, у меня вдруг отчаянно заколотилось сердце, и я не сразу сказал ее имя. Я и сам не подозревал, что так стосковался по ней.

— Ди-има... — медленно сказала Ася. — Ты приехал...

И столько ласки было в ее голосе, что я совсем растерялся.

— Ася, — не сразу выговорил я и еще раз: — Ася...

Она тихо засмеялась.

— Где ты?

— Я на вокзале, только что приехал, — заторопился я. — Сейчас поеду в общежитие, приведу себя в божеский вид и сразу к тебе, можно? Ты не очень занята?

— Ну конечно, можно.

— А потом ходим куда-нибудь и поужинаем.

— Все, что хочешь... А долго ты будешь приводить себя... в божеский вид?

— Ну... полчаса, минут сорок.

— Тогда знаешь что? Лучше я к тебе приеду. Потом вместе что-нибудь придумаем. Хорошо?

— Да, конечно... Ася...

— Что, милый?

— Скажи еще раз.

— Что?

— То, что ты сказала сейчас.

— Ми-лый...

Я молчал.

— Иди, Дима, — сказала Ася. — И жди меня в шесть.

И она повесила трубку.

Я поехал в университет. Не заходя к себе в комнату, я сразу позвонил Аркадию. Он недавно получил квартиру и жил теперь в преподавательском корпусе. В августе в Дубне была очередная конференция по физике элементарных частиц, а я еще ничего не слышал о ее результатах, и мне хотелось хотя бы коротко узнать, что там было нового. Мне стало как-то не по себе, когда я стоял в телефонной будке и набирал номер. Я сразу вспомнил, какой сюрприз преподнесла мне Стэнфордская конференция. Что скажет Аркадий сейчас? Он сам был в Дубне, и я просил его достать все материалы, относящиеся к моей работе.

К телефону подошла Нина и сказала, что Аркадий скоро будет. Я вздохнул с невольным облегчением. Ладно, потерплю до завтра, сегодня будем веселиться.

Я пошел к себе, весело насвистывая и улыбаясь. Прежде чем зайти в свою комнату, торкнулся к Ольфу, но его не было. Ольф не поехал со мной на работу из-за Светланы. Ей опять не удалось пройти по конкурсу, и в сентябре она приезжала к Ольфу. Однажды они заявили ко мне, и мы провели великолепный вечер. Я радовался, глядя на Ольфа и Светлану, — у них явно все шло к лучшему.

Я снял с себя все лохмотья и с наслаждением встал под горячий душ, целый месяц я был лишен этого удовольствия и уже забыл, как это приятно. Я думал об Асе и улыбался. Ася, Асик, Асенька...

Ася пришла без пяти шесть. Она встала на пороге, расстегнула пальто, и я сказал:

— Ух, какая ты...

— Какая? — улыбалась Ася.

— Красивая.

Она насмешливо сдвинула губы:

— Вот этого я до сих пор не знала.

— Разве тебе никогда не говорили об этом?

— Говорили, но редко... И то когда была помоложе.

— А сейчас ты уже старая, да?

— Конечно.

Я помог ей снять пальто. От прикосновения к ее плечам у меня задрожали руки, и мне неудержимо захотелось обнять ее, но я только провел ладонью по ее руке и сказал:

— Я очень скучал без тебя... А ты?

— Я тоже, — сказала она и отвела взгляд. — Куда мы пойдем?

— Может быть, в «Восход»?

— Это та самая шашлычная, где мы были весной?

— Да.

— Хорошо.

— Тогда подожди еще несколько минут.

И когда мы уже собирались уходить, пришел Аркадий.

Я не ожидал увидеть его сейчас и растерянно поздоровался, уставившись на папку, которую он держал в руках. Я вспомнил свои недавние опасения, и все остальное сразу вылетело у меня из головы.

— Ну, как твои дела? — спросил Аркадий.

Я мотнул головой и пробормотал:

— Нормально. — И протянул руку за папкой. — Это мне?

— Да.

— Спасибо.

Я осторожно взял папку и внимательно посмотрел на Аркадия:

— Есть что-нибудь... такое?

Он улыбнулся:

— Нет, тебе ничего не грозит, насколько я понимаю.

Я с облегчением вздохнул и положил папку на стол.

— А вообще-то интересно было? Много нового?

— Да, есть, — как-то неуверенно сказал он, отвел глаза и заторопился. — Ну, я пойду, не стану задерживать вас.

— Подожди, — я удержал его. — Ты что-то крутишь.

— Да нет, я же сказал, что сейчас тебе ничего не грозит.

— Сейчас? — Я ухватился за это слово. — Ну, допустим, сейчас нет, а потом?

— Да ничего, господи! — как-то неестественно рассердился он. — Я совсем не то хотел сказать.

— А что?

— Вот прицепился. — Аркадий как-то принужденно улыбнулся Асе, словно искал ее сочувствия. — Не успел приехать, все ему выложи. Идите-ка лучше, куда собрались, потом сам все увидишь.

— Да что все? — взорвался я. Я уже понял, что случилось что-то важное, имеющее отношение ко мне, и не мог сдержаться. — Брось ты свои иезуитские штучки! Сейчас разве нельзя сказать?

— Ладно, скажу, — сердито ответил Аркадий. — Черт меня дернул прийти к тебе сейчас. Не хотелось настроение портить тебе.

— А без предисловий нельзя?

— Можно. Так вот, на конференции были Кронин, Фитч и вся их компания. Они сделали доклад, я прихватил его для тебя. В общем, если коротко — они экспериментально обнаружили двухпионный распад нейтральных ка-два мезонов.

— Двухпионный распад нейтральных ка-два мезонов? — растерянно повторил я. — Но это же невозможно!

Аркадий пожал плечами:

— Оказывается, возможно.

Наверное, что-то странное творилось с моим лицом, потому что Ася взяла мою руку и крепко сжала ее.

— Ну, ты не очень-то расстраивайся, — сказал Аркадий. — Дело прошлое — что теперь думать об этом? Ладно, я пойду. Завтра вечером заходи ко мне, поговорим.

Я машинально кивнул и полез в карман за сигаретами.

Аркадий ушел.

— Что случилось? — встревоженно спросила Ася.

Я опомнился и улыбнулся ей:

— Ничего, Асенька, ничего... Давай поедem, времени уже много. Я все объясню тебе, дай только немного подумать.

Мы оделись и собрались уходить, и тут я увидел папку и взял ее с собой.

Мы молча доехали до шашлычной. Я был подавлен тем, что сказал мне Аркадий, и не мог думать ни о чем другом. Я снова вспомнил все, что касалось моей первой работы, — бессвязные, лихорадочные воспоминания, какие-то куски уравнений, формулы, все, над чем я бился почти три года и что давно забросил, и, казалось, все было основательно забыто, я примирился с поражением, — и вдруг это сообщение... Экспериментально наблюдавшийся двухпионный распад нейтральных ка-два мезонов! Все считали, что это вещь немыслимая и невозможная, ведь этот распад запрещен законом сохранения комбинированной четности — тем самым законом, из-за которого мне в конце концов пришлось поставить крест на своей работе!

Я чертыхнулся и тут же вспомнил, что сижу в автобусе, рядом со мной Ася, мы едем в шашлычную и надо быть веселым и уж во всяком случае — спокойным и сдержанным... Я виновато посмотрел на Асю.

— Если хочешь, давай вернемся, — предложила она.

— Ну вот еще! — с усилием улыбнулся я. — Стоит из-за этого возвращаться.

Мы доехали до шашлычной и сели за столик в нише. Папку я оставил в гардеробе.

Мы заказали ужин, взяли вина и ждали, когда нам принесут. Ася молчала, и я все старался говорить какие-то веселые вещи, но она не улыбалась и смотрела на меня серьезно и внимательно и наконец спросила:

— Ты обязательно должен развлекать меня?

Я замолчал, потом встал и сказал:

— Извини, я сейчас вернусь.

Я пришел в гардероб, взял папку и вернулся. Быстро отыскал доклад Кронина и стал читать. Подошла официантка, расставила тарелки, и я сказал Асе:

— Ешь, а то остынет.

И опять принялся за доклад.

Да, все было правильно. Невозможное оказалось возможным. В течение семи лет закон сохранения комбинированной четности казался неприступной стеной, и вот теперь в этой стене зияла внушительная брешь. Стена не рухнула, но теоретикам придется здорово поработать, чтобы выкрутиться из щекотливого положения. Первый удар был сделан, теперь начнется штурм. И этот первый удар мог быть сделан мной. Ведь я теоретически пришел к тому же выводу, что и группа Кронина. Два совершенно разных пути — и одно и то же решение. Было над чем задуматься.

Я отложил папку. Ася чертила ножом по узорам скатерти. Я налил вино и тронул ее за руку:

— Давай выпьем.

Она улыбнулась и кивнула.

Мы выпили и принялись за еду. Потом я сказал:

— Сейчас я постараюсь объяснить, что произошло. Помнишь, я когда-то говорил тебе о той работе, которую бросил в прошлом году?

— Да.

— Так вот, я был прав тогда. Но не сумел поверить в свою правоту, попросту трусился, а сейчас Кронин и компания пришли к тому же выводу, что и я, — правда, совершенно другим путем.

Я постарался рассказать ей все как можно понятнее и проще. Ася совсем не разбиралась в физике, но главное она поняла.

Я кончил говорить, и наступило тягостное молчание. Я опять взялся за папку и стал просматривать остальные работы. Что ж, Аркадий был прав — мне действительно ничего не грозило. Стэнфорд не повторился... Больше того — даже на глаз было видно, что новые материалы здорово помогут мне в дальнейшем. Так что можно считать, что мне повезло...

В самом конце был заключительный доклад Салама. Я очень любил читать работы этого остроумного физика. В докладе было несколько рисунков. Один из них был уже

знаком мне — та самая пирамида, которая была представлена на Стэнфордской конференции. И та же подпись: «Если это то, что я думаю, то давайте засыпем и забудем все». А на следующей странице — другая картинка. Тоже пирамида, только составленная из камней, и теперь она была направлена острием вниз и держалась на знаке омега. На самом верху несколько человек тянули канат, перекинутый через блок, и втаскивали наверх огромные камни, лежащие внизу, вокруг которых копошились крошечные человечки. Двое древних египтян, мужчина и женщина, такие, какими рисуют их в учебниках по истории для пятого класса, невозмутимо наблюдали за этой возней. И внизу подпись: «Надеюсь, это сооружение продержится до следующей конференции».

Я усмехнулся и показал Асе рисунки.

— Забавно, правда?

Она посмотрела на рисунки, прочла подписи и спросила:

— А что это означает?

Я объяснил ей, и она невесело улыбнулась:

— Скорее грустно, чем забавно.

— Тут еще не такое есть.

Я взял у нее папку и стал читать выдержки из доклада.

— «Идея зашнуровки (Лавлэйс из Королевского колледжа недавно заметил, что она восходит еще к барону Мюнхгаузену) чрезвычайно привлекательна...» Тут Салам в примечании объясняет, откуда взялось это название: «Барон вытащил себя из болота за шнурки собственных ботинок. История свидетельствует, что современники не оценили этого достижения барона». Как видишь, мои высокие коллеги не лишены чувства юмора. Слушай дальше. «Существо ее состоит в предположении об уникальности нашей Вселенной и в том, что требование однозначности вместе с требованиями аналитичности и унитарности достаточно для предсказания наблюдаемых особенностей Вселенной, включая свойство симметрии...» Ну, это для тебя, конечно, сплошная абракадабра, — спохватился я, — но послушай, что он дальше говорит: «Я думаю, что теология и космология в силу самой природы этих дисциплин всегда рассматривают проблему структуры Вселенной именно в таком свете. Для теории же элементарных частиц этот подход представляется новым, глубоким и многообещающим. Я полагаю, среди натурфилософов Вольтер был первым, кто высказал нечто подобное. Вольтер приписывал Лейбницу принцип, согласно которому мы живем в лучшем из всех возможных миров. Кажется, современные физики-теоретики идут даже дальше, считая, что мы живем не только в самом лучшем из миров, но вообще в единственно возможном мире. В хорошую минуту я иногда с удивлением думаю, не замкнулись ли наши принципы в тот уютный круг, с помощью которого доктор Панглос утешал простодушного Кандида. Это — о знаменитом Лиссабонском землетрясении, унесшем тридцать тысяч жизней. Разрешите мне процитировать знаменитого доктора: „Нет следствий без причин, Кандид, и в этом лучшем из миров все необходимо к лучшему, потому что если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть нигде больше; невозможно, чтобы вещи были не там, где они есть, ибо все хорошо“. Как тебе это нравится?

— На этом, чего доброго, и свихнуться можно.

— Слушай дальше. «Возможно, что существует еще одно квантовое число; оно может быть связано с существованием триплетов, несущих целочисленный заряд. Эти триплеты (сакатоны в совершенно новом смысле слова) могут оказаться новой формой стабильной материи. Это перспектива, перед которой трепещет воображение. Однако ко всему этому оптимизму примешивается чувство суеверного страха, вызванного сознанием всей глубины нашего невежества. Мы ничего не знаем о том механизме...» Ну, дальше ты вряд ли поймешь, я пропущу... Ага, вот... «Несмотря на героические усилия сторонников идеи зашнуровки, мы совершенно не представляем, где лежат корни наблюдаемой симметрии, или, может быть, задавать такой вопрос столь же тщетно, как спрашивать, почему пространство-время четырехмерно?! Открытие симметрии сильных взаимодействий — безусловное достижение. Однако когда думаешь о проблемах, которые еще ждут решения,

невольно спрашиваешь себя: не было ли то, что мы сделали, одной из последних сравнительно простых задач в физике? Верно, труднейшие проблемы еще только предстоит разрешить — более глубокое понимание явления еще ждет своего часа...» И наконец, заключительный аккорд: «Предчувствия тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года, может быть несколько гиперболизированно, изображены на фигуре пять...» Вот эта самая пирамида... «Надеюсь, это сооружение продержится до следующей конференции».

Я закрыл папку и тоскливо сказал:

— «Может быть, я думаю, я полагаю, кажется, мы ничего не знаем, мы совершенно не представляем...» И это говорит один из крупнейших физиков-теоретиков современности! Если бы ты знала, как иногда тошно бывает от всей этой неопределенности, неуверенности, незнания... А, да ну, к дьяволу все это. Давай есть и пить...

Ужин мы закончили в молчании.

Я уже не старался казаться веселым и все время думал о том, что узнал в этот вечер.

Мы выпили кофе, я расплатился, и мы вышли.

Я взглянул на часы — только половина восьмого.

— Дима, — сказала вдруг Ася, взяв меня под руку, — мне кажется, что тебе нужно побыть одному.

Я остановился и повернулся к ней.

— Понимаешь, мне бы очень хотелось чем-нибудь помочь тебе, но я вижу, что сейчас только мешаю... Ведь так?

Я молча смотрел на нее.

— Я не хочу ни в чем тебе мешать. Походи, подумай, если нужна буду, позвони или приезжай. Ну... что ты так смотришь на меня? Я ведь не обижаюсь.

— Пожалуй, ты права, — не сразу сказал я. — Кажется, и в самом деле будет лучше, если я побуду один. Мне действительно нужно все как следует обдумать. Одному я только удивляюсь: как ты догадалась об этом?

Ася улыбнулась:

— Ну, это не так уж трудно.

— Какая ты... — я не договорил.

Ася ласково дотронулась до меня.

— Ну, какая я... обыкновенная.

Я проводил ее до автобуса и пошел по улице.

22

Я шел и думал.

Я пытался спокойно разобраться в случившемся. Спокойно, повторил я себе несколько раз. Давай вернемся к тому времени, когда ты вывел уравнение... Итак, оно противоречило закону сохранения комбинированной четности. Когда ты обнаружил это, то высказал самое разумное предположение — что это ошибка. И принял самые разумные и необходимые меры — стал искать эту ошибку. Ее не нашлось. Аркадий тоже ничего не обнаружил. Что дальше? Логично рассуждая, есть только два ответа — либо этот закон верен, либо нет. Вы придумали третий выход — закон верен, неверны какие-то предпосылки, какие-то промежуточные предположения — в общем, что-то такое, что не относится непосредственно к твоей работе. Эту гипотезу высказал Аркадий, а ты с готовностью согласился с ним. Почему? Да потому, что это было удобнее всего. Да что там удобнее, это казалось единственным выходом из положения. Даже у Аркадия не хватило духу предположить, что закон сохранения комбинированной четности может быть неверен. Что же удивительного, что ты сразу ухватился за это предположение. Самый обыкновенный компромисс... А если уж быть более точным — самая обыкновенная трусость... Ну а что было делать? Сейчас-то ответ как будто ясен. Никаких компромиссов. Надо было попытаться выяснить, почему получился этот парадоксальный ответ... Допустим, что я взялся бы за это, что получилось

бы? Вот тут-то Аркадий был прав — это настолько огромная и сложная работа, что я вряд ли справился бы с ней. Такие проблемы не для кустарей-одиночек. В лучшем случае эта работа растянулась бы на годы. И что тогда? Тогда было бы еще хуже. То есть не тогда, а сейчас. Сейчас я вот так же шел бы и терзался тем, что кто-то опередил меня и четыре года работы пропали даром. Так все и было бы. А теперь у меня другая работа, сделано уже немало, и пока ничего не грозит. Парадокс, ведь действительно получается: хорошо, что я струсил. А если бы я сдался раньше, у меня было бы еще больше времени. Вот уж поистине — чем хуже, тем лучше. Все к лучшему в этом лучшем из миров, Кандид... Браво, доктор Панглос. Браво, Салам... Вот только одна маленькая неувязка. Кронин *экспериментально* обнаружил нарушение закона сохранения комбинированной четности. Ведь нет еще ни одной *теоретической* работы, объясняющей нарушение этого закона. Теперь-то, конечно; они появятся, не одна сотня теоретиков набросится на этот лакомый кусок. И первой теоретической работой в этой области могла быть моя работа. Что из того, что у меня были мизерные шансы довести ее до конца? Ведь и вообще-то эти шансы в любой работе невелики. Чуть больше, чуть меньше, значения не имеет. Надо было только набраться смелости, а вот ее-то мне и не хватило. Ну что ж, физика довольно жестоко отомстила мне за трусость. Теперь-то уж не приходится удивляться, что пришлось бросить эту работу. Странно было бы, если бы этого не произошло. Да, теперь-то все кажется ясным... Ну ладно, что дальше? Учесть это поражение на будущее? Эх, если бы... А что толку говорить теперь «если»... К черту!

Тяжело было думать об этом.

Я до ночи бродил по Москве и, когда поднимался к себе на этаж, просто шатался от усталости. Я уже ни о чем не думал, хотелось поскорее добраться до постели и лечь спать. И еще хотелось увидеть Асю. Просто посмотреть на нее, дотронуться, услышать ее голос... Ничего, подожду до завтра.

Я открыл дверь блока и увидел свет в своей комнате. Я подумал, что мы оставили свет включенным, когда уходили в шашлычную, и полез за ключом, но дверь оказалась незапертой, и я ничего не понимал, когда вошел в комнату и увидел Асю. Она сидела, забравшись с ногами на диван, и улыбалась мне.

— Как ты здесь оказалась? — растерянно спросил я.

— Очень просто — пришла, и все. Ольф открыл дверь, и я решила подождать тебя здесь.

— О господи!

Я сел на диван не раздеваясь и наклонился, прижавшись лицом к ее ногам. Ася гладила мои влажные волосы и говорила:

— Я решила, что ты вернешься поздно, и если захочешь увидеть меня, то подумаешь, что я сплю, и не приедешь. Вот и решила подождать тебя здесь... Ты рад?

— И ты еще спрашиваешь? — тихо сказал я, выпрямившись. — Да я и думать не мог, что приду сюда ночью и увижу тебя здесь...

— Почему ты не мог думать? Ведь я знаю, что нужна тебе и ты мне нужен, нам хорошо вдвоем, почему же нам не быть вместе?

— Как ты просто и хорошо говоришь об этом... А мне так много надо сказать тебе...

— Дима, милый, ты все мне скажешь, если захочешь, но зачем же обязательно сейчас? Можешь вообще ничего не говорить, я и так пойму.

И я ничего не стал говорить ей... И были потом ее руки на моем лице, и легкое дыхание, и ее нежность, было все, о чем я мечтал долгие годы, и это пришло, и я знал, что это будет со мной всегда, потому что такое не может пройти.

Он проснулся в десять, сразу поднялся и сел на постели. По привычке потянулся за сигаретами, но пачка была пуста, он смял и отшвырнул ее, сунул ноги в тапочки и пошлепал

к Ольфу.

Ольф ничего не делал, стоял у окна, смотрел на дождь и не сразу повернулся к нему.

— Привет, дружище, — невесело улыбнулся он, разглядывая Дмитрия, и подал руку.

— Привет. Ты что такой кислый?

— А вот дождь, — серьезно сказал Ольф, кивая на окно.

— И только-то? — удивился Дмитрий. — А работа?

Он оглядел стол, пепельницу, полную окурков, усталое, небритое лицо Ольфа и рассмеялся.

— Ты что-то веселый сегодня, — сказал Ольф.

— А почему бы нет? — отозвался Дмитрий. — В конце концов, жизнь хороша, и на дворе солнце.

— На дворе дождь.

— Вот в этом ты жестоко ошибаешься, — возразил Дмитрий. — Дождь — это недоразумение, примитивное атмосферное явление, а ведь там, — он показал пальцем на потолок, — всегда солнце. Все к лучшему в этом лучшем из миров.

— Ну-ну, — хмыкнул Ольф. — Сходи к Аркадию, он просил зайти, как только появишься. Он тебе покажет лучший из миров.

— Уже показал, дорогой, — со смехом ответил Дмитрий. — Ничего он мне больше не покажет.

И он расхохотался, глядя на растерянное лицо Ольфа.

— Ты уже был у него?

— Это он был у меня.

— Ну и ну, — покрутил головой Ольф и улыбнулся уже не так мрачно.

— Что «ну и ну»? — весело спросил Дмитрий. — Думаешь, буду нюнить? Черта с два! Неудача? А мне плевать на нее! За неудачей будет удача, уж это я точно знаю. Я не очень жадный. Если будет одна настоящая удача на десять неудач, и то неплохо. Мы еще только начинаем. Нам, брат, еще долго топтать землю, успеем наделать всяких дел — и хороших, и не очень.

Он подмигнул Ольфу и потянулся.

— Все к лучшему в этом лучшем из миров, а самое лучшее из лучшего — это то, что мы живем. Это же самая большая удача, что мы вообще появились на свет. Как только подумаешь, что этого могло и не случиться... Брр... — Он передернул плечами. — В школе надо появиться или нет, как по-твоему?

— Не обязательно, сегодня пустой день.

— Ну и лады.

Он прихватил еще несколько сигарет, вернулся в свою комнату и быстро оделся. Плеснул на лицо водой, подмигнул себе, сварил кофе и сел за стол. Ему не терпелось скорее взяться за работу. А в шесть он встретится с Асей и... Он даже зажмурился от удовольствия и тихонько засмеялся.

Он долго работал, и тихо было в комнате и за окном, где неслышно и невесомо падал на землю из низких облаков спокойный дождь длинной осени.

А потом пришел Ольф. Дмитрий встал из-за стола, с наслаждением потянулся и с улыбкой сказал ему:

— Ну что, пойдём обедать?

— Да, сейчас, — сказал Ольф, сел на диван и ровным голосом спросил: — Ты ничего не имеешь против, если я займусь твоей работой?

— Моей работой? — опешил Дмитрий.

— Ну да, твоей, — сказал Ольф, разглядывая свои руки.

И только тут до Дмитрия дошел смысл сказанного. Он радостно засмеялся и сел рядом с Ольфом.

— Господи, да какой может быть разговор! Конечно, нет. То есть, конечно, да. Я очень рад, что мы будем снова работать вместе... Но постой, а как же твоя идея?

— Никак, — сказал Ольф. — Моя идея может отправляться к такой-то матери.

Ольф сморщился и сделал жест рукой, словно помахал вдогонку уходящему поезду:

— Скатертью, как говорится.

— Ты застрял на чем-нибудь?

— Как ни странно, нет.

Ольф говорил без всякого выражения, ровным, спокойным голосом и не смотрел на Дмитрия.

— А что же тогда случилось?

— Ничего.

Ольф наконец-то взглянул на него и резко спросил:

— А ты не боишься, что я снова когда-нибудь запою отходную? И сделаю твоей работе вот так...

Ольф повторил свой жест.

— Ну так что, если даже и запоешь? — мягко сказал Дмитрий. — То же самое и со мной может случиться.

— Ну, с тобой-то не случится, — усмехнулся Ольф. — Ты на другом тесте замешен... Ладно, дифирамбы оставим на потом. Так что, можно тащить свои манатки?

— Тащи, — сказал Дмитрий, отводя взгляд. Он увидел, как по лицу Ольфа прошла какая-то судорога, и торопливо добавил: — Давай сходим пообедаем, а потом уж займемся.

Ольф молча поднялся, и они пошли в столовую.

Дмитрий больше не спрашивал, почему Ольф решил бросить свою работу. После обеда Ольф, собирая со стола бумаги и быстро проглядывая их, сам заговорил об этом:

— Понимаешь, Димка, чепуха какая-то... Я, конечно, соврал, что ничего не случилось. Случилось... Я убедился, что не могу работать один. Сначала все было хорошо, пока шла предварительная разведка, прощупывание. А потом началась какая-то чертовщина... Вроде бы и идея неплоха, и ясно, что дальше делать, и начало получаться кое-что, и придраться вроде бы не к чему... А вот как подумаю, что выбор сделан, надо дальше идти только по одному этому выбранному направлению, и руки опускаются. А вдруг выбор-то неверный? Вдруг где-нибудь затесалась какая-то козявочка, из-за которой все потом насмарку пойдет? Ну и все, спекся... Посижу, подумаю, поковыряюсь в уравнениях и начинаю назад перелистывать, искать эту козявочку. Разумеется, ничего не находится, встанешь, чертыхнешься и дотягиваешь до вечера — авось с утра по-другому будет. Иногда и в самом деле по-другому шло. День, два, раз даже целую неделю, — а потом опять как телок на привязи. Разбежался, дернулся, помычал от боли, подержался за шею — и назад, травку пощипывать. Вот так уже месяцев восемь, с начала года... И что-то страшновато становится, как подумаешь, что так всегда будет.

— Это пройдет, Ольф, — сказал Дмитрий. — У меня тоже так бывало.

— Нет, — решительно возразил Ольф. — У тебя так не бывало, я знаю. Если и бывало, то на какие-то минуты, а у меня эти минуты в год почти превратились.

Он небрежно засунул бумаги в ящик стола и со стуком задвинул его, прищепив палец.

— А, черт...

Сморщившись от боли, он помотал рукой и продолжал:

— И знаешь, что я еще хочу сказать... Только, пожалуйста, отнесись посерьезнее к моим словам... Впредь во всем, что будет касаться нашей работы, решающее слово всегда должно быть за тобой. Я, конечно, буду спорить, ерепениться и все такое прочее, но, если тебе надоест со мной возиться или ты не сочтешь нужным убеждать меня, можешь сказать «хватит», и я тут же заткнусь. Я понимаю, что это не очень-то красиво, взваливать на тебя всю ответственность, но ничего другого не придумаешь. Как бы я ни был уверен в своей правоте — наверняка придет такое время, когда я готов буду отступить. Похоже на заранее обдуманную капитуляцию, и ты можешь, конечно, так и рассматривать это, хотя я предпочел бы называть по-другому — трезвой оценкой своих реальных возможностей.

— Не надо так настраивать себя, — сказал Дмитрий. — Это пройдет.

— Может быть, — сказал Ольф таким тоном, что Дмитрий понял — сам он не верит в это.

Вечером Дмитрий уехал к Асе, а Ольф остался у него в комнате и продолжал разбираться в его выкладках. Дмитрий вернулся поздно, в первом часу ночи, и застал его в той же позе — Ольф сидел согнувшись, широко расставив ноги, курил и читал. Мельком взглянув на него, Ольф спросил:

— Очень устал?

— Ну, с чего бы это? — весело отозвался Дмитрий.

— Тогда несколько маленьких вопросиков.

«Маленькие вопросики» заняли почти полтора часа, и, когда они выкурили по последней сигарете и собрались расходиться, Дмитрий сказал:

— Все-таки до чего хорошо работать вместе, а?

— Да, — сразу сказал Ольф, словно ждал этих слов. — И если бы не эти полтора года...

— Ну, не стоит теперь думать об этом, — поспешно сказал Дмитрий.

Ольф усмехнулся.

— Тактичный ты человек, Димка. Ты думаешь, я забуду о том, что столько времени потерял зря? А как подумаю, что я сейчас делал бы, если бы не мог вернуться к тебе... Ну ладно, старик, давай спать.

И они разошлись по своим комнатам.

*** ЧАСТЬ ВТОРАЯ ***

24

Теперь в различных документах, справках, приказах его обозначали так: Кайданов Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н. рук. сек., что означало кандидат физико-математических наук и руководитель сектора, а в расчетной ведомости в графе «оклад» против его фамилии стояла цифра четыреста. Среди его обязанностей была и такая — раз в два-три месяца водить по институту зарубежных гостей. Его предупреждали об этом заранее, и он являлся на работу чисто выбритый, в безукоризненно выглаженном костюме и до блеска начищенных ботинках. Он злился и на гостей, и на Дубровина, «сосватавшего его на такую работу», — в этом парадном облачении он чувствовал себя неважно и почти ничего не делал, дожидаясь приезда делегации. Наконец раздавался телефонный звонок, предупреждавший о прибытии делегации, Дмитрий вставал, одергивал пиджак, Жанна приказывала ему повернуться, стряхивала с костюма ей одной видимые пылинки, поправляла галстук, Ольф говорил ему что-нибудь вроде «дуй, начальник, да только не лопни от важности», и Дмитрий, чувствуя все свое лицо, шагал по просторнейшим коридорам навстречу высокой делегации и заранее изо всех сил изображал приветливость и спокойную доброжелательность. И потом в течение часа ему приходилось играть роль такого молодого, талантливого, преуспевающего ученого и изъясняться на довольно приличном, но до тошноты официальном и скучном английском языке. Однажды во время такого лицедейства он заметил усмешку на лице Ольфа и нахмурился, сбившись с заученного тона.

Проводив делегацию, Дмитрий сердито спросил:

— Ты чего усмехался?

— Я нечаянно, — серьезно сказал Ольф.

— Что, очень смешно было? — хмуро допытывался Дмитрий.

— Да, нет, не очень, — стал оправдываться Ольф. — Выглядел ты просто великолепно. Но, понимаешь, как увидел я тебя, такого новенького, блестящего, респектабельного, вспомнил почему-то того, прежнего...

— Ах, вон что, — протянул Дмитрий и ушел к себе в кабинет.

В его кабинете — большой «начальнический» стол темного дерева, удобные кресла, мягкий диван, телефон, тяжелые, плотные шторы на окне. На столе лежали журналы, список телефонов под стеклом, перекидной календарь, массивный письменный прибор, но ящики были пусты, прибором никогда не пользовались, и случилось, что единственным посетителем кабинета была уборщица. Работал Дмитрий в соседней комнате, вместе с Ольфом, Жанной и Валерием. Там были обычные ширпотребовские столы с незапирающимися ящиками и давно утерянными ключами, жесткие скрипучие стулья, в углу на асбестовой подстилке стояла плитка с замызганной кофеваркой. Над столом Ольфа висел рисунок Ольги — высоколобый широкоскулый человек с коричневым лицом и длинными мрачными глазами сидел на чем-то низком, уперев локти в колени, и скрещенными пальцами поддерживал массивный подбородок. Под рисунком стояла подпись: «Мыслитель». Рядом стол Валерия, а над ним — рукописный плакат: «Лучше два раза пообедать, чем ни разу не завтракать». Над столом Жанны — надпись огромными черными буквами: «Не свирепеть!!!» А над головой Дмитрия — призыв Ольфа: «Граждане, психуйте по очереди! Сегодня ты, а завтра я!»

В эту комнату гостей не водили — здесь работали. Если кому-то нужно было сосредоточиться или просто отдохнуть, он брал ключ от кабинета Дмитрия, висевший на гвоздике, и запирался там изнутри. Кабинет служил и для других целей — выясняли отношения, отсыпались.

Кайданов начальствовал над четырнадцатью душами, в основном недавними выпускниками, самому старшему из которых не было и тридцати, и только двое были женаты, не считая его самого и Ольфа.

Четырнадцать душ считали, что Кайданов — начальник самый что ни на есть мировой, и однажды высказали ему это на одной из предпраздничных выпивок. Дмитрий озадаченно потер подбородок и хмыкнул:

— Подхалимы вы. Пользуетесь тем, что я командовать не умею.

Командовать он действительно не умел, о чем и предупредил Дубровина два года назад, когда организовывался его сектор.

Дубровин улыбнулся:

— А не надо уметь... Думаешь, я умею? Знаешь, что я сказал своим людям, когда меня назначили завлабом? Я собрал их и произнес такую речь: «Примем за аксиому, что вы собрались здесь для того, чтобы работать, а не только получать зарплату. Я даю вам задания — вы их выполняете. Как вы будете это делать — меня не касается. Можете стоять на голове и плевать в потолок, но если в конце концов окажется, что работать вы не можете, я попрошу вас подыскать другое место». Ну, и прочее в том же духе. Я предоставил им полную свободу, ну, и сам видишь, что из этого получается.

А получалось у Дубровина очень неплохо — его «публика» работала как одержимая, и о тех, кто попадал в его лабораторию, с завистью говорили — «повезло». Публика могла приходить на работу, когда ей вздумается, и уходить в любое время. Если кто-то вообще не появлялся в институте, с него не требовали объяснений. С него требовалась только работа.

Дмитрий не без опаски решил последовать методу Дубровина и с удивлением обнаружил, что руководить людьми необычайно просто. Все задания выполнялись в срок или еще раньше. За два года ему, по существу, ни разу не приходилось прибегать к своей власти. Однажды он с недоумением сказал об этом Дубровину, тот засмеялся:

— Милый мой, да чего же ты хочешь? Тебя же не надо заставлять работать, а они чем хуже тебя?

— А ведь и в самом деле... — покрутил головой Дмитрий.

Дубровин серьезно сказал:

— Смех смехом, но, я думаю, в нашей работе это единственно верный способ руководства. Уже одно сознание того, что ты должен сидеть «от» и «до» и обязательно мыслить, иначе на тебя обрушится гнев начальства, способно убить всякое желание работать. Никому еще не удавалось принуждать людей к творчеству. Творчество требует

свободы, если и не абсолютной, то максимально приближенной к ней. Любая, даже самая примитивная идея должна созреть, и если для этого нужно, чтобы человек неделю болтался по коридорам, травил анекдоты, читал детективы, пусть так и будет. Важен результат. А кто не хочет работать или не способен — это очень скоро выяснится. И если такой будет аккуратно высиживать законные восемь часов двенадцать минут, все равно у него ничего не получится. Так что — продолжай в том же духе.

И Дмитрий «не замечал», если полсектора срывалось за грибами или по понедельникам до обеда пустовали комнаты. Ведь работа все равно делалась, и совсем неплохо.

Институтские корпуса стоят в лесу. Многие даже и не знают, сколько их, этих корпусов, спроси, пожмут плечами: «А бог их знает... Не то семь, не то восемь». Летом по бетонным дорожкам, что проложены между корпусами, почти никто не ходит — куда приятнее через сосны и елочки да по пути прихватить грибов и земляники. Иные особенно удачливые добытчики, пока доберутся до проходной, на жареху насобирают. А зимой, если холодно, на этих дорожках тоже мало кого увидишь, с автобуса ныряют прямо под землю, коридоры доведут куда надо.

До города — восемь километров через лес. И какой лес! Ехать мимо теплых на взгляд бронзовых сосен, густых коричневых елей, неправдоподобно белых, «киношных», как выразился кто-то, берез. А город — такой, что несведущий человек, глядя из окна электрички на три десятка домов, и не сообразит, что это и есть тот самый знаменитый Долинск, известный всему миру. За этими домами — лес, за ним — снова дома. Между кварталами — неширокие извилистые улицы, засаженные деревьями. Городок тихий, чистый, уютный!

25

А было так, что они вполне могли и не попасть сюда из-за Ольфа. Сейчас он предпочитал не вспоминать об этом, но тогда, осенью шестьдесят четвертого года, Дмитрию пришлось немало поговорить на эту тему.

Им обоим давно прочили аспирантуру. Считалось это как бы само собой разумеющимся, и Ольф не сразу и понял его, когда Дмитрий осторожно сказал:

— Слушай, а тебе не кажется, что в аспирантуру нам идти не стоит?

Это было спустя месяц после того, как они снова стали работать вместе, и Ольф в шутку называл тот месяц «медовым». Он беспрекословно выполнял все указания Дмитрия и во всем полагался на него. Но тут Ольф иронически поднял брови и осведомился:

— Ну а куда же нам стоит идти — в институт народов Азии?

— Почему же, можно и в другое место, — сказал Дмитрий.

— Например?

— Ну, хотя бы в Долинск.

— А что это такое?

Ольф и сам отлично знал, что это такое, но Дмитрий принялся невозмутимо объяснять:

— Отличный городок, всего сто километров от Москвы, отличный институт, отличный ускоритель...

— Короче говоря, — перебил его Ольф, — все отлично, но зачем нам это нужно?

— А зачем нам нужна аспирантура?

— Здрассьте...

— Ольф, я ведь серьезно говорю. Давай помыслим как следует. Тут же все просто. Конечно, аспирантура куда надежнее — три года спокойной жизни, и кандидатская в кармане, а вместе с ней и приличный оклад. Но ведь очень может быть, что эти три года просто выпадут для нашей работы.

— Почему?

— Да хотя бы потому, что нам скоро придется проверять свои результаты на экспериментах. А здесь негде. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, что нам

выделят где-то несколько часов, может быть в том же самом Долинске. На ускорителе нам дадут ровно столько времени, чтобы прилично оформить диссертации, — и ни минутой больше. Это-то, надеюсь, тебе не надо доказывать?

— Да в общем-то похоже на истину...

— Именно так и будет, — уверенно сказал Дмитрий.

— Но ты подумай, чем мы рискуем, Димыч. Неизвестно, дадут ли нам вообще возможность заниматься нашими К-мезонами. А что, если, несмотря на все наши великолепные идеи, нас усадят за стол и предложат заняться расчетом каких-нибудь элементарных кривых? У начальника-то ведь и свои идеи есть.

— Что ж, риск действительно есть, — согласился Дмитрий. — Ну, а как ты хочешь, чтобы совсем без риска? И потом, в аспирантах три года ходить. Это же школярство, Ольф, только и разницы, что уровень повыше. Нас же будут так опекать и направлять. А, да что об этом говорить...

— Димыч, я сам все отлично понимаю. И я ведь сам решил, что в вопросах, связанных с работой, буду во всем полагаться на тебя. Так что как скажешь, так и будет.

И Дмитрий сказал:

— Едем в Долинск.

Они явились в Долинск через две недели после выпускного вечера и были зачислены в лабораторию Шумилова.

26

А теперь жили они каждый в своей квартире, по соседству — в двадцать шестой и двадцать седьмой. Жанна жила этажом ниже, а Валерий — в соседнем подъезде. По вечерам Ольф приводил из яслей Игорька — человечка двух с половиной лет от роду, очень похожего на него. Ольф разговаривал с сыном серьезно, как с равным, мальчишка рос не по годам крупный и смысленный, и Ольф очень любил говорить с ним. Ася работала в Москве и приезжала к Дмитрию в пятницу вечером и уезжала в понедельник рано утром. И если на неделе выпадали свободные вечера, Дмитрий не знал, куда девать себя, и уходил бродить в лес, если была не очень скверная погода, или сидел в темноте и слушал музыку. Но свободные вечера выдавались не часто. Обычно часам к восьми все четверо собирались у него в квартире и работали до полуночи. За четыре дня — с понедельника до четверга — квартира основательно прокуривалась, и по пятницам Жанна пораньше уезжала с работы и делала генеральную уборку — открывала все окна, мыла полы, меняла пропахшие табаком занавески и выбрасывала пустые бутылки. К приезду Аси квартира приобретала вполне приличный вид, но запах табака никогда не выветривался до конца, и как-то Ася, посмеиваясь, сказала Жанне:

— Представляю, что тут у вас творится, когда меня нет. И как только ты выдержишь в этой газовой камере?

— Привыкла, — отмахнулась Жанна, а Дмитрий поворчал:

— Нашла кого жалеть. Она сама чадит так, что кого хочешь уморит. Посмотри на ее пальцы.

И действительно, Жанна курила разве что чуть меньше их, пальцы у нее пожелтели от табака.

Долинск был великолепным городом, но только не для любителей развлечений. Они бы просто умерли здесь от скуки. В этом городе хорошо было работать. Развлекаться ездили в Москву, и по субботам и воскресеньям ночные электрички привозили в Долинск шумные группы веселых, подвыпивших людей. Но обычно спокойно и пусто по ночам в Долинске. Яркие фонари напрасно освещают чистый серый асфальт улиц. Рано укладывается город спать, и жизнь в нем — спокойная, чистая, сытая. Так говорят все, кто приезжает сюда ненадолго. Да только вряд ли стоит очень уж завидовать долинцам. Жизнь здесь всякая — и хорошая, и плохая, и так себе. Как и всюду.

В тот первый рабочий день и началась их борьба с Шумиловым, и длится она вот уже пятый год и должна закончиться через пятнадцать дней, десятого мая, когда группа Кайданова проведет свой последний, самый сложный, решающий эксперимент. Какой вид тогда будет у Шумилова, вряд ли кто возьмется предсказать, но сейчас отношения у него с Кайдановым самые сердечные. При встрече в коридоре или в столовой — улыбка, вежливый полупоклон, приветливый взгляд. Но за последние два года никто не видел, чтобы Кайданов и Шумилов перекинулись хоть словом. Не о чем им говорить. На заседаниях Ученого совета они не вступают в споры и всячески избегают даже упоминать о работах друг друга. А старожилы как пикантный анекдот преподносят новичкам некоторые из тех чрезвычайно лестных отзывов, на которые не скупился когда-то Шумилов, говоря о Кайданове и Добрине. Да, тогда он явно выделял их, да и было за что. И с тех пор как разошлись их пути-дорожки, никто не слышал от Шумилова ни одного плохого слова о Кайданове. Что ж, и это понятно, кто же не знает, что Шумилов — джентльмен до мозга костей, олицетворение порядочности. И это действительно так, хотя вряд ли кто-нибудь поручится, что Шумилов был бы таким джентльменом, предположи он хоть на минуту, чем закончится эта история. А впрочем, как знать... Чужая душа — потемки. Да и никому не дано заглядывать в будущее и корректировать прошлое. Ведь тогда, четыре года назад, все шло очень естественно. Не ему же, доктору наук, было опасаться этих двух новоиспеченных теоретиков, на чьих дипломах еще не высохли чернила. Да и они, конечно, не предполагали, что им придется когда-нибудь вступить в борьбу со своим шефом.

Но теперь-то ясно видно, что эта борьба началась с первого дня, даже, пожалуй, с первого часа их встречи — несколько минут официального знакомства не в счет, — может быть, еще по дороге в институт, когда Дмитрий и Ольф сели в автобус, увидели Шумилова и тот дружеской, разве что чуть-чуть покровительственной улыбкой ответил на их приветствие.

Автобус был полон, Шумилов стоял, опираясь на спинку сиденья, он никогда не садился, если стояла хоть одна женщина, и, чуть наклонившись, рассказывал двум сотрудницам о поездке в Англию. Говорил он не очень громко, но тем не менее пол-автобуса слышало его рассказ. Ольф стоял почти рядом с ним. Шумилов не понравился ему сразу, с первого взгляда, и Ольф никак не мог понять почему. Понял это он много позже, но и потом не мог бы четко сформулировать, что вызывало его неприязнь. А тогда это и вовсе не просто было сделать. Говорил Шумилов интересно, но Ольф быстро заметил, что фразы его излишне гладкие, голос чересчур богат интонациями, а кое-какие паузы выглядели слишком уж эффектными. «На публику работает», — подумал Ольф и тихонько шепнул Дмитрию:

— Понаблюдай-ка за этим артистом.

Дмитрий с недоумением посмотрел на него, перевел взгляд на Шумилова и молча отвернулся, пожав плечами. А вечером, когда Ольф снова заговорил о Шумиллове, Дмитрий спросил:

— Да чем тебе он не нравится, скажи на милость?

— Чем? — переспросил Ольф. — Да если бы я знал. Ведь смешно упрекать человека за то, что он тщательно повязывает галстук, что костюм у него без единой морщинки, а ботинки начищены до блеска?

— Я думаю.

— Вот видишь... А мне даже это в нем не нравится. Глупо, но факт.

— То, что глупо, действительно факт, — иронически заметил Дмитрий.

Два дня они знакомились с лабораторией, сидели в библиотеке, читали отчеты и публикации. Работа Шумилова, к сожалению, была довольно далека от их собственной — и уже поэтому не очень понравилась им. Дмитрий с неудовольствием разглядывал графики, диаграммы, вчитывался в формулы.

— Ну что? — спросил Ольф в конце второго дня.

Дмитрий неопределенно хмыкнул:

— Работа как работа... По-моему, ничего выдающегося. А впрочем, посмотрим, не стоит судить с наскака. К тому же она, по-моему, не сделана и на треть.

— Однако уже два годовых отчета сварганили. — Ольф кивнул на толстые фолианты, забронированные в дерматин, и усмехнулся: — Интересно, кто занимался такой стилистикой? Сдается мне, что сам Шумилов редактировал. Гладенько все, кругленько, ни одного острого угла. Да и водицы хватает.

— Опять ты о том же. — Дмитрий поморщился. — Отчет как отчет, казенная бумага. И чего ты взъелся на него?

— Да, понимаешь, Димыч, какая-то идиосинкразия к нему, что ли... Не нравится он мне — и все. Глаза у него какие-то пустые. Мысли в них не видно. А так он ничего...

На следующий день они отправились к Шумилову. Кабинет у него был новехонький — просторный, весь какой-то мягкий, уютный.

Шумилов с улыбкой поднялся им навстречу.

— Милости прошу. Пожалуйста, присаживайтесь. — Он выложил на стол пачку «Пэл-Мэл». — Курите.

— И пододвинул им пепельницу, в которой не было ни единого окурка. Ольф с наслаждением затаился, подержал дым в легких, восторженно сказал:

— Хороши!

Дмитрий подозрительно посмотрел на него, Ольф чуть повел бровью и положил ногу на ногу. Шумилов улыбнулся на его похвалу:

— Да, действительно хороши. Остатки английской роскоши.

Такая светская беседа продолжалась еще несколько минут. Наконец Шумилов спросил:

— Ну как, освоились? Познакомились с людьми?

— Спасибо, вполне освоились.

Ольф был чудовищно вежлив и даже принялся растягивать слова и ставить ударения.

— Люди, по-моему, отличные, как, наверно, и все в этом институте.

— С жильем все нормально?

— Да, спасибо, все хорошо.

— Вы уж потерпите полгодика, сдадим осенью дом — получите квартиры.

— Ничего, потерпим. — Ольф одарил Шумилова ясной улыбкой.

— Ускоритель видели?

— Разумеется.

— Вы очень кстати прибыли к нам, — сказал Шумилов. — Людей у меня не хватает, работы много, так что дело вам найдется.

— Да мы, собственно, за этим и пришли, — сказал Ольф.

— Ну и отлично! — воскликнул Шумилов, словно он только и ждал их приезда, чтобы поручить им самую важную и значительную часть работы. — Тогда сейчас же и приступим.

И он раскрыл папку.

— Маленькое предисловие, Николай Владимирович...

— Да-да, пожалуйста.

— Видите ли, дело в том, что мы в университете занимались вместе, — скромно сказал Ольф. — Знаете, как-то привыкли друг к другу и жили в одной комнате... Короче говоря, хорошие друзья. Так вот, если вы не возражаете... и если это, конечно, возможно, — вкрадчивым голосом сказал Ольф, — мы и дальше хотели бы работать вместе. Это было бы очень удобно для нас.

— Ну, разумеется, — не задумываясь сказал Шумилов. — Могу только приветствовать такое содружество.

И Шумилов стал объяснять им задачу.

Задача была, как определил потом Ольф, «сложности весьма ниже средней» — рассчитать интенсивность нейтронного пучка для довольно примитивного случая, — и

объяснения Шумилова были, в общем-то, не нужны, но Ольф и Дмитрий внимательно слушали его. Дмитрий вообще за все время сказал всего несколько ничего не значащих фраз, предоставив Ольфу полную свободу трепаться о чем угодно. В конце Ольф бросил несколько реплик, дав понять Шумилову, что ему все ясно.

— Вам тоже понятно? — спросил Шумилов у молчавшего Дмитрия.

— Да, — бесстрастно ответил Дмитрий.

— Ну и отлично. Приступайте к работе. Если что будет неясно, прошу ко мне.

— И к какому времени мы должны это сделать?

— Ну, я, разумеется, не тороплю вас, вам же надо еще войти в работу, да она и не так проста, как кажется. Думаю, что недели две, как минимум, это займет у вас. Для верности будем считать три.

Дмитрий удивленно посмотрел на него и уже хотел что-то сказать, но Ольф наступил ему на ногу и поспешно поднялся:

— Хорошо, как сделаем, сразу придем.

Шумилов проводил их до двери и напутствовал сверхдоброжелательной улыбкой:

— Счастливо вам работать.

Когда они отошли немного, Дмитрий выругался:

— Каков гусь! Что он, издевается над нами?

— Не думаю, — сказал Ольф.

— Три недели на такую пустяковую задачу! Да тут работы самое большее на три дня! За кого он нас принимает?

— Не кипятись, Димка... Откровенно говоря, меня это совсем не удивляет.

— Ты думаешь, здесь нет никакого подвоха?

— Уверен.

— Да нет, это же черт знает что! — продолжал возмущаться Дмитрий.

— А по-моему, все нормально. Ты разве не видишь, как ему нравится роль такого мэтра, доброго и снисходительного начальника, заботливого опекуна? Разве не видишь, как ему хочется понравиться нам? А так как он не знает, на что мы способны, он и прибегает к этому дешевому приему. Он, конечно, уверен, что мы справимся с этой задачей меньше чем за три недели, но ведь для него не это главное. Он хочет, чтобы мы как-то поднялись в собственных глазах, поверили в то, что действительно сделали что-то стоящее. Да, гусь еще тот. А ты удивлялся, почему он не нравится мне. Слушаться надо старших, детка. — И Ольф шлепнул Дмитрия по затылку. — А знаешь, нам ведь повезло, что он сделал этот хилый ход.

— Почему?

— Да потому, что теперь мы смело можем пойти с козырей, и он наверняка не станет отказывать нам.

— Ты думаешь?

— Конечно. Он не станет переигрывать своей роли. Вот мы и предложим ему комбинацию — будем делать кое-что для него, а остальное время заниматься своей работой.

— Может, и в самом деле удастся...

— Удастся, — уверенно сказал Ольф. — А кроме того, — засмеялся он, — доктор совершил еще одну ошибку.

— Какую?

— Он решил, что в нашем дуэте первым номером являюсь я.

— А, пошла-поехала, — поморщился Дмитрий. — Какая разница?

— Да это же просто отлично, Димка! Держись и впредь скромным пай-мальчиком и предоставь мне молоть языком. Мы из этого сделаем хорошую котлетку, вот увидишь. А пока давай как следует сделаем эту задачку, чтобы на ней ни соринки, ни пылинки не было.

И они взялись за задачу. Она действительно заняла у них неполных три дня, и Ольф, посмеиваясь, сказал:

— Завтра мы преподнесем ему эту пиллюлю. Вот видик у него будет, представляю! А знаешь, — заметил он, кончив переписывать выводы, — я подозреваю, что шеф просто

решил проверить нас. По-моему, эта задачка ему совсем не нужна.

— Почему ты так думаешь?

— А ты вспомни отчеты. Куда можно присобачить эту нашлепку? Для чего она могла понадобиться ему?

Дмитрий задумался.

— Похоже, ты прав, — наконец сказал он. — Я как-то не подумал об этом.

— То-то, — удовлетворенно хмыкнул Ольф. — Отсюда еще раз мораль — слушайся старших. А завтра сиди и помалкивай, разве что поддакни разочек с умным видом.

— Ладно, — улыбнулся Дмитрий, его забавляло, с каким увлечением Ольф относится к этой бутафорской борьбе с Шумиловым.

Шумилов встретил их такой же обаятельной улыбкой, как и в первый раз.

— Прошу, прошу, — широким жестом указал он на кресла, а когда Ольф стал развязывать тесемки папки, спросил: — Не получается что-нибудь?

— Да нет, все получилось... Мы так думаем, — сказал Ольф.

— Да... Ну и что же?

Шумилов явно не понял его.

— Я хочу сказать, что мы закончили, — пояснил Ольф.

— Вот как, — не сразу сказал Шумилов. — Ну что ж, давайте посмотрим.

И он стал внимательно смотреть их выкладки. Он вчитывался в каждую строчку, «искал блох», как выразился потом Ольф, и только однажды спросил:

— А это откуда следует?

— Там внизу сноска, — сказал Ольф.

— Да-да, вижу...

Закончив читать, он откинулся на спинку стула и улыбнулся:

— Поздравляю. Отличная работа.

И тон его был по-прежнему сердечным.

— Откровенно говоря, — продолжал Шумилов, — я не предполагал, что вы сможете так быстро сделать эту работу. Я ведь ориентировался на обычный уровень выпускников. Ну что ж, тем приятнее, что я ошибся. Вы уже занимались когда-нибудь самостоятельной работой?

— Да так, делали кое-что, — неопределенно ответил Ольф.

— Это чувствуется, — кивнул Шумилов. — Я думаю, мы хорошо сработаемся с вами.

— Мы тоже так думаем, — с ясной улыбкой ответил Ольф. — И если уж зашел разговор об этом... Видите ли, Николай Владимирович, мы действительно уже около полутора лет занимаемся одной проблемой... некоторыми вопросами К-мезонных распадов. Нам кажется, мы кое-чего уже достигли. Может быть, и не очень многого, не знаем... Мы еще никому не показывали своей работы...

Ольф замолчал и испытывающе посмотрел на Шумилова.

— Продолжайте, я вас слушаю, — бесстрастно сказал Шумилов.

— Видите ли, нам бы хотелось продолжить эту работу... если, конечно, она действительно чего-то стоит, — поспешно добавил Ольф. — Мы понимаем, что это идет вразрез с вашими планами, но... может быть, удастся как-то совместить наши интересы. Я думаю, работать мы действительно немного умеем, и можно будет сделать так, что и ваша работа не пострадает, и мы смогли бы продолжить свою.

— То есть вы хотите одновременно делать и свою работу, и то, что я вам буду поручать? — уточнил Шумилов.

— Да, — сказал Ольф и впился взглядом в лицо Шумилова.

— Ну что ж, — задумчиво сказал Шумилов. — В принципе это вполне возможно. Надо подумать.

— Тогда, может быть, — сразу вступил Ольф, — вы взглянете на нашу работу?

— Конечно, — благосклонно кивнул Шумилов.

Ольф выложил перед ним еще одну папку. Шумилов наугад просмотрел несколько

страниц и закрыл ее.

— Хорошо, я постараюсь поскорее посмотреть это.

— А чем нам пока заниматься?

Шумилов помедлил.

— Чем угодно. Я пока не хочу давать вам никакого задания. А потом видно будет.

И он вновь проводил их до двери кабинета и напутствовал обворожительной улыбкой.

— Уф! — с облегчением вздохнул Ольф в коридоре. — Прямо как в инквизиции. Одного я только понять не могу — неужели он действительно доволен, что мы так быстро сделали эту ерунду?

— Похоже, — сказал Дмитрий.

— Тогда он лучше, чем я думал. Не всякий может так невозмутимо сносить подобные уколы собственному самолюбию. Прошу прощения, доктор Шумилов! — И Ольф отвесил почтительный полупоклон в сторону его кабинета.

— Перестань, тут же люди, — одернул его Дмитрий. — И не радуйся прежде времени. Еще неизвестно, что получится из нашей затеи.

— Хорошо получится, — уверенно сказал Ольф.

— Ну-ну...

— Сейчас меня только одно интересует, — сказал Ольф. — Долго он нас будет мурыжить?

28

Шумилов «мурыжил» их целую неделю. Встречались они ежедневно, но ни разу и словом не обмолвились о работе, хотя Дмитрия так и подмывало подойти к нему и спросить, как обстоят дела. Шумилов, как обычно, был лучезарно вежлив и прямо-таки светился доброжелательностью, но вел себя так, словно они и не давали ему никакой работы.

— Вот барбос! — ругался Дмитрий. — Хоть бы намекнул как-нибудь...

Он нервничал, а Ольф посмеивался и успокаивал его:

— Спокойствие, Матильда, спокойствие. Наша прима-балерина набивает себе цену.

Наконец Шумилов мимоходом бросил им:

— Прошу после обеда ко мне.

И величественно удалился.

— Вот прохиндей! — разозлился Дмитрий. — Обязательно ему надо поиграть на нервах! Как будто сейчас два слова сказать нельзя было!

— Спокойно, Матильда, спокойно, — повторил Ольф.

Шумилов встретил их как обычно — радушной улыбкой. И когда они уселись, он положил перед собой папку с их выкладками и немного торжественно сказал:

— Ну что ж, приступим. Я с большим удовольствием посмотрел вашу работу. Разумеется, сейчас еще трудно говорить, чем она закончится, но одно бесспорно... — Шумилов помолчал и веско закончил: — Да, бесспорно. Это весьма и весьма серьезная заявка на значительную работу, и я от души рад за вас. Еще раз поздравляю.

— Спасибо, — пробормотал Ольф, чуть-чуть растерявшись.

— Разумеется, — продолжал Шумилов, — вы получите возможность продолжить свою работу, и я постараюсь оказать вам посильную помощь. Но, как вы, вероятно, знаете, К-мезоны — не совсем моя специальность, и я взял на себя приятную обязанность представить вашу работу моему другу члену-корреспонденту Академии наук Дубровину...

Ольф уставился на него и переспросил:

— Дубровину?

— Да, — кивнул Шумилов, явно довольный произведенным эффектом. — Вам, конечно, известно это имя...

— Ну, еще бы, — пробормотал Ольф.

— Дубровин просмотрел ваши выводы и высказал свое мнение... — Шумилов опять

помолчал и эффектно закончил: — Весьма лестное для вас мнение. Он заинтересовался вашей работой и хочет встретиться с вами. Вы, надо полагать, также не будете возражать против этого? — с улыбкой спросил Шумилов. — Завтра утром он ждет вас.

— Где? — хриплым голосом спросил Ольф.

— У себя в кабинете, разумеется. Вы знаете, где он находится?

— Да разве... — начал Ольф и осекся.

— Что? — поднял брови Шумилов.

— Мы не знали, что Дубровин работает здесь.

— Вот тебе и на! — развеселился Шумилов. — Да он с самого основания института заведует лабораторией. Кабинет его в этом же здании, на третьем этаже, комната триста шестнадцать. Завтра в девять он ждет вас. Он просил передать, чтобы вы приготовили более подробные обоснования своей работы.

— Ну конечно, — сказал Ольф. — Ведь эти выкладки, так сказать, для общего ознакомления.

— Понятно, — кивнул Шумилов. — А потом уж поговорим детально, как вы будете работать.

В коридоре Ольф растерянно похлопал по карманам, отыскивая сигареты.

— Идем, Димыч, в какой-нибудь темный уголок, помыслим.

И они стали мыслить.

— Ну, как тебе все это нравится? — спросил Ольф.

— Хорошо нравится, — засмеялся Дмитрий.

— Нет, ты только подумай... Он, кажется, и в самом деле доволен, что у нас есть что-то такое... свое. А с другой стороны, чего бы ему быть довольным? По идее, он должен заботиться о том, чтобы мы работали на него, именно потому, что у нас шарики крутятся. А он как будто и в самом деле рад, что мы будем заниматься своей работой. Чем все это объясняется?

— Ну, знаешь ли, — возмутился Дмитрий. — И охота тебе подозревать его во всяких гадостях? Почему бы ему и не радоваться, что у нас есть своя идея? Тем более что мы не отказываемся работать и для него.

— Так-то оно так, — задумчиво сказал Ольф. — Да мне что-то плохо верится во врожденное благородство его натуры.

— А, да иди ты... А потом, не все ли равно, почему он так делает? Главное, что мы можем заняться своей работой.

— Это верно, — согласился Ольф. — Нам просто грешно жаловаться. Но представляешь, какого дурака сваяли мы?

— А именно?

— Да с Дубровиным. Если бы мы знали, что он работает здесь...

— И что тогда?

— А, недотепа! — рассердился Ольф и передразнил его: — «Что тогда!» Да то, что с самого начала явились бы к нему, выложили наши карты и поклонились бы в ножки: возьмите, ради Христа, под свое крылышко!

— Ага, — саркастически усмехнулся Дмитрий, — и он бы с радостью обнял нас и воскликнул: вот вас-то мне и надо!

— А почему бы и нет? Может быть, не сразу, но потом-то он нашел бы для нас место. А теперь поздно переигрывать... впрочем, чем черт не шутит. Знаешь что, давай наведемся в библиотеку и посмотрим, чем он занимается сейчас. Может быть, это не так уж и далеко от нашей идеи.

Они пошли в библиотеку и разыскали последние статьи Дубровина и отчет его лаборатории.

— Жаль, — огорченно сказал Ольф вечером, захлопывая отчет. — Если верить этим бумажкам, он не занимается К-мезонами уже года два. Хотя это все-таки ближе к нам, чем работа Шумилова. Жаль. Сдается мне, что с Дубровиным мы отлично спелись бы.

Ольф открыл журнал с последней статьей Дубровина, стал еще раз просматривать ее и восхищенно покачал головой:

— Ты только взгляни, какая работа мысли! Это тебе не Шумилов. Все четко, ясно, отточено, ничего лишнего. Вся статья-то четыре странички, а ведь Шумилов наверняка сделал бы из этого по меньшей мере четырнадцать!

— Да ладно тебе, — недовольно сказал Дмитрий. — Человек ему добро делает, а он же его и облаивает.

— Да нет, я не о том, — отмахнулся Ольф. — Ведь недаром говорят, что стиль — это человек. А ты сравни стиль Дубровина и стиль Шумилова. Это же небо и земля!

Дубровин оказался худым большеголовым человеком невысокого роста с нездоровым отечным лицом и изрядной плешью. Он прихрамывал, но ходил быстро, по-птичьи припадая на больную ногу. Кабинет его был обставлен прямо-таки по-спартански — простой стол, жесткие стулья и потрескавшаяся во многих местах доска в грязно-белых меловых разводах.

Дубровин приподнялся и протянул руку:

— Будем знакомиться. Дубровин Алексей Станиславович.

Ольф и Дмитрий назвали себя.

— Ну-с, приступим к делу. На полях ваших заметок я поставил девять вопросительных знаков, вам ясно, к чему они относятся?

— Да, — сказал Ольф.

— Тогда начнем с них.

Разговор напоминал допрос. Дубровин говорил так, как писал статьи, — только самое главное, ничего лишнего, и несколько раз поморщился, когда его не поняли и ему пришлось повторять. В отличие от Шумилова, он сразу понял, кто есть кто, и обращался преимущественно к Дмитрию — Ольф к концу разговора и совсем умолк.

Дубровин великолепно разобрался в их работе и словно мимоходом делал такие замечания, что Дмитрий хватался за карандаш и быстро записывал, опасаясь что-нибудь упустить. Говорил Дубровин как будто недовольным тоном и два раза безапелляционно бросил: «Чепуха!» Дмитрий и глазом не моргнул — в первый раз буркнул: «Возможно» — и поставил большой вопросительный знак, а во второй спокойно заявил:

— Не думаю.

Дубровин с интересом взглянул на него и поднял брови:

— Вот как?

— Да, — сказал Дмитрий. — Я изрядно посидел над этим вариантом, и, осмелюсь доложить, он заслуживает внимания.

— А конкретнее?

Дмитрий стал объяснять, но не дошел до середины, как Дубровин прервал его:

— Ясно, дальше не надо. Я был неправ.

Ольф расплылся в улыбке, но Дмитрий и ухом не повел, как будто так и надо.

Память у Дубровина была феноменальная — он походя указывал, где нужно искать недостающие материалы, и продиктовал не только названия десятка работ, но и годы издания и номера журналов, где эти статьи были опубликованы.

Часа через полтора он сказал:

— Все, пока хватит. Давайте итожить. Замысел ваш недурен, и исполнение, на данном этапе разумеется, вполне приличное. Надеюсь, ваша работа будет неплохим дополнением к моей, не нынешней, конечно, а предыдущей. Теперь — что вы должны делать? Надо залатать те прорехи, о которых мы говорили, — это первое. Второе — проверить экспериментально кое-какие выводы. Это, как сами понимаете, посложнее. Месяца через три я попытаюсь раздобыть вам время на ускорителе, хотя оно давно расписано чуть ли не по минутам. В крайнем случае — дам вам взаймы несколько часов.

— Когда же мы этот долг отдавать будем? — с улыбкой спросил Дмитрий.

Наконец-то улыбнулся и Дубровин:

— Тоже верно. Это я по привычке сказал. Ладно уж, пожертвую... Я думаю, Шумилов

не будет слишком притеснять вас своими задачками. Пока, по крайней мере... А потом уж вам придется основательно поработать на него.

— Джентльменское соглашение? — спросил Дмитрий.

Дубровин недовольно покосился на него:

— Почти. А вам это не нравится?

— Да нет, почему же...

— Еще один практический совет. Программировать вы, конечно, не умеете?

— Нет.

— Советую кому-нибудь научиться. С арифмометрами далеко не уедете. Машинное время найти будет можно, но программисты загружены до предела, а так как вы пасынки, никто с вами возиться не будет. Вычислительный центр у нас мощный, есть обширная библиотека программ на многие случаи жизни, надо только научиться пользоваться ими. И еще — побывайте на ускорителе, познакомьтесь с инженерами и вообще — завоюйте их. Как все экспериментаторы, они смотрят на теоретиков с подозрением, и если вы докажете им, что кое-что смыслите, это будет очень неплохо. В общем, действуйте.

На прощанье Дубровин сказал:

— Ко мне, разумеется, обращаться можно когда угодно, но настоятельно рекомендую: делайте это только в крайних случаях. Забот у меня хватает.

И он выпроводил их из кабинета.

29

И пошла у них, как говорил Ольф, не жизнь, а конфетка. Шумилов действительно не утруждал их работой и, давая какое-нибудь задание, почти извинялся и неизменно приговаривал:

— Разумеется, в сроках я вас не стесняю.

А они каждый раз испытывали чувство неловкости и столь же неизменно говорили:

— Ну что вы, мы сделаем поскорее.

И, разделавшись с заданием Шумилова, продолжали свою работу.

С Дубровиным они встречались часто. Слишком буквально восприняв его прощальные слова, они с месяц не давали о себе знать, и однажды Дмитрий услышал по телефону его сердитый голос:

— Милостивый государь, вам не кажется, что неплохо было бы показаться?

Дмитрий поперхнулся.

— Видите ли, Алексей Станиславович...

— Что я должен видеть?

— Пока что никаких особенных затруднений у нас не возникло...

— Ах, вот как... Но вы что-то сделали?

— Конечно.

— И вы настолько самоуверенны, что не сомневаетесь в истинности сделанного?

— Н-нет...

— Значит, так. Жду вас завтра в пять.

Они полночи и весь следующий день просидели за работой, готовясь к такому же допросу, как и в первый раз. Но Дубровин встретил их почти ласково. Тон его по-прежнему был ворчливым, но говорил он уже не так безапелляционно и прислушивался к каждому возражению. Выслушав их отчет, он одобрительно сказал:

— Недурно, недурно... Вы неплохо поработали. К эксперименту подготовились?

— Не совсем, — сказал Дмитрий.

— Почему?

— Вы же сказали, что время нам дадут месяца через три.

— Мало ли я что сказал... Время будет через три недели. Хватит вам, чтобы подготовиться?

— Наверно, — сказал Дмитрий.

— Наверно или точно?

— Хватит.

— Через неделю представьте подробнейшее описание эксперимента, несколько вариантов. Дам вам четыре часа, для начала хватит. Но если будет очень нужно, прихватите еще. Шумилов вас не притесняет?

— Нет, что вы.

— Ну и отлично. Я скажу ему, чтобы эти три недели он вас не трогал. А теперь прошу учесть вот что.

И Дубровин стал детально разбирать их работу и давать советы.

Когда они примчались к нему с результатами эксперимента — именно теми, которые они ожидали, — Дубровин просмотрел снимки, график, на скорую руку набросанный Ольфом, и будничным тоном сказал:

— Ну что ж, недурно. Можно двигаться дальше. Кажется, вы довольны? — спросил он, обращаясь к Ольфу.

— Еще бы, — заулыбался Ольф.

— Спасибо вам, Алексей Станиславович, — сказал Дмитрий.

— Спасибо? — вопросительно повторил Дубровин. — «Спасибо» вы скажете, когда я приглашу вас к себе и вы разопьете бутылку коньяку. Вот там «спасибо» будет уместно, но сейчас... В науке, по-моему, слово «спасибо» не имеет права на существование. А теперь, — он внимательно оглядел их, — вам неплохо было бы отдохнуть. Сегодня четверг, если не ошибаюсь?

— Да, — сказал Ольф.

— Я думаю, до понедельника вы со спокойной совестью можете отдыхать, с Шумиловым я договарюсь. Для начала отоспитесь, а потом отправляйтесь куда-нибудь. Вы, насколько я знаю, не женаты?

— Еще нет, — пробормотал Дмитрий.

— Но девушки у вас есть?

— Есть.

— Вот и отправляйтесь с ними.

— Будет сделано, — растянул рот в улыбке Ольф.

Через неделю Дубровин позвонил им:

— Ну как, вы не раздумали пить коньяк?

— Коньяк? — опешил Дмитрий.

— Ну да, коньяк. За вашу удачу. Или вы не пьете?

— Да нет, почему же, пьем...

— Я думаю... Значит, жду вас у себя. Да не в кабинете, конечно, а дома. После семи в любое время... Кстати, нет ли у вас какого-нибудь глупого дефектива?

— Чего? — не понял Дмитрий.

— Ну, детектива, — буркнул Дубровин. — Я лежу в постели, должен же я чем-то развлекаться. Если вам не трудно, поищите что-нибудь.

— Хорошо, что-нибудь принесем. Значит, после семи.

Их встретила маленькая женщина с ласковыми глазами.

— Может быть, мы не вовремя? — пробормотал Дмитрий.

— Ну что вы, наоборот... Меня зовут Мария Алексеевна.

Они назвали себя.

Дубровин лежал на диване в своем кабинете — похудевший, небритый. Увидев их, он с видимым удовольствием произнес:

— Прошу, прошу... Я не встаю и не извиняюсь — болен. Рассаживайтесь, как вам будет удобнее.

Они сели вокруг низкого столика. Дмитрий спросил:

— А что с вами?

— Почки, — буркнул Дубровин и позвал жену: — Маша!
— Да, сейчас, — тут же откликнулась Мария Алексеевна и через несколько минут внесла бутылку коньяку и закуски.
— Может, вам помочь? — тут же вскочил Ольф.
— Да, пожалуйста, — просто сказала Мария Алексеевна, и Ольф ушел с ней.
Через несколько минут они сидели все вместе, и Дубровин командовал:
— Наливайте. Мне — минеральной.
— Почему? — спросил Ольф.
— Я же сказал — почки. Я уже лет десять капли в рот не беру. А вы пейте, это для вас припасено.

Хорошо было сидеть в этом уютном кабинете, заставленном книжными шкафами. Дмитрий нет-нет да и бросал взгляд на книжные полки, пока Дубровин не заметил это и не сказал:

— Вам, я вижу, не терпится? Посмотрите.
И Дмитрий пошел рыться в книгах.
Книг у Дубровина множество, и среди них — редкие дореволюционные издания. Дмитрий так увлекся ими, что не сразу понял вопрос Дубровина и переспросил:
— Что?
— Я смотрю, моя библиотека прилась вам по вкусу.
— Ну, еще бы.
— Можете любую книгу взять с собой.
— Правда? — обрадовался Дмитрий.
— Почему же нет? — удивился Дубровин. — Читайте на здоровье. И можете приходить в любое время, если что-то понадобится. Если меня не будет, жена проведет вас сюда — и мой кабинет к вашим услугам.
— Спасибо, — сказал Дмитрий.
— Пожалуйста, — иронически бросил Дубровин и обратился к Ольфу: — К вам это тоже, конечно, относится. Кстати, вы нашли для меня что-нибудь?
— Да, сейчас принесу.
Ольф принес из передней книги. Дубровин небрежно просмотрел их:
— Это я читал, это тоже... А это что-то новенькое. Благодарю... Кстати, вы-то читали это? Нет? Ясно, вы слишком умны для этого, и у вас мало времени.
— Нет, почему же... — начал сконфуженно оправдываться Ольф.
Дубровин перебил его:
— Да вы не оправдывайтесь. Я сам читаю такие книжонки, только когда ничем не могу заниматься.

Дубровин помолчал.
— Видите ли, меня давно интересует история человеческой глупости. Скажут, неприлично обзывать. Неприлично считать себя умнее других. Скажут, что надо быть скромным. Но еще Гете говорил, что только нищий скромен. Кстати, в нашей работе скромность вовсе ни к чему. Так мне кажется. Мы в конечном итоге работаем для того, чтобы добыть хоть какие-то крупинки истины, еще неизвестной людям. А истина и скромность — понятия несовместимые. «Истина так же мало скромна, как свет», — угадайте, чьи это слова?

Дубровин хитро взглянул на них.
Ольф пожал плечами:
— Не знаю.
— Это говорил Маркс, — сказал Дубровин. — А потому — не будьте скромными! Если дело касается истины, вы не должны ни на кого и ни на что обращать внимания. Ни личные привязанности, ни авторитеты, ни соображения удобства и материальной выгоды, ни семья — ничто не должно вас сдерживать. Я думаю, много открытий не было сделано вовремя только потому, что интересы истины не были для исследователя на первом месте. А истина

не терпит никаких компромиссов. Никаких, даже самых незначительных, — подчеркнул Дубровин и откинулся на подушки.

Когда они прощались, Дубровин с неожиданной теплотой в голосе сказал:

— Очень хорошо, что вы пришли. И неплохо, если мы будем почаще так встречаться. Не бойтесь, если я занят или нездоров, я скажу вам об этом.

30

Шумилов был с ними все так же вежлив и доброжелателен. На заседании Ученого совета, когда речь зашла о новом пополнении, он с большой похвалой отозвался о Дмитриии и Ольфе, и им незамедлительно сообщили об этом. Еще несколько раз он при случае хвалил их и всячески подчеркивал свое расположение к ним. А между тем они все меньше работали для него, и Шумилов воспринимал это как должное.

— Слушай, — сказал однажды Ольф, — все-таки я не пойму, что он за человек. Почему он позволяет нам такие номера?

— А, нашел о чем думать, — отмахнулся Дмитрий. — Не все ли равно? Лишь бы давал нам возможность работать.

— Тут что-то нечисто, — задумчиво сказал Ольф. — И по-моему, не обошлось без Дубровина. Ты заметил, как Шумилов с ним держится?

— Как?

— Да чересчур уж почтительно.

— Ну и что? Дубровин старше его, да и известность у него куда больше.

И верно — Шумилов держался с Дубровиным как будто запросто, они говорили друг другу «ты», но легко было заметить почтительные нотки, проскальзывающие в его голосе. А Дубровин разговаривал с ним так же, как и со всеми, — с обычной для него прямоотой, иногда довольно резко и насмешливо. Шумилов в ответ только улыбался и никогда не вступал в спор.

Ольф несколько дней ходил с загадочным видом и наконец торжественно сказал:

— Ну-с, я кое-что выяснил...

— Что? — непонимающе спросил Дмитрий — он уже забыл о том разговоре.

— Да о Шумилове.

— И охота тебе время тратить на такую ерунду.

— погоди, сейчас не то запоешь... Во-первых, Шумилов и Дубровин почти ровесники — Шумилов только на полгода моложе.

Дмитрий присвистнул:

— Вот это да... Он же выглядит лет на восемь моложе.

— Вот именно — выглядит, — сказал Ольф, довольный произведенным эффектом. — А им, между прочим, обоим по тридцать девять.

— И только?

— Да. Так что это не Шумилов выглядит моложе, а Дубровин старше. Слушай дальше. Они вместе учились в физтехе, на одном курсе и даже в одной группе. Вместе работали после окончания в каком-то институте. Потом Дубровина направили сюда, и он перетянул к себе Шумилова, а может быть, сам Шумилов напросился. И это еще не все. Дубровин защитил докторскую еще десять лет назад — представляешь? А Шумилов в то время даже кандидатом не был. Кандидатскую он делал уже здесь, под руководством Дубровина, и, если судить по названию, его диссертация — лишь отросточек от работы Дубровина, той самой, за которую он получил Государственную премию.

Ольф помолчал.

— Ну, переварил? И это еще не все. Докторскую Шумилов делал тоже под руководством Дубровина. И отделился Шумилов от Дубровина всего два года назад. Сначала он был руководителем сектора, а после утверждения докторской стал завлабом. Стало быть, нынешняя тема Шумилова — его первая самостоятельная работа. Как тебе все это нравится?

Дмитрий покачал головой:

— Да, теперь кое-что ясно. И откуда только ты выкопал все это?

— Секрет фирмы, — самодовольно улыбнулся Ольф. — А ты еще говорил, что я занимаюсь ерундой. Надо слушаться старших, мой принципал. Но каков Дубровин-то, а? Еще и сорока нет, а он и доктор, и лауреат, и член-корреспондент. А когда-то мы степеней известных достигнем?

— А зачем тебе это? — серьезно спросил Дмитрий.

— Да ведь не одним же только сознанием своей гениальности жить.

— Это на кого намек?

— На некоторых... Не членом-корреспондентом, но замухрыстыми-то кандидатами надо стать?

— Станем, — успокоил его Дмитрий.

Все лето и начало осени они работали, как в добрые студенческие времена, — жадно, с наслаждением, экономя каждую минуту. Дубровину то и дело приходилось сдерживать их — он очень внимательно следил за тем, чтобы они не переутомлялись, и иногда просто приказывал им отдыхать.

Однажды он словно мимоходом заметил:

— Почему вы не познакомите меня со своими девушками?

Ася часто бывала у Дмитрия, но Светлана незадолго перед этим впервые приезжала в Долинск, и Ольф удивился:

— Разве вы видели их?

— Нет, — сказал Дубровин. — Но, разумеется, слышал. В нашем НИИ-хуторе трудно что-нибудь скрыть. И мне хочется посмотреть на них. Вы ничего не имеете против?

— Нет, конечно, — пробормотал Ольф.

— Ну и отлично. Значит, как только они снова появятся у вас, прошу ко мне. И желательно предупредить хотя бы за день.

— Хорошо.

Когда они вчетвером пришли к Дубровину, Дмитрий удивился, увидев его. Обычно Дубровин ходил в темной рубашке, в простеньком костюме и только посмеивался, когда Мария Алексеевна сокрушалась по поводу его затрапезного вида. А сейчас он прямо-таки весь блестел — чисто выбритый, помолодевший, он церемонно поклонился Асе и Светлане:

— Очень рад познакомиться с вами.

И видно было, что он действительно рад.

Сначала девушки держались немного скованно, особенно Светлана, но после того, как Мария Алексеевна увела их на кухню и облачила в передники, они быстро освоились. Дубровин с нескрываемым удовольствием поглядывал на них, а на следующий день сказал:

— Должен сообщить, что ваши девушки нам очень понравились. Особенно жене — она просто в восторге. Насколько я понял, отношения у вас с ними достаточно серьезные. Вы собираетесь жениться?

— Вообще-то да, — смутился Ольф.

— Когда, если не секрет?

Ольф и Дмитрий задумались.

— Можете, конечно, не отвечать, и вообще, если хотите, прекратим этот разговор, — церемонно сказал Дубровин. — Я, разумеется, не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь. Но в ноябре наш институт получает дом. Как холостяки, вы можете рассчитывать, самое большее, только на комнату в общей квартире. А вероятнее всего, вам дадут по комнате в общежитии, несмотря на все обещания Шумилова и мои просьбы. А если вы будете женаты, отдельные квартиры я вам гарантирую, для начала, конечно, однокомнатные. Вы, надеюсь, не очень шокированы этой прозой? — иронически спросил Дубровин.

— Нет, конечно, — сказал Ольф.

— Подумайте об этом.

Когда Ольф сообщил ему, что они намерены в сентябре «сообразить коллективную

свадьбу», Дубровин обрадовался:

— Вот и отлично, поздравляю вас. Где вы намерены отметить это событие?

— Еще не знаем.

— Если у вас будет не слишком много народу... и если вы, разумеется, ничего не имеете против, — убийственно вежливым тоном сказал Дубровин, — моя квартира к вашим услугам.

Ольф смешался.

— Как-то неудобно, Алексей Станиславович.

— Неудобно? — как будто не понял его Дубровин. — Почему? И где же вам будет удобнее — в ресторане?

— Да нет, не в этом дело. Вас неудобно стеснять.

— А если я скажу, что нам это доставит удовольствие, вы, надеюсь, поверите мне?

— Поверю, — засмеялся Ольф.

— Тогда будем считать, что мы этот вопрос решили, — улыбнулся Дубровин.

Это была великолепная свадьба — нешумная, уютная. Не было пьяных песен и криков «горько», был тесный кружок любящих друг друга людей. Вечером зашли с поздравлениями Шумилов и Жанна, посидели немного и ушли. Дубровин был какой-то тихий и умиротворенный, даже голос у него изменился, стал мягким и ласковым. Он с трогательной заботливостью ухаживал за Асей и Светланой. Когда они расходились, уже под утро, Дубровин поцеловал им руки, и Светлана вдруг всхлипнула и прижалась к нему, выговорив сквозь слезы:

— Спасибо вам, Алексей Станиславович...

И Ольф впервые увидел, как Дубровин смутился. Поглаживая плечо Светланы, он растерянно говорил:

— Ну что ты, девочка, что ты...

Светлана отстранилась от него и улыбнулась сквозь слезы:

— Ничего, Алексей Станиславович, это я так... Знаете, я ведь не помню своего отца. Вот и подумала, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас...

— Ну вот, — расстроился Дубровин и неожиданно сказал: — И хорошо, что ты так подумала, приходи к нам почаще, мы всегда рады тебе.

И с того дня Светлана часто бывала у них, гораздо чаще, чем Ольф.

31

Недели через две Дубровин позвонил им и, как обычно, спросил Дмитрия. Не отвечая на приветствие, он сухо сказал:

— Пожалуйста, прошу ко мне вместе со всем багажом. И побыстрее.

Когда они пришли, Дубровин заперся изнутри, чего никогда раньше не делал, и быстро прошел к столу.

— Садитесь. Вот вам статья, пожалуйста, читайте как можно внимательнее.

Он положил перед ними свежий номер «Physical Review». Пока они читали, Дубровин быстро ходил по кабинету, припадая на больную ногу.

Через несколько минут Ольф выругался, перевернул страницу, чтобы посмотреть фамилии авторов, и сказал:

— Кэннон и Брук... Надо запомнить.

— Не мешай, — досадливо поморщился Дмитрий, а Дубровин на секунду остановился, посмотрел на них и снова забежал по кабинету.

Ольф читал стоя, навалившись на плечо Дмитрия, и возбужденно крутил в руках крышку от чернильного прибора. Дмитрий читал как будто спокойно, но пальцы его сжимали журнал так, словно хотели разорвать его. Он уже понял, что это катастрофа, и оставалось только определить размеры бедствия. Сначала ему показалось, что катастрофа полная, в статье излагались основные выводы их работы. Совпадали даже незначительные

детали. И когда он кончил читать, Дубровин забежал вперед и отрывисто спросил:

— Ну?

Дмитрий промолчал и потянулся за сигаретой. Закурив, он снова начал читать.

— Чего ты молчишь? — закричал Ольф.

— Перестань, — резко сказал Дмитрий. — Иди побегай по коридору, успокойся. И не мешай мне. Алексей Станиславович, дайте ему воды.

— Вот гад, — пробормотал Ольф и отошел от него.

А Дмитрий еще раз внимательно просмотрел статью и сказал почти спокойно:

— Да, подсидели нас... Одна треть работы уцелела — не больше.

— И то ладно, — буркнул Дубровин. — Я уж было подумал, что дело совсем плохо. Можешь ты выделить все, что не входит в их работу?

— Конечно.

— Сколько тебе понадобится времени?

— День.

— Тогда давай завтра прямо с утра. И разумеется, все соображения по поводу дальнейших поисков. Идите.

В коридоре Ольф разразился ругательствами. Дмитрий молча слушал его и наконец разозлился:

— Замолчи ты, ей-богу... Лаешься как извозчик. Лучше давай подумаем, что еще можно сделать.

— Ну уж, дудки! — огрызнулся Ольф. — С меня на сегодня хватит. Можешь сам этим заниматься.

И Ольф, круто повернувшись на каблуках, отошел от него. Дмитрий проводил его взглядом и пошел к себе в лабораторию. Ольф так и не появился на работе, и дома его тоже не было. Дмитрий работал, почти не вставая из-за стола, и даже не поднял головы, когда ввалился пьяный Ольф.

Он выставил на стол бутылку водки, кусок колбасы и, не снимая плаща, бухнулся на кровать. Через несколько минут он поднялся, разделся и поставил стаканы на стол. С размаху налил водку в стаканы и пододвинул один Дмитрию:

— Пей.

— Не хочу, — сказал Дмитрий, не глядя на него.

— Да брось ты эти бумажки! — взорвался Ольф. — Не успеешь, что ли?

Дмитрий поднялся, молча собрал бумаги и надел пиджак.

— Куда ты? — угрюмо спросил Ольф, глядя на него исподлобья.

Дмитрий промолчал.

— Ну и черт с тобой, — буркнул Ольф и выпил.

Дмитрий взялся за ручку двери и сказал:

— Ложись, спать, завтра нам надо быть в форме.

Ольф зло посмотрел на него и отвернулся.

Дмитрий пошел к Жанне, коротко рассказал ей, в чем дело, и попросил:

— Если можно, я посижу у тебя, поработаю.

— Ну конечно, — сказала Жанна. — Располагайся.

Работы оказалось больше, чем он думал. В двенадцать часов Жанна сварила ему кофе, и потом Дмитрий перебрался в красный уголок. Два раза он подходил к своей комнате и прислушивался. За дверью было тихо, но свет горел, и Дмитрий не заходил, докуривал сигарету и возвращался в красный уголок.

Он только усмехнулся, вспомнив, какие надежды они возлагали на эту работу. Как никогда, они были близки к удаче, и вот на самом финише удача отвернулась от них. Было ясно, что в любом, даже самом благоприятном случае их работа будет всего лишь дополнением к работе американцев. Почти готовое здание мгновенно превратилось в развалины, и ему очень не хотелось копаться в обломках, но он знал, что это нужно сделать, и работал сосредоточенно и спокойно. Наконец он закончил, собрал бумаги и пошел по

коридору. Свет в их комнате все еще горел. Дмитрий осторожно открыл дверь. Ольф спал не раздеваясь, повернувшись лицом к стене. Дмитрий сходил на кухню, сварил кофе, побрился и стал будить Ольфа. Тот долго не мог проснуться и наконец сел на кровати, с отвращением передернул плечами и виновато взглянул на Дмитрия:

— Не сердись, старик.

— Ладно, — сказал Дмитрий.

Когда они утром пришли к Дубровину, тот молча взял папку из рук Дмитрия, бегло просмотрел ее и сказал:

— Ясно.

И, внимательно оглядев их, остановился взглядом на помятом лице Ольфа:

— Пил, что ли?

— Был грех, — хмуро сказал Ольф, не глядя на него.

Дубровин кашлянул и повернулся к Дмитрию:

— Отправляйся-ка спать. А ты — останься, — приказал он Ольфу и, подождав, пока за Дмитрием закрылась дверь, сердито захромал к столу. — Что, нервишки подвели?

Ольф промолчал.

— Ты, кажется, летчиком был? — язвительно спросил Дубровин.

— Вроде этого, — уныло ответил Ольф, уставившись взглядом в стенку.

— Тогда тем более непростительно, — жестко сказал Дубровин. — Значит, нервы у тебя должны быть крепкие, и нечего ссылаться на них. Распускаешь себя, друг мой. Нравится тебе жалеть себя. Помолчи-ка, — повысил голос Дубровин, заметив, что Ольф хочет возразить. — У всех у нас нервы, и, между прочим, я думаю, что на Дмитриии эта история тоже не сладко сказывается. Думаю, что ему похуже, чем тебе, — с расстановкой сказал Дубровин. — Я думаю, — продолжал он, напирая на «думаю», — не сделаю открытия и не слишком оскорблю тебя, если скажу, что в этой работе ты не на первых ролях...

Ольф дернулся и промолчал.

— Что, не прав я?

— Да нет, почему же...

— Вы, я вижу, действительно хорошие друзья, с чем от души поздравляю обоих. Тебя в особенности, — расчетливо бросил Дубровин. — Но из этого, между прочим, не следует, что с друзьями можно обращаться по-хамски, как ты вчера, и полагать, что в дружбе все позволено. Это, разумеется, всего лишь мое частное мнение, совершенно не обязательное для тебя, но я считаю своим долгом высказать его, — отрезал Дубровин. — Может быть, я и преувеличиваю, но это потому, что Дмитрий выглядит сейчас гораздо хуже тебя, несмотря на твое похмельное состояние. И если ты сообразишь, что его нужно щадить и помнить не только о своих нервах, но и о нем, это будет очень неплохо.

Он помолчал, ожидая, что скажет Ольф, но тот не произнес ни звука.

— Ладно, иди, — сказал Дубровин.

Через три дня Дубровин вызвал их к себе.

— Ну-с, прошу внимания. Я посоветовался с Александром Яковлевичем, и мы решили вот что...

Александр Яковлевич — директор института, всемирно известный ученый, один из создателей современной физики. Для большинства физиков он фигура почти легендарная, авторитет непререкаемый. Дубровин — один из самых любимых его учеников и постоянно встречается с ним, но предпочитает умалчивать об этом и ссылается на Александра Яковлевича в редчайших случаях.

Дубровин помолчал, давая им время переварить эту новость, и продолжал:

— Решили так. Во-первых, вы напишете статью на основе этого материала, — он положил руку на папку. — В очень корректной и до предела объективной форме изложите то, что не вошло в работу Кэннона и Брука. Статья, конечно, будет не бог весть какая, но сделать это необходимо, чтобы хотя бы в этом опередить их. Статью следует написать архисрочно, и она будет немедленно опубликована в ЖЭТФ. Ясно?

— Да, — сказал Дмитрий.

— Второе. Бросить все дела, переключиться только на эту работу и закончить ее как можно скорее. Все необходимое для этого — ускоритель, машинное время, мои консультации и прочее — к вашим услугам. Александр Яковлевич в принципе одобрил план вашей дальнейшей работы, мы еще вместе уточним его, а посему — с богом. Шумилов, разумеется, освободит вас от всех обязанностей — об этом я уже позаботился. Теперь все зависит только от вас. Подумайте, какая вам нужна помощь, и сообщите мне. Вопросы есть?

— Пока нет, — сказал Дмитрий.

— И советую не очень расстраиваться, — добавил Дубровин, — не все еще потеряно. It could be worse,¹ как говорят ирландцы. — Он улыбнулся. — Если у ирландца сдохла корова, он невозмутимо размышляет: ничего страшного, могла заболеть жена, мог заболеть я сам, мог в конце концов и умереть, но ведь ничего этого не случилось. Короче говоря, it could be worse. В этом что-то есть, не так ли?

— Конечно, — улыбнулся Дмитрий.

32

Эту работу они закончили через восемь месяцев. Вскоре после разговора с Дубровиным они провели несколько экспериментов, и стало ясно, что дела их не так уж и плохи — работа пошла по новому пути, казавшемуся многообещающим. Но точно так же этот путь могли нащупать Кэннон и Брук. Дубровин, выслушав их и одобрив, заметил:

— А ведь вам надо поторапливаться, а?

— Придется, — пробурчал Дмитрий.

И они поторапливались, то есть работали с утра до вечера, боясь дать себе хоть небольшую передышку, и жадно, набрасывались на свежие номера американских журналов — нет ли новостей от Кэннона и Брука? Ничего не было.

Ольф добровольно взвалил на себя всю черновую работу, предоставив Дмитрию заниматься «высокими материями». А когда Дмитрий попробовал было заговорить о том, что и он мог бы заняться этой черновой работой, Ольф решительно сказал:

— Брось, Димыч. Конечно, мне не очень-то приятно возиться с этим одному, но сейчас не до церемоний. Каждый делает, что может. Не забивай себе голову мелочами, это моя забота. А ты — мысли. И не набивайся на комплименты — ты же сам знаешь, что делаешь это лучше меня. А с мелочами мне легче справиться.

И действительно, Ольф всюду завел знакомства — на ускорителе, в вычислительном центре, в библиотеке — и беспощадно эксплуатировал их. Но он и сам успевал «мыслить» — разделавшись с расчетами, набрасывался на выкладки Дмитрия и с каким-то остервенением принимался за настоящую работу.

Где-то посередине работа, по выражению Ольфа, «закачалась», и показалось им, что это не бог весть что, и ни к чему эта заочная дуэль с американцами, и вообще — надо послать все к черту, чтобы не потерять еще больше времени, и поискать что-нибудь настоящее. И тут же это, как они думали, настоящее — какие-то полузабытые идеи, казавшиеся блестящими, грандиозные проекты, когда-то набросанные на клочках бумаги, и еще какие-то совершенно новые, сверхоригинальные идеи — сразу всплыло, и рядом с этим великолепием и захватывающими дух перспективами их работа показалась вдруг ненужной и жалкой. И они полдня на все лады обсуждали новые блестящие возможности и прикидывали, нельзя ли как-нибудь тут же приняться за их осуществление.

— В конце концов, — решительно сказал Ольф, — вовремя осознать свои ошибки — это и есть настоящее мужество.

— А кроме того, — вслух подумал Дмитрий, заложив руки за голову, — какая разница,

¹ могло быть хуже (англ.)

кто это сделает — мы или американцы? Лишь бы было сделано.

— Если только они наткнулись на это, — скептически заметил Ольф.

— Ты думаешь, нет?

— Ничего я не думаю. — Ольф тоскливо посмотрел на яркое солнце за окном, заснеженные сосны, покачал головой, глубоко вздохнул и бесстрастно сказал: — Мне тоже не нравится эта гонка, но все-таки придется довести ее до конца.

Дмитрий усмехнулся:

— Побаловались — и хватит?

— Вот имений. Вообрази, что мы решим заняться одной из этих блестящих идей. А как мы объясним, почему на полпути бросаем работу? Что скажем Дубровину? Что нам стало скучно? Представляю, что он нам выдаст... А кроме того, не забывай, что есть еще и Шумилов. Не вечно же будет длиться наш творческий отпуск. Нет, Матильда, придется нам поскучать. Мы уже не студенты — это тогда мы могли заниматься чем вздумается. Так что давай, это самое... дальше поехали. А может, для начала на лыжах прокатиться? Денек-то уж больно хорош.

— Тоже идея, — согласился Дмитрий и поднялся. — Не удалось украсть миллион, так хоть грошиком попользуемся.

И они до вечера бродили на лыжах по лесу, а на следующее утро, как обычно, сели за работу. Только вечером Ольф вспомнил о вчерашнем разговоре и вздохнул:

— Кончить-то мы кончим, да если бы знать наверняка, что не изобретаем велосипеды.

— Ишь чего захотел, — ухмыльнулся Дмитрий. — Может быть, ты не прочь бы узнать, что ты гений?

— И это неплохо было бы, — серьезно сказал Ольф и склонился над столом.

И когда они сделали последние эксперименты, обработали результаты и увидели, что это действительно конец — самый что ни на есть настоящий, долгожданный, — они с каким-то недоумением переглянулись. Ольф засмеялся, поднялся из-за стола и с наслаждением потянулся.

— Все, Матильда, конец. Ася! — заорал Ольф. — Конец!

Это было в воскресенье вечером, они сидели у Дмитрия — квартиры, как и обещал Дубровин, они получили еще осенью, — Ася возилась на кухне и с испуганным лицом выглянула оттуда:

— Что конец?

— Работе конец! — Ольф обнял ее и чмокнул в щеку. — Совсем, понимаешь?

Ася взглянула на Дмитрия, тот улыбнулся и кивнул, и она облегченно вздохнула, оттолкнула Ольфа:

— Фу ты, психопат. Я уж думала, случилось что.

— Случилось, Асенька, случилось, — засмеялся Ольф. — По этому случайно случившемуся случаю не мешало бы случайно выпить. Субсидируй, доцентша! Ты же у нас самая богатая! — по привычке поддразнил он ее.

— Тебе бы только выпить, — заворчала Ася.

— Асенька, да ведь случай-то какой, а? И опять же, случившийся совершенно случайно! — продолжал дурачиться Ольф.

Они, конечно, на радостях «поддали» в этот вечер, а на следующее утро пошли к Дубровину.

Дубровин молча просмотрел результаты и довольно хмыкнул:

— Недурно, весьма недурно. А что вы такие кислые? Перебрали, что ли?

— Есть маленько, — нехотя сказал Ольф, — да не в этом дело.

— А в чем же? Работой недовольны?

— Относительно, — буркнул Дмитрий.

— А-а... Тоже правильно. Подкузьмили вас американцы, да что делать, друзья мои, такова сэ ля ви.

Дубровин перенял это выражение от Ольфа и с удовольствием употреблял его,

особенно когда хотел поддеть их.

— Не журитесь, у вас все впереди. А кроме того, это действительно неплохо сделано, честно говорю. Сами знаете, на комплименты я не слишком щедр, так что оцените. Ну-с, а теперь быстренько, но не спеша сработайте статью, и чтобы через неделю она лежала у меня на столе.

И через неделю статья лежала на столе Дубровина. Он торопился и, не читая, сунул ее в портфель.

— Мне некогда, голубчики, завтра уезжаю на две недели в Швейцарию, а потому — коротенько. Неделю вам на похмелье, на отсыпание, на догуляние, а потом будьте добры за работу.

— За какую работу? — с отчаянием спросил Ольф.

Дубровин, не обращая на него внимания, продолжал:

— Составьте подробнейший отчет со всеми причиндалами — графиками, таблицами, диаграммами и прочей дребеденью — и отпечатайте в трех экземплярах, на отличной бумажке. В общем, все как полагается, чтобы получился приличный кирпич в приличном переплете. Приложите все свои публикации, месячишка через два и эта появится, так что капиталец у вас будет. В начале июля намечено остепенить вас, — значит, за месяц до этого бумажки должны быть в порядке.

— Как это остепенить? — опешил Ольф.

— Обыкновенно, — невозмутимо сказал Дубровин, убирая со стола бумаги. — Докторов вы не заслужили, а кандидатов — в самый раз.

— Да разве кандидатов дают без официальной защиты? — удивился Дмитрий.

— Вообще-то нет, но у нас, в виде исключения, это можно.

— И мы, стало быть, и есть эти исключительные личности? — повеселел Ольф.

— Вроде того... Понимаю, что скучно такой работенкой заниматься, от души сочувствую вам, да что делать, надо. Ну, будьте здоровы, мне некогда.

— И он тряхнул им руки, выпроводил из кабинета и захлопнул дверь.

— Алексей Станиславович! — попытался остановить его Дмитрий, но Дубровин даже руками замахал:

— Потом, потом, некогда...

И им пришлось засесть за эту скучную и неблагодарную работу. Делали они ее, как нерадивые школьники, с постной физиономией зубрящие заданный урок, — с утра намечали, что надо сделать за день, и, кое-как разделившись с «барщиной», больше не возвращались к ней.

Дубровин только посмеивался, глядя на их героические усилия:

— Заставить бы вас годиков пять каким-нибудь чиновником четырнадцатого класса в канцелярии поработать — вот тогда запели бы!

— Боже упаси! — с ужасом сказал Дмитрий.

Они уже намекали, что неплохо было бы перенести «остепенение», но Дубровин только отмахивался:

— Работайте, работайте.

Но однажды они дружно взмолились.

— Алексей Станиславович, давайте перенесем месяца на два! — сказал Дмитрий. — Мочи моей больше нет.

Дубровин внимательно посмотрел на них:

— Что, совсем плохо?

— Плохо! — почти с радостью сказал Дмитрий, уже решив, что Дубровин согласен. Но тот только покачал головой:

— Терпите, друзья, месяц всего осталось.

— Алексей Станиславович, да что будет, если перенесем? Почему обязательно в июле?

— Потому что у меня и других дел хватает, кроме ваших, — напомнил Дубровин. — В августе симпозиум, а я член оргкомитета. А в сентябре поеду в отпуск.

— А на октябрь?

— А вдруг я до октября умру? — отшутился Дубровин, но, заметив, что они по-прежнему серьезны, сказал: — Понимаю, что надоело, но все-таки придется закончить сейчас.

Они еще пытались выклянчить у него отсрочку, но Дубровин был непреклонен.

Когда они вышли, Ольф с недоумением потер подбородок.

— Что-то химичит наш шеф, а? Почему он так торопится?

— Ну вот, пошел, — недовольно сказал Дмитрий. — Тебе с твоей подозрительностью только в угрозыске служить.

— Посмотрим, — неопределенно сказал Ольф.

Но у Дмитрия и самого закралось подозрение, что Дубровин чего-то недоговаривает. Да и зачем ему, в самом деле, так торопиться?

И им пришлось снова сесть за опостылевшую работу и срочно заканчивать ее.

Все сильнее раздражал их Шумилов, его салонная вежливость. Он по-прежнему не упускал случая похвалить их, хотя они давно уже ничего не делали для него и просто не представляли, в каком состоянии его работа. Дмитрий как-то спросил у Жанны:

— Как ваши дела? Продвигаетесь?

— Кажется, да, — не очень уверенно сказала Жанна. — Моя работа, во всяком случае, идет неплохо, — поправилась она. — У других тоже как будто ничего. А как в общем — понятия не имею. Ведь у каждого из нас какая-то частная проблема. Николай Владимирович ставит их перед нами, мы выполняем, а дальше уже его дело. Это вы, корифеи, можете позволить себе работать по-своему, — с завистью сказала Жанна. — А мы что...

— Ну, пошла приbedнаться... Но неужели он не держит вас в курсе дела?

— Он не балует нас своим вниманием, — насмешливо сказала Жанна.

Дмитрий рассказал об этом разговоре Ольфу, тот присвистнул:

— Если уж его собственная любовница так отзывается о нем...

— Ну вот, — разозлился Дмитрий, — я так и знал, что ты это ляпнешь. Любовница не любовница — какое это имеет значение?

— Не кипятись. В принципе — никакого, конечно, да ведь все мы люди, все мы человеки.

— А потом, — проворчал Дмитрий, — еще неизвестно, так ли это.

— Вот те на, — удивился Ольф. — Всему институту известно, а ему неизвестно.

— Мало ли что болтают...

— А ты спроси у нее самой, — поддразнил его Ольф. — Вы же друзья.

— Перестань, — сказал Дмитрий.

— Да чего ты злишься, не понимаю? — удивился Ольф. — Я же ничего плохого о Жанке не говорю. Наоборот, это только делает ей честь. Она оказалась умнее, чем я думал, — и слава богу.

— Ладно, хватит, — оборвал его Дмитрий. Ему нравилась Жанна, и неприятно было думать, что она так связана с Шумиловым.

— Все, не буду, — покладисто сказал Ольф. — Но каков все-таки Шумилов, а? Нет, вряд ли мы с ним хорошо сработаемся. Это не Дубровин... Слушай, давай все-таки поговорим с Дубровиным, пусть он возьмет нас к себе.

Они уже давно подумывали об этом и откладывали разговор до окончания работы. И на этот раз Дмитрий сказал:

— Вот закончим с этим бараклом, — он с ненавистью взглянул на разложенные бумаги, — тогда и скажем.

— Лады, — согласился Ольф.

Так они и сделали.

Ольф, притворно сгибаясь под тяжестью трех довольно увесистых томов, боком протиснулся в кабинет Дубровина, мелкими шажками дошел до стола, всем своим видом показывая, что вот-вот свалится от изнеможения, и потом долго отдувался и обмахивался

платком.

Дубровин улыбнулся, глядя на него:

— Может быть, ты не только летчиком, но и клоуном был?

— Еще нет, — серьезно ответил Ольф.

Дубровин просмотрел материалы и небрежно сказал:

— Могло быть и лучше, но тоже сойдет. Ну, не умерли?

— Еще нет, — повторил Ольф тем же тоном.

— Стало быть, уже и не умрете... Можете отправляться на все четыре стороны. Заседание Ученого совета одиннадцатого июля в два часа дня. Без четверти два извольте быть в конференц-зале. Разумеется, волноваться по этому поводу нет никакой необходимости — вся процедура будет чистейшей воды формальностью. Так что спокойненько отдыхайте.

— Будет сделано, — сказал Ольф. — Кстати, Алексей Станиславович, мы слышали, что у вас предвидятся какие-то вакансии.

Ни о каких вакансиях они не слышали, но Дубровин и глазом не моргнул.

— Ну и что?

— Может быть, вы возьмете нас к себе?

— Зачем? — спросил Дубровин, ничуть не удивившись.

— Ну как зачем? — опешил Ольф. — Работать.

— А чем вам плохо у Шумилова?

— Да ничем... До сих пор, по крайней мере, — уточнил Ольф. — Но ведь мы фактически работаем не у него, а у вас.

— Ну и что же? Теперь поработаете у него. Вы забыли наш уговор?

— Не забыли, конечно, — обиженно сказал Ольф — он не ожидал такого поворота. — Но мы думаем, что так будет лучше и для нас, и для работы, конечно... Может быть, и для вас, ведь мы неплохо сработались с вами. Или мы ошибаемся? — с вызовом спросил Ольф.

— Нет, не ошибаетесь, — спокойно сказал Дубровин, не обращая внимания на тон Ольфа. — Вы очень милые и симпатичные люди, и мне приятно было работать с вами. Но и с Шумиловым вы отлично сработаетесь — он человек очень приятный.

— Ну, еще бы.

— Не перебивай. А кроме того, у него интересная тема, и вы, кстати, можете во многом помочь ему. Во многом, — подчеркнул Дубровин. — И он, между прочим, надеется на вашу помощь и ждет ее.

— Он сам говорил это? — удивился Ольф.

— Да. Так что прошу вас — отдохните и принимайтесь за работу. И работайте так, как вы умеете. А ты что молчишь? — обратился Дубровин к Дмитрию.

Тот неохотно ответил:

— А что тут говорить...

И все трое замолчали.

— Я вижу, вы обиделись на меня, — мягко сказал Дубровин.

— Да нет, что вы, — кислым тоном возразил Ольф, избегая его взгляда.

Дубровин помолчал. Ольф уже собрался было встать, но Дубровин остановил его:

— Сиди. Я вижу, придется все-таки объясниться... Конечно, я мог бы со временем взять вас к себе. Это, кстати, можно было и раньше сделать. Но я не хочу.

Они угрюмо молчали. Дубровин неожиданно спросил:

— Вам кто-нибудь говорил, что я эгоист?

— Эгоист? — удивился Ольф. — Вы? Нет, разумеется.

— Ну, так я вам сейчас это говорю, — почему-то рассердился Дубровин и встал из-за стола. — Сидите, сидите... Да, я самый настоящий эгоист, точно такой же, как и вы, как и всякий другой ученый. Почему вы так удивляетесь, что я не хочу вас брать к себе? Разумеется, мне нужны люди неглупые, работоспособные, умеющие оригинально мыслить и все такое прочее...

Он остановился перед ними и отчеканил:

— Но мне не нужны люди, у которых то и дело вспыхивают в голове всякие гениальные идеи. Гениальных идей у меня самого предостаточно. Их у меня столько, что и всей моей жизни не хватит, чтобы осуществить хотя бы десятую долю. Будь моя воля и власть, я заставил бы весь институт работать только над моими идеями. И разумеется, мои идеи представляются мне значительнее всех прочих... Не понимайте мои слова слишком буквально. Это идет не от разума, а от чувства, и я не думаю, что это так плохо. Больше того, я убежден, что каждый ученый должен верить в исключительность своих идей, это непеременимое условие того, что они наиболее полно будут воплощены в жизнь. Вот почему все прочие идеи, какими бы блестящими они ни были, интересуют меня постольку, поскольку не мешают осуществлению моих собственных планов. Самостоятельность, оригинальность мышления — бога ради, я всегда готов приветствовать это. Но в определенных пределах, пока это идет мне на пользу. Ну, а вы, на ваше счастье, не из такой породы, поэтому и не нужны мне. Я слишком высокого мнения о вас, чтобы брать вас к себе, — сказал Дубровин и сел. — Вы понимаете меня?

— Приблизительно, — пробормотал ошеломленный Ольф.

— Уже кое-что, — улыбнулся Дубровин. — А теперь представьте, что вы начнете работать у меня. Самое большее через полгода кто-нибудь из вас вообразит, что моя работа никуда не годится, и предложит свой вариант. Может быть, в конце концов вы и окажетесь правы, но мне-то что от этого? Вы думаете, я позволю вам работать над этим своим вариантом? Черта с два! — энергично сказал Дубровин, и Дмитрий невольно улыбнулся. — Я заставлю вас работать так, как это мне будет нужно, а так как вы наверняка не согласитесь, я выгоню вас и возьму на ваше место людей более покладистых. И не сомневайтесь, так оно и будет, несмотря на все мое хорошее отношение к вам... Ты что смеешься? — посмотрел он на Дмитрия. — Думаешь, я не сделаю это?

— Сделаете, — с улыбкой согласился Дмитрий.

— Очень рад, что вы это понимаете. Ну, а с Шумиловым вам такая перспектива не грозит. Он очень милый, обаятельный человек, но от души желаю вам не быть похожими на него. А впрочем, вы уже не похожи. Годика через полтора-два его работа будет закончена, а там я постараюсь сделать так, чтобы вам предоставили полную самостоятельность. Устраивает вас такой вариант?

— Вполне, — сказал повеселевший Ольф.

— Ну и... — Дубровин сделал жест рукой, выпроваживая их из кабинета, — гуляйте. Когда Светлана будет рожать?

— В сентябре, — сказал Ольф.

— Тебе особенно надо отдохнуть. Готовься к тому, что потом целый год будешь недосыпать.

— Бу сделано, — ухмыльнулся Ольф, он еще не привык к тому, что скоро станет отцом.

Когда они уже уходили, Ольф остановился и с невинным видом спросил:

— Кстати, Алексей Станиславович, а почему же, если вы такой эгоист, вы возитесь с нами? Время из-за нас теряете, нервы себе треплете, уму-разуму учите?

— А вы не знаете?

— Нет.

— И я не знаю, — серьезно сказал Дубровин. — Наверно, просто потому, что вы нравитесь мне. Вы ведь неплохие люди.

— Вообще-то да, — скромно согласился Ольф.

Защита прошла на редкость буднично и прозаично. (От кого защищаться, если никто не нападает? — спросил потом Ольф.) Кандидатов наук в институте работало больше двухсот, и

появление еще двух новоиспеченных «ученых мужей» не могло не быть событием заурядным. Ольф даже выразил сомнение: а читали ли как следует члены Ученого совета их труд? Возможно, и нет, с улыбкой сказал Шумилов и разъяснил, что в этом не было бы ничего удивительного, все знают, что они подопечные Дубровина, а его авторитет слишком велик, чтобы ставить под сомнение ценность их работы. Как бы то ни было, а голосование единодушно подтвердило — Добрин и Кайданов звания кандидатов физико-математических наук достойны.

Два дня они выслушивали поздравления, пожимали кому-то руки, пили шампанское, а потом взялись за работу.

Это было в июле, а в середине августа в Долинске открылся международный симпозиум, на котором Дубровин сделал доклад. Дмитрий и Ольф, конечно, были на нем. Дубровин говорил минут пятнадцать, и уже где-то на четвертой минуте Дмитрий почувствовал беспокойство, а на десятой тревожно заворочался и стал украдкой поглядывать по сторонам — не смотрит ли кто на них и нет ли двусмысленных улыбок. Но никто не смотрел, не было никаких улыбок. Даже Жанна ничего не поняла, она не очень внимательно следила за их работой. А из доклада Дубровина следовало, что добрая половина их работы, за которую они получили кандидатские звания, по меньшей мере должна быть поставлена под сомнение, и даже сразу можно было с уверенностью утверждать, что кое-какие выводы, еще месяц назад казавшиеся бесспорными, просто неверны.

— Ты все понял? — спросил Ольфа Дмитрий.

— Да, — сказал Ольф, не глядя на него. Он с убитым видом сидел рядом и только в конце заседания взглянул на него и невесело сказал: — Н-да... Долбанул нас шеф. Прямо по темечку...

В перерыве Дубровина окружили какие-то люди и продолжали задавать вопросы. Он отвечал с видимой неохотой, оглядывался по сторонам, наконец, отыскав глазами Дмитрия и Ольфа, быстро подошел к ним и сказал:

— Никуда не уходите, дождитесь меня.

И тут же отошел, и его снова окружили.

Они ждали его до самого вечера — Дубровину приходилось улаживать какие-то конфликты, кого-то уговаривать, звонить в горком по каким-то совсем не научным делам. Наконец он освободился, и они молча пошли напрямик через душный августовский лес.

Институт разбит на две части. Та, где был конференц-зал, находилась в самом городе, вернее, на окраине его, в лесу, и отсюда до дома Дубровина было пятнадцать минут небыстрого хода.

Дубровин шел медленно, прихрамывая сильнее обычного, и им все время приходилось придерживать себя.

— Устал я, — вдруг со вздохом сказал Дубровин.

Это был, кажется, первый случай, когда Дубровин жаловался. Выглядел он и в самом деле неважно.

— Когда в отпуск идете? — спросил Дмитрий.

— Недели через три.

— Поедете куда-нибудь?

— Придется. Почки опять пошаливают.

И снова замолчали.

Дома у Дубровина никого не было. Он сказал Ольфу:

— Достань-ка коньяк. И закусить.

Ольф достал бутылку, повертел ее в руках.

— За удачу — коньяк, за неудачу — коньяк, — сказал он. — Вы прямо как врач нам его прописываете.

Дубровин как будто не расслышал, снял пиджак и галстук.

Выпили, закусили, помолчали немного, и Дубровин спросил:

— Ну, что носы повесили? Неприятно?

— Да чего уж приятного, — сказал Ольф. — Сначала американцы нас ограбили, теперь вы руку приложили.

— Давно вы эти результаты получили? — спросил Дмитрий.

— Да как вам сказать... Первые — в феврале, последние — совсем недавно.

— Поэтому вы нас и торопили?

— Разумеется.

Помолчали.

— Алексей Станиславович... — начал Дмитрий.

— Да?

— А если бы мы защищались после вашего доклада, — провалились бы?

— Не думаю. Но неприятности могли бы быть. Не здесь, конечно, а в ВАКе.

— А сейчас разве не могут? Ведь оформление займет по крайней мере полгода.

— Сейчас уже не страшно, ведь доклад сделан после присуждения, так что с формальной стороны все в порядке. К тому же я на всякий случай придержал публикацию статьи с этими результатами, и, когда она появится, ваши диссертации уже наверняка проскочат через экспертов.

— И все-то вы предусмотрели, — сказал Ольф.

— А то как же, — в тон ему ответил Дубровин. — Вам это очень не нравится?

— Не то чтобы очень... — вмешался Дмитрий и замялся.

— Но совесть мучает, да? — закончил Дубровин.

— А, вас нет? — брякнул Дмитрий.

— Представьте себе, нисколько, — спокойно ответил Дубровин. — Даже если бы мои результаты полностью опровергали ваши — а это, кстати, вполне могло случиться, — я сделал бы то же самое.

— Почему? — спросил Дмитрий.

— А почему нет?

— Да ведь вы же сами говорили, что наука не терпит никаких компромиссов, никаких сделок!

— А при чем тут наука и какие-то сделки? — рассердился Дубровин. — Какое отношение имеют к науке всякие звания и титулы?

Он встал и заходил по кабинету.

— Бросьте вы делать из этого трагедию и подводить какую-то философскую базу. Дело выведенного яйца не стоит. Вы же теоретики и должны хоть немного уметь абстрактно мыслить. Вообразите, что я не занимался этой работой, кстати, совершенно случайно перекрестившейся с вашей, и, если уж на то пошло, мысль о ней возникла у меня после просмотра ваших выкладок... Что, съели? Или сделал бы ее через год или два. Что получилось бы? Разве от этого ценность вашей работы изменилась бы? Стала бы она хоть на грош лучше или хуже? Я вас спрашиваю?

— Нет, — сказал Дмитрий.

— А в чем тогда дело? Почему это случайное совпадение должно помешать вам иметь то, что вы по праву заслуживаете? Почему, наконец, Шумилов, который работает меньше вас и, я думаю, хуже вас...

Они оба, как по команде, уставились на него. Дубровин запнулся, но твердо закончил:

— Да, я не оговорился, хуже вас. Почему он должен получать пятьсот рублей в месяц, а вы — сто?

— Сто тридцать, — поправил его Ольф.

— Не перебивай! — рассердился Дубровин. — Вечно ты со своими хохмами!

— Виноват, Алексей Станиславович.

— Если уж вы заговорили о Шумилове... — начал Дмитрий.

— То что? — подозрительно посмотрел на него Дубровин.

— Может быть, вы и закончите? — твердо сказал Дмитрий.

— А что вы хотите знать?

— То, что вы о нем думаете.

— А вам это очень нужно?

— Да.

Дубровин помолчал и неохотно сказал:

— А что вам даст мое мнение? И вообще — что может значить мнение одного человека?

— Для нас — больше, чем мнение всех остальных, — сказал Дмитрий.

— Хм... Вот поэтому мне и не хочется говорить о нем.

— А вы рискните, — настаивал Дмитрий.

Дубровин подумал немного и сказал:

— Ладно. Вы, в конце концов, не детский сад... Так вот, Шумилов, как я вам уже говорил, человек превосходный во всех отношениях. Но я думаю, что он не ученый и никогда им не станет. Хотя работать он умеет и работает хорошо. В обычном смысле этого слова, — добавил он, вспомнив, видимо, что говорил раньше. — Но в науке слово «обычно» чаще всего означает «плохо». Исследовательская работа сама по себе вещь необычная. А Шумилову явно чего-то не хватает, чтобы вырваться из категории обычного. Может быть, того, что называют талантом, хотя я не знаю, что это такое. А вы знаете?

— Понятия не имею, — сказал Ольф.

— Иногда я думаю, — продолжал Дубровин, — что талант — вещь, разумеется, великолепная сама по себе и совершенно необходимая для человечества, но для отдельного человека это вовсе не благодеяние, а что-то вроде наказания, какой-то дефект личности, если хотите. Я думаю, истинно талантливый человек не способен по-настоящему ни огорчаться, ни радоваться ничему из того, что лежит вне сферы избранной им деятельности. А это, как ни объясняйте, и есть самый настоящий дефект человеческой личности... Так вот, если исходить из этого критерия, Шумилов человек абсолютно бездарный. За десять лет совместной работы я достаточно хорошо узнал, что по-настоящему радует его, а что огорчает. Разумеется, он радовался и научным успехам, и огорчался из-за неудач. И огорчался и радовался искренне, конечно. Но первая его настоящая радость была, когда он стал кандидатом и получил возможность свободно тратить деньги. Вторая — когда он стал доктором. А так как академиком он никогда не станет, то впереди его ждет еще всего-навсего одна-единственная настоящая радость — когда он купит себе «Волгу»... А чем это вы, собственно, так довольны? — сердито спросил Дубровин, заметив мелькнувшую на лице Ольфа улыбку.

— Ну что вы, Алексей Станиславович, чем уж тут быть довольным, — сразу посерьезнел Ольф. — Дело, видите ли, в том, что Шумилов всегда мне не очень нравился, хотя я и сам не мог себе объяснить почему. А сейчас стало понятнее.

— Да? Ну, тем лучше. Хотя это всего лишь мое личное мнение, весьма возможно, в корне неверное, — отрезал Дубровин.

— А почему же вы тогда все время поддерживаете его? — спросил Дмитрий.

Дубровин недовольно покосился на него:

— Ну, во-первых, не все время. За последние три года мы вообще мало сталкиваемся с ним. И, простите, почему же мне его не поддерживать? Мы десять лет проработали вместе, и, смею вас уверить, хорошо поработали, он во многом помог мне. А во-вторых, я думаю, что я человек довольно терпимый и никому не навязываю своих взглядов, а в отношениях с людьми стараюсь придерживаться общепринятых норм, а не своих оригинальных идей. В работе — другое дело. Пожалуй, единственное, чего я не переношу, — это всякую халтуру, научную недобросовестность, карьеризм. А Шумилов не халтурщик и не карьерист. Он честно делает то, что может. И, опять-таки с точки зрения общепринятых норм, он вполне заслужил то, что имеет. И «Волгу» тоже. Я ведь уже говорил вам, что всякие степени, титулы и оклады иногда не имеют ничего общего с наукой. Все это от лукавого... Ну что, хватит с вас?

— Не совсем, — хитро улыбнулся Ольф. — Еще один маленький вопросик... Если, так

сказать, применить ваш критерий талантливости... я имею в виду ваши рассуждения о радости, то, это самое... что мы из себя представляем?

— То есть талантливы вы или нет?

— Во-во, это самое, — потупился Ольф.

— Думаю, что да, — серьезно сказал Дубровин.

— И не бойтесь, что мы зазнаемся? — расплылся Ольф в неудержимой улыбке.

— Нет, не боюсь.

— А почему вы думаете, что мы не умеем по-настоящему чему-то радоваться, кроме работы? — продолжал допытываться Ольф.

— Я не думаю, я вижу. Сколько бы вы ни уверяли меня, что вас мучат угрызения совести из-за этого «остепенения», на самом-то деле вы только из-за того беситесь, что ваша работа оказалась наполовину обесцененной. Разве нет?

— Конечно, — сказал Дмитрий.

— Вот видите...

Заглянула Светлана, она недавно пришла вместе с Марией Алексеевной и сидела на кухне.

— Ольф, ты домой не идешь? — робко спросила она.

— Сейчас, сейчас, — сразу заторопился Ольф.

Дмитрий тоже поднялся, но Дубровин сказал:

— Если не торопишься, посиди еще.

Ольф и Светлана ушли. Дмитрий держал в руке рюмку с недопитым коньяком и задумчиво смотрел на абжур.

— Ну, как ты? — ласково спросил Дубровин, заглядывая ему в глаза. Таким тоном он говорил только с ним, когда они оставались одни.

— Ничего, — пожал плечами Дмитрий.

— Очень расстроился?

— Порядком, — признался Дмитрий. Он вздохнул, допил коньяк и откинулся на спинку кресла.

— С работой Шумилова освоился? — спросил Дубровин.

— Более или менее.

— Ну и какое впечатление?

— Да как вам сказать... Интересно, конечно.

— А что же тебя смущает?

— Да какая-то она... бесхребетная, что ли. По-моему, Шумилов сам не уверен, что все делает правильно. Какие-то отступления, не совсем обоснованные эксперименты... А вообще-то не знаю... Может быть, это просто стиль его работы?

34

В разговоре с Дубровиным Дмитрий был не совсем искренним — на самом деле он не думал, что таков стиль работы Шумилова. Не в стиле тут было дело. Зимой они бегло, для очистки совести, просмотрели годовой отчет и тут же забыли о нем, своих забот хватало.

Вернувшись из отпуска и отпраздновав «остепенение», они пришли к Шумилову. Он еще раз сердечно поздравил их, несколько минут они поговорили о том о сем. Шумилов вопросительно посмотрел на них:

— Чем теперь намерены заняться?

— Чем прикажете, — бодро сказал Ольф, а Дмитрий осторожно добавил:

— Надо бы, я думаю, сначала основательно ознакомиться с тем, что уже сделано.

— Конечно, — тут же согласился Шумилов. — И вообще должен заметить, что я и впредь не намерен ограничивать вашу самостоятельность. Знакомьтесь, осваивайтесь, выскажете свои соображения, а потом вместе решим, чем вам лучше заняться.

И они начали осваиваться. Внимательно разобрали не только последний годовой отчет,

но и два предыдущих, и уже тут Дмитрий почувствовал некоторое недоумение. Отчеты были внушительны, щедро иллюстрированы диаграммами и графиками, все выглядело солидно, добротнo, каждый этап был выполнен как будто безупречно, но все вместе как-то не очень связывалось в одно целое. Оставалось впечатление, что Шумилов не очень-то хорошо знает, чего хочет. Впрочем, ни в чем конкретном его нельзя было упрекнуть. В сущности, то, что вызывало недоумение Дмитрия, можно было назвать мелочами, как будто обычными в исследовательской работе. Но у Дмитрия стало складываться впечатление, что мелочей этих слишком много, и они все больше раздражали его. Да и не такими уж безобидными были эти мелочи... Однажды они целый день просидели над разбором одного эксперимента, и вечером Дмитрий с досадой сказал:

— Слушай, или я ни хрена не понимаю, или... — он замолчал, вглядываясь в график.

— Что «или»? — спросил Ольф.

— Можешь ты мне объяснить, зачем Шумилову понадобилось делать это?

— Отчего же нет? — ухмыльнулся Ольф. — Чтобы убедиться в справедливости этого гениального уравниения.

И он ткнул пальцем в аккуратную строчку, выписанную тушью.

— Но это же почти очевидно.

— Вот именно — почти. К тому же это для тебя почти очевидно, а он, вероятно, засомневался.

— Но должна же была интуиция подсказать ему, что заниматься этим не нужно.

— А если у него ее нет?

— Чего нет? — не понял Дмитрий.

— Интуиции.

— Ну, знаешь ли, — развел руками Дмитрий. — Если заниматься проверкой таких вещей, то этой работе и через десять лет конца не будет.

— А куда ему торопиться? — сказал Ольф. — Заняло у него это всего три недели, усилий с его стороны почти никаких не потребовало — кто-то сделал, доложил, к отчету приложил, — дела идут, контора пишет. А жить стало чуть-чуть спокойнее, одним «вдруг» стало меньше.

— Но почему он стал проверять именно это? Где же тут логика?

— А если ее нет?

— Чего нет? — опять не понял Дмитрий.

— Логики, — невозмутимо сказал Ольф.

— Перестань! — рассердился Дмитрий. — Я ведь серьезно.

— Я тоже, — сказал Ольф, но Дмитрий уже не слушал его и продолжал размышлять вслух:

— Если уж он так осторожен и не доверяет себе, то стоило бы в первую очередь проверить другие, более интересные вещи. Ну, например, выяснить, чем вызван этот аномальный выброс...

Дмитрий показал на график.

— Пожалуй, — согласился Ольф.

Осваивались они две недели, а потом пошли к Шумилову. Они наметили для себя несколько проблем, которыми, на их взгляд, надо было заняться в первую очередь, но решили пока не высказываться и посмотреть, что предложит им Шумилов. И когда он спросил их, надумали ли они что-нибудь, Дмитрий вежливо уступил ему «право подачи»:

— Да, есть кое-что... Но мы бы хотели узнать, что вы считаете нужным нам предложить.

Шумилову как будто не очень понравилось это, он помолчал и стал излагать им свои соображения.

Дмитрий выслушал его и осторожно сказал:

— Очень интересно... Но вам не кажется, что сначала следовало бы проверить вот это...

И он назвал одну из намеченных проблем и поспешно спросил:

— Или это уже сделано?

— Нет.

Шумилов как будто не удивился их предложению и, немного помолчав, спокойно согласился:

— Неплохая идея. Если вы хотите заняться этим — пожалуйста.

Легкость, с которой Шумилов согласился с ними, неприятно удивила Дмитрия. Они ожидали встретить возражения и приготовили тщательнейшее обоснование своей идеи. А Шумилов сказал «неплохая идея» — и все. А между тем идея была далеко не очевидная, и Дмитрий не сомневался, что она не приходила Шумилову в голову, иначе он уже осуществил бы ее.

— Если это и есть его стиль работы, — сказал он потом Ольфу, — то это плохой стиль.

Они принялись за осуществление своей идеи, но дня через два Дмитрий решительно сказал:

— Придется тебе пока одному над этим посидеть.

— Почему?

— Мне надо еще побегать по всей работе.

— Унюхал что-нибудь?

Дмитрий неопределенно покрутил рукой:

— Да так, есть кое-какие подозрения.

И они разделились. Ольф так увлекся идеей, что почти не интересовался поисками Дмитрия, а тот ничего не говорил ему.

Незадолго до симпозиума Дмитрий сказал Ольфу:

— Отложи свои бумажки в сторону и слушай... Ты, надеюсь, не забыл, на чем мы погорели три года назад?

— Ну, еще бы. Ее величество «комбинированная четность».

— А помнишь, мы удивлялись, почему Шумилов занимается проверкой почти очевидных уравнений и в то же время не обращает внимания на аномальный выброс?

— Ну?

— Дело вот в чем. Выброс этот может быть по нескольким причинам. С большой натяжкой его можно объяснить несовершенной постановкой эксперимента, что Шумилов и сделал и на этом успокоился. Но одной из причин его может быть то самое несохранение комбинированной четности, о которое мы тогда споткнулись...

— И что же? — наморщил Ольф лоб.

— Слушай дальше. Я подумал, что Шумилов просто не заметил этого или решил не отвлекаться. А теперь сравни два отчета — предыдущий и последний. В первом он пишет, что желательно провести серию экспериментов по упругому рассеянию К-минус мезонов на протонах, и эти эксперименты были запланированы. А теперь посмотри, что в следующем отчете. Шумилов скороговоркой объясняет, что намеченные эксперименты решено было не проводить, так как появились новые данные, вполне удовлетворяющие его. И такие данные действительно появились. Но интересно то, что он ссылается на второстепенные, сравнительно бесспорные работы и ни словом не упоминает об интереснейших, но очень неясных экспериментах группы Тардена...

Дмитрий говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово, словно еще раз проверял себя, и Ольф весь сжался от нетерпения, однако молчал, он знал, что в таких случаях Дмитрия нельзя перебивать.

— Но самое-то интересное, — продолжал Дмитрий, — что один из намеченных экспериментов был все же проведен.

— И Шумилов не упоминает об этом в отчете?

— Нет.

— А от кого ты узнал об этом?

— От Жанны.

- А как все это нужно понимать?
- Сейчас увидишь. Жанна нашла результаты этого эксперимента, и я проделал кое-какие расчеты. Не сомневаюсь, что их в свое время проделал и Шумилов, поэтому он быстренько и свернул эксперименты. Он просто испугался своих результатов.
- Почему?
- Потому что они косвенно связаны опять-таки с несохранением комбинированной четности. Смотри сюда. Экспериментальное значение верхней границы относительной вероятности двухпионных распадов нейтральных ка-два мезонов меньше трех десятых процента. Это результаты Дубнинской группы. А у Шумилова эта граница намного выше — почти один процент.
- Ольф в изумлении откинулся на спинку стула.
- Что он, сошел с ума? Неужели он нигде не приводит эти результаты?
- Нет.
- Ну, это уже просто подлость...
- Зачем так громко. Формально его вряд ли в чем упрекнешь. Ведь это был побочный эксперимент.
- Да-а...
- А теперь смотри, что получается. Результаты Дубнинской группы относятся еще к шестьдесят первому году. Техника эксперимента с того времени значительно усовершенствовалась, и вполне естественно, что получились расхождения. Во всяком случае, любой ученый попытался бы выяснить причину этих расхождений. Я думаю, что Шумилов тоже наверняка сделал бы это, если бы был уверен, что тут дело именно в технике эксперимента или еще в чем-то столь же несущественном. Но ведь после экспериментов Дубнинской группы были работы Фитча и Кронины, Окуня, потом эксперименты в ЦЕРНе и Харуэлле. В итоге, сам знаешь, ситуация оказалась архисложная, никто толком не знает, что делать с этой комбинированной четностью, как связать концы с концами. Для каких-то категорических суждений слишком мало данных. Все неясно, неустойчиво, малодостоверно. Вероятность неудачи при исследованиях в этой области намного возрастает... Стоит ли удивляться, что Шумилов предпочитает не рисковать, не ввязываться в эту историю? Ему что-нибудь попроще бы, поскромнее, понадежней.
- А чего же он тогда хочет?
- Чего он хочет, я не знаю, — задумчиво сказал Дмитрий. — А вот чего он не хочет, я догадываюсь.
- Чего?
- Он не хочет, чтобы его работа хоть как-то соприкасалась с проблемами несохранения комбинированной четности.
- Ты уверен?
- Уверенным тут быть трудно. Но уж очень факты... один к одному подходят. Надо еще помыслить, узнать кое-что.
- Все-таки странно... Подвернулась такая блестящая возможность заняться настоящей работой — и он сам отказывается от нее.
- Ты же сам говоришь: все мы люди, все мы человеки...
- Знаешь, что меня смущает? Ведь работа Шумилова идет уже четвертый год, неужели никто ничего не заметил?
- Ну, тут удивляться нечему. По сравнению с остальными его работа не слишком-то значительная, никому до нее дела нет, у всех своих забот хватает. Да еще учти, что никакого криминала в его действиях нет. Он волен по-своему интерпретировать те или иные факты.
- Ты думаешь, и Дубровин ничего не заметил?
- Наверно, нет. Он давно не следит за его работой.
- А Жанне ты говорил?
- Нет, но она, кажется, и сама догадывается, что не все чисто.
- Что же нам теперь делать?

— Посмотрим, — неопределенно сказал Дмитрий. — У нас еще слишком мало фактов, чтобы предпринимать что-то конкретное.

— Но Дубровину-то надо сказать?

— Зачем? Во-первых, и говорить-то почти нечего. Пока что все это наши домыслы. А потом — до каких пор он будет нянчиться с нами? Неплохо было бы самим разобраться во всем.

— Ну, смотри, — сказал Ольф и вдруг засмеялся.

— Ты что? — удивился Дмитрий.

— Да так, вспомнил кое-что... Кто бы мог подумать, что спустя три года мы опять столкнемся с несохранением комбинированной четности. Ты, случаем, не видишь в этом указующего перста судьбы?

— Пока нет, — улыбнулся Дмитрий, — но думал, кстати, я об этом и раньше.

— Да? Смотри-ка, а я напрочь выбросил из головы...

Ольф совсем развеселился, встал и заходил по комнате.

— А ты, я смотрю, тоже хорош. Обзывал меня сыщиком, а сам все вынюхивал, как бы своего ближнего подсадить.

— Ничего я не вынюхивал. Почти все эти данные мне Жанна сообщила.

— Кстати, что она за человек?

— По-моему, очень хороший.

— Ты собираешься рассказать ей?

— Со временем.

— И не боишься, что она донесет Шумилкову о нашей подрывной деятельности?

— Ну, во-первых, Шумилкову рано или поздно придется рассказать. Я не собираюсь действовать исподтишка.

Ольф остановился:

— Ты это серьезно?

— Вполне.

— А если он просто-напросто вышвырнет нас из лаборатории?

— Не исключено, конечно. Но мне почему-то кажется, что он не сделает этого.

— Почему? Он же имеет полное право на это. Ему нужны люди, работающие на него, а не против него.

— И это верно, — спокойно согласился Дмитрий. — И все-таки сказать придется.

Ольф покачал головой и ничего не ответил. Потом вспомнил:

— А ведь работа Шумилкова — тема кандидатской диссертации Жанны. Тебя и это не смущает?

— Нет, — сказал Дмитрий.

35

Дмитрий все рассказал Жанне недели через две. Он сухо, безо всяких эмоций изложил факты и свои соображения. Жанна как будто не удивилась, молча выслушала его и спросила:

— Ты уже говорил кому-нибудь об этом?

— Пока нет.

— А почему ты именно мне рассказываешь?

— Потому что нам понадобится твоя помощь.

— Нам? — подняла брови Жанна.

— Да. Мне и Ольфу.

— А-а... — безразлично сказала Жанна.

— Тебе не устраивает такая комбинация?

Жанна пожала плечами:

— Почему? Мне все равно.

— А что ты думаешь об этом? — Он показал на выкладки.

— Пока ничего. Так сразу тут не разберешься. Надо подумать.

— Для тебя это неожиданность?

Жанна как-то странно взглянула на него и не ответила.

— Мне казалось, — осторожно начал Дмитрий, — что ты и сама кое о чем догадывалась. То есть тебя не совсем устраивало общее направление работы.

— Допустим, — сухо сказала Жанна. — Ну, а какую же помощь вы хотите от меня получить?

— Если наши соображения покажутся тебе достаточно вескими... — Дмитрий замялся, подбирая слова.

— Ну, и что дальше? — спросила Жанна, не глядя на него.

— То мы могли бы вместе поработать в этом направлении.

— Каким образом? План работы лаборатории утвержден Ученым советом.

— Планы в научных исследованиях нарушаются часто. Это все-таки не поточное производство.

— А как вы думаете изменить план Николая Владимировича?

— Разумеется, рассказать ему обо всем, попытаться убедить его.

— И я должна помочь вам в этом, — медленно сказала Жанна.

— Ну да, — простодушно сказал Дмитрий. — И в этом тоже.

— И где я должна это сделать — в постели?

Дмитрий даже передернулся от неожиданности и покраснел, только сейчас до него дошло, почему у Жанны такое напряженное лицо.

— Жанка, да ты что? — растерянно спросил он. — Ты серьезно?

Она испытующе посмотрела на него, но тут же с облегчением вздохнула и сердито сказала:

— Вот святая простота... Да ты сам посуди. Ты что, не знаешь, что я живу с ним?

— Слышал кое-что, — растерянно пробормотал Дмитрий.

— И правильно слышал! — отрезала Жанна. — А теперь вообрази себя на моем месте. И ты с невозмутимым видом предлагаешь мне выступить против него?

— А что тут такого?

Жанна засмеялась:

— Да ты и в самом деле не от мира сего... Вообрази, что Ася вдруг преподнесла бы тебе такой сюрприз.

Дмитрий удивленно посмотрел на нее и сконфуженно сказал:

— Айв самом деле приятного мало. Но ты же все-таки не жена, — попробовал вывернуться он.

Жанна вздохнула:

— И это верно... Да от этого ведь не легче.

Она задумалась.

— А если я все-таки не соглашусь, несмотря на все ваши веские соображения?

— Почему наши? В конце концов, истина — вещь объективная и безличная.

— Брось ты мне мораль читать, — рассердилась Жанна. — Все это я и без тебя знаю. Что из того, что вы правы? Ну и занимайтесь себе на здоровье этой объективной истиной, я-то почему должна?

— Потому что ты умная женщина.

— Спасибо, — иронически наклонила голову Жанна.

— Да я серьезно.

— Но все-таки почему ты именно меня выбрал для этой цели?

— Да потому, что ты действительно умная женщина, отличный человек, и мне хочется, чтобы мы работали вместе. Да я, кстати, намерен и еще кое-кого перетянуть на нашу сторону с твоей помощью. Ты же знаешь всех лучше меня.

— Ну хорошо, — сказала Жанна, явно довольная его словами. — А если Николай Владимирович не согласится с вами?

- Наверно, так и будет.
- И что тогда?
- Откуда я знаю. Посмотрим, обсудим вместе, решим.
- Ты и меня имеешь в виду?
- Конечно.

Жанна повела головой:

- А ты нахал, Димка. Я ведь еще ничего не сказала.
- А куда ты денешься? Я ведь вижу, что тебе хочется по-настоящему работать, а не только винтиками заниматься.

— Ладно, я подумаю, — сказала Жанна.

— Думай, — разрешил Дмитрий.

Через два дня Жанна сказала:

— Я согласна.

И они стали работать втроем.

Четвертым стал Валерий Мелентьев. Он работал тогда в Москве и впервые появился в Долинске недели через две после разговора Дмитрия с Жанной — и сначала не понравился им своей шумной развязностью, самоуверенностью и хвастливостью. На их взгляд, он слишком часто крутил в руках ключи от собственной машины, слишком много рассказывал об Америке, где полгода был на стажировке, и о Париже, где провел две недели, и не всегда кстати вставлял в свою речь английские и французские слова. Но работать он умел великолепно, что они признали с первого же дня, а в их глазах это достоинство с лихвой искупало его недостатки. Работа Мелентьева была тесно связана с только что закончившейся работой Дмитрия и Ольфа, и Валерий ежедневно бывал в их лаборатории, сыпал шуточками, посмеивался, сколачивал компании и водил их в буфет пить пиво и сразу стал решительно своим человеком. Работал он не больше трех-четырёх часов в день — из-за неизлечимой, хронической лени, как объяснил он сам, посмеиваясь. Но и за четыре часа он успевал сделать столько, что иному понадобилась бы для этого неделя. Он любил повторять изречение Эйнштейна: «Я могу по пальцам пересчитать дни, когда мне приходили в голову по-настоящему ценные мысли» — и утверждал, что главное в любой работе — выделить эту ценную мысль, если, конечно, она имеется. И делал он это великолепно. Интуиция у него была просто феноменальная — он мгновенно схватывал суть дела и не обращал внимания на детали, они его просто не интересовали. Работая, он сразу становился очень серьезным, даже лицо у него преображалось — делалось строгим, сосредоточенным. В свои неполные тридцать лет Мелентьев опубликовал уже больше десятка работ, посвященных самым различным проблемам теоретической физики, и три или четыре из этих работ были признаны довольно значительными. Он блестяще владел самым совершенным математическим аппаратом, и создавалось впечатление, что ему решительно все равно, чем заниматься, лишь бы проблема была интересной и сложной. Дмитрий как-то сказал ему об этом, и Валерий охотно согласился:

— Ты прав, старик. Да и сам посуди — какая разница между всеми этими идеями?

Дмитрию не очень понравилась такая неразборчивость, и он промолчал.

Мелентьев был знаком и с Шумиловым и с Дубровиным. Шумилов относился к нему с явным уважением, а Дубровин, как выяснилось, недолюбливал и отозвался о нем так:

— Человечек, я думаю, так себе, но талантлив, это бесспорно. — Подумал немного и добавил: — Можно сказать, локально талантлив. Великолепно организованная мыслящая машина.

И вот эта мыслящая машина стала работать с ними, и виной всему была Жанна.

В конце сентября Светлана родила сына. Ольф узнал об этом утром и позвонил Дмитрию на работу. Он говорил минут пять, и Дмитрий наконец спросил:

— Ты что, уже клюкнул?

— Ага, — радостно хихикнул Ольф. — Я сейчас приеду. Три сто пятьдесят, понимаешь? — наверно, уже в десятый раз повторил Ольф. — Говорят, что все нормально.

— Приезжай, — сказал Дмитрий.

— Еду, еду...

Когда он приехал, ему торжественно преподнесли цветы и открыли бутылку шампанского. Ольф как-то глупо заулыбался, нагнулся к портфелю, уронив при этом цветы, и вытащил еще четыре бутылки шампанского. Распили и эти бутылки. Потом позвонила Жанна, она была в отпуске, только что вернулась с юга и еще не выходила на работу, и Ольф заорал в трубку, что у него родился сын, что весит он три сто пятьдесят и чтобы она немедленно приезжала поздравить его. Жанна ограничилась поздравлением по телефону и сказала, что зайдет вечером. Но вечером Валерий повел их в ресторан, и Ольф оставил записку, чтобы Жанна тоже шла туда, дал швейцару рубль, чтобы он пропустил ее, туманно объяснив:

— Знаешь, папаша, она такая...

Ольф показал руками в воздухе, какая она.

— В общем, самая красивая...

Папаша понял, и Ольф дал ему еще рубль. Как потом выяснилось, швейцар начал пропускать всех женщин, которые казались ему красивыми, и его пришлось сменить, а когда Жанна пришла, ей с трудом удалось убедить нового привратника, что ее ждут.

Они сидели за столом, уставленным коньяком, винами, закусками, сытые, уставшие, пьяные и говорили так, как говорят в подобных случаях все подвыпившие люди, то есть каждый говорил о своем, не слушая Другого, вспоминал какие-то потрясающие истории, случившиеся с ним, но истории эти, конечно, никому не удавалось рассказать до конца. Валерий за разговорами оглядывал зал и уже подмигивал хорошенькой девушке за соседним столом, а ее спутник кидал на него мрачные взгляды и раза два приподнимался было, чтобы встать и пойти выяснить отношения, но девушка удерживала его.

И вдруг Валерий присвистнул и сказал:

— Mon dieu, что я вижу! Какая женщина!

Дмитрий оглянулся и увидел Жанну.

— Это же не женщина, а жемчужина! А какая оправа! Надо полагать, что это и есть first lady вашего города?

Дмитрий не успел ответить — Жанна уже подошла к ним. Валерий растерялся, но только на мгновение, тут же вскочил и приготовился знакомиться. Жанна с недоумением взглянула на него, и Дмитрий сказал:

— Это Валерий Мелентьев.

— Совершенно верно, — подхватил Валерий и кинулся усаживать Жанну. Через минуту он уже пододвинул свой стул поближе и наклонился к ней, рассказывая что-то вполголоса.

— Готов товарищ, — пробормотал Ольф.

Жанна была просто ослепительна в этот вечер. Смуглая, почти коричневая от загара, в открытом платье, она по-королевски восседала за их столом и небрежно слушала Валерия. А когда он слишком близко пододвинулся к ней, Жанна что-то коротко бросила ему, и Валерий сразу замолчал и выпрямился, но через минуту снова заговорил.

На следующий день выяснилось, что они проговорились Валерию обо всей этой истории с Шумиловым и его работой, и он сразу предложил им свою помощь. И хотя за день до этого Валерий говорил, что ему пора ехать в Москву, он задержался еще дней на десять. И надо сказать, помощь его была довольно существенной. Валерий быстро заметил пробелы в их построениях и высказал кое-какие соображения по поводу того, как их можно устранить. У него прямо-таки глаза блестели от удовольствия, когда он разбирал работу Шумилова и отмечал его промахи.

Дмитрий спросил у Ольфа:

— Ты сказал ему о том, что Жанна живет с Шумиловым?

— Да.

— И что он?

— Да ничего, — засмеялся Ольф. — Сказал, что это не страшно. По-моему, он больше ревнует ее к тебе, чем к Шумилову.

— Ну вот еще... Я-то здесь при чем?

— Ну да, при чем... Он же видит, как Жанна относится к тебе и как к нему.

Действительно, Жанна относилась к Валерию довольно сдержанно. Пожалуй, даже более чем сдержанно. Явной неприязни к нему не выказывала, но несколько раз говорила с ним довольно резко. Валерий просто не знал, что отвечать, и заметно терялся, правда ненадолго. Потом он внезапно уехал, торопливо попрощавшись с ними, и неопределенно пообещал заглянуть через недельку.

Явился он через три дня веселый, но чересчур уж возбужденный.

— Ребята, — сказал он, — я знаю одного парня, которому очень нравится ваша компания.

— Что это за парень? — полюбопытствовал Ольф. — Мы всем здесь нравимся.

— Парень, по-моему, ничего. Тоже физик, кандидат наук, автор двенадцати опубликованных и ста двадцати четырех еще не написанных работ, владеет двумя иностранными языками... Ну, что еще? Ах да, он хочет работать с вами.

Ольф сначала не понял его, а потом хлопнул по плечу и рассмеялся:

— Ну и отлично, чего же лучше! Вчетвером мы такого наворочаем...

И тут он встретил твердый, предупреждающий взгляд Дмитрия и осекся, а Дмитрий сразу вмешался в разговор:

— Ты что, хочешь перевестись к нам в институт?

— Да, — сказал Валерий. — Вернее — в вашу лабораторию. А если еще точнее — в вашу группу. Если, конечно, вы не против, — небрежно добавил он.

— То есть заняться антишумиловщиной? — серьезно уточнил Дмитрий.

— Да.

— А ты уверен, что у нас что-то получится?

— Уверен, — сказал Валерий и посмотрел на Жанну. Та как будто и не слышала, о чем идет разговор, — такое бесстрастное было у нее лицо.

— Но ведь у тебя своя работа в Москве, — сказал Дмитрий. — И ты сам говорил, что она еще далека от окончания.

— А-а, — Валерий махнул рукой. — Не так уж она много стоит. Я могу ее потихоньку и здесь закончить, если нужно будет. А кроме всего прочего, я давно уже подумывал о том, чтобы уйти оттуда. Мой шеф — личность абсолютно бездарная, у меня давно с ним контры... В общем, пусть это вас не волнует.

— А как же ты переведешься? Ты уверен, что Шумилов возьмет тебя?

— Ну, если только в этом дело, — самодовольно улыбнулся Валерий, — то тут и вовсе беспокоиться нечего. Я уже намекал ему, что хотел бы перебраться сюда. Он мне прямо сказал, что с удовольствием возьмет меня к себе.

— А он знает, что ты собираешься работать против него? — спросил Дмитрий.

Валерий удивленно посмотрел на него:

— Что за вопрос? Конечно, нет. Вы же ничего не говорили ему, как я мог вас подвести? Да и что это меняет, в конце концов?

Дмитрий молчал. Ольф с недоумением поглядывал то на него, то на Жанну, она не вмешивалась в разговор.

— Ну, так что? Устраивает вас моя кандидатура? — небрежно поинтересовался Валерий.

— Надо подумать, — спокойно сказал Дмитрий.

Валерий с удивлением взглянул на него — он явно не ожидал такого ответа, — натянуто улыбнулся и с еще большей небрежностью бросил:

— Ну, думайте... — И отправился к себе в гостиницу.

Дмитрий молча посмотрел ему в спину.

Разговор начал Ольф:

— Какая муха тебя укусила, Димыч? Чем это Валерка тебе не подходит?
— А тебе все в нем нравится?
— Да что он, девица, что ли? — сердито сказал Ольф. — При чем тут нравится или не нравится? Он отличный физик и хочет работать с нами, что еще тебе надо?
— Кое-что мне в нем определенно не нравится, хотя он и в самом деле не девица.
— Что именно?
— Хотя бы то, как он легко расстается со своей незаконченной работой. А потом сообрази — Шумилов примет его к себе в полной уверенности, что Валерий будет помогать ему, и вдруг через месяц окажется, что все наоборот. Ты бы сделал так?
— Нет, — сказал Ольф, — но это, в конце концов, его дело.
— Только ли его? — покачал головой Дмитрий. — Работать-то он будет с нами.
— Чего же ты хочешь? — сердито спросил Ольф. — Отказать ему?
— Давайте вместе решать, — уклончиво сказал Дмитрий.
— Я — за, — решительно сказал Ольф. — Не вижу никаких оснований отказывать ему.
— А ты, тихоня? — с дружеской усмешкой спросил Дмитрий молчавшую до сих пор Жанну.

Жанна улыбнулась и отпарировала:
— Но ведь ты сам ничего не сказал. Это не по-джентльменски.
— Ох, иезуиты, — засмеялся Дмитрий. — Я просто хотел выяснить, не будет ли тебе неприятно работать с ним.
— Мне? — совершенно естественно удивилась Жанна. — Почему?
— Вот это да! — восхитился Ольф. — Можно подумать, что Валерка действительно воспылал любовью к нашей работе, а не к ней.
— Какая разница, — безразлично сказала Жанна. — Если он в самом деле хочет работать с нами — пусть работает.
— Ну что ж, на том и решим, — сказал Дмитрий.
Через неделю Валерий уже работал вместе с ними.

36

А вскоре они едва не поссорились.
Разговор случайно зашел о том, что надо будет сказать обо всем Шумилову. Валерий сначала не понял:
— О чем сказать?
— Об этом, разумеется. — Дмитрий показал на пухлую папку со всеми выкладками.
— Да ты что? — изумился Валерий. — Хочешь, чтобы он вас вытурил в два счета?
— Почему «вас»? — спокойно сказал Дмитрий — его ничуть не удивили ни изумление Валерия, ни его обмолвка. — Ты ведь тоже причастен к этому.
— Ну, я-то... — начал Валерий и вовремя осекся, но все отлично поняли его. — Не в этом дело — вас, нас. Зачем раньше времени раскрывать карты? Думаете, Шумилов согласится изменить свои планы?
— Наверно, нет, — сказал Дмитрий, — но сказать все-таки надо.
— Зачем?
Он действительно не понимал, почему надо говорить Шумилову.
— Потому что иначе будет просто непорядочно, — сказал Дмитрий. — Положение у нас и без того щекотливое: как бы мы ни относились к Шумилову, нельзя не признать, что мы многим обязаны ему.
— Чем это?
— Очень многим, — подчеркнул Дмитрий. — Во-первых, мы с Ольфом уже полтора года работаем у него, а почти ничего не сделали по его теме. И надо быть только благодарными ему за то, что он дал нам возможность закончить нашу работу, чем бы это ни объяснялось. Уже поэтому будет просто свинство, если мы исподтишка нанесем ему такой

удар. А во-вторых, не надо забывать, что мы пришли на готовое.

— То есть как это на готовое? — не понял Валерий.

— Я имею в виду его ошибки. Это не так уж мало. Если бы мы начинали с нуля, возможно, и нам пришлось бы сначала конструировать эти ошибки.

— Ну, знаешь ли... — протянул Валерий. — Если так рассуждать... Можно подумать, что его результаты и ошибки — его личная собственность.

— Почти. Ведь они не опубликованы.

— Да он же сам не хотел этого!

— Неважно, — твердо сказал Дмитрий. — И кроме того, как ни мала вероятность, что он согласится с нами, ее тоже нельзя сбрасывать со счета. Хотя бы потому, чтобы нас потом ни в чем нельзя было упрекнуть. Я не хочу...

— Ну, это уже какое-то чистоплюйство, — не сдержался Валерий.

Дмитрий покраснел, а Ольф быстро спросил у Валерия:

— А что же ты предлагаешь?

— Да чего проще! Дождаться защиты годового отчета и тогда все и выложить, прямо на заседании Ученого совета. А до тех пор ни звука.

— Не будет этого! — резко сказал Дмитрий.

— Ну, это еще как сказать, — обиделся Валерий. — Ты ведь не один.

Он явно рассчитывал на поддержку Ольфа и Жанны и вопросительно посмотрел на них. Жанна молчала, а Ольф неохотно сказал:

— Как я к этому отношусь, значения не имеет. Если Димка считает нужным сказать, так и будет.

Валерий разочарованно отвернулся от него и обратился к Жанне:

— А ты?

Она сказала, глядя куда-то мимо него:

— Даже если бы вы решили ничего не говорить, я бы и сама сказала. О себе, по крайней мере.

Валерий пожал плечами:

— Дело ваше... Самим все придется расхлебывать.

— В общем, так, — подвел итоги Дмитрий. — Дискутировать на эту тему больше не будем. Как только подготовим все материалы, сразу сообщим Шумилову. Как это будет конкретно, еще уточним. Я думаю, лучше будет, если мы сделаем это вдвоем с Жанной. Так? — Он вопросительно взглянул на нее. Жанна кивнула.

Но все вышло иначе. Через несколько дней Шумилов попросил Дмитрия зайти к нему. Он был чем-то очень доволен и улыбался еще более радушно, чем обычно.

— Ну, как ваша работа? Я слышал, подходит к концу?

— Да, как будто, — уклончиво ответил Дмитрий.

Шумилов имел в виду ту самую идею, которую они выдвинули в июле. На самом деле они уже почти закончили эту работу, и Дмитрий недоумевал, откуда Шумилов мог узнать об этом.

— Ну и отлично, — весело сказал Шумилов. — Добрин сможет сам закончить ее?

— Да.

— Тогда у меня к вам большая просьба. У меня появилась одна идея — по-моему, довольно интересная. Одному мне с ней не хочется возиться, да и времени нет, надо бы к декабрю основательно рассмотреть ее и успеть включить в план следующего года. Если бы мы сейчас вдвоем взялись за это — было бы очень неплохо. А потом, конечно, и Добрин подключится. Вы как, не против?

— Вообще-то нет, конечно, — неопределенно сказал Дмитрий. А что он еще мог сказать?

— Тогда давайте приступим, — сказал довольный Шумилов.

Дмитрий сразу увидел, что эта идея должна еще дальше увести работу Шумилова по тому направлению, которое они считали неверным. Он слушал Шумилова и думал: что

делать? Сначала он решил отделаться общими словами, а потом вместе со всеми обсудить создавшееся положение. Но Шумилов говорил долго, очень обстоятельно, детально разбирая места, которые вовсе не требовали этого. Дмитрия все больше раздражало это копание в мелочах. Шумилов наконец закончил и нетерпеливо спросил:

— Ну, как вам показалась моя идея?

Шумилов так и сказал — «идейка», но видно было, что сам он считает свою идею значительной и очень доволен тем, что она пришла ему в голову. И Дмитрий неожиданно для самого себя сказал:

— Мне она не понравилась.

Довольная улыбка медленно сходила с лица Шумилова.

— Вот как... — сухо сказал он. — Что же именно вам в ней не понравилось?

— Все, — сказал Дмитрий, делая усилие, чтобы не отвести взгляд от лица Шумилова. — Мне она кажется бесперспективной.

Отступать дальше было некуда, и Дмитрий, помедлив, добавил:

— И не только эта идея, но и вообще вся ваша работа.

— Даже так... — негромко сказал Шумилов. Он уже справился с собой, но видно было, каких усилий стоит ему его спокойствие. — Ответственное заявление.

— Конечно, — согласился Дмитрий. — И мы хотели бы обсудить это с вами. Так думаю не только я.

— Кто же еще?

— Добрин, Мелентьев...

Дмитрий замолчал. Шумилов спокойно смотрел на него и ждал.

— Еще кто-нибудь? — наконец спросил он.

— Да, — сказал Дмитрий. — Жанна.

Он не хотел, чтобы вышло так. Надо было, чтобы Жанна сама сказала ему. Наверно, Шумилов не сразу понял его или просто не поверил, потому что он еще несколько секунд так же спокойно и бесстрастно смотрел на него. Но потом лицо его неумовимо изменилось, и Дмитрий не сразу понял, почему оно стало таким, и отвернулся. Он боялся взглянуть на Шумилова, чтобы еще раз не увидеть того, что было на его лице, — страха и боли. Такой боли, что Дмитрий сразу пожалел о том, что сделал. Он не ожидал, что все выйдет так скверно, ведь Шумилов всегда был сдержанным и очень уверенным в себе. А теперь перед ним сидел уже немолодой, сорокалетний человек, ошеломленный неожиданной жестокостью, и этот человек просто не знал, что ему сейчас делать. И он инстинктивно сделал то, что делают все люди и животные, столкнувшись с неожиданной бедой, — попытался укрыться от опасности. Он встал из-за стола, подошел к окну, стал смотреть в него. Там, за окном, тихо шумел мелкий дождь поздней осени.

Дмитрий тоже поднялся и негромко спросил:

— Я могу идти?

И тут же понял, что не нужно было спрашивать, и направился к двери. Он пошел к Жанне и сказал:

— Пойдем поговорим.

И потом, когда они вышли в коридор:

— Я все ему сказал.

Жанна как будто не удивилась, спокойно спросила:

— Обо мне тоже?

— Да.

Жанна прикусила губу и задумалась.

— Я не хотел, но так получилось, — и Дмитрий рассказал, как это получилось. — Прости, что так вышло.

Жанна вздохнула:

— Ничего. Может быть, это и к лучшему. Он у себя?

— Да.

И Жанна медленно пошла в кабинет Шумилова. Она не постучалась и, прежде чем закрыть за собой дверь, спустила собачку — Дмитрий слышал, как щелкнул замок. Он вернулся к себе. Ольф посмотрел на него и спросил:

— Случилось что-нибудь?

— Я сказал Шумилову.

Валерий присвистнул.

— Ну, и как он?

Дмитрий ничего не ответил, а Ольф спросил:

— Жанна к нему пошла?

— Да.

Они закурили и стали ждать Жанну. Она пришла часа через полтора и устало опустилась на стул.

— Ну что? — спросил Валерий.

— Ничего, — сказала Жанна.

— Ну как это ничего? Говорил он что-нибудь?

— О господи, — рассердилась Жанна. — А что я, по-твоему, делала там?

Валерий смешался — он только сейчас догадался, насколько неуместны его расспросы. Жанна поднялась.

— Я домой. Дима, поедешь со мной?

— Да.

— А вы, — повернулась Жанна к Ольфу и Валерию, — не вздумайте идти к нему объясняться. И вообще — пореже попадайтесь ему на глаза.

— Ладно, — сказал Ольф.

Все еще шел дождь. Жанна раскрыла зонтик и взяла Дмитрия под руку, прикрывая его от дождя. Дмитрий перехватил у нее зонт и только потом подумал, что не надо было этого делать, — если Шумилов стоит у окна, он наверняка увидит, как они уходят, прикрывшись одним зонтом. Потом они ждали автобус, и Жанна тоскливо сказала:

— Погода еще такая мерзкая...

Жанне не хотелось идти домой, и они пошли к Дмитрию.

Они долго пили чай и молчали. Наконец Дмитрий спросил:

— Он очень расстроился?

— Не то слово. Он просто убит.

— И что он собирается делать?

— Чудак ты, Дима, — устало сказала Жанна. — О самой работе мы почти не говорили. Его куда больше расстроило то, что именно я оказалась заодно с вами. А о том, кто прав — он или мы, — он пока и не думает.

— Он очень любит тебя?

— Да. До сегодняшнего дня я даже не подозревала, что так сильно.

— И что же вы решили?

— Что надо по-хорошему расстаться. То есть это я так решила, он и слышать об этом не хочет... Он на все согласен, лишь бы я не уходила от него.

— Даже на то, чтобы изменить план работы?

— Похоже, что так.

— Но ведь он еще не знает, насколько серьезны наши возражения! Я же ничего конкретного не говорил ему.

— Для него это не так уж важно.

— Ты хочешь сказать, что он сделал бы это ради тебя?

— Да.

— А почему ты решила уйти от него?

Жанна уклончиво ответила:

— Это длинная история... Я давно уже хотела уйти. Если бы ты знал, как мне жалко было его сегодня. Какой он был беспомощный... Он ведь очень добрый. Говорит со мной, а

у самого такое выражение, как будто все время хочет понять, почему с ним так жестоко обошлись, и не может.

Через два дня Жанна сказала:

— В общем, так... Белено передать, что вы можете заниматься чем угодно.

— И все? — спросил Ольф.

— Да.

— Не густо, — ухмыльнулся Валерий.

Жанна вспылила:

— А ты без комментариев никак не можешь?

Теперь они встречались с Шумиловым только в коридорах или в автобусе по дороге на работу, он вежливо наклонял голову, отвечая на их приветствия, и тут же отворачивался. Так продолжалось недели две. Жанна нервничала и ничего не рассказывала даже Дмитрию. Наконец он сам спросил:

— Что у вас происходит?

— Ничего, — тусклым голосом сказала Жанна. — Если, конечно, не считать того, что он каждый день уговаривает меня выйти за него замуж. Каждый день... — с отчаянием выговорила она. — Я скоро с ума сойду от этих разговоров.

— О нас он говорил что-нибудь?

— Нет.

— Может быть, мне самому сходить к нему?

— Иди.

И Дмитрий пошел к Шумилову.

Он стоял у окна и медленно повернулся на голос Дмитрия. Несколько секунд пристально вглядывался в него, словно не мог понять, зачем этот человек здесь. Наверно, он и в самом деле считал его причиной всех своих бед.

— Слушаю вас, — с видимым усилием сказал Шумилов.

— Мне нужно поговорить с вами.

— Садитесь.

Но сам он остался стоять, повернувшись спиной к окну, и повторил:

— Слушаю вас.

— Нам хотелось бы, — начал Дмитрий, подчеркивая это «нам», — чтобы вы посмотрели наши предложения и высказали о них свое мнение.

— Зачем?

— Если они заслуживают внимания... — Дмитрий замялся.

— То что же? — вежливо осведомился Шумилов.

— Тогда, возможно, следовало бы внести их в план работы на следующий год.

— А вы, оказывается, дипломат, — каким-то странным, осуждающе-презрительным тоном сказал Шумилов, но тут же взял себя в руки и сухо закончил: — В прошлый раз вы достаточно ясно сказали мне, что вся моя работа кажется вам бесперспективной, а следовательно, и не нужной. Или я неправильно понял вас?

— Нет, все правильно.

— Тогда ваше предложение должно означать просто замену моих планов вашими, не так ли?

— Примерно так.

Шумилов помолчал и с раздражением спросил:

— И вы думаете, что я сделаю это?

— Нет, — сказал Дмитрий, глядя на него, и тоже встал.

— Нет? — удивился Шумилов. — Тогда зачем же вы пришли?

— Чтобы вы ознакомились с нашими предложениями.

— Ваши предложения меня не интересуют, — нетерпеливо сказал Шумилов, и видно, было, как неприятен ему этот разговор и как хочется ему поскорее закончить его. — Если они действительно заслуживают внимания, поступайте так, как сочтете нужным. Дождитесь

защиты отчета или напишите докладную и изложите свое мнение Ученому совету.

— Вероятно, мы так и сделаем, — сказал Дмитрий, — но вам, я думаю, все-таки следует взглянуть на нашу работу.

— Чего ради?

— Ради дела.

Шумилов молча смотрел на него, потом отрывисто сказал:

— Хорошо, оставьте, я посмотрю.

Дмитрий положил папку на стол:

— Если у нас появятся какие-то новые данные, мы вам сообщим.

Шумилов наклонил голову и ничего не ответил. Дмитрий попрощался и вышел.

Он рассказал об этом разговоре Жанне и добавил:

— Я не уверен, что он действительно станет смотреть наши выкладки. Если можешь, попроси его сделать это, иначе он останется в дураках. Ведь ему все равно придется высказать свое мнение, рано или поздно.

— Хорошо.

— И еще... — Дмитрий замялся.

— Что?

— Может быть, все-таки удастся... Ну, если он посмотрит и с чем-то не согласится или у него появятся какие-то свои предложения... Может быть, из всего этого соорудить такой общий план, не указывая имен, так сказать, план всей лаборатории.

Дмитрий совсем запутался, но Жанна поняла его.

— Нет, об этом даже и говорить не стоит, он не согласится.

Дмитрий рассказал обо всем Ольфу и Валерию.

— Ну что ж, к оружию, граждане. Я думаю, драчка будет серьезная. Наша настырность наверняка кому-то очень не понравится. Здесь, кажется, не любят скандалов.

И они принялись за работу. Потом Ольф напомнил Дмитрию:

— Слушай, может быть, все-таки сказать Дубровину?

— Как раз сейчас ему только с нами и возиться, — сердито возразил Дмитрий. — Лучшего времени не выберешь. Ты что, не видишь, что он еле ходит?

Да, Дубровин был очень болен. Он появлялся в институте на несколько часов, делал самое необходимое и уезжал домой. А вскоре и совсем слег, и после очередного приступа его увезли в больницу.

37

Заседание Ученого совета, на котором защищался отчет лаборатории Шумилова, состоялось в январе.

Председательствовал Дубровин. Он недавно выписался из больницы, не долечившись, и выглядел скверно. Был он не в настроении — морщился, потирал лысину и несколько раз недовольным тоном предлагал говорить покороче и только по существу. Ученый совет, собравшийся далеко не в полном составе, скучал, позевывал, поглядывал на часы, вопросы разбирались тоже самые что ни на есть обычные. И народу в конференц-зале было немного.

Шумилову дали слово после перерыва. Все графики и диаграммы были аккуратно развешаны на подставках, доска чисто вымыта.

Шумилов начал доклад, и Дмитрий вспомнил, как говорил он в прошлом году. Тогда его внушительный голос звучал на весь зал, он отчетливо выговаривал каждое слово, и видно было, что ему самому приятно было смотреть на все эти уравнения и слышать свой собственный голос. А сейчас он сухо излагал только самое главное, не останавливаясь на деталях, и говорил так, словно исполнял скучную и неприятную обязанность. И слушали его невнимательно.

Шумилов закончил и стал тщательно вытирать платком руки.

— У тебя все? — спросил Дубровин.

— Да, — не сразу сказал Шумилов. — Пока все. Но прежде чем приступить к обсуждению отчета, я должен сказать следующее: группа сотрудников нашей лаборатории, а именно — Кайданов, Добрин, Мелентьев... — Шумилов все-таки чуть-чуть замялся, но твердо закончил: — и Алексеева — придерживаются несколько иного мнения о проделанной работе и особенно о дальнейших планах. Я думаю, нужно в первую очередь предоставить им возможность высказать это мнение.

Стало тихо. Дубровин удивленно поднял голову и, повернувшись к Дмитрию, несколько секунд в упор смотрел на него.

— Разрешите, Алексей Станиславович? — сказал Дмитрий.

— Да, пожалуйста, — сухо сказал Дубровин и официальным тоном объявил: — Слово предоставляется кандидату физико-математических наук Кайданову.

Дмитрий пошел к сцене. На ступеньках он столкнулся с Шумиловым, и, прежде чем догадался, что надо уступить ему дорогу, Шумилов с подчеркнутой вежливостью отошел в сторону и пропустил его.

Дмитрий неторопливо разложил на кафедре бумаги и сказал, обращаясь к Дубровину:

— Должен заранее предупредить, что десяти минут, положенных по регламенту, мне будет недостаточно. Так как я буду высказывать не только свое мнение, но и мнение своих товарищей, прошу дать мне двадцать минут.

Дубровин неприязненно покосился на него и буркнул:

— Хорошо, начинайте.

И Дмитрий начал. Уже через несколько минут он увидел, что драчка действительно будет серьезная — Ученый совет больше не скучал. Кто-то из них не выдержал и перебил его вопросом, Дмитрий секунду помолчал и вежливо ответил:

— С вашего позволения, на вопросы буду отвечать потом.

И это явно не понравилось Ученому совету, хотя Дмитрий мог поклясться, что Дубровин одобрительно хмыкнул на его ответ.

Дмитрий говорил восемнадцать минут. Он старался быть предельно объективным — факты, только факты. Ни одного слова, не несущего информации, ничего своего, личного, за него должна говорить неумолимая логика фактов. И по тому, как зал иногда начинал гудеть, он видел, что факты воспринимаются как значительные. Дмитрий поглядывал на Дубровина, пытаясь понять, как он к этому относится. Но Дубровин не смотрел на него, что-то чертил на листочках бумаги.

Когда Дмитрий кончил, посыпались вопросы и из зала, и из-за стола Ученого совета. Вопросы были и к Шумилову, и он снова поднялся на сцену и взял в руки мел. Но Дмитрию пришлось отвечать больше, и когда он говорил, Шумилов с безучастным видом стоял у доски и отряхивал руки. А Дмитрию все чаще приходилось говорить «не знаю». Кто-то ехидно спросил:

— А вам не кажется, что вы слишком многого не знаете?

Дмитрий с раздражением ответил:

— Вы забываете, что наши построения еще в самом зародыше. Мы не провели ни одного эксперимента и, естественно, не можем утверждать с такой определенностью, какой вы требуете от нас. Доктор Шумилов и его лаборатория занимаются своей проблемой четыре года, а то, что мы представили на ваше рассмотрение, есть результат пятимесячной работы четырех человек.

— Ого! — сказал кто-то, а Ольф поднял большой палец и одобрительно кивнул.

Поднялся внушительного роста мужчина — Дмитрий его не знал — и, налегая на «о», церемонно сказал:

— Я полагаю, что, прежде чем выступить на этом заседании, товарищи всесторонне обсудили проблему между собой, и им должны быть лучше известны все сильные и слабые стороны данного вопроса. Хотелось бы знать, что думает Николай Владимирович об идеях своих молодых коллег и, соответственно, наоборот, что они думают о работе доктора Шумилова и чего хотят?

Шумилов взглянул на Дмитрия, едва ли не впервые за весь день, но тот молчал, и Шумилов неохотно сказал:

— Я не настолько глубоко освоился с этими идеями, чтобы высказывать какие-то категорические суждения. Весьма возможно, что они заслуживают внимания и нужно предпринять какие-то исследования в этом направлении. Но вряд ли все это имеет отношение к тому, что мы представили в своем отчете.

— То есть вы считаете интерпретацию своих результатов правильной?

— Да.

Теперь очередь была за Дмитрием. Он помолчал и медленно сказал:

— В отличие от Николая Владимировича, у меня более определенное мнение. Я не думаю, что тут возможен какой-то компромисс и что оба направления, по которым может пойти дальше эта работа, окажутся верными. А так как наши возражения представляются нам достаточно вескими, то, естественно, я считаю, что дальнейшая работа, запланированная доктором Шумиловым... является по меньшей мере бесперспективной.

Зал зашумел. Кто-то выкрикнул:

— Что же вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю, — сказал Дмитрий, — потому что от меня ничего не зависит.

— А если бы зависело? — допытывался тот же голос.

— А если бы зависело, — чуть повысил голос Дмитрий, — я предложил бы прекратить работу в том направлении, которое намечено Шумиловым.

Наверно, не надо было так говорить — большинство и без того уже было настроено против него. А сейчас зал снова загудел с неодобрением, а кто-то из членов Ученого совета с возмущением сказал:

— Ну, знаете ли...

Дмитрий вдруг почувствовал сильную усталость. Ему хотелось молча уйти и сесть на место, рядом с Ольфом и Жанной. Его почему-то не очень беспокоила эта враждебность, только хотелось знать, что думает Дубровин. А Дубровин по-прежнему не смотрел на него, и ничего нельзя было прочесть на его лице.

Задали еще несколько вопросов, Дмитрий не очень вразумительно ответил. Потом Дубровин спросил:

— Еще вопросы есть?

Вопросов не было. Дубровин повернулся к Дмитрию:

— Вы еще хотите что-нибудь сказать?

— Нет, — подавленно ответил Дмитрий и подумал: вот это уже ни к чему. Вполне можно было сказать «ты».

— Можете сесть.

И Дмитрий поплелся на место. Жанна на мгновение обняла его за плечи и шепнула:

— Молодчина, Дима.

Дубровин спросил и Шумилова, не хочет ли он еще что-нибудь сказать. Оказалось, что Шумилов хочет. Он говорил минут десять, и голос его звучал куда более уверенно, чем час назад, когда он делал доклад. И оказалось, что Шумилов очень хорошо понял все слабые стороны идеи своих молодых коллег и обратил внимание членов Ученого совета на некоторые детали, не замеченные в процессе обсуждения. Сделано это было в очень мягкой, предельно вежливой форме, и в конце выступления Шумилов подчеркнул:

— Но все-таки, повторяю, весьма возможно, что эта идея может оказаться чрезвычайно ценной, и ее, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов.

Трудно было понять, говорит Шумилов искренне или нет.

— На публику работает, — со злостью проворчал Ольф.

А когда первый же из выступивших безоговорочно поддержал Шумилова и бросил несколько язвительных фраз о самонадеянных гениях, пытающихся «одним махом всех побивахом», Ольф совсем приуныл:

— Ну вот, теперь начнется...

И действительно, началось. Выступило человек семь, и каждый считал своим долгом поддержать Шумилова. Ольф прямо зубами скрипел от злости, но Дмитрий слушал спокойно, хотя и его неприятно удивило такое единодушие. Он даже улыбнулся, когда кто-то в запальчивости назвал работу Шумилова «превосходнейшей, выполненной на весьма и весьма высоком уровне», и сказал Жанне:

— А ведь мы неплохо помогли ему.

Жанна с недоумением взглянула на него:

— А чему тут радоваться?

— Радоваться-то нечему, но и паниковать не надо. Ты заметила, о чем они говорят? Ведь ничего существенного, все о каких-то мелочах, сплошь одни эмоции.

И в самом деле, против их доводов не было сделано ни одного серьезного возражения.

А потом попросил слово Валерий. Дмитрий с недоумением взглянул на него — они договорились, что выступать будет только он один. А когда Мелентьев нарочито небрежным, скушающим голосом начал комментировать не только последнее выступление Шумилова, но и некоторые положения его доклада, Дмитрий обхватил голову руками и стал слушать с таким напряженным вниманием, что Жанна встревоженно спросила:

— Ты что?

Дмитрий мотнул головой:

— Не мешай. Слушай.

А Мелентьев говорил вещи поистине удивительные. И не то было удивительно, что после его выступления некоторые утверждения Шумилова выглядели по меньшей мере сомнительно...

— Решил действовать исподтишка, — со злостью сказал Дмитрий. — Как вам это нравится?

Жанна уклончиво повела головой, а Ольф примирительно сказал:

— Не рычи, старик. Согласись, что он очень кстати преподнес эти фактики.

— Ну, еще бы, — сердито буркнул Дмитрий.

Ольф был прав: факты, сообщенные Мелентьевым, оказались очень кстати. Шумилов не сумел возразить — сказал несколько общих фраз о том, что все это требует детального изучения, и сел, видимо, растерявшись. Мелентьев отвесил что-то вроде иронического полупоклона и протянул:

— О, разумеется... Именно к этому я все и веду.

И пошел на место, размахивая руками. Дмитрий встретил его злым взглядом:

— Доволен?

— А как же, — ухмыльнулся Валерий.

Он и в самом деле был очень доволен и не испытывал ни малейшей неловкости. Дмитрий несколько секунд смотрел на него и отвернулся, стал слушать.

Говорил профессор Костин — холеный седой старик с крупным породистым лицом. Выступления Кайданова и Мелентьева он классифицировал как дерзкие, непочтительные и безосновательные. По мнению профессора Костина, решение могло быть только одно: безоговорочно одобрить отчет всеми уважаемого нами доктора Шумилова, а неприличную выходку молодых специалистов осудить. Костин отечески пожурил доктора Шумилова за излишний либерализм и выразил сожаление, что молодые люди потратили так много времени впустую. Надо уделять пристальнейшее внимание воспитанию молодых кадров, сказал профессор Костин, и просил отметить это в решении Ученого совета.

Костин сел. Дубровин спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

Никто не хотел. Члены Ученого совета поглядывали на Дубровина, и кто-то наконец сказал ему:

— Может быть, вы скажете?

— Разумеется, — бросил Дубровин и встал, но не пошел к кафедре, устало оперся о

стол обеими руками и заговорил резким, неприятным голосом:

— Начну с конца. Я думаю, уважаемый профессор Костин недооценил серьезности доводов Кайданова и его товарищей. И не только недооценил, но, совершенно не разобравшись в существе вопроса, высказался бездоказательно и де-ма-го-ги-чес-ки, — по слогам отчеканил Дубровин. — Прошу внести это в протокол, — бросил он секретарю, не обращая внимания на протестующее движение Костина. — То же самое, но, разумеется, в меньшей степени относится, к сожалению, и к большинству других выступлений...

Дубровин назвал несколько фамилий и продолжал:

— Меня удивляет такая категоричность со стороны лиц, недостаточно компетентных в рассматриваемом вопросе. Доказательства, основанные на каких-то общих положениях и взывающие к здравому смыслу, в науке всегда неубедительны. И я хотел бы обратить внимание на то, что против доводов Кайданова не было сделано ни одного сколько-нибудь существенного возражения. Это, разумеется, не значит, что я во всем поддерживаю их выступление. К сожалению, этот вопрос оказался полной неожиданностью для Ученого совета, и я полагаю, сейчас нет никакой возможности определенно решить его и сделать какие-то выводы. Бесспорно, следует тщательно изучить все материалы, представленные группой Кайданова, и затем обсудить их на Ученом совете. Я думаю, следует создать специальную комиссию, скажем, из трех человек, и поручить ей разобраться во всем и доложить Ученому совету.

Дубровин помолчал, взгляды в бумажки, сложил их и будничной скороговоркой закончил:

— Что касается отчета доктора Шумилова, его, разумеется, следует утвердить.

Оба предложения Дубровина были приняты единогласно. Даже Костин почему-то не возражал против создания комиссии.

38

Электричка, по обыкновению, опаздывала. Я ходил по пустой платформе, под яркими белыми фонарями, смотрел, как падает снег, и ждал Асю. Так бывало каждую пятницу вот уже полтора года, если не считать месяца прошедшим летом, когда мы ездили на юг, и иногда я спрашивал себя, сколько это еще может продолжаться. Не знаю почему, но мы еще ни разу не заговаривали о том, чтобы как-то изменить положение. Мы все очень спокойно и деловито обсудили перед тем, как решили пожениться, и мне казалось, что мы избрали единственно верный вариант. По крайней мере, все было очень логично. У меня была моя физика, у Аси — английская филология, и как-то само собой подразумевалось, что для обоих работа — главное, и придется смириться с тем, что большую часть времени нам суждено быть врозь. (Разумеется, только пока. За это спасительное «пока» мы ухватились оба.) Да и вряд ли мы могли что-нибудь изменить, даже если бы и захотели. Долинск — явно неподходящее место для специалиста по английской филологии, а о том, чтобы мне перебраться в Москву, пока не могло быть и речи.

Сначала мне даже казалось, что эти вынужденные расставания пойдут мне на пользу, но очень скоро, несколько неожиданно для себя, я занялся арифметическими подсчетами. Оказалось, что в неделе сто шестьдесят восемь часов — факт сам по себе, разумеется, ничем не примечательный. Но если жена приезжает в пятницу в 19:28 и уезжает в понедельник в 5:34, то получается всего пятьдесят восемь часов. Может быть, это и немало для человека, женатого лет этак десять — пятнадцать и если ему идет пятый десяток. Мне же было двадцать восемь, и женаты мы меньше двух лет. Какое-то время я думал, что в конце концов привыкну к этим разлукам. Может быть, я еще и в самом деле привыкну, если это будет и дальше так продолжаться. Ведь полтора года — не бог весть какой срок. Когда мы отправлялись на юг, я думал, что потом, после этого месяца, будет легче переносить расставания, ведь нам предстояло так много дней, когда мы будем все время вместе, с утра до вечера и все ночи. Я считал себя реалистом и знал — не помню уж откуда, наверно из

книг, — что непрерывное общение неизбежно утомляет людей и расставаться время от времени не только полезно, но и просто необходимо. Может быть, я даже думал — сейчас уже не помню, — что мы немного надоедим друг другу и с удовольствием разведемся на те сто десять часов, что будут с утра понедельника до вечера пятницы. Так обстояло дело с теорией, а на практике получилось, что я начинал отчаянно скучать, даже если Ася уходила всего на час в парикмахерскую. И когда, приехав в Москву, мы расстались до очередной пятницы, я уже понимал, что мне будет не легче, а труднее, но все-таки не думал, что будет так трудно.

Особенно тяжело было по ночам. Мне так часто снилось, как Ася спит на моей руке и обнимает меня во сне, что когда она наконец-то приехала и я просыпался среди ночи и слышал ее дыхание, то не сразу верил, что это не во сне, и дотрагивался до нее...

Электричка с грохотом подкатила к платформе. Я стоял на обычном месте — Ася садилась всегда в четвертый вагон, — и когда двери открылись, сразу увидел ее. Ася поставила на платформу тяжелую хозяйственную сумку, одной рукой обняла меня и засмеялась:

— Ну, здравствуй.

Я прижал ее к себе. Ася поправила сбившуюся шапочку, сняла перчатку и провела ладонью по моей щеке, стирая следы помады.

— Ну, идем...

— На губах еще осталось, — сказал я.

Ася засмеялась.

Близоруко прищурившись, она оглядывала заиндеветшие березы и говорила:

— Тишина-то какая... Даже в голове шумит. Я уже с понедельника начинаю мечтать о том, как приеду сюда и наслушаюсь этой тишины...

— Только из-за этого? — спросил я.

Ася удивленно взглянула на меня и даже не нашла что ответить.

— Как ваше заседание? — спросила вдруг она, не спуская с меня глаз.

— Нормально, — небрежно сказал я, перехватывая сумку в другую руку. — Ты что, кирпичей туда наложила? Зачем ты таскаешь такие тяжести?

— Что значит нормально? — продолжала допытываться Ася, не обращая внимания на мои вопросы.

— Это значит, что будет создана комиссия, которая рассмотрит наши предложения и решит, стоят ли они чего-нибудь.

— И все?

— Ну, милая моя, это не так уж и мало.

— Я не о том... Что еще было?

— А, нашла о чем спрашивать... Обычная говорильня. Потом расскажу.

Наверно, мне плохо удавался мой небрежный тон, и Ася заподозрила что-то неладное. Но мне не хотелось сейчас говорить ей о своих неприятностях, и Ася не стала расспрашивать меня.

Мы пришли домой, я помог Асе раздеться, и она прошла на середину комнаты и стала оглядывать ее. Я подошел сзади и обнял ее. Ася покорно отдавалась моей ласке, прижавшись коротко стриженной головой к моей щеке.

— Хорошо у нас, правда? — вполголоса сказала она, не оборачиваясь.

— Да...

— Ты очень голодный?

— Угу...

— Сейчас я такой ужин сделаю...

— А я уже приготовил.

— Ну вот, — огорченно сказала Ася, высвобождаясь из моих рук. — А я накупила всего.

Я засмеялся:

— Ну и что? У нас еще целых два дня впереди, все съедем. Мне не хотелось, чтобы ты готовила сегодня. Ты же устала.

— А ты нет?

— Ну, я сегодня вообще весь день бездельничал. Даже на работу не ездил.

— Почему?

— Да так... Не хотелось.

Я отвел взгляд. Ася сказала:

— Димка, у тебя какие-то неприятности. В чем дело? Давай выкладывай.

Я рассказал ей о заседании Ученого совета и разговоре с Дубровиным.

— И что же теперь будет? — спросила Ася.

— Откуда я знаю... Обойдется как-нибудь.

Ася вздохнула:

— Ладно, давай ужинать.

После ужина мной вдруг овладело какое-то смутное беспокойство. Я не мог и самому себе объяснить, чем оно вызвано. Может быть, что-то насторожило меня в тоне Аси, в ее взглядах, а потом было мгновение, когда мне показалось, что лицо у нее стало точно такое же, как позапрошлым летом, когда она сказала мне, что не может поехать со мной.

...Это было нелегкое для нас обоих время неопределенных отношений. Мы оба понимали, что надо как-то решать нашу судьбу, и очень хотели и в то же время боялись последнего шага. Я уже сделал ей предложение, и она откровенно сказала, что ей и самой хочется выйти за меня замуж. Даже очень хочется, сказала Ася, но она боится, что это не очень-то хорошо будет для нас обоих, особенно для меня, и предлагала подождать. К счастью, мы не скрывали друг от друга своих сомнений; может быть, это в конце концов и оказалось решающим. Я хорошо представлял, что пугало ее, и не мог не признать основательности ее доводов. Это было связано с ее первым замужеством. Ася вышла замуж, когда ей было двадцать, и я помнил ее мужа — высокого, стройного, очень красивого. Выйдя за него, Ася перевелась на заочное и уехала с ним на Урал. А через три месяца она ушла от него и вернулась в Москву, и я очень хорошо понимал, почему она сделала это, но только потому, что никогда не мог понять, как она могла выйти за этого смазливового ребенка. Потом Ася с искренним удивлением говорила мне, что и сама этого не понимает, и делала вид, что не придает никакого значения этому «эпизоду». К сожалению, это было совсем не так, иначе я ничем не мог объяснить ее непреодолимого отвращения к замужеству вообще. Но если бы только это мешало нам... В то лето мы оба то приходили в полное отчаяние, то безудержно стремились друг к другу, считая часы и минуты, оставшиеся до встречи. А причина была такая, что говорить о ней было мучительно. Я долгое время делал вид, что причины этой и вовсе не существует, но Ася сама догадалась. И однажды ночью, когда мы молча лежали рядом, измученные и опустошенные, боясь прикоснуться друг к другу, она спросила:

— Дима, тебе это очень тяжело?

— Что? — спросил я, еще не понимая, что она обо всем догадалась.

— То, что я физически не удовлетворяю тебя, — неожиданно прямо и даже как-то грубо прозвучал ее ответ.

Я хорошо помню, что очень испугался тогда. Испугался того, что она все поняла и решила, что с этим ничего нельзя сделать и нам лучше расстаться. Был у нас тогда долгий, откровенный разговор, и мне, казалось, удалось убедить Асю в том, что ничего страшного нет, она слушала меня и соглашалась, но смотрела как-то виновато...

И вот сейчас когда мы сидели после ужина и говорили, мне показалось, что на какое-то мгновение лицо Аси стало таким же беспомощным и виноватым, как в тот вечер. Я спросил:

— У тебя все нормально? Никаких неприятностей нет?

— У меня? — удивилась Ася. — Нет, все хорошо.

Но я уже окончательно уверился, что она что-то скрывает от меня.

Ася сказала об этом в воскресенье вечером, когда мы лежали в постели.

— Дима... — сказала она, и голос у нее был такой отчаянный, что у меня сразу сильно

забилося сердце.

Я ждал, когда она наконец скажет, но она молчала и только крепче обняла меня.

— Что? — наконец с трудом выговорил я.

— Меня посылают в Англию.

Ну вот, подумал я, но еще не понимал, что это означает, и спросил:

— Надолго?

Я был уверен, что командировка будет самое большее на два-три месяца, но Ася сказала упавшим голосом:

— На год.

Она тихо лежала рядом, прижавшись ко мне всем телом, а я молчал, смотрел на замерзшие стекла, синие от лунного света, и ни о чем не думал. Потом я с каким-то недоумением повторил про себя: на год — и вспомнил, что не спросил ее, когда она должна ехать.

— Когда тебе нужно ехать?

— В апреле, — прошептала Ася так тихо, что я с трудом расслышал ее.

В апреле, повторил я про себя, пытаюсь догадаться, что из этого следует, и стал считать — январь, февраль, март... В апреле. Наконец я сообразил и спросил:

— А до отъезда ты не можешь взять отпуск?

— Я уже думала об этом. Я постараюсь.

Я промолчал, мне просто нечего было сказать, я как-то вдруг отупел и не мог бы связать и двух слов и почувствовал сильную усталость, у меня сразу заболели все мышцы, натруженные за день лыжной ходьбой.

— Когда ты вернешься, то станешь настоящей англичанкой и будешь говорить по-русски с лондонским акцентом...

— Если тебе будет очень тяжело, я не поеду.

— Ну вот, — невесело сказал я, — так я и думал, что ты скажешь это.

Она ничего не ответила, я положил руку на ее вздрагивающую спину и прошептал:

— Не надо, Асик. Нам ведь так хорошо было в эти полтора года... А потом будет еще лучше, ты же сама знаешь это... У нас ведь еще столько лет впереди...

Она ничего не говорила и только крепче прижалась ко мне и скоро уснула.

Обычно в понедельник я просыпался в четыре, готовил кофе и легкий завтрак, потом будил Асю и провожал ее на станцию. Но эта ночь вся прошла в какой-то полудреме. В три я окончательно проснулся и тихо лежал, иногда поглядывая на светящийся циферблат часов. В четыре я осторожно разжал Асины руки и хотел встать, но она провела щекой по моей груди и сказала:

— Не вставай, полежи еще немного.

— Почему ты не спишь?

— Я сплю. Но ты не уходи. Я не буду завтракать.

— Ну вот еще... Я тебя так не отпущу.

Меня всегда беспокоило, что ей приходится так рано ездить в холодных электричках, и я пытался заставить ее уезжать в воскресенье вечером, но Ася наотрез отказывалась.

— Не уходи, — повторила она.

— Я только поставлю чайник и вернусь.

Я поставил чайник, вернулся к ней и осторожно гладил ее плечи; и вдруг подумал: как же так, неужели этого не будет целый год? Рука моя остановилась, Ася вдруг заплакала и сказала:

— Не надо.

И убрала мою руку, села на постели и стала одеваться.

На кухне при свете яркой лампочки все стало другим, мы спокойно позавтракали и потом неторопливо пошли по очень тихой морозной улице, и скрип наших шагов был, вероятно, слышен на другом конце города.

Часы, остававшиеся после отъезда Аси до ухода на работу, были самыми бессмысленными и неприятными часами не только этого дня, но и всей недели. Я медлил возвращаться домой и обычно кружил по улицам, а летом уходил в лес, если стояла хорошая погода. Но сейчас было слишком холодно и темно для прогулки.

Я увидел желтые прямоугольники окон своей квартиры. Я никогда не выключал свет, отправляясь с Асей на станцию, — это тоже вошло у меня в привычку. Я еще немного постоял во дворе, но холод все-таки заставил меня подняться. Всегда неприятно было входить в пустую квартиру и видеть смятую постель, еще не остывшую от тепла наших тел. А сегодня, это было особенно трудно сделать — я никакие мог отделаться от мысли, что мне целый год придется ежедневно открывать дверь в пустоту. На площадке между третьим и четвертым этажами я остановился, закурил, повертел в руках ключи и вдруг примостился на корточках, прислонившись спиной к теплым жестким ребрам батареи, долго сидел так, курил и думал. Была одна из тех минут, когда меня вдруг начинала удивлять история моего знакомства с Асей, и мне с трудом верилось, что я знал ее шестнадцатилетней девочкой — худенькой, маленькой, большеглазой, с двумя смешными косичками и родинкой на левой щеке. Тогда мне казалось, что эта родинка портит ее лицо, которое и без того нельзя было назвать красивым. Почему нужно было, чтобы мы расстались, так и не сойдясь ближе, разъехались, даже не помня друг друга, и, встретившись спустя девять лет на шумной московской улице, с радостью, поразившей нас обоих, бросились обниматься, жадно оглядывать изменившиеся, повзрослевшие лица? Почему нужно было, чтобы мы не встретились раньше, ведь мы шесть лет (подумать только!) жили в одном городе, ходили по одним и тем же улицам, видели одни и те же вывески, магазины, рекламы, почему мы не могли встретиться где-нибудь? Помню, в тот день мы забыли о всех своих делах и несколько часов бродили по городу, сидели в кафе, потом я проводил ее до общежития, увидел ее комнату, ее кровать, ее книги, ее платья и, поздно вечером вернувшись к себе, подошел к карте Москвы и прочертил карандашом две линии. Одна линия — ее обычный маршрут — начиналась от ее общежития в Петроверигском переулке, шла до метро «Дзержинская», потом до станции «Парк культуры» и еще коротенькая черточка до института. Мой маршрут — сто одиннадцатым автобусом до площади Свердлова, потом — книжные магазины на улицах Горького и Кирова. Обе линии пересекались только в одном месте — у метро «Дзержинская», там было самое вероятное место встречи. И действительно, неподалеку оттуда мы в конце концов и встретились — я стоял у витрины «Метрополя» и прикидывал, на какой сеанс лучше пойти, и Ася случайно заметила меня. А если бы не заметила? Если бы она вышла из дома минутой раньше или позже? Если бы я не вздумал в тот день пойти в кино? Что было бы тогда? Какими мы стали бы оба? А может быть, и хорошо, что мы не встретились раньше? Что узнали друг друга взрослыми, уже пережившими многие и многие из тех ошибок, которые неизбежно пришлось бы пережить вместе? Может быть, если бы мы встретились раньше, у нас не хватило бы сил, терпимости и понимания, чтобы пережить эти ошибки и разочарования, и нам вскоре пришлось бы расстаться? Кто знает, не получилось бы у Аси со мной то, что было у нее с первым мужем... Кто знает... Такие вопросы можно задавать себе бесконечно, и я отлично понимаю всю бессмысленность их, но что из того? Если бы все наши поступки и настроения подчинялись логике... Но разве логика способна примирить нас с отсутствием любимого человека? Разве логика хоть как-то может объяснить, почему так действуют на меня смятая пустая постель, недопитая чашка кофе, тюбик помады на туалетном столике, впопыхах оброненная шпилька? Логика подсказывает, что не нужно придавать большого значения этим мелочам, ведь Ася ушла не насовсем, через несколько дней она вернется, и сразу все изменится, и даже если она уедет на год, ничего страшного, ведь она приедет, это же необходимо, чтобы она уехала... Так уж сложилась наша жизнь, что нам приходится постоянно расставаться и встречаться вновь. И тут я подумал, что уеду из Долинска. Переберусь из тихого зеленого рая в шумную и дымную

Москву. Работа там для меня всегда найдется, обменять квартиру тоже, вероятно, будет не слишком сложно. В крайнем случае, вступим в кооператив. Да, так и сделаю, решил я. Как только Ася вернется из Англии.

Я встал и пошел к себе.

Дубровин вызвал меня после обеда. Выглядел он очень утомленным, и мне было неприятно, что мы доставили ему столько хлопот.

— Ну-с, для начала такая новость, — сразу приступил он к делу. — Комиссия создана, и председателем оной является ваш покорный слуга.

Новость меня не удивила — я не сомневался, что так и будет.

— А кто еще в комиссии? — спросил я.

— Ольховский и Веремеев. Но они для проформы.

— Ну и отлично, — сказал я.

— Да? Чем же это отлично?

Я промолчал.

— А если ваши доводы не покажутся мне достаточно убедительными, что тогда? Надеюсь, ты не думаешь, что я стану покрывать вас и выдавать желаемое за действительность?

— Вы же знаете, что я так не думаю.

— Значит, уверен в своей правоте?

— Да.

— Похвально, — почему-то с улыбкой сказал Дубровин. — Но ты меня действительно не совсем убедил. А ну-ка, засучивай рукава.

Мы часа полтора обсуждали нашу работу. Дубровин указал, мне на несколько внушительных провалов в наших построениях, — впрочем, я и сам знал о них, — и в заключение сказал:

— При желании вашу идею очень легко можно провалить — уж очень много тут возникает неясных и сложных вопросов. И — опять же при желании — можно рассматривать ее как перспективную и многообещающую, так как новизна и оригинальность ее бесспорны. Теперь все зависит от того, у кого какое желание появится. К сожалению, у Ученого совета наверняка возникнет первое, если, конечно, он для начала пожелает как следует разобраться в существе вопроса, а не только положится на мое мнение. А то, что в конце концов Ученому совету придется пожелать этого, тоже, к сожалению, очевидно.

— Почему? — тупо спросил я.

Дубровин с досадой посмотрел на меня и спросил:

— Собственно, о чем ты думаешь? Как ты представляешь свою дальнейшую работу?

— Никак, — брякнул я.

Дубровин удивленно поднял брови.

— Ну-с, а, позвольте спросить, кто за тебя должен думать? Или ты решил, что все уладится само собой?

Я ничего не ответил. Дубровин озабоченно спросил:

— Ты что, нездоров?

— Нет.

И вдруг неожиданно для самого себя я сказал:

— Ася уезжает. На год.

— Куда?

— В Англию.

— Н-да, — протянул Дубровин. — Очень некстати, особенно сейчас.

Я с удивлением взглянул на него — мы никогда не обсуждали наши семейные дела.

— А почему особенно сейчас?

— Видишь ли, если все обойдется так, как я предполагаю, тебе предстоит нелегкая работа.

— А что вы намерены делать?

— Выделить вас в самостоятельную группу, конечно, — удивился Дубровин моей непонятливости. — Что же еще можно придумать? С Шумиловым вы работать не будете, это бесспорно, к себе я вас не возьму... Или тебя не устраивает такой вариант?

— Нет, почему же, — вяло отозвался я.

Дубровин подозрительно посмотрел на меня и продолжал:

— Теперь ты и сам должен догадываться, почему Ученый совет постарается отмахнуться от вашей идеи. Чтобы выделить вас, придется где-то доставать средства, время на ускорителе, людей. А сделать это можно только за счет других — дело, разумеется, скандальное и хлопотное, хотя при желании вполне осуществимое.

Он помолчал.

— И какой же выход? — безучастно спросил я. Меня самого удивляло мое равнодушие.

— Вся надежда на Александра Яковлевича. Даст он свое «добро» — и Ученый совет, не задумываясь, согласится и даже разбираться не станет. Подключим партком, люди там сидят неглупые, поймут.

— А если нет?

— А когда будет «нет», — рассердился Дубровин, — тогда и будем думать, что делать дальше.

Он встал из-за стола и подошел ко мне.

— Мне очень не нравится твое настроение. Возьми себя в руки. Времени у нас нет, а работы невпроворот. К Александру Яковлевичу нужно являться вооруженным до зубов. Что именно сейчас нужно делать, — мы уже наметили. Так что принимайся за работу.

40

Я рассказал им о разговоре с Дубровиным, и несколько минут они бурно выражали свою радость. Ольф провозгласил «осанну», а Жанна даже улыбнулась Валерию. Я выждал немного и изложил план дальнейших действий. Они сразу загорелись, схватили ручки и немедленно приступили к творчеству.

Про меня они забыли, и только когда я оделся, Ольф удивленно спросил:

— Ты куда?

— Домой поеду. Голова что-то болит.

— А-а... Ну, езжай.

О головной боли я сказал только для того, чтобы не пускаться в объяснения, но, когда приехал домой, и в самом деле почувствовал себя нездоровым, разделся и лег. Не было еще и четырех, но за окном уже начинались сумерки. Я прочел несколько страниц из «Фиесты» Хемингуэя, а потом заснул.

Разбудил меня поворот ключа в замке. По шагам я узнал Жанну и включил лампу над изголовьем. Жанна сняла пальто, прошла ко мне и села на постель.

— Я разбудила тебя?

— Так точно.

— Ну ничего, вечером вредно спать... Как ты?

— Нормально.

Она положила мне ладонь на лоб.

— У тебя температура. Мерил?

— Нет.

Жанна разыскала градусник и сунула мне.

— Подержи. Ел что-нибудь?

— Нет, и не хочется.

— Ну, как это не хочется... Надо.

— Зачем? — серьезно спросил я.

Она внимательно посмотрела на меня и ушла на кухню. Я полежал немного, оделся и

пошел следом за ней.

— Почему ты встал?

— Скучно.

— А где градусник?

— Положил на место.

— Сколько?

— Туберкулезная. Тридцать семь и три.

Жанна подозрительно посмотрела на меня, но как будто поверила.

— Ладно. Садись и не мешай.

Иногда удивляло меня: почему мне так легко и просто с этой женщиной?

Однажды я спросил ее об этом. Жанна усмехнулась:

— Родство душ, может быть?

Я с сомнением посмотрел на нее:

— Если бы я знал, какая у тебя душа...

— Хорошая, — завершила меня Жанна и уже серьезно добавила: — В первом приближении.

Сблизились мы быстро — через неделю уже разговаривали так, словно знакомы были год. И меня удивляло, почему у Ольфа долгое время было какое-то неопределенно-напряженное отношение к ней. Как-то я спросил его об этом, он подумал немного и признался:

— Наверно, красоты ее боюсь... А на тебя она не действует, что ли?

— В каком смысле?

— В обыкновенном, сексуальном.

— Нет, — засмеялся я.

Ольф недоверчиво хмыкнул.

Нельзя сказать, конечно, что на меня совсем не действовала красота Жанны. При первой встрече она просто поразила меня. Так и подмывало посмотреть на нее еще раз, подойти поближе, поговорить. И я очень хорошо понимал, почему Валерий бросил работу в Москве и очертя голову помчался за ней в Долинск. Наверно, он решил, что это и есть та единственная женщина, ради которой стоит отдать все на свете.

А для меня очень скоро красота Жанны стала чем-то привычным, само собой разумеющимся. Иногда, замечая мужские взгляды, направленные на нее, я и сам на какую-то минуту начинал смотреть на Жанну такими же оценивающими глазами, но это была только минута. Признаться, мне было очень приятно то явное, чересчур дружеское, как однажды выразился Ольф, расположение, которое выказывала мне Жанна. Сначала меня немного беспокоило, как отнесется к этому Ася. Она ни разу не дала мне понять, что ей неприятны такие отношения. А скоро, к некоторому моему удивлению, она очень подружилась с Жанной, и я, видя их вместе, никогда не замечал ни малейших признаков натянутости или неестественности в их отношениях.

После разрыва с Шумиловым Жанна бывала у меня почти ежедневно и иногда засиживалась допоздна. Однажды Валерий, застав нас вдвоем, многозначительно повел головой, а на следующий день бросил с кривой улыбкой:

— А ты, я смотрю, неплохо устроился, Я неприязненно посмотрел на него:

— Что ты имеешь в виду?

Ему очень хотелось сказать мне что-то еще, но он сдержался.

— Да так, ничего.

Он всегда умел в самый последний момент избегать ссор.

Я уже не раз жалел, что Мелентьев начал работать с нами. Он так явно выпадал из нашей компании, что и сам чувствовал это. Раза два у нас возникали основательные стычки, и я втайне надеялся, что мы окончательно поссоримся и он уйдет от нас. Но он не уходил. Не работа, конечно, держала его — Жанна.

Как-то я сказал ей:

— Ты бы поосторожнее с Валеркой, а то...

— Что?

Я неопределенно покрутил руками в воздухе:

— Вдруг воспламенится.

— Да ну его, — отмахнулась Жанна. — Надоел. Никакого самолюбия у человека нет. Отлично знает, что мне наплевать на него, а все лезет.

— Мучается он.

— А кто ему велит мучиться? Что мне, в постель с ним лечь, чтобы он не мучился?

Когда Жанна сердилась, слог ее не отличался изысканностью.

И сейчас, когда я сидел в уголке на низком табурете и смотрел, как Жанна готовит ужин и накрывает на стол, мое тоскливое настроение начало проходить. Я очень любил смотреть, как она ходит, двигает руками, нагибается, ни у одной женщины я не замечал таких красивых, естественных и непринужденных движений.

— Ты в балетной школе не училась? — спросил я.

— Нет, с чего ты взял? — удивилась Жанна.

— Так... Красиво ходишь.

Она с недоумением посмотрела на меня и насмешливо улыбнулась:

— С каких это пор ты стал замечать такие вещи?

— Что я, совсем не человек, что ли... — попробовал я обидеться.

— Человек, конечно... Накинь на себя что-нибудь, человек, да не сиди у окна.

Я сходил за курткой и прихватил недопитую бутылку коньяку, стоявшую с прошлой недели.

Выпил я немного, всего одну рюмку, но вдруг опьянел. Так иногда бывало со мной — от усталости, нервного напряжения. Я знал, что не умею пить, и, когда собиралась какая-нибудь компания, всегда следил за собой и сразу прекращал пить, как только чувствовал первые признаки опьянения. Но сейчас я просто не мог поверить, что окосел с первой рюмки, и выпил вторую только для того, чтобы доказать себе, что я не пьян. Чай мы пошли пить в большую комнату, удобно устроились в креслах, и только тогда я убедился, что пьян. Я говорил почти беспрерывно, и по озабоченным взглядам Жанны видел, что болтаю всякую чепуху, но никак не мог остановиться. Кажется, я говорил ей о том, какая она красивая и как хорошо, что мы настоящие друзья и у нас такие простые, ясные и нужные для нас обоих отношения.

— Ведь и тебе это нужно, да? — спросил я, сам не зная, что надо подразумевать под словом «это».

Жанна сказала «да» и потом еще что-то, чего я не понял. На глаза мне попался рисунок Ольги, я стал пристально рассматривать его, словно видел впервые, и пытался вспомнить, когда она рисовала его и каким образом он попал ко мне. Вспомнить не удалось — рисунков Ольги у меня было много, и я начал рассказывать Жанне о том, какая Ольга была красивая и хорошая и какие мы с Ольфом подонки, что потеряли ее из виду и ничего не знаем о ней.

— Иди спать, — донесся до меня голос Жанны, и я покорно сказал:

— Сейчас.

Но я даже не двинулся с места. Жанна подошла ко мне, положила руки на плечи и, кажется, хотела приподнять меня, но я не вставал. Она наклонилась ко мне и повторила:

— Иди спать.

Я смотрел на ее лицо, склонившееся ко мне, — прекрасное, чуть смуглое, с большими черными глазами, яркими полными губами, тонкими, причудливо изогнутыми посредине дугами бровей, — и совершенство ее красоты вдруг ошеломило меня.

— Бог мой, какая ты красивая, ты даже не знаешь, как приятно смотреть на тебя, а твои руки... Ты знаешь, что такое твои руки? Это же чудо из чудес, таких рук больше ни у кого нет...

И я целовал ее руки, прижимал их к себе, упиваясь их теплотой, я взял ее ладони в свои и провел ими по лицу, наслаждаясь их прикосновением к моим губам, и говорил ей:

— Не уходи, пожалуйста, не уходи... Ты хоть понимаешь, что такое твоя красота? Что по сравнению с ней все наши уравнивания, вся эта научная дребедень? Это же любой дурак может вызубрить. А по какой формуле создана твоя красота?

Я обхватил руками спину Жанны, прижался лицом к ее груди и почувствовал, как ее руки обняли мою голову, услышал ее быстрый влажный шепот:

— Ну что ты говоришь, Дима. Ты пьян, иди спать, милый...

«Милый», — услышал я, и это слово отрезвило меня. Это слово еще сегодня говорила мне Ася, и, вспомнив об этом, я замер и понял, что сижу в кресле, а Жанна наклонилась ко мне и ее руки обнимают мою голову, ее колени касаются моих ног... Я открыл глаза, увидел белую ткань ее блузки и подумал: как же так, как это возможно, зачем я обнимаю ее, ведь это Жанна, а не Ася... Ася! Как же я мог забыть о ней... Руки Жанны, лежавшие на моем затылке, вдруг отяжелели, и хотя я по-прежнему чувствовал их тепло и ласку, я сразу представил другие руки, руки Аси, и те ночи, когда они касались моей головы, и увидел четыре руки — смуглые, красивые руки Жанны, которые я целовал всего минуту назад, и тонкие, худые руки Аси, в течение многих ночей ласкавшие меня... Да как же это может быть, зачем это? — спрашивал я себя и, еще не думая, не сознавая, что делаю, отстранился от Жанны. Она сразу убрала руки с моей головы, и я всем затылком почувствовал тяжелую упругость кресла и пустоту между собой и ее телом, и мне тут же захотелось уничтожить эту пустоту и снова обнять Жанну, ведь так хорошо было мне всего несколько секунд назад, — но я не мог. Я закрыл глаза, — кажется, ничто на свете не могло бы сейчас заставить меня взглянуть на Жанну, встретить ее взгляд, — и сказал:

— Я и в самом деле пьян. Смешно, да? Окосеть от двух рюмок...

Жанна промолчала, выпрямилась и отошла от меня. Я услышал, что она ушла на кухню, с облегчением открыл глаза, встал и направился в спальню. Я быстро разделся и лег, мне хотелось потушить свет и притвориться спящим, я боялся снова увидеть Жанну — и в то же время очень не хотелось, чтобы она уходила. И я обрадовался, услышав ее шаги. Она принесла какие-то таблетки, стакан крепкого чая с лимоном, поставила на столик, и я ждал, что она сядет на постель, но она выключила свет и сказала:

— Спи.

И, склонившись ко мне, положила ладонь на лоб. Я почувствовал, как сразу напряглось все мое тело, протянул к ней руки, но она уже выпрямилась, и я, ни о чем больше не думая, ничего не желая, кроме того, чтобы она не уходила, сказал:

— Не уходи.

Несколько секунд она стояла неподвижно и мягко сказала:

— Нет, тебе надо спать. Если температура не спадет, выпьешь еще таблетку тетрациклина.

И вышла, осторожно прикрыв дверь. Я слышал, как она одевалась, потом щелкнул замок, и я еще несколько минут лежал и смотрел на серый, едва видимый потолок и скоро заснул.

41

Проснулся я от крика и рывком сел на постели, оглохший от стука крови в висках. Я помнил, что снилось мне что-то страшное, но что? Я повернул голову к окну, увидел холодный белый шар луны и голубое сияние вокруг него. Я выругался, задернул штору на окне и включил свет.

Шел второй час ночи.

Я оделся и включил везде свет — на кухне, в прихожей и даже в ванной. Страх от невспомнившегося ночного кошмара прошел, но какое-то странное беспокойство овладело мной. Я расхаживал по ярко освещенной квартире и вдруг подумал, что спокойная жизнь моя кончилась. Но почему? А когда же она началась, эта спокойная жизнь? И почему должна кончиться сейчас? На первый вопрос ответить было нетрудно — спокойная жизнь началась с

осени шестьдесят четвертого года, когда мы сидели с Асей в шашлычной, а потом я до ночи бродил по Москве и, вернувшись, увидел в своей комнате Асю. В ту ночь пришла уверенность, что кончились мои метания и мне ничего не нужно больше, кроме Аси, работы, двух-трех друзей. И если что и беспокоило меня, то это беспокойство не затрагивало главного. Даже когда выяснилось, что с Асей будет не так гладко, как представлялось, я почему-то верил, что все обойдется. И с работой тоже. Неудачи уже не доводили меня до отчаянного состояния, я просто смирился с их необходимостью и неизбежностью. Порой меня самого удивляла моя уверенность, Я, например, как-то сразу, в один вечер, решил, что нам не нужно идти в аспирантуру, и потом ни разу не усомнился в правильности этого решения. Точно так же пришел день, когда я понял, что работа Шумилова идет по неверному пути, и мне даже в голову не приходило, что можно как-то изменить это мнение и пойти на какой-то компромисс. Чутье подсказывало мне, что все будет хорошо, и даже скандал на заседании Ученого совета не поколебал моей уверенности. Я давно уже не терзался мыслями о том, что наша работа может закончиться неудачей, и на прошлой неделе, когда Ольф пришел ко мне со статьей Фейнмана, меня самого смутило, как мало трогает меня то, что еще несколько лет назад наверняка надолго выбило бы из колеи...

Я разыскал журнал с этой статьей, нашел на полях пометки Ольфа, еще раз прочел отмеченные фразы и вспомнил, что говорил Ольф:

— Слушай, что пишет Фейнман в своей нобелевской лекции. «На этом завершается история развития пространственно-временной трактовки квантовой электродинамики. Интересно, можно ли чему-либо научиться из нее? Я сомневаюсь в этом. Наиболее поразительным является тот факт, что большинство идей, развитых в ходе этих исследований, в конечном счете не были использованы в окончательных результатах...» Как тебе это нравится?

Ольф выжидающе посмотрел на меня, но я промолчал, и он стал читать дальше:

— А вот еще. «Поразительно огромное множество различных физических точек зрения и весьма разных математических формулировок, которые оказываются эквивалентными друг другу. Поэтому примененный здесь метод, метод рассуждений на основе физических соображений, кажется весьма неэффективным. Оглядываясь назад на проделанную работу, я могу чувствовать только нечто вроде сожаления о том, что такое огромное количество физических идей и математических формулировок оканчивается простой переформулировкой того, что было известно ранее...» Тут Фейнман, видимо, решил позолотить пиллюлю: «...хотя и выраженной в виде, который намного более пригоден для расчета конкретных задач...»

Ольф бросил журнал на стол и тоскливо сказал:

— А ведь эта теория создавалась в течение семнадцати лет. Она всеми признана, отмечена Нобелевской премией, и на тебе — нобелевский лауреат во всеуслышание заявляет, что она не слишком-то многого стоит... Что же тогда нам, грешным, думать?

Я слушал его так, словно он пересказывал сводку погоды. Все это не трогало меня. И когда он замолчал и начал ходить по комнате, я спокойно сказал:

— А нам, грешным, надо думать о том, чтобы это как можно меньше волновало нас. От того, что мы ежедневно будем повторять себе, что наши знания и возможности ничтожны по сравнению со сложностью проблем, стоящих перед нами, легче не станет. Работать-то все равно надо.

Ольф в удивлении остановился передо мной, потом насмешливо оскалился:

— Да ты, оказывается, стоик. И давно ты стал таким оптимистом?

Я промолчал, и Ольф серьезно спросил:

— Тебя что, действительно это так мало волнует?

— Да.

— Тогда тебе можно позавидовать, — Ольф вздохнул. — Я, к сожалению, еще не достиг такого... идилического состояния. Может быть, заняться самоусовершенствованием по системе йогов?

Кажется, он все-таки не совсем поверил мне. Но я вовсе не преувеличивал своего спокойствия. В тот день меня куда больше волновало то, что вечером должна приехать Ася...

А что же, собственно, произошло сейчас? Вчерашний случай с Жанной?

Я вспомнил все до мельчайших подробностей: как целовал ее руки, что говорил ей, как просил ее не уходить. А если бы она и в самом деле не ушла, что тогда? И как это могло случиться после всего, что было у нас с Асей? Ведь я люблю ее, Асю, а что у меня к Жанне? Да ничего, ничего! Разве что идиотское тщеславие мужчины, которому льстит, что красивая женщина предпочитает его всем остальным.

Я передернулся от отвращения к самому себе. Если в этой циничной мысли и была доля правды, то очень небольшая. И если бы было только тщеславие — в этом не было бы ничего страшного. В том-то и дело, что я никогда не смотрел на Жанну такими циничными глазами. И за эти два года, что мы знакомы, ее красота не вызывала во мне никаких чувственных желаний... Почти никаких...

Я все быстрее и быстрее ходил по комнате, и вдруг мой взгляд скользнул по рисунку Ольги. Мне захотелось посмотреть и другие ее рисунки, и я торопливо залез на стул и вытащил один из чемоданов, где в беспорядке были сложены старые бумаги, конспекты, записные книжки — все, что оставалось у меня со студенческих времен. Здесь я и отыскал рисунки Ольги, разложил на полу и долго разглядывал их.

Я вспомнил, как видел Ольгу в последний раз. Это было весной шестьдесят пятого, она была в компании каких-то юнцов — красивая, смеющаяся, веселая. Они прошли рядом со мной, и мне показалось, что Ольга увидела меня, но нарочно отвернулась и стала что-то быстро говорить патлатому парню с физиономией прохвоста. А может быть, она действительно не заметила меня? Прохвост все пытался положить руку на плечо Ольге, но она каждый раз сбрасывала ее.

Вскоре Ольга ушла из университета и вовсе исчезла с нашего горизонта — куда? Что было с ней потом? Где она сейчас? Почему мы ничего не знаем о ней? Есть ли у нее хоть один человек, на которого она может положиться? Жива ли она вообще? Как же мы могли забыть, что она безнадежно больна? Как я вообще мог забыть это прошлое? Ведь это — моя жизнь...

И тут я понял, что должен немедленно поехать в Москву и разыскать Ольгу.

Я сел прямо на пол перед раскрытым чемоданом, привалился спиной к стене и взглянул на часы. Без четверти три. Первая электричка в 5:34, та самая, с которой Ася уезжает по понедельникам. Теперь нужно только разыскать телефон Ольги или ее адрес, и уже сегодня утром я буду все знать.

Я собрал все записные книжки и стал просматривать их, боясь, что телефон Ольги затерялся. Но телефон нашелся, я переписал его в записную книжку, затолкал все обратно в чемодан и положил его на место. Теперь оставалось только ждать электрички.

*** ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ***

Была пятница, двадцать пятое апреля, — первый из предстоящих пятнадцати дней ожидания. Вчера были сделаны последние расчеты для экспериментаторов и вычислительного центра, окончательно согласованы самые что ни на есть распоследние неувязки и назначена дата эксперимента — 10 мая, начало в 16:00, окончание в воскресенье, в 14:00, и эти двадцать два часа должны будут подвести итоги почти трех лет работы. Вчера Дмитрий собрал своих людей и с удовольствием объявил им, что уважаемый сектор может отправляться куда ему заблагорассудится и неделю не появляться в институте. Сектор крикнул «ура», последние месяцы они постоянно перерабатывали, засиживаясь в институте

до вечера, и теперь решили наверстать упущенное по части отдыха, как объявил Игорь Воронов и предложил высказать пожелания. Пожеланий оказалось даже больше, чем людей в секторе, но все закончилось так, как и должно было, — сектор рассыпался на отдельные личности и решил развлекаться всяк по-своему.

Сегодня Дмитрий приехал в институт только к одиннадцати, в полной уверенности, что не застанет никого из своих, и удивился, застав сектор в полном составе. Дмитрий словно мимоходом осведомился, зачем они явились на работу. Сектор замешкался с ответом, потом кто-то наивно спросил:

— А что, нельзя?

Дмитрий ответил, что, конечно, можно, но разве они не устали, и как же их роскошные планы на отдых, и вообще — чем они намерены заниматься, если уж явились сюда? Майя Синицына, округлив красивые глаза, невинным голосом спросила:

— А зачем вы приехали, Дмитрий Александрович?

— Я начальник, мне по службе положено, — отговорился Дмитрий, и кто-то мигом парировал:

— А мы — подчиненные, нас дисциплина обязывает.

— Ладно, я пас, — сдался Дмитрий, и Игорь Воронов удовлетворенно хмыкнул:

— Один — один, товарищ начальник.

Дмитрий еще немного посидел с ними и пошел к себе в кабинет. Он понял, почему они явились сегодня на работу: слишком многое связывало их...

Когда создавался сектор, Дмитрий очень убоился, что повторится история с лабораторией Шумилова — каждый будет сидеть в своем уголке, решать какую-то частную задачу и не знать, что творится за соседним столом. Он совершенно не представлял, что должен делать с этой оравой свежеиспеченных теоретиков и в чем должны заключаться его функции как руководителя. Они явились к нему все почти одновременно, и Дмитрий первые дни присматривался к ним и смущался, когда его называли по имени-отчеству. Он даже пытался намекнуть им, что еще не настолько стар, чтобы стоило величать его так, но намека не поняли.

Надо было как-то приступить к руководству, и Дмитрий решил, что самое лучшее и необходимое — чтобы все поняли, в чем заключается их задача. Он выложил все факты, имеющиеся к тому времени, и не только не скрыл слабых сторон и сомнительных мест, но сделал наибольший упор именно на это и предложил им высказывать свои соображения. Результаты такой откровенности оказались несколько неожиданными для него — ребята растерялись. Они беспомощно тыкались со своими примитивными предложениями и, взявшись за какую-нибудь задачу, то и дело приходили к нему с вопросами. А так как Дмитрий слишком часто говорил «не знаю» — иногда он действительно не знал, что нужно делать, — они обескураженно отходили от него и даже поглядывали с каким-то недоумением. Однажды Ольф с досадой сказал:

— Ты, брат, слишком надеешься на их самостоятельность. Не забывай, что они еще почти студенты. А ты их — трах по голове... Этак недолго и мозги набекрень.

— Ничего, очухаются, — буркнул Дмитрий.

И ребята постепенно «очухались». Они быстро «раскусили его» и поняли, что от них требуется. Однажды Лешка Савин, несдержанный, баламутный парень, в восторге от того, что сам додумался до решения, на которое чуть-чуть намекнул ему Дмитрий, брякнул:

— А вы жук, Дмитрий Александрович...

И смутился от собственной дерзости.

Дмитрий сделал удивленное лицо:

— Это как надо понимать?

— Хорошо надо понимать, — стал было оправдываться Лешка, но Дмитрий прервал его:

— Ну, тогда ладно. Иди работай.

Он с самого начала решил добиваться полной откровенности и взял за правило не

скрывать затруднений, то и дело возникавших на первых порах, и признаваться в своих ошибках, даже если они незначительны. Раз в неделю они устраивали коллективное обсуждение всей работы, на котором каждая частная задача подвергалась самому тщательному анализу и ожесточенной, далеко не всегда объективной критике. Допускалось любое сомнение, если для него было хоть какое-то основание. И будь тут посторонний человек, хоть мало-мальски смыслящий в физике, через пятнадцать минут такого обсуждения ему наверняка показалось бы, что все, чем занимается группа Кайданова, не стоит и выеденного яйца — с такой страстью и видимой легкостью разносилось вдребезги все, что создавалось в течение недели. Но посторонние на эти обсуждения не допускались. Даже Дубровину, однажды пожелавшему прийти на такое «бостонское чаепитие», Дмитрий прямо сказал, что делать этого не стоит.

— Почему? — удивился Дубровин.

— Вы для них — шишка, — несколько смущенно улыбнулся Дмитрий, — и перед вами они постараются показать товар лицом. Ну, а цель таких «чаепитий», как вы сами понимаете, несколько иная.

— Ясно, — коротко одобрил его Дубровин и не пошел.

«Чаепития» продолжались обычно несколько часов кряду, и в конце концов многое из разбитого вдребезги и похороненного заживо чудесным образом воскресало. Конечно, оказывалась и оппозиция, упрямо продолжавшая отстаивать разбитые теории. Ей позволялось упорствовать в своих заблуждениях, — естественно, в пределах разумного. И если порой в адрес «иноверцев» в сердцах срывалось не слишком вежливое слово, обижаться было не принято. Для этого был термин — «издержки производства». И когда оппозиция наконец выкидывала белый флаг, «правовверные» великодушно раскрывали свои объятия и дальше жили по принципу — «кто старое помянет, тому глаз вон». Самой популярной была в группе такая поговорка: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Если судить по количеству ошибок, за первые полгода работы они сделали вчетверо больше, чем за два следующих. Когда они подводили итоги этого полугодия, настроение у «чаевников» было похоронное. Они виновато посматривали друг на друга, на Дмитрия, и Лешка Савин спросил:

— А что, Дмитрий Александрович, мы окончательно бездари или еще есть какая-нибудь надежда?

Дмитрий помедлил с ответом, оглядывая их. Все, кроме Ольфа и Валерия, смотрели на него и словно ждали, когда он заверит их, что они не бездари. А он не нашел ничего лучшего, как повторить слова, сказанные когда-то Ольфу:

— А что, не выдать ли вам заодно и патент на гениальность?

Шутка не получилась — кто-то, нехотя улыбнулся, кто-то изобразил вежливый смехок. Дмитрий недовольно сказал:

— Так не пойдет. Чего вы всполошились? Ну, наломали мы дров, но не так уж и много, я ожидал худшего, — чуть-чуть покривил он душой. — Со временем научитесь работать по-настоящему.

В таком духе он говорил еще минут десять. Слушали его вежливо — но и только — и разошлись удрученные. Дмитрий чертыхнулся на свою педагогическую несостоятельность, пожаловался Ольфу и Жанне и больше таких проповедей уже не читал, решив, что лучшим, если не единственным, лекарством от неудач может быть только удача. И когда получилось что-то чуть-чуть похожее на маленькую удачу, он постарался, чтобы каждый как следует осознал это, и на все лады превозносил их достижение, разумеется, только в узком кругу, на «чаепитии». Хитрость удалась — ребята сразу почувствовали себя увереннее.

Они четверо считались, да и в самом деле были ими, основателями всей работы, и в шутку их называли «олигархами». А вот относились к «олигархам» не одинаково. Мелентьева недолюбливали за небрежную снисходительность и заносчивость, которую он далеко не всегда мог скрывать, с Жанной пытались было флиртовать, но тут же, получив вежливый холодный отпор, отступали. А Ольф сразу стал безоговорочно своим, у него

занимали трешки до получки, шли к нему со всякими, порой самыми незначительными вопросами, выпивали с ним, «подначивали» — и любили все. А Дмитрий долго не мог понять, как же, в сущности, относится к нему группа. С уважением? Бесспорно. Его мнение нередко оказывалось решающим и порой сразу прекращало всякие споры, что иногда тяготило его и заставляло особенно тщательно взвешивать свои слова.

На одном из первых «чаепитий» Дмитрий сказал:

— Вот что, друзья. Давайте немного поговорим о том, как мы дальше жить будем. Я предоставляю вам довольно большую свободу действий, но, как сами понимаете, свобода эта не может быть бесконечной. Пока что вы больше будете учиться и ошибаться, но ведь и работа должна как-то двигаться. Надеюсь, я не очень обижу вас, если скажу, что пока она будет двигаться в основном за счет усилий нас четвертых. Но и вы должны внести свою посильную лепту. Пока что она, по-видимому, будет выражаться только в том, что вы поможете вести нам всякие расчеты. Работа, как сами понимаете, не очень приятная, но нужно и ее делать. Давайте договоримся так: когда кому-то из нас понадобится ваша помощь, мы подходим к вам и просим сделать вот это и это к такому-то времени. Если вы очень увлечены своей идеей и не хотите отвлекаться, вы вежливо, не вдаваясь в объяснения, отвечаете «не могу», и мы просим другого...

Веселое оживление в группе заставило его немного помолчать, и потом он продолжал:

— Я могу обещать, что мы не будем злоупотреблять вашей добротой, но и вы, со своей стороны, должны хорошенько понять, что, если каждый из вас ответит «не могу», расчеты придется делать либо нам самим, что не слишком-то разумно, либо искать какие-то другие формы нашего мирного сосуществования. Я надеюсь, что работать вместе нам придется долго, и хочу, чтобы отношения у нас были наилучшими. Ну что, устраивает вас такое житье?

— Еще бы! — хором сказало несколько человек.

Разумеется, их это устраивало. Но Валерию и Ольфу такая речь очень не понравилась. Мелентьев разразился тирадой о «гнилом либерализме некоторых горе-руководителей», а Ольф мрачно изрек:

— Смотри, сядут они тебе на шею.

— Не сядут, — ответил Дмитрий не очень уверенно. Он и сам не был убежден в успехе своего «либерального» эксперимента и решил посмотреть, что из этого выйдет.

А вышло все очень неплохо. Ребята, как правило, беспрекословно выполняли все их просьбы и отказывались всего несколько раз. И почему-то случалось это всегда с Мелентьевым. После первого такого отказа он сказал Дмитрию, недовольно морщась:

— Слушай, это все-таки не дело. Вы как хотите, а мне просто нужен постоянный человек, который помогал бы мне делать расчеты. И без всяких этих «не могу». Так, в конце концов, везде заведено.

— А у нас пока что этого не будет, — сухо сказал Дмитрий. — Один сказал «не могу» — попроси другого.

— Ну, смотри, — сказал Мелентьев и ушел просить другого.

Кто-то сделал ему расчеты, и он как будто успокоился. Но потом ему отказали во второй раз, в третий, и наконец он взорвался. Он пришел в их рабочую комнату, швырнул на стол пачку бумаг и накинулся на Дмитрия:

— Слушай, Кайданов, ты когда-нибудь наведешь порядок в своем хозяйстве?

— А что случилось?

— А то! Мне надо срочно посчитать вот эту муру, — кивнул он на бумаги.

— Подхожу к Полюнину, а он — извините, Валерий Васильевич, не могу. Мальцев — то же самое. И Савин, видите ли, тоже не может. А кто может? Я что, должен всех обходить и как нищий кланить, чтобы мне ради Христа сделали одолжение? Или самому прикажете сесть за эту, с позволения сказать, работу?

— Не кричи, — прервал его Дмитрий. — Дай сюда, я сам попрошу кого-нибудь.

— Во-во, нашел выход, — зло кинул Валерий. — Тебе-то они, конечно, не откажут, ты

все-таки начальник.

— Ольф не начальник, но ему не отказывают. И Жанне тоже. Значит, просишь не так, как нужно.

— А! — взбеленился Мелентьев. — Я, видите ли, прошу не так. А как нужно просить? Я должен расшаркиваться перед ними: «Будьте добры, голубчик, пожалуйста, не можете ли вы, если вам не трудно...» — издевательским тоном тянул Мелентьев. — Так, что ли?

— Расшаркиваться не надо, а вот слово «пожалуйста» еще никому не мешало.

— Ну еще бы... Они же, все как один, в институте благородных девиц воспитывались...

— Прекрати! Я же сказал, что сам попрошу кого-нибудь.

— А в следующий раз они снова скажут «не могу»? Так не пойдет. Я еще раз предлагаю тебе: выдели мне одного человека, и чтобы без никаких «не могу».

— Нет, — сказал Дмитрий.

Мелентьев несколько секунд молча смотрел на него, повернулся и хлопнул дверью. Дмитрий взял его бумаги и пошел к Майе Сеницыной.

— Если ты не очень занята, посчитай эти интегралы.

— Хорошо, Дмитрий Александрович, — сразу согласилась Майя.

Валерий вернулся через час, и Дмитрий, не поднимая головы от стола, сказал ему, что его выкладки у Майи. Мелентьев пробурчал что-то и до вечера просидел молча, не вставая из-за стола.

Но история на том не кончилась. Через два дня Мелентьев пришел взбешенный и, сунув руки в карманы, остановился перед столом Дмитрия и сказал хриплым, придушенным от злости голосом:

— Я только что от твоей любимицы, Кайданов. Я попросил ее посчитать еще один вариант, вот этот. — И он сунул под нос Дмитрию бумагу. — Здесь работы-то всего на час. И что, ты думаешь, она ответила мне?

— Что? — спокойно спросил Дмитрий.

— Что она *не хочет* ! Не не может, а именно не хочет.

— А то, что я давал ей, она сделала?

— Да! Сделала! — сорвался на крик Мелентьев. — И не преминула мне заявить, что сделала не для меня, а для Дмитрия Александровича! Для вас, сударь!..

— Перестань! — резко сказал Дмитрий, и Мелентьев замолчал. — Я сам с этим разберусь.

— Да уж сделайте одолжение, Дмитрий Александрович, — язвительно сказал Мелентьев.

И Дмитрий пошел разбираться. Майя сидела за своим столом с покрасневшими от слез глазами, и в комнате было необычно тихо. Увидев его, она шмыгнула носом и виновато поднялась, комкая платок.

— Идем поговорим, — сказал Дмитрий.

Майя молча пошла за ним в кабинет и, когда Дмитрий закрыл дверь, села на диван и всхлипнула.

— Ну, успокойся, пожалуйста, — Дмитрий присел рядом.

Мелентьев назвал Майю его любимицей, что было верно только отчасти, потому что она была любимицей всей группы. Веселая, жизнерадостная, она смотрела на мир ласковыми, порой изумленно-радостными глазами. И помогать она была готова всем, даже когда ее не просили об этом. Видно, очень уж обидел ее Мелентьев, если она так сказала ему.

Майя все еще всхлипывала, и Дмитрий, погладив ее по вздрагивающему плечу, повторил:

— Ну ладно, Маечка, успокойся... Что случилось?

— Так, Дмитрий Александрович, — она подняла на него огромные влажные глаза. — Мне нетрудно посчитать эти интегралы, и я сделаю, если хотите... Но пусть он скажет по-человечески, а то... Вошел как какой-то хан, не поздоровался, бросил мне листок и цедит

сквозь зубы: «Это к тому, что ты делаешь, и поскорее». И с другими он тоже так. А потом еще обижается, что ему помогать не хотят...

Она снова всхлипнула и спросила:

— Вы не сердитесь, Дмитрий Александрович? Может, я и неправильно поступила, но ведь...

— Да нет, Майя, я не сержусь... Иди работай.

— А это, — она потянулась за листком, — я сейчас посчитаю.

— Не нужно.

Дмитрий вернулся к себе. Валерия не было. Жанна посмотрела на него и спросила:

— Что там?

Дмитрий сел за стол и невесело сказал:

— А то, что наш гений Мелентьев иногда ведет себя как хам самой высшей категории.

Ольф хотел было что-то сказать, но Дмитрий не обратил на него внимания и уткнулся в бумаги Мелентьева. Он решил сам посчитать эти интегралы. Заняло это действительно меньше часа, и, когда Мелентьев пришел, Дмитрий протянул ему листки и, словно ничего не случилось, сказал:

— Получи свои расчеты.

Мелентьев, конечно, сразу увидел, что расчеты сделаны Дмитрием, пристально посмотрел на него и усмехнулся:

— Это что, надо понимать как воспитательную методику?

— Воспитаешь тебя, как же...

Мелентьев закурил, пододвинул свой стул к стулу Дмитрия и прочно уселся, готовясь к долгому разговору. Дмитрий безучастно ждал, пока он начнет. И Мелентьев начал:

— А тебе не кажется, что это не самый лучший выход из положения?

— Возможно, — согласился Дмитрий, разглядывая его. — Даже наверняка нет. Лучший выход из этого положения — если бы ты извинился перед Майей за свою грубость, и она досчитала бы твои интегралы. Но так как я еще ни разу не слышал, чтобы ты перед кем-то извинялся, то решил, что и сейчас не будешь.

— Правильно решил.

— Вот видишь...

— Отдаю должное твоей проницательности. Ну, а что дальше будем делать?

— А именно?

— Опять мне придется упрашивать их? А если они вдруг все откажутся?

— И это возможно.

— Ну, и что дальше?

— А как ты думаешь?

— Никак... Пока что, — с значительным видом сказал Мелентьев.

— Ну, так я за тебя подумал... Будешь отдавать свои листки мне, а я уж, так и быть, попрошу за тебя.

— А ты, оказывается, Соломон, — криво улыбнулся Мелентьев.

— Тебя и этот вариант не устраивает?

— Не очень-то устраивает.

— А чего же ты хочешь?

— Я уже говорил. Выдели мне кого-нибудь.

— Нет.

— Почему?

— Это настолько очевидно, что и объяснять не хочется... И знаешь что — хватит об этом. Тебе не хочется просить — не надо, я уже сказал, что сам буду.

Мелентьев в раздражении громыхнул стулом и встал.

— Нет уж, давай поговорим еще немного. Ты нее ставишь меня в дурацкое положение... Воображаю, как они сейчас там хихикают.

— В это дурацкое положение ты сам себя поставил.

— Если бы ты не распустил их, ничего бы и не было. Не пойму я, какого дьявола ты так цацкаешься с ними? Они же чепухой занимаются, а ты смотришь и помалкиваешь.

— Это для тебя чепуха, — возразил Дмитрий, стараясь быть спокойным. — А для них это настоящие открытия. И я тебя не заставляю цацкаться с ними. У тебя есть своя задача — вот и делай ее.

— А они что — будут штаны просиживать да зарплату получать? Вместо своих открытий, которые и выведенного яйца не стоят, они вполне могут заниматься делами более нужными.

— Считать твои интегралы?

— Да, считать мои интегралы? И твои тоже! — огрызнулся Мелентьев. — Должно же быть какое-то разделение труда. Пусть каждый делает, что может, а не что хочет. Это же, в конце концов, аксиома всякой сферы деятельности, в том числе и научной. Что, неправ я?

— Прав, разумеется, — холодно сказал Дмитрий. — Когда-нибудь так и будет.

— Когда же это, интересно?

— Когда выяснится, кто из них на что способен, что может делать, а чего нет.

— А тебе еще не ясно?

— Нет, не ясно. Да, пока они только и умеют, что считать интегралы и решать самые элементарные задачи. А ты многое умел, когда начинал работать?

— Уж во всяком случае больше, чем они! — отрезал Мелентьев.

— Возможно, — устало согласился Дмитрий, его все больше раздражал этот разговор. — Даже наверное так. Но из этого еще не следует, что они не смогут делать того, что делаем мы. Их надо еще многому учить.

— А у нас что, ликбез?

— Если хочешь, да, — сухо сказал Дмитрий. — Нравится тебе или нет, но, пока я руководитель группы, будет так, как я наметил. А вот когда я окончательно уверюсь в том, что кто-то способен на что-то большее, чем брать интегралы и рассчитывать кривые, — заниматься *только* этими интегралами и кривыми он не будет. Если ты исходишь из того, что все они потенциальные чернорабочие от науки, — это твое дело.

— А ты, надо полагать, считаешь, что все они потенциальные гении? — насмешливо осклабился Валерий.

— Нет. Но если ты думаешь, что наша группа будет состоять из элиты и обслуживающего персонала, то ты ошибаешься. Этого уж точно не будет, — твердо сказал Дмитрий. — И хватит об этом.

— Он не так уж неправ, — вмешался Ольф. — Кто-то должен делать черновую работу.

Дмитрий недовольно покосился на него.

— Они и делают.

— Мало, — упрямо продолжал Ольф. — Могли бы и больше.

— Могли бы, конечно, — нехотя согласился Дмитрий. — Но они и так работают как одержимые. Они очень много делают — пусть пока вхолостую, но не вижу, как иначе они могут чему-то научиться. Поймите вы наконец, что я хочу только одного — дать им возможность как можно полнее проявить себя. Это же, в конце концов, важно не только для них, но и для нас, нашей работы. Вы же видите, что мы влезли в такую проблему, что пробьемся над ней не один год. Да и почему мы должны думать только о себе? Кто о них-то будет думать, кто их будет учить?

— Добренький ты человек, Кайданов, — усмехнулся Валерий, — всем угодить хочешь. Да только не мешало бы помнить, что науку движет не массовый энтузиазм, а личности, таланты. И уж кому господь бог этого таланта не отмерил — волей-неволей быть ему чернорабочим.

Молчавшая до сих пор Жанна сказала:

— Ты вот назвал Диму добреньким, но, я думаю, чуть-чуть в слове ошибся. Он не добренький, а добрый. Но если уж на то пошло, лучше даже добреньким быть, чем таким, как ты.

— Вот оно что... — протянул Валерий, заметно меняясь в лице. — Что же я, по-твоему, злой?

— Не знаю, — уклончиво ответила Жанна. — Но то, что ты в этом случае думаешь только о себе...

— Я не о себе, а о работе думаю! — вспыхнул Валерий. — Посчитайте, что мы сделали за эти три месяца. А сколько можно сделать, если бы они как следует помогали нам, а не изобретали велосипеды!

— А вот мне очень жаль, что у меня в свое время не было возможности изобретать эти велосипеды. Ты у нас, конечно, талант-самородок, — насмешливо кинула Жанна, — и уж не знаю, как ты там начинал, но мне пришлось после университета два года на побегушках быть и делать иногда то, с чем и десятиклассник справился бы. А потом с боем отвоевывать себе право на хоть сколько-нибудь самостоятельную работу. И если уж говорить откровенно, то я только сейчас, в этот последний год, почувствовала, что такое настоящая научная работа. Не поздно ли для тридцати лет? И Дима все очень правильно делает. Пусть мы потеряем какое-то время, но оно в конце концов с лихвой окупится...

Ольф, чувствуя, что вот-вот может вспыхнуть ссора, взял правую руку Дмитрия, поднял ее вверх и шутливо бросил:

— Два — два в вашу пользу. Валерка, пойдем пивка тяпнем. Ну их, благородных...

Валерий промолчал, и Ольф подтолкнул его к двери:

— Идем, идем.

43

Вечером, когда Ольф зашел к нему, Дмитрий не выдержал и снова заговорил об этом:

— Вот уж не думал, что ты заодно с этим... суперменом окажешься...

— Почему же заодно? — невозмутимо сказал Ольф. Он готов был к продолжению разговора. — У меня и своя голова на плечах есть.

— И ты считаешь, что он прав?

— Кое в чем — да.

— В чем же это?

— Учить их, конечно, надо, но вполне можно сделать и так, чтобы они больше помогали нам. В конце концов, главное-то работа.

— Работа? — переспросил Дмитрий таким тоном, что Ольф остановился посреди комнаты, он часто во время разговора расхаживал из угла в угол, и повернулся к нему. Дмитрий пристально смотрел на него и наконец медленно сказал: — А может быть, главное все-таки не работа?

— А что же?

— Люди.

Ольф не сразу понял его и торопливо согласился:

— Ну, разумеется, люди.

Дмитрий засмеялся каким-то насильственным, вымученным смехом и, заметив, что Ольф снова принялся расхаживать по комнате, сердито сказал:

— Да сядь ты, не маячь перед глазами!

И когда Ольф молча уселся в кресло и с тревожным недоумением посмотрел на него, Дмитрий заговорил:

— Разумеется, люди, как же иначе? Мы же сплошь все гуманисты...

— А чего ты злишься?

— А вот то и злюсь, что на словах-то мы все очень хорошо усвоили, что люди — главное, хотя бы потому, что они занимаются этой работой. А как доходит до дела, о людях-то меньше всего и думаем...

Голос у него сорвался, и Ольфу даже показалось, что Дмитрий сейчас может заплакать. Ольф встал и подошел к нему, положил руки на плечи:

— Димка, у тебя что-то случилось... С Асей что-нибудь?

Дмитрий резко дернул плечами, и Ольф убрал руки.

— Ничего у меня не случилось... Но мне, откровенно говоря, просто непонятно, как ты можешь поддерживать Валерку... Неужели ты считаешь, что я все это делаю зря?

— Нет, — мягко сказал Ольф и сел. — Конечно, нет. Я только думаю, что ты... перебарщиваешь.

— В чем?

— Ну, хотя бы с Пологиным. Он уже три недели носится с этой бредовой идеей о позитронной аннигиляции, а ты ни слова не говоришь ему, а тем самым поощряешь и дальше заниматься этой чепухой.

— А что я, по-твоему, и сам не знаю, что идея бредовая? Но ты не думаешь, что такая бредовая идея могла прийти в голову только человеку, мыслящему оригинально и незаурядно?

— Допустим...

— Уже хорошо. Ну и что, по-твоему, я должен сделать? Приказать ему, чтобы он не думал об этом? Так он все равно будет думать. Пусть уж лучше сам убедится в том, что его идея — бред. Он парень бесспорно талантливый и очень неглупый, через неделю или две сам придет и скажет, что все это чепуха. И кстати, пока он убедится в этом, научится очень многому, чего не дадут ему никакие лекции и наши наставления.

— Но ведь мог бы он и нам помогать. Хотя бы тому же Валерке.

— «Мог бы»! — сердито сказал Дмитрий. — А если не может? Ты что, не видишь, что он фанатик и ни о чем другом не способен думать, пока эта идея сидит у него в голове? А мы с тобой не такие? Вспомни-ка, сколько раз мы увлекались идеями, которые сейчас-то, с высоты нашего сегодняшнего роста, можно назвать бредовыми! Но тогда-то они казались нам чуть ли не гениальными...

— Ну, допустим, тут ты прав, — неохотно согласился Ольф. — А другие? Тебе не кажется, что они... иногда слишком уж зарываются?

— Возможно, — не сразу сказал Дмитрий, закуривая. — Может быть, я и в самом деле кое в чем перебарщиваю. Но, понимаешь... Я уже тебе говорил, что чувствую себя ответственным за этих ребят... И если уж честно признаться, иногда меня пугает эта ответственность. Я дал себе слово, что постараюсь оградить их от всех возможных тяжелых последствий... Но как это сделать? Конечно, проще всего решить, что вот это им по плечу, а об этом не смей и думать. Ну, а если ошибемся? Пусть уж сами ищут, пробуют, испытывают себя... Конечно, мы теряем время, но я уверен, что эти потери не напрасны. А когда на первом плане только работа — волей-неволей начинаешь пренебрегать интересами людей. А я не хочу этого. У нас и без того уже есть кое-какие жертвы того времени, когда мы ничего не хотели знать, кроме работы.

— Жертвы? — переспросил Ольф.

— Да. Вспомни хотя бы Ольгу.

— Ольгу? Но ведь она сама ушла от нас.

— Сама, конечно, — с горечью сказал Дмитрий. — А что еще оставалось ей делать? А мы-то на что? Повздыхали, посожалели, что все так получилось, и забыли. Ничего, мол, не поделаешь. А пытались мы что-нибудь сделать? Да ничего. А как мы были нужны ей тогда, Ольф.

Дмитрий сжал руками голову и застонал.

— Если бы ты знал, как мы были нужны ей... Какое у нее было лицо, когда она увидела меня...

— Когда?

— Этой зимой, в январе... Я отыскал ее, но слишком поздно.

— Как поздно? — тихо переспросил Ольф, еще не понимая его, и со страхом выкрикнул: — Что значит поздно?

— Она умерла, Ольф... Одиннадцать дней назад, в два часа, как раз в то время, когда

мы так весело ели шашлык и пили вино...

— Почему ты мне ничего не сказал? — с какой-то бессмысленной яростью спрашивал Ольф, вцепившись руками в подлокотники кресла. — Когда ты узнал об этом? Почему зимой ничего не говорил?

— Что толку? Я видел ее всего один раз, потом она не велела пускать меня.

— Почему?

— Потому что было уже поздно, слишком поздно...

— Что значит «поздно»? Димка, что ты говоришь? Почему раньше ничего не сказал? Когда ты узнал о ее смерти?

— Четыре дня назад.

— Почему молчал?

— Я не мог, Ольф... Я все еще не могу до конца поверить этому...

— Кто тебе сообщил?

— Врач. Он переслал ее рисунки и письмо.

Дмитрий дал ему оба письма — врача и Ольги — и толстую кипу рисунков, и Ольф стал читать. А Дмитрий в изнеможении опустился в кресло, закрыл глаза. Все эти четыре дня его не покидала тяжелая усталость, от которой он едва волочил ноги, и такими ненужными казались сейчас споры с Мелентьевым и Ольфом, так неприятно было, что они не понимают самых элементарных вещей. С этой непонятной усталостью он вставал по утрам и весь день ощущал ее, словно какой-то тяжкий груз, ложился с ней, и по ночам просыпался в пустой квартире, и иногда зажигал свет, и сидел на постели, не понимая, почему он должен быть один. Прошло уже три недели после отъезда Аси, а он все еще не мог привыкнуть к тому, что в пятницу она не приедет, не нужно идти встречать ее, и старался не думать о том, что так будет еще почти целый год... И что-то странное было в том, что это чувство одиночества предельно обострилось именно с того дня, когда он узнал о смерти Ольги. Почему? Может быть, потому, что в каждой строчке ее письма чувствовалось то безмерное одиночество, в котором умирала она? Он посмотрел на письма, брошенные Ольфом на столике. И, помедлив, взял их и снова стал читать. Сначала письмо Емельянова, лечащего врача, — короткое, сухое, словно упрекавшее его в чем-то:

«Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Должен сообщить Вам тяжелое известие — Ольга умерла, четыре дня назад, в субботу, в два часа дня. Не сообщил об этом сразу, как Вы просили, по одной причине — таково было желание Ольги. Она просила написать Вам только после кремации. О последних днях ее могу сказать немного — умирала она очень тяжело, в полном одиночестве, не допуская к себе даже мать. Держалась с редкостным мужеством. Я видел немало смертей, зрелище это всегда тягостное, очень многие, по обычным понятиям люди совсем не слабые, перед лицом смерти необыкновенно теряются, но Ольга держалась до конца с достоинством поразительным.

Выполняю просьбу Ольги и пересылаю ее письмо и все рисунки, оставшиеся после нее, кроме тех, которые она подарила мне незадолго до смерти. Рисовала она почти до последнего дня.

Вот и все. Ваш В. Емельянов».

И письмо самой Ольги, написанное, видимо, в несколько приемов, крупными, неровными буквами, стоявшими иногда отдельно друг от друга.

«Дорогие мои.

Пишу вам обоим — и верю, что вы всегда будете вместе. Может быть, на свете нет ничего важнее, как быть с кем-то рядом и делить все неудачи и беды. Радость можно разделить почти с каждым, а вот беду — с немногими, м.б., только с одним. И сейчас, когда мне осталось жить так немного, ни с кем, кроме вас, я не хотела бы делить свои беды. Как жаль, что это оказалось невозможным. Мне не надо было тогда уходить от вас, но что делать, если так получилось. Не вини себя в этом, Ольф. Если кто и виноват, то я одна. И ты, Дима, не слишком огорчайся, что мы больше не виделись после того свидания, и ни в чем не обвиняй себя. Если бы ты знал, какую радость доставил мне своим приездом. В. П.,

наверное, говорил, почему мне нельзя было больше видаться с тобой. Я очень хотела, но не могла...

Я знаю, что вы не забыли меня и смерть моя будет тяжела для вас. Что ж, мальчики, вы же знали, что так будет, знала и я. Умирать — необыкновенно страшно и больно. Как жить хочется, ребята!

Живите, любите друг друга — и иногда вспоминайте вашу Ольгу, которой когда-то было так хорошо с вами.

Прощайте, родные мои».

И все. Ни даты, ни подписи. И несколько сот рисунков... У Дмитрия все еще не хватало духу посмотреть их все, а сейчас над ними склонился Ольф. Он подолгу рассматривал каждый рисунок, откладывал в сторону, осторожно брался за следующий — и вдруг быстро сложил их, резко поднялся и сказал Дмитрию:

— Убери, я не могу...

И, не дожидаясь, пока Дмитрий положит их в шкаф, ушел.

44

На следующее утро Ольф, как обычно, зашел за ним, чтобы вместе поехать на работу. Дмитрий, завязывая шнурки ботинок, сказал, не глядя на него:

— Можешь передать Валерке, что таких дискуссий, как вчера, я заводить больше не собираюсь и ему не советую. Не нравятся эти порядки — пусть убирается. А если будет и дальше по-хамски вести себя с ребятами, я сам постараюсь, чтобы он ушел.

Ольф промолчал.

Говорил он с Валерием или нет, но дискуссий и в самом деле больше не возникало. Мелентьев стал обращаться к Дмитрию подчеркнуто вежливо, первое время почти не приходил к нему по вечерам, на «чаепитиях» демонстративно отмалчивался — в общем, всячески показывал, что он «умывает руки». И даже к работе как будто охладел, хотя по-прежнему делал очень много. И с ребятами почти не разговаривал. Давал Дмитрию листки с заданиями, небрежно просматривал сделанные расчеты и, если Дмитрий говорил ему, что пока он никого просить не может, пусть подождет или посчитает сам, — молча забирал свои бумаги и усаживался за работу. Сегодня Мелентьева не было. Вчера, когда все с таким воодушевлением строили планы недельного отдыха, он подошел к Дмитрию и негромко сказал:

— Если не возражаешь, я исчезну на это время.

— Конечно. Поедешь куда-нибудь?

— Да так, проветрюсь.

И он уехал, утром Дмитрий случайно увидел из окна, как разворачивалась его машина. И сам он не собирался быть в институте, но, неприкаянно послонявшись по квартире, зачем-то поехал, а спустя полчаса прикатил и Ольф, хотя Светлана уже третий день лежала с температурой. И все остальные тоже зачем-то приехали, и сейчас он слышал за стеной взрывы веселого смеха. А он сидел один, в пустом кабинете, за пустым столом и не шел к ним. Захотелось еще раз «проиграть» в уме ход предстоящего эксперимента, поискать слабые места. Их как будто не было — готовились к этому решающему опыту долго и тщательно, все было проверено и перепроверено, все казалось надежным и бесспорным... Пришел Ольф и зачем-то спросил:

— Не помещаю?

— Нет, конечно... Чего это они там бесятся? — кивнул Дмитрий на стену.

— Наверно, весна действует, — усмехнулся Ольф.

— Ты чего домой не едешь?

— А ты?

— Ну, меня никто не ждет... Как Света?

— Нормально... Слушай, ты Игорька сможешь взять?

- Смогу, конечно... А ты что собираешься делать? — удивился Дмитрий.
— Схожу на вэцэ, там мне время дали.
— Это еще зачем?
— Надо кое-что посчитать.
— Что именно?
— Хочу еще раз проверить границы рассеивания.
— Зачем? — пристально посмотрел на него Дмитрий.
— На всякий случай... Делать-то все равно нечего, — нехотя ответил Ольф.
— Мы это уже все рассчитали до мелочей.
— Береженного бог бережет, — усмехнулся Ольф.
— А почему именно это? Тогда надо все заново считать, с начала до конца.
— Не мешало бы, — серьезно сказал Ольф.
— Зря ты это... Лучше отдохнул бы. Давай завтра отправимся куда-нибудь.
— До завтра еще дожить надо, — без тени улыбки сказал Ольф.

Дмитрий молчал. Он уже не впервые замечал, что Ольф чересчур осторожен. Чем ближе к концу подходила работа, тем неуверенней становился он, порой раздражался из-за мелочей и начинал проверять самые очевидные вещи. «Что это — страх перед неудачей?» — думал Дмитрий, но спрашивать у Ольфа не решался. И сейчас ему ничего не оставалось, как пожать плечами:

- Дело твое, конечно, только зачем это нужно?
— Мне это нужно, — отрезал Ольф.
— Да чего ты злишься? Иди считай, что я тебе, запрещаю, что ли?
— Значит, Игорька ты возьмешь?
— Ну конечно, я же сказал.

Ольф ушел, а Дмитрий посидел немного и поехал за Игорьком.

Увидев их, Светлана улыбнулась, но как-то нехотя, словно по обязанности, и молча принялась раздевать Игорьку. Она не спрашивала, где Ольф, и Дмитрий сам сказал:

- Ольф немного задержится, нужно кое-что посчитать.
— Он же вчера говорил, что вся работа закончена, — с раздражением сказала Светлана.
— Мы сами так думали, но вдруг вылезла одна бяка, — сказал Дмитрий, отводя от нее глаза.

— И этой бякой, конечно, кроме него, больше некому заняться...

— Ну, не совсем так, — уклончиво ответил Дмитрий. — Просто он сделает это лучше и быстрее.

— Ну, еще бы...

Светлана молча ходила по комнате, резко хлопала дверцами шкафа, лицо у нее было злое. Дмитрий смотрел на нее и с трудом верил тому, что это и есть та самая робкая девочка, которую они с Ольфом увидели впервые шесть лет тому назад на балтийском побережье. Светлана после родов заметно пополнила, стала красивее и в первый год замужества выглядела счастливейшей из смертных. А что случилось потом? — не раз задавал себе вопрос Дмитрий. Улыбалась Светлана все реже, все чаще в ее голосе прорывались злые нотки, все чаще Ольф приходил к нему по вечерам невеселый... Вот и сейчас — то ли не верит Светлана, что ему нужно было остаться на работе, то ли считает, что не важно, где он и что делает, а важно то, что его нет...

— Ему действительно очень нужно было остаться, — мягко сказал Дмитрий.

— Ты же знаешь, что значит для нас этот эксперимент. А ведь он отвечает за всю организационную и техническую сторону опыта.

Светлана промолчала, и Дмитрий подумал, что для нее все это пустые слова, она просто не представляет, что такое работа Ольфа. Наверно, все было бы значительно проще, если бы она хотя бы приблизительно знала, чем он занимается. Но все эти нагромождения формул и уравнений для нее — сплошная бессмыслица.

Светлана трижды пыталась поступить в институт, в последний раз ей не хватило всего

одного балла, — и потом, видимо, смирилась со своей неудачей. Сейчас она работала техником на вычислительном центре, занималась в основном набивкой и проверкой перфолент — занятие нудное и неинтересное...

— Ну, я пойду, — Дмитрий поднялся.

— Спасибо за Игоря... Ты уж извини, что я... так встречаю тебя, я не совсем здорова. — Светлана виновато посмотрела на него. — Настроение такое...

— Ну что ты... я понимаю.

До приезда Аси оставалось еще сорок минут, но Дмитрий все-таки пошел на станцию. Ходил по платформе, часто смотрел на стрелки вокзальных часов, дергающихся с отчетливым сухим стуком.

Ася не приехала. Не было ее ни в четвертом вагоне, ни в соседних. Дмитрий торопливо пошел в конец платформы — Аси не было и там. Следующая электричка приходила почти через полтора часа, и он спрыгнул с высокой платформы на пути и пошел домой напрямик, через пустырь, шурясь от закатного апрельского солнца.

45

Когда он пришел к себе, то увидел в передней ботинки Ольфа, а затем и его самого, торопливо вышедшего навстречу.

— А где Ася? — спросил Ольф.

— Не приехала.

— Почему?

— Откуда я знаю.

— Наверно, просто опоздала на электричку.

— Может быть, — вяло согласился Дмитрий, закурил и сел в кресло.

Ольф прошелся по комнате и спросил, искоса взглянув на него:

— Мне уйти?

— Сиди, бога ради, — с раздражением сказал Дмитрий. — Сам скажу, если надо будет... Посчитал?

— Да.

— Ну и что?

— То же самое, что и было, разумеется, — усмехнулся Ольф. — А ты все еще не перестаешь удивляться, почему я это делал?

— При чем тут «удивляться»? Просто считаю, что не надо было делать — и все.

— Теперь-то и сам вижу, что не надо было. Но, понимаешь, ночью проснулся и подумал — вдруг что-то упустили? И все — сна ни в одном глазу. — Ольф помолчал и вдруг спросил: — Ты знаешь, почему я бросил летать?

— Ну как почему? Ты же сам говорил, что увлекся физикой, поэтому и ушел из авиации.

— Верно, говорил, и в общем-то это правда. Но летать я бросил не поэтому... Помнишь, ты как-то спрашивал, не хочу ли я снова летать?

— Помню.

— Я сказал тогда, что уже не хочу, что физика куда интереснее. Вранье все это. Физика, конечно, интереснее, но летать до сих пор хочется, да так, что по ночам уже сотни раз снилось, что летаю. Тот, кто хоть раз самостоятельно в воздух поднялся, на всю жизнь этим отравлен. И летать я бросил не по своей воле... Понимаешь, какая история была... Мне до выпуска меньше года оставалось, я уже давно самостоятельно летал. И, надо сказать, летал неплохо, был в училище не на последнем счету... И приключилось однажды со мной вот что: пошел я на посадку, уже выпустил шасси и закрылки — да и задымился, а потом и загорелся самым что ни на есть натуральным синим пламенем...

Дмитрий с удивлением взглянул на него. Ольф усмехнулся:

— Что, не ожидал, что и со мной могло приключиться... нечто серьезное?

— Ну что ты... Просто... неожиданно как-то. Почему же ты раньше ничего не рассказывал?

— Погоди, сейчас поймешь... Когда я понял, что запахло жареным, первая мысль, как и у всех в подобных случаях, — катапультироваться. Да тут же, слава богу, сообразил, что поздно — высоты не хватает, да и нельзя — аэродром прямо по курсу, а там — самолеты, заправщики... Хорошо хоть, что первой-то мыслью была именно та, что поздно, а то, чего доброго, тут же и надавил бы на катапульту, благо она под рукой. А упали такая головешка на аэродром — салют был бы отменный... Да и меня, пожалуй, пришлось бы по частям собирать... Ну, а раз не катапультироваться, остается одно — садиться. На «МИГе» это и вообще-то задача непростая, особенно для нас, зеленых, — скорость все-таки внушительная, почти триста километров в час. А тут еще и двигатель пришлось выключить, чтобы не взорваться. Сделал я это как-то автоматически, однако гореть продолжаю. Дым прямо в фонарь валит, видимость плохая... Вся трудность была в том, что планировать приходилось аккуратненько в начало полосы. Не дотянешь — на лес грохнешься; перетянешь — с полосы вылетишь и такого козла дашь, что самолет на кусочки развалится и ты вместе с ним. Ну конечно, и мимо полосы, на грунт, садиться тоже не рекомендуется — эффект был бы тот же...

Говорил Ольф спокойно, словно пересказывал содержание какой-то книги.

— Поскольку я, как видишь, остался жив-здоров, отсюда следует, что задачу эту мне выполнить удалось. Даже, как говорили, блестяще выполнил. А вот как — этого я и сам рассказать не могу. Ничего не помню... То есть помню, конечно, все движения, а вот почему орудовал ручкой и педалями именно так, как нужно было, не знаю. Видно, очень мне жить хотелось, если все мои знания и небогатый летный опыт сами собой в эти единственно нужные движения вылились...

В общем, сел я аккуратненько в самом начале полосы, прокатился до конца и, естественно, стал фонарь сбрасывать. А он не сбрасывается. Я решил, что его заклинило. Оглядываюсь и вижу, как катится ко мне орава красных машин, пожарных да санитарных... И так медленно катится... Потом-то мне сказали, что полтора километра они всего за одну минуту одолели. А мне казалось, что они не едут, а ползут. Смотрю на них и думаю: успеют — не успеют? Взорвусь или нет? И пока они тушили меня, все об этом же и думал — успеют или нет? Успели... А когда потушили и полезли ко мне, я без всякого труда сбросил фонарь и сам попытался вылезти, да не тут-то было — ноги не держат. Вытащили меня... Оказывается, когда я в первый раз фонарь пытался сбросить, то замок не в ту сторону давил... Интересно, да? — Ольф прищурился сквозь дым сигареты.

— Куда уж интереснее...

— Слушай дальше, это только присказка... Ну, походил я с неделю в героях, для проформы полежал в госпитале, снова на комиссию — к полетам годен. В первый полет пошли, как и полагается, на спарке, вдвоем с инструктором. Есть в авиации такое мудрое правило — после перерыва в полетах даже опытных асов сразу одних не выпускают, обязательно «вывозка» с инструктором. Все шло хорошо — поднялись, прогулялись в зоне и пошли на посадку. Инструктор сзади сидит, помалкивает... И вот когда оставалось высоты всего метров пятьдесят, показалось вдруг мне, что сесть я не смогу, обязательно грохнусь. И вместо того чтобы садиться, я ручку на себя, вверх, подальше от земли, даже обороты двигателя не прибавил, и чуть мы не повисли на деревьях, хорошо, что инструктор сразу сориентировался, взял управление на себя. Но садиться все равно уже было поздно, пошли на второй круг. И опять то же самое, тут я уже заранее сказал инструктору, что не смогу, и он сел сам... Отправили меня на месяц в санаторий, потом снова комиссия — годен. Опять, разумеется, на спарке пошли, но я уже не то что сесть, но и взлететь толком не сумел, тут же мы и вернулись... После этого меня и комиссовали... Понял, к чему я все это рассказал?

— Примерно.

— Ну, так я тебе точно скажу, а не примерно. Если сейчас мы погорим — ой, плохо мне будет, Димка... Ты-то поскулишь малость и снова за что-нибудь возьмешься, а я — не

знаю... Как бы снова, как после той посадки, мне хребет не переломило...

— Зря ты так.

— Зря, конечно, — согласился Ольф, — а что делать... Не думать об этом не могу. Вот как-то собрал я воедино все свои грешки в работе — скверная картина получается. Почему-то все так выходило, что очень уж быстро я лапки кверху подымал. Вспомни хотя бы ту нашу общую работу в университете? А потом — почему один не сумел работать? Да и тут уже сколько раз мне казалось, что все завязли по уши, караул кричать надо... Да ты-то не закричал и кричать не думал. И тогда, с первой работой, на мою панику не поддался и один превосходно продолжал работать...

— Что толку, все равно пришлось бросить.

— Утешить меня хочешь? — Ольф прищурился. — Ты брось это. Я уверен, что, если бы ты тогда не держался до последнего, и теперешней нашей работы не было бы. И вот сейчас: разве ты, в принципе, не допускаешь возможности неудачи? Допускаешь, конечно, но ведь это не пугает тебя. А меня пугает, да так иногда, что в холодный пот кидает.

— Неудачи не будет, Ольф.

— Дай-то бог... А ведь здорово будет, если все получится как надо, а, Димка? — оживился Ольф. — Это ведь будет работенка по крупному счету, а?

— Не знаю. Наше дело — закончить ее, а оценить всегда кому найдется.

— Ишь ты, — совсем развеселился Ольф. — Оценят, конечно, как же без этого... А что Шумилов фактически свернул свою работу — тоже не знаешь?

— Нет, — с удивлением посмотрел на него Дмитрий. — А ты откуда знаешь?

— Встретил Виктора Балашова, долго мы с ним гутарили... Очень уж он интересовался, как у нас дела. По-моему, просто жалеет, что тогда к нам не перешел... А под конец и проговорился, что с самой зимы, как отчет защитили, занимаются всякой мелочью, проверяют старое, а вперед — ни шагу, и похоже, что уважаемый Николай Владимирович просто не знает, куда дальше двигаться... Тебе не кажется, что это капитуляция?

— Ну почему же обязательно капитуляция...

— По-моему, он просто ждет, чем у нас все закончится.

— Возможно. Ну и что?

— Да ничего. Нехорошо, конечно, радоваться беде ближнего, но я, грешным делом, доволен этим. Конец-то закономерный... Что ты все на часы смотришь? Пора Асю встречать?

— Да.

— Ну иди. А что ты заикался насчет того, чтобы завтра отправиться куда-нибудь?

— Не мешало бы.

— Может, шашлычок сотворим?

— Можно.

— Тогда я с утра на базар сбегая, а вино — твоя забота.

— Ладно.

46

Снова, как и полтора часа назад, я расхаживал по платформе и боялся, что Ася не приедет и с этой электричкой. Но она приехала. Ее почти вытолкнули из вагона. Я подхватил сумки, оттащил их в сторону, повернулся к Асе и обнял ее.

— Что случилось?

— Опоздала на электричку. — Она виновато посмотрела на меня. — Всего на полминуты. Так обидно было, что я чуть не расплакалась.

Мне показалось, что она и сейчас может расплакаться, такое несчастное и усталое было у нее лицо. Тушь на ресницах у нее начала расплываться, и я вытер ее глаза своим платком.

— Ну, пойдем.

По лестнице Ася поднималась так медленно, что я взял обе сумки в правую руку (опять

эти сумки!), а левой поддержал ее за плечи и спросил:

— Ты не больна?

— Нет, просто очень устала.

После поездки в Англию работы у Аси стало намного больше. И уже не в первый раз приезжала она такая измученная. Я пытался уговорить ее отказаться от части нагрузок, но Ася только качала головой:

— Нельзя, Дима. Меня ведь для этого и посылали в Англию.

— А так можно? — Я начинал злиться. — Кончится тем, что ты свалишься.

— Не свалюсь.

Настаивать я не мог — я хорошо понимал ее.

Ася небрежно, нога о ногу, сбросила туфли, прошла к креслу и почти упала в него. Я включил газ и стал набирать воду в ванну. Ася сидела, закрыв глаза, и я сказал:

— Не засыпай.

— Не буду, — она чуть приоткрыла глаза и тут же снова закрыла их.

Ася пошла в ванную, а я стал разбирать ее сумки. Там, кроме продуктов, обычных журналов и контрольных, оказался сверток с детской одеждой. Я развернул его и никак не мог понять, для кого это, и за ужином спросил у Аси. Она смутилась и замешкалась с ответом.

— Для ребятишек из пятнадцатой квартиры, — наконец сказала она, опуская глаза.

— Из пятнадцатой квартиры? — переспросил я, пытаюсь вспомнить, кто там живет. — Почему именно для них?

— Ты знаешь, кто там живет?

— Понятия не имею.

У меня было довольно смутное представление о жильцах своего подъезда. Я здоровался с ними при встрече, на том мое общение и ограничивалось.

— Там живет дворничиха с четырьмя детьми, — нехотя стала рассказывать Ася. — Младшему три года, старшему — одиннадцать. Муж — профессиональный алкоголик, по полгода не работает, лечится в больницах или отсиживает, помощи от него — никакой. Ребята все такие боевые растут, в обиду себя никому не дают. Но ходят в таком старье, все чиненое-перечиненное... Вот сегодня я и решила купить им что-нибудь. Не знаю уж, как она примет это...

Мы оба надолго замолчали — и думали, наверное, об одном и том же. О том, чтобы завести ребенка, мы говорили уже не однажды, и каждый раз получалось, что сделать это в ближайшее время никак не удастся. У Аси после этих разговоров всегда портилось настроение, она виновато поглядывала на меня, а мне тоже бывало несладко. Однажды Ася оказала чуть не плача:

— Если ты очень хочешь, давай сейчас...

— Ну что ты, — принялся я торопливо успокаивать ее, — это не к спеху, просто я боюсь, что потом тебе трудно будет рожать...

Я еще долго успокаивал ее и договорился чуть ли не до того, что мне вообще не хочется ребенка. Она только повела плечом и замолчала, а я дал себе слово больше даже не заикаться об этом. От того разговора у нас обоих остался неприятный осадок, словно мы в чем-то обманывали друг друга. Я знал, что дело не только в том, что Асе будет сложно по меньшей мере на год бросить работу. Мучило ее и другое — она все еще думала о том, что мне совсем не так хорошо с ней, как я пытаюсь показать, и не хотела связывать меня. Она никогда прямо не говорила об этом, но ее опасения порой невольно проскальзывали в интонациях, взглядах, а особенно — в письмах из Англии. Я и сам боялся говорить с ней об этом и нередко ловил себя на том, что действительно слишком уж стараюсь показать, как у нас все хорошо, а она мгновенно улавливала малейшие нотки фальши в моем голосе и, в свою очередь, старалась не показывать мне этого. Получался какой-то заколдованный круг — я часто замечал, что говорю с Асей не так, как мне хочется, а выбираю слова, чтобы ненароком не упрекнуть ее в чем-нибудь, а она тут же чувствовала это и, кажется, еще

больше убеждалась в справедливости своих опасений... Однажды я даже подумал: есть что-то неестественное в том, что за четыре года нашей совместной жизни у нас не было даже пустяковой ссоры... А впрочем, какие там четыре года? Вряд ли наберется и один...

И сейчас Ася низко склонилась над тарелкой, пряча от меня лицо, и я обругал себя и подумал, что не надо было мне молчать после рассказа о дворничихе и хотя бы сейчас нужно найти какие-то слова, чтобы успокоить ее. Но я просто не знал, что сказать ей — так, чтобы все получилось естественно. И промолчал до самого конца ужина, а потом сказал:

— Иди ложись, я сам все уберу.

— Хорошо, — сказала она таким подавленным голосом, что я испугался, положил ей руку на затылок, заставил посмотреть на меня и заговорил чересчур уж бодрым тоном:

— Ты что, Асик? Не вешай нос, женка, отдохнешь, отоспишься, а завтра грандиозный шашлык будет, Ольф грозился целого барашка купить...

Ася вздохнула, молча поцеловала меня и вышла.

Наверно, мне надо было сразу пойти вместе с ней. Но я принялся убирать со стола, вымыл посуду, еще несколько минут стоял под душем. И когда стал ложиться, то увидел, что Ася уже спит. На секунду обида кольнула меня, но я тут же сказал себе, что она слишком устала, и осторожно лег рядом.

Ася проспала почти двенадцать часов, ни разу не проснувшись, а я несколько раз вставал ночью, шел на кухню курить, пробовал читать и снова ложился рядом с ней. Ася спала спокойно, дыхания ее почти не было слышно, и я вдруг подумал, что она давно уже не обнимает меня во сне, как бывало раньше. И еще — что никакая усталость не помешала бы мне дождаться ее прихода...

Утром я сходил в магазин за вином, поговорил с Ольфом, а Ася все еще спала. Она проснулась только в одиннадцатом часу, улыбнулась мне и спросила:

— Который час?

— Десять.

— Десять? — с недоумением переспросила Ася. — Так много? Сколько же я спала?

— Почти полсутки... Ты приняла снотворное? — необдуманно спросил я.

— Да нет, что ты... — Она отвела взгляд. — Сама не знаю, с чего так, вроде бы и вчера спала нормально...

Я сел рядом с ней на постель, она взяла мою руку и тихо упрекнула меня:

— Что же ты не разбудил меня ночью?

— Ты так крепко спала...

— Эх, ты... — огорченно вздохнула Ася. — Что делать будем?

— Ты забыла, что я вчера говорил тебе?

— А, шашлык, — без особого энтузиазма сказала Ася.

— Тебе не хочется?

— Нет, почему... Уже пора идти?

— Да.

— Сейчас встаю. Дай мне халат.

Я дал ей халат и смотрел, как она надевает его, сидя в постели.

— Что ты так смотришь? — улыбнулась Ася. — Все удивляешься, почему я так много спала? Очень уж я устала вчера...

— Если бы только вчера.

— Ничего, скоро отпуск.

— До отпуска еще два месяца... Слушай, а ведь на Первое мая у нас четыре свободных дня выпадает... Давай слетаем на юг?

— Давай. А вы уже все закончили? — спросила Ася и вдруг покраснела. Я понял почему — она до сих пор не спросила, как наша работа, хотя я и говорил ей, что мы должны вот-вот закончить.

Шашлык удался на славу. День был довольно прохладный, но ясный. Ася оживилась, иногда чему-то беспричинно улыбалась. И Светлана, с утра глядевшая пасмурно, вскоре

развеселилась. Ольф был какой-то умиротворенный и с такой нежностью смотрел на Игорька и Светлану, что я не удержался от шутки:

— С вас хоть икону пиши, прямо святое семейство.

Ольф только хмыкнул, а когда Светлана и Ася куда-то ушли, он, вспомнив мои слова, серьезно сказал:

— Святое не святое, но семейство у меня... это, брат, такая штука, без чего я своей жизни просто не представляю. — И, глядя на Игорька, добавил:

— Иногда и самому не верится, что вот — сын мой, какое-то восьмое чудо света, возникшее из небытия. Никогда не думал, что быть отцом так приятно.

— Ты только при Асе об этом не говори, — невесело сказал я.

Ольф посмотрел на меня и смешался:

— Ну да, конечно...

Вечером Ася виновато сказала мне:

— Знаешь, мне придется просмотреть несколько курсовых работ.

— Сейчас?

— Боюсь, что завтра все не успею.

— Ну, работай, а я пока журналы посмотрю.

Мне совсем не хотелось смотреть эти журналы, я по горло был сыт работой, но надо же было чем-то заняться, пока Ася будет читать курсовые. Сколько же этих «несколько»? И долго ли она будет заниматься ими?

Ася забралась с ногами на диван и углубилась в работу, а я иногда поверх журнала смотрел на ее сосредоточенное лицо. Ася то ли не замечала моих взглядов, то ли не придавала им значения. Потом вдруг внимательно посмотрела на меня, аккуратно завязала папку и сказала, опуская глаза:

— Спать хочется... Будем ложиться?

— Давай будем ложиться.

Ася постелила и ушла на кухню. Я разделся, лег и смотрел на светлое вечернее небо за окном, — вероятно, было полнолуние. Наконец пришла Ася, плотно задернула шторы и только потом начала раздеваться. Это вошло у нее в привычку с первых дней нашей женитьбы. Но если раньше ее стыдливость порой даже умиляла меня, то теперь все чаще вызывала раздражение. И сейчас, прислушиваясь к ее осторожным невидимым движениям, я подумал, что за четыре года замужества можно было бы и расстаться с подобными привычками, уместными разве что для двадцатилетних молодоженов.

47

В понедельник мы вместе уехали в Москву, а в среду вечером вылетели в Симферополь. Как только самолет поднялся, Ася заснула. Я разбудил ее, когда мы уже приземлились. Ася отсутствующим взглядом посмотрела на меня и, когда я сказал, что уже Симферополь, молча кивнула. Мы вышли в пахучую черную густоту южной ночи, неживой белый свет фонарей и запах самолетов только подчеркивали непривычность этой густо пахнущей темноты, — и я подумал, что четыре крымских дня, так неожиданно выпавшие нам, должны быть очень хорошими.

Но они не были слишком хорошими. В Ялте нам везло с гостиницей, с погодой, с одиночеством — отдыхающих было еще немного, и нам всегда удавалось найти уединенное место, но все-таки чего-то не хватало. Может быть, того бездумного спокойствия и отрешенности, без чего вряд ли можно чувствовать себя счастливым. А может быть, мы слишком много ждали от этих дней... (Мы? Или только я?) И все больше тревожило меня состояние Аси. Только здесь, в Ялте, я по-настоящему понял, как она устала. Она целыми часами неподвижно лежала на камнях и, если я не спрашивал ее о чем-нибудь, могла подолгу молчать, отгородившись от всего большими черными овалами очков, и, казалось, совсем не думала о том, что рядом с ней кто-то есть. Ася очень любила плавать и плавала хорошо,

гораздо лучше меня, но сейчас она словно по обязанности влезала в воду, проплывала два-три десятка метров и выбиралась на берег. И вечером ей никуда не хотелось — идти, и мы рано ложились спать. На второй день я сказал ей:

— Ася, так нельзя.

— Как «так»? — с заметным беспокойством спросила она.

— Вот так... Ты очень устаешь. Нельзя столько работать.

— А, вон ты о чем, — сказала она таким тоном, что я невольно спросил:

— А о чем же еще? По-моему, это сейчас главное. У тебя же самая настоящая астения. Хотел бы я знать, чем думает твое начальство, взваливая на одного человека столько работы.

— Никто на меня не взваливает. Просто не очень-то много людей, прошедших такую подготовку, и естественно, что они предлагают мне такую работу, которую я могу сделать лучше, чем другие. А я не считаю возможным отказываться...

— Даже если этой работы хватило бы на троих?

— Да откуда там на троих, — недовольно сказала Ася. — Просто я такая дохлая сейчас и не успеваю сделать все за неделю, вот и приходится прихватывать выходные. А потом учти, что суббота у нас рабочий день, это уж я сама так расписание сделала...

Я не сразу сообразил, почему так неприятно прозвучали ее слова, и наконец догадался — Ася просто оправдывается, что и в те два дня, что мы бываем вместе, ей приходится работать. И она даже не заметила этого. Неужели моя забота о ее здоровье — для нее только слова? Или я стал таким мнительным?

Разговор прекратился как-то сам собой, но неприятный осадок от него оставался еще долго. И все чаще мне казалось, что дело не только в усталости Аси. Что-то явно разлаживалось в наших отношениях, хотя внешне все выглядело благополучно. Пожалуй, даже слишком благополучно.

В последнюю ночь перед отлетом мне не спалось. На рассвете я встал, и решил сходить к морю. Одевался я очень тихо, но Ася все-таки проснулась и спросила:

— Ты что так рано?

— Не спится, хочу немного пройтись и искупаться.

Я вдруг вспомнил, как в первое наше лето мы нередко ходили купаться вдвоем рано утром или даже ночью, и спросил:

— А ты не хочешь?..

— Нет, — чуть помедлив, сказала Ася. (Может быть, она тоже вспомнила эти ранние купанья?) И я подумал, что совсем не хочу, чтобы она шла со мной. Мне хотелось побыть одному. Было в этом что-то странное — ведь завтра начинается обычная рабочая неделя, мы расстанемся на пять дней — и вдруг мне захотелось быть одному... И Ася поняла это и, кажется, приняла как должное...

Купаться я не стал — вода показалась холодной. Я долго шел по скрипучей гальке, потом сел на камень и бездумно смотрел на море. Сидел так до тех пор, пока не стало припекать солнце, и я, взглянув на часы, увидел, что прошло уже три часа, как я ушел из дома. «Из дома» я подумал по привычке и усмехнулся: разве можно назвать домом гостиничный номер?.. Ну, а разве наша квартира в Долинске — это дом? Или комната Аси в общежитии института — это дом? Дом — это постоянство, надежность, уверенность... В общем, дом — это дом.

И я подумал, что нет ничего странного ни в моей мнительности, ни в опасениях Аси, ни в той отчужденности и неловкости, которые заставляют ее опускать глаза и чувствовать себя виноватой, когда речь заходит, казалось бы, о самых обыкновенных вещах. Потому что дом — это дом. А у нас дома не было. И можно стараться не замечать этого и считать, что все нормально и естественно, даже то, что пять дней в неделю каждый из нас живет своей, отдельной от другого жизнью, но рано или поздно дом потребует своего, потому что он нужен каждому. Просто так уж устроен человек. Действительно, как просто...

Я вдруг остановился, увидев девочку. Было ей, наверно, лет пять, она, голенькая, сидела у воды и увлеченно возилась с камешками. Ее мать, очень молодая, читала книгу.

Самая обыкновенная пляжная картина. Вот только девочка была необыкновенной, точь-в-точь похожей на ту, что уже не раз снилась мне по ночам, Я никому не рассказывал об этих снах и, просыпаясь, тут же забывал о них, но девочка снилась снова, всегда одна и та же — тонкая, длинноногая, с большими синими глазами и бантом в светлых рассыпающихся волосах. И вот сейчас она играла в двадцати шагах от меня, у нее были синие — именно синие, а не голубые — глаза, густые светлые волосы, и только банта в них не было. Но это была она. С той, конечно, разницей, что она не была моей дочерью.

Девочка заметила меня, застеснялась и побежала к матери, смешно выбрасывая длинные ножки. Она прижалась к матери, и та привычно обняла ее левой рукой, посмотрела на меня и улыбнулась понимающей улыбкой взрослого любящего человека, такую улыбку я уже не раз замечал у молодых матерей, наблюдающих за играми своих детей. И это движение, которым она прижала к себе девочку, тоже было хорошо знакомо мне — именно так я обнимал во сне свою дочь, ее шея на сгибе локтя, маленькая нежная ручонка в моей руке и прикосновение щеки к плечу. Странно — точно так же я не раз обнимал и Асю, но всегда хорошо чувствовал, что с дочерью было бы как-то иначе. Не знаю как, но иначе.

Мать что-то тихо сказала девочке, слов я не расслышал, да они и не нужны были, оказалось достаточно какой-то одной микросекундной нотки, чтобы выразить сложнейшую гамму чувств — ласки, ободрения, спокойствия, — и девочка весело засмеялась.

Я подумал, что лет пять-шесть назад мне и в голову не приходило, что молодые матери могут улыбаться и говорить как-то особенно, что дом — это нечто большее, чем крыша над головой и место, где можно спокойно работать. Но двадцатипятилетним парням не снятся нерожденные сыновья и дочери. А мне шел тридцать первый год, и я с горечью подумал, что, когда моей дочери будет семнадцать лет, мне стукнет по меньшей мере пятьдесят. Вот так, ни меньше ни больше. А впрочем, почему же не больше? Не меньше — это уж точно, а вот больше — наверняка.

48

Когда я проснулся, Ася уже собралась и торопливо красила губы. Завинчивая тюбик с помадой, она оглянулась на меня и сказала:

— Попьешь чаю, а завтракать сходи куда-нибудь, все мои запасы вышли.

— Ты когда придешь?

— Часов в девять, не раньше, придется посидеть в библиотеке. А когда тебе надо быть в институте?

— Завтра, — чуть помедлил я с ответом.

Я действительно обещал быть во вторник, но никаких особенно срочных дел у меня не было и, помнится, я говорил об этом Асе, и сейчас мне хотелось, чтобы она спросила, не смогу ли я остаться. Но спросила она другое:

— Когда поедешь?

— Наверно, лучше сегодня.

— Значит, до пятницы?

— Да.

Ася села на кровать, нагнулась и легонько коснулась губами моей щеки.

— Ну, не скучай, милый, я побежала. Будешь уходить — закрой форточку.

И она ушла.

Я провалялся в постели почти до десяти, оделся, стал прикидывать, какой электричкой лучше поехать в Долинск. А ехать не хотелось. Я позавтракал, сходил в кино, потом долго сидел в пивбаре. Когда вышел на улицу, там было по-осеннему пасмурно и холодно. Я решил было остаться сегодня здесь, а завтра уехать с первой электричкой, но шел всего пятый час, и я не представлял, что делать до прихода Аси.

И я поехал в Долинск. И там был холодный осенний дождь. Со станции я быстро пошел домой, думая, как скоротать оставшиеся до сна часы, — не хотелось ни читать, ни работать.

И когда увидел в своей квартире свет, обрадовался: значит, там Ольф или Жанна и не придется быть одному.

Еще на лестничной площадке я услышал их голоса, они говорили громко, перебивая друг друга, и, когда я вставил ключ в замок, оба, как по команде, смолкли. Ольф вышел мне навстречу, как-то смущенно сказал:

— А, курортник явился... Как съездили?

— Нормально. Вы чего шумите?

— Да так, философствуем, за жизнь глаголахам...

Видно, философствовали они давно — накурено было до синевы. Я открыл дверь на балкон и кинул Жанне куртку:

— Укройся... Так о чем же вы философствовали?

Оба промолчали, словно не слышали ничего.

— Поругались, что ли?

— Нет, — сказал Ольф.

Жанна сердито взглянула на него, и я мирно сказал:

— Не сверкай очами, женщина. Лучше скажи, из-за чего вы поцапались, авось и я свою лепту в вашу распрю внесу.

— А вот из-за чего.

Жанна дала мне раскрытый журнал и ткнула пальцем в подчеркнутое место.

— Читай.

Я стал читать: «Ученые пишут в среднем по три с половиной статьи за всю свою жизнь...»

— Ну и что? — Я пожал плечами. — Эка невидаль.

— А ты дальше читай, там еще много подчеркнуто.

Я полистал страницы, прочел некоторые отмеченные фразы:

«Если бы удалось идеально „хорошо поставить“ систему образования традиционного типа, талант вообще не мог бы сохраниться...»

«Способность к анализу и к построению новых связей в большинстве случаев падает также и с возрастом.

Исследования чешских ученых И. Фолта и Л. Нового по творчеству математиков показывают, что пик творчества математика проходит в возрасте двадцати — двадцати пяти лет. К тридцати годам активность снижается на две трети, а к пятидесяти — падает до десяти процентов».

— Ну? — насмешливо подняла брови Жанна. — Впечатляет?

— Не очень.

— А вот его — очень. — Она кивнула на Ольфа. — И он пытается убедить меня, что теперь у всех нас одна перспектива — медленное и неотвратимое сползание вниз. Мол, свои три с половиной статьи мы уже написали, за тридцать перешагнули, и ничего лучше того, что мы уже сделали, нам не добиться.

— Да не так, Жанка, — поморщился Ольф. — Не передергивай.

— Все так, если отбросить твою словесность. На это я ему и говорю, что, если каждый день твердить себе, что ты дурак, действительно дураком станешь. Вот он и обиделся.

Я бросил журнал на столик и сказал:

— Оба вы порядочные... пентюхи. Один родился с этим действительно дурацким пунктиком об интеллектуальном несовершенстве рода человеческого, а ты все воспринимаешь всерьез. Ну, вообрази, что у него бородавка на носу, и смотри на это как на должное. Ей-богу, нашли из-за чего ругаться...

Я намеренно говорил так грубо, обычно на Ольфа это действовало лучше всего, но сейчас, кажется, переборщил: Ольф, неприятно усмехнувшись, поднялся и небрежно сказал:

— Ну ладно, я пошел, а то вы меня вдвоем с потрохами слопаете... Пока.

Видно, ему здорово хотелось хлопнуть дверью, потому что закрывал ее он так осторожно, что замок щелкнул чуть слышно.

— Вы что, действительно только из-за этого и поругались? — спросил я у Жанны.

— Не только.

— А из-за чего?

— Да так... всякое, — уклончиво ответила она.

— Не хочешь говорить — не надо, но, откровенно говоря, мне иногда очень не нравятся ваши стычки. По-моему, у вас нет никаких оснований так относиться друг к другу.

— Как «так»? Выдумываешь ты все. Отношения у нас нормальные. Что уж нам, и поспорить нельзя?

— Можно, конечно, но... более дружеским тоном, что ли...

— Можно подумать, что вы всегда спорите только по-джентльменски.

— Мы — другое дело, — необдуманно сказал я.

— Это уж точно. И мы с тобой — тоже другое дело.

Я промолчал, открыл холодильник — там сиротливо лежали кусок колбасы и половинка сморщенного лимона.

— Ты ужинала?

— Нет.

— Может, в ресторан сходим?

— Переодеваться не хочется. У меня там какие-то антрекоты есть.

— Тащи их сюда.

Жанна сходила за антрекотами и поставила их жарить. Настроение у нее было подавленное, и я спросил:

— Ты чем-то расстроена?

— Да особенно ничем. Так, что-то мысли всякие... не слишком веселые лезут. Ждать-то, оказывается, довольно неприятно. И Ольф ведь из-за этого бесится. Да и ты, я смотрю, настроен далеко не радужно.

— Я не из-за этого.

— А из-за чего?

— Да так...

Жанна улыбнулась:

— Десять минут назад я ответила тебе точно так же, а ты остался недоволен. Теперь что — моя очередь упрекать тебя в неоткровенности?

— А ведь верно, — пришлось признаться мне. — А что, в сущности, мешает нам высказаться до конца?

— А ты как думаешь?

— Не знаю.

— Так уж совсем и не знаешь?

Я невольно улыбнулся:

— Хитрая ты женщина, Жанка...

— Это почему же? — серьезно спросила она. — И пожалуйста, не отделывайся шуточками. Я не хитрая, о чем ты и сам отлично знаешь. И меня в самом деле беспокоит, что мы часто не договариваем до конца. А чтобы сдвинуться с мертвой точки, скажу, почему я иногда так... ну, скажем, не очень приветливо отношусь к Ольфу.

— Почему?

— Да все очень просто — завидую ему, а точнее — вашим отношениям.

— Завидуешь? — удивился я.

— Да, самая элементарная бабская зависть. Потому что вы можете позволить себе все, даже наорать друг на друга, и все-таки на ваших отношениях это в конце концов никак не скажется. Совсем никак, — убежденно повела она головой. — А вот со мной ты не можешь позволить себе ничего, и вообще — наши с тобой отношения меня далеко не во всем устраивают. Я понимаю, тебя настораживают некоторые эпизоды, вроде моего прошлогоднего предложения вместе поехать в отпуск...

— Или того вечера, когда я просил тебя остаться.

- Ты был пьян.
- А что это меняет?
- Ну, кое-что все-таки меняет.

— Нет. Потому что и потом мне не раз хотелось, чтобы ты осталась. Особенно когда Ася была в Англии.

Наверно, мне не нужно было этого говорить. Жанна пристально посмотрела на меня, словно хотела спросить о чем-то и не решалась. Я продолжал:

- А впрочем, об этом-то уж точно не стоит говорить. Незачем все усложнять.

— Вот как... — неопределенно отозвалась Жанна, отводя взгляд. — Ну, не надо так не надо. Давай ужинать.

Глядя на нее, я вдруг почувствовал то, что принято называть угрызениями совести. Очень приблизительное выражение, но как сказать иначе, я не знаю. Ведь я относился к Жанне гораздо лучше, чем ей казалось, но я боялся показывать это и ей и другим. И если уж говорить честно, меня настораживали вовсе не те эпизоды, о которых говорила она. Наоборот, они радовали меня. И сегодняшнее ее признание в том, что ее не во всем устраивают наши отношения, — тоже... Потому что я и сам хотел большей близости. Хотел — и боялся этого... Понимает ли это Жанна? Иногда я был уверен — да, понимает. А на меня самого порой находили какие-то периоды полнейшего непонимания, когда я не мог воспринимать ничего, кроме буквального смысла ее слов. И так было не только с ней, но и с Асей. Вот и сегодня я никак не мог понять, что хочется Асе: чтобы я остался или уехал? Или ей безразлично? Почему она не спросила, не смогу ли я остаться?

- Ешь, а то остынет, — сказала Жанна.

Я молча принялся за еду и словно со стороны увидел нас обоих: мужчина и женщина за кухонным столом, почти совсем как муж и жена, и молчание могло означать короткую размолвку, а как это покажется на взгляд постороннего? Или на взгляд Аси? Что она думает о моих отношениях с Жанной? Она никогда не выказывала ни малейших признаков ревности — почему? Полностью доверяет мне? Она ведь знает, что мы встречаемся ежедневно и часто по вечерам сидим вдвоем, неужели это ничуть не беспокоит ее? Если действительно так, то почему? А что бы чувствовал я на ее месте?

Мне вдруг стало совсем скверно от мысли о своей беспомощности, от своего неумения — или неспособности? — разбираться в людях, и в первую очередь в самом себе... Откуда это непонимание? Вот сидит Жанна, о чем она думает? Может быть, ее обидели мои слова или она ждет, когда я что-то скажу ей, а что я должен сказать? Или ничего этого нет — ни обиды, ни ожидания, просто сидят двое — мужчина и женщина, хорошие товарищи, коллеги по работе, — и молча ужинают. Почему молча?

— Знаешь, — сказала вдруг Жанна, — иногда мне очень хочется, чтобы ты расспросил меня о моем прошлом. Но ты так ни разу и не заговорил об этом. Почему? Ведь не потому, что это тебе неинтересно?

- Нет, конечно, — сказал я.

Конечно, нет. И все-таки я действительно ни разу не спрашивал ее о том, как она жила раньше, до нашей встречи, а сама она никогда не заговаривала об этом, и все мои сведения о ее прошлом ограничивались анкетными данными: родилась в Ленинграде, сестра в Киеве, замужем не была... А почему, собственно, не спрашивал? Наверно, просто потому, что когда-то взял на вооружение одну из «бесспорных» аксиом — надо быть тактичным, не вмешиваться в чужие дела; если человек сам не говорит о своем прошлом, значит, ему не хочется вспоминать о нем... Но ведь и Жанна может рассуждать точно так же: если ее не спрашивают, незачем пускаться в откровения... И вот через три года постоянного общения выясняется, что обоим нам хочется одного и того же: поговорить друг о друге. Жанне, наверно, тоже хотелось бы узнать обо мне больше того, что ей известно, и деликатность-то оказывается ложная. Выходит, что Жанна права — настоящей, дружеской близости между нами нет? А возможна ли она? А что же может помешать этому, если оба мы хотим одного и того же? Ее красота?

Я попытался посмотреть на Жанну как бы со стороны, глазами тех, кто видит ее несколько минут в день, вспомнил, как сам смотрел на нее при первой встрече, и необычайное совершенство ее красоты вновь поразило меня. А Жанна вдруг забеспокоилась под моим взглядом, спросила:

— Что ты?

— Да так... Очень уж красивая ты. Вроде бы и привык к этому, а иногда посмотрю — и как открытие твоя красота для меня.

Жанна помрачнела. Молча убрала тарелку, налила чай и, глядя куда-то мимо меня, нехотя заговорила:

— Когда мне было шестнадцать лет, мать повезла меня к бабушке в деревню. Бабушка никогда не видела меня, была она уже совсем старая, глухая, горбатая, настоящая баба-яга с клюкой. Весь вечер она так внимательно разглядывала меня, что мне не по себе стало. А она все смотрит — и молчит. И наконец, словно про себя, ни к кому не обращаясь, говорит: «Господи, и за что такое наказание человеку выпало. Хлебнешь горя с такой красотой». Я, конечно, ее слова за шутку приняла, мать рассердилась, бабка замолчала и уползла в угол. Мудрая была старуха — как в воду глядела... Часто я ее слова вспоминаю, действительно, наказание какое-то. Даже горьковскую Алину Телепневу вспоминаю, к себе ее судьбу примеряю — и ведь кое-что сходится...

— Да ты что? — испугался я, глядя на ее лицо.

— Что? — не поняла Жанна.

— Говоришь как-то странно...

— Что тут странного? Ты думаешь, красота эта — в радость мне? Была в радость, пока маленькая и глупенькая была, а как поумнела... — Жанна посмотрела на меня и с досадой сказала: — А впрочем, все равно не поймешь, для этого надо с таким клеймом, вроде моей красоты, родиться... Что ты так смотришь? Думаешь, рисуюсь? Черта лысого! — грубо сказала Жанна и, совсем расстроившись, попросила: — Хоть ты-то мне о красоте моей не говори, неприятно мне это...

Она встала и, зябко поводя плечами, тихо сказала:

— Пойду я. Что-то сегодня расклеилась... А словам моим не удивляйся, если подумать как следует, так и быть должно.

И она ушла. Я принялся убирать со стола, а странные слова Жанны не выходили из головы. Красота — клеймо, наказание? Чепуха какая-то... Человечество тысячи лет только и делало, что поклонялось красоте, на все лады воспевало ее, и вдруг такие слова... Только ли слова? Я вспомнил лицо Жанны, когда она говорила это, она вовсе не шутила. Но ведь и правдой ее слова быть как будто не могут... А почему, собственно, не могут? Сколько тысяч взглядов бросалось на Жанну, сколько было таких, как Шумилов и Мелентьев, готовых на все ради того, чтобы добиться ее благосклонности? А зачем ей это? Жанна слишком умна, чтобы не понимать истинную цену этим тысячам взглядов... Жить под таким постоянным надзором, вероятно, не слишком-то уютно... Это имела в виду Жанна? Или — что-то еще, чего я не понимаю?

Я почувствовал, что опять безнадежно запутываюсь в своих шатких рассуждениях. Видно, такой уж сегодня выдался день, что мне постоянно приходится расписываться в своей несостоятельности.

И день этот никак не хотел заканчиваться. Не было еще и девяти часов, и я не мог найти себе места. Хотелось видеть Ольфа, но я помнил, как он обиделся сегодня, и не шел к нему. А когда он появился ко мне, рот у меня сам собой расплылся в широчайшей улыбке.

— Ну что, Матильда, сгоняем в блиц?

— Давай.

Ольф играл гораздо лучше меня и, как правило, давал мне минуту форы. На таких

условиях я обычно с трудом выигрывал у него одну партию из трех. У Ольфа была одна странная особенность — чем хуже у него было настроение, тем сильнее он играл. Сегодня, если судить по счету — через полчаса он был уже шесть — ноль в его пользу, — Ольф был настроен, как никогда, скверно. Выиграв восьмую партию, он молча добавил мне еще минуту, но и это ничего не изменило — я проиграл еще четыре партии и, получив очередной мат, остановил часы и смешал фигуры.

— Озверел ты, что ли? Опять со Светкой поругался?

— Во-первых, не поругался, а поссорился, — невозмутимо сказал Ольф, заново расставляя фигуры. — Ругаются мужики, алкоголики и домоуправы, а интеллигенты, тем более кандидаты наук, только ссорятся. О докторях я уже не говорю, те вообще выясняют отношения почтительным шепотом. Особенно Шумилов. А во-вторых, — почему «опять»? Тебе кажется, что мы слишком часто ссоримся?

— По-моему, не так уж и редко, если судить по вашим физиономиям.

— Можно подумать, что вы с Асей совсем не ссоритесь.

— В том-то и дело, что нет.

— Ты серьезно?

— Да.

— Почему?

— Что «почему»?

— Почему не ссоритесь?

— Не знаю.

— Скверно... Какой счет?

— Двенадцать — ноль.

— Давай еще сгоняем, авось какую-нибудь хилую половинку и заработаешь.

— Да иди ты... А что скверно — что не знаю или что не ссоримся?

— И то и другое... Давай-давай, садись, ставь.

— Ладно, только последнюю... Ты что, всерьез думаешь, что муж и жена должны ссориться?

— Обязаны. — Ольф со стуком перевел часы. — Не ссорятся только люди идеальные или ненормальные. Впрочем, это почти одно и то же.

— Есть еще третий вариант.

— Какой?

— Когда муж и жена равнодушны друг к другу. Не совсем, конечно, но более или менее.

— У вас не тот вариант.

— Надеюсь.

— У тебя конь висит... Что значит «надеюсь»?.. — Ольф внимательно посмотрел на меня и спросил: — Кстати, ты уже наметил, кого посылать в Новосибирск?

— Еще нет.

В Новосибирске была группа, работавшая над сравнительно близкой нам темой, и мы поддерживали с ней постоянную связь — все время приходилось следить, чтобы не залезть на чужую территорию. Однажды я уже ненадолго летал в Новосибирск. А после эксперимента, чем бы он ни закончился, предстояло основательно увязать все результаты. Я уже решил, что сначала поедет кто-то из ребят, скорее всего Савин или Воронов, а потом, если нужно будет, полечу сам. И вот Ольф сказал мне:

— Знаешь что, давай-ка я поеду туда.

— Но ведь там работы месяца на два.

— Вот и хорошо.

— А как на это Светлана посмотрит?

— Отрицательно, — спокойно сказал Ольф.

— Вы же собирались вместе поехать в отпуск.

— Поедем позже.

— Зачем тебе это нужно?

— Значит, нужно.

— Что, так плохо у вас?

Ольф закурил и, разглядывая меня так, словно я был каким-то недоразвитым эмбрионом, спросил:

— Слушай, Матильда, уж не решил ли ты, что мне крупно не повезло в семейной жизни? Только честно.

— Иногда мне кажется, что да.

— Так вот пусть тебе не кажется. И уж если говорить прямо, иногда мне кажется, — с нажимом сказал Ольф, — что у вас с Асей куда менее благополучно, чем у нас, несмотря на всю вашу внешнюю идиллию и наши ссоры.

Его слова неожиданно сильно задели меня. Ольф, видимо, заметил это и примирительно сказал:

— Извини. Если тебе неприятно — не будем говорить об этом.

— Ну почему же, — не слишком уверенно сказал я. — Просто не понимаю, с чего это пришло тебе в голову.

— Ничего конкретного, если не считать, что я довольно хорошо знаю тебя. И вижу кое-что, чего другие не видят.

— Что именно?

Ольф помолчал и уклончиво сказал:

— Об этом потом, сначала я объясню, почему мне нужно уехать. Вовсе не потому, что у нас так плохо складываются отношения, как ты думаешь. Просто иногда полезно ненадолго разъехаться, а то слишком уж... привыкаешь ко всему. Но из этого вовсе не следует, что мы надоели... или разлюбили друг друга, — неловко сказал Ольф. — Хотя сейчас понятие «любовь», естественно, выглядит несколько иначе, чем в первый год нашей жизни.

— Естественно?

— Вот именно. Мы почему-то ни разу толком не говорили об этом, и зря, наверно...

Ольф так внимательно смотрел на меня, что я понял: к этому разговору он готовился давно и беспокоят его действительно не свои семейные дела, а именно мои.

— Значит, ты считаешь, что как раз у тебя все нормально, а у меня нет?

— Не совсем так... Но я знаю, когда и что у нас не ладится и во что это может вылиться... И что надо делать. А ты, похоже, не знаешь.

— Вот как... И ты решил поучить меня уму-разуму...

— Если тебе не хочется говорить об этом — давай не будем.

Мне действительно не хотелось заводить этот разговор, но интонация Ольфа насторожила меня. Кажется, он и в самом деле считал, что мои дела неважны. Открытие не слишком приятное...

— Ну что ж, — не сразу сказал я, — давай поговорим... Почему ты думаешь, что у нас с Асей... не все ладно?

— Я не знаю, Димыч. Я уже говорил, что никаких конкретных доказательств у меня нет — внешне ваши отношения выглядят идеально. Но даже это меня настораживает. А главное — у меня часто бывает ощущение, что ты... не очень-то счастлив. И что дело здесь именно в ваших с Асей отношениях. Ваша идеальная, архимодерновая семья, с полным доверием друг к другу, без всяких намеков на ревность, с почти абсолютной самостоятельностью каждого из вас — это вовсе не семья. У вас, мне кажется, нет того самого главного, что должно связывать любящих друг друга людей...

— Что ты имеешь в виду? Детей?

— Не только, хотя это, я думаю, главное.

— Значит, дети — это и есть то самое главное, что связывает все семьи?

— Я этого не сказал. Но, по-видимому, без детей семья теряет половину смысла. Я думаю, рано или поздно семья без детей... — Ольф замаялся, подыскивая слово, и твердо

закончил: — превращается просто в сожительство.

— Даже так...

— Я не знаю, как объяснить, Димыч. Я сам понял это только после рождения Игорька. И теперь я знаю, что какие бы неурядицы у нас ни случились, но главного, что связывает нас, и связывает очень прочно, я не сомневаюсь в этом, — они не затронут. И Светлана это тоже хорошо чувствует.

Я слушал Ольфа — лицо у него было очень серьезное, и то отвратительное чувство беспомощности, которое сегодня уже не раз приходило ко мне, снова овладело мной. И я даже не успел удивиться, что так ошибался в отношении Ольфа и Светланы, потому что тут же возник неприятный вопрос: в чем я еще ошибаюсь? На несколько секунд я совсем перестал слышать Ольфа, и вдруг словно издалека донесся его голос: — ...и вот что меня беспокоит — мне кажется, что ни ты, ни Ася не то что не понимаете, что вам надо менять свою жизнь, а... не видите необходимости в каких-то изменениях. Вы словно в каком-то промежуточном состоянии...

Я прямо-таки устался на Ольфа, удивленный его проницательностью. «В промежуточном состоянии» — точнее вряд ли скажешь.

— Может быть, я и ошибаюсь, — Ольф смешался под моим взглядом, — или слишком упрощаю, но иначе я никак не могу объяснить, почему вы так долго не можете устроить свою жизнь.

А действительно, чем это еще можно объяснить?

Лицо Ольфа вдруг стало расплываться передо мной, голос зазвучал невнятно, а фигура его сделалась большой и бесформенной. Я испугался этого непонятного помрачения, резко дернулся в кресле и увидел, как быстро и бесшумно поднялась эта большая фигура, и рука Ольфа крепко ухватила меня за плечо.

— Да что с тобой?

Громкий, встревоженный голос Ольфа неприятно ударил в уши, я чувствовал, как все мое лицо безудержно кривится в какой-то отвратительной гримасе, и взялся за него руками, сжал ладонями виски, ломившиеся от большой, во всю голову, тяжелой боли.

— А ну-ка давай в постель, — тихо сказал Ольф и, обняв меня за плечи, легко поднял из кресла и отвел на диван. Он принес из спальни подушку, укрыл меня одеялом и спросил: — Где у тебя снотворное?

Я молча показал ему на столик, он нашел таблетки и принес воды. Я выпил две таблетки и отвернулся к стене. Ольф спросил:

— Может, позвать Жанну?

«Почему Жанну?» — подумал я и сказал:

— Нет.

Через восемь лет после бабкиного предсказания о том, что хлебнет она горя с такой красотой, приснилась Жанне пустыня — белая, горячая, жутко проваливающаяся под ее слабыми ногами. Жанна шла по ней в какую-то невидимую бесконечность, по колено увязая в песке, и его жесткие струйки больно царапали влажную кожу, стекая при каждом ее шаге на землю, торопясь соединиться с ней. Куда и зачем шла она, Жанна не знала, но что-то подсказывало ей, что надо идти, нельзя остановиться даже на минуту, иначе песчаное море тут же поглотит ее. И вдруг заметила она, что идет совсем голая, и краска стыда опалила ее, и Жанна сразу остановилась, плотно сдвинула ноги и согнулась, закрывая руками грудь. И стала медленно проваливаться в вязкую горячую глубь земли. Она беспомощно огляделась и увидела, что никого нет кругом и не от кого скрывать свою наготу, — только огромное солнечное око равнодушно смотрело на нее с раскаленного белого неба. И она выпрямилась, торопливо выдернула из песка ноги и снова пошла все быстрее и быстрее. И снова стало ей страшно — уже очень долго шла она, а все никого не было впереди, и уже не думала она о

своей нагоде, лишь бы встретить кого-нибудь, быть вместе с людьми, они оденут, успокоят ее, избавят от страха и одиночества.

Чем кончился сон, она потом никак не могла вспомнить. Когда проснулась, матово белела за окнами ленинградская ночь, тонко звенела тишина пустой квартиры — родители уехали в отпуск, и первая радость пробуждения от кошмарного сна сменилась страхом, почти таким же сильным, как только что пережитый во сне. Страшили ее серые невесомые тени, плотно приросшие к мебели, непонятные тихие шорохи в трубах отопления, короткий вскрик гудка за стенами дома, пугала сумеречная, осязаемая плоть квартиры, ее тишина и пустота.

Путаясь в скомканных простынях, Жанна торопливо вскочила с постели, подбежала к выключателю и, радуясь его знакомому сухому стуку, облегченно зажмурилась от брызнувшего в глаза света. Потом села на постель, почти весело оглядела уютную комнату, беззлобно ругнула белую ночь — забыла задернуть штору, вот и приснилась всякая чертовщина... Но прошла спокойная минута, и прежняя тревога овладела ею. И оттого, что такого прежде не случалось с ней и, главное, совершенно неясны были причины внезапно возникшей тревоги, — это случившееся представлялось ей все более зловещим, имевшим какой-то темный, непонятный ей смысл. И, догадываясь о том, что самой ей не справиться с этой тревогой, надо идти куда-то, к какому-то близкому человеку, она оделась и по темной страшной лестнице выбежала на улицу, быстро пошла в пустоту ночного города. Шла она к человеку, которого, казалось ей, любила как никого в жизни, чьей женой готовилась стать.

Она пришла к нему в третьем часу, увидела, как в радостном изумлении округлились его глаза, — и Жанна, прижавшись лицом к его широкой надежной груди, заплакала тихими радостными слезами. Он усадил ее в кресло, кинулся ставить чай и потом почти не отходил от нее, ласково успокаивал. И Жанне казалось, что он все понял — и ее тревогу (а может быть, и ее причину?), и то, почему она среди ночи пришла к нему, — и хорошо ей стало под защитой этого сильного человека, приятно было думать о том, что она скоро выйдет за него замуж. Последней близости между ними не было, и она не раз с благодарностью отмечала его деликатное поведение.

И вдруг заметила Жанна, что пальцы, гладившие ее плечо, подрагивают от нетерпения, а в глазах появился до отвращения знакомый блеск. Этот блеск преследовал ее уже много лет — на улице, в автобусе, в университетских коридорах, особенно на пляже, у него были разные оттенки, но суть всегда одна. И в первые годы расцвета своей красоты этот непонятный блеск радовал Жанну, она пьянела под взглядами толпы, они лишний раз доказывали, что она не такая, как все, она — лучше, красивее, чем все.

Давно прошло то блаженное время, давно уже этот блеск не вызывал ничего, кроме раздражения и желания поскорее уйти с людских глаз... Но сейчас — куда ей было идти? А его пальцы становились все решительнее, они гладили ее шею, Жанна чувствовала на затылке прикосновение его губ. «Да разве за тем я пришла к тебе?» — хотелось крикнуть ей. Но она промолчала и закрыла глаза. Почему? А что оставалось ей делать? Сопrotивляться, просить о чем-то, но зачем? Он такой же, как и все, только и всего. И ему прежде всего нужна ее красота, ее тело... И Жанна покорно отдалась ему, а он, кажется, даже не заметил, что она никак не ответила на его ласки, или не придал этому значения. Потом, когда он, спокойный и умиротворенный, лежал рядом с ней, она сбоку поглядела на него. Довольное лицо победителя, с честью вышедшего из неожиданных обстоятельств. Жанна встала и начала одеваться.

— Ты куда? — спросил он.

— Домой.

— Домой? — удивился он. — Зачем? Утром уйдешь.

— Да нет уж...

И хотя в комнате было светло, Жанна вдруг включила яркую шестирожковую люстру — почему-то захотелось рассмотреть его лицо. Он закрыл глаза ладонью и недовольно сказал:

— Зачем? Потуши.

Жанна выключила свет и со спокойной иронией сказала:

— А ты, оказывается, парень не промах...

И только тут он понял, что она действительно уходит. Потом были удручающе глупые и пошлые попытки примирения. Жанна ничего не хотела объяснять ему, довольно грубо сказала, чтобы он оставил ее в покое, но он еще долго умолял простить его, за что — он и сам не понимал, она видела, что никакой вины за собой он не чувствует и говорит «прости» только потому, что так принято говорить, звонил, подкарауливал на улице. А закончилось все тем, что он, разозлившись, угрюмо сказал:

— Да чего ты бесишься, я не понимаю? Ладно, если бы я первый у тебя был, а то...

Жанна от изумления даже рот раскрыла — и расхохоталась. Смеялась долго, до слез, успокаивалась было, но стоило взглянуть на его растерянное, удивительно глупое лицо, и приступ смеха возобновлялся. Наконец, отсмеявшись, она вытерла слезы и со вздохом сказала:

— Господи, какой же ты дурак... И за такого... я чуть не вышла замуж. Нет, все-таки есть на свете провидение...

Больше он не приходил.

После этого краха Жанна еще долго не могла прийти в себя.

Потом был у нее еще кто-то, кого она уже почти не помнила.

А потом ее как-то увидел Шумилов. Действовал он не очень оригинально и уже через неделю предложил ей выйти за него замуж. Она уехала с ним в Долинск, но выйти замуж отказалась наотрез. Сказала:

— Так буду с тобой жить, а замуж... — И она покачала головой: — Нет...

Шумилов настаивал, но не очень решительно. И это тоже нравилось Жанне — за четыре года совместной жизни ей не приходилось тратить много усилий, чтобы настоять на своем. Ее «нет» всегда означало «нет».

Жанна не скрывала от Шумилова, что не любит его, но не говорила ему, если он сам не принуждал ее к этому. А в первый год жизни в Долинске такие минуты, когда ей приходилось это говорить, нет-нет да и случались. Тогда Шумилов молча наклонял голову и прикрывал глаза. „Как страус“, — однажды с жалостью подумала Жанна. Но потом Шумилов научился избегать таких минут — и как будто все больше боялся ее. То есть не ее, конечно, а того, что Жанна оставит его.

Жизнь продолжалась внешне спокойная, но оба ждали чего-то. Шумилов ждал, когда переменится отношение Жанны и она полюбит его, иного он ждать не мог и, кажется, избегал даже думать о возможности какого-то другого решения, а Жанна ждала даже не того, что полюбит кого-то, а что произойдут какие-то события, появятся какие-то люди и так или иначе повернется ее неопределенная жизнь.

А потом появился Дмитрий. Жанна долго не обращала на него внимания — такой же, как и все, самый обыкновенный, ничем не примечательный человек, и так же, как все, смотрел на нее при первой встрече. («Почти так же», — подумает она потом, год спустя.) Ольф с его хохмами и яркой речью казался ей гораздо интереснее. Вот только положение, которое заняли в группе Дмитрий и Ольф, представлялось не совсем обыкновенным, и Жанна как-то спросила Шумилова: неужели их работа настолько значительна, что он позволяет им заниматься ею в ущерб своей собственной?

— Ну почему же в ущерб, — уклонился от прямого ответа Шумилов. — Они Ведь и нам помогают.

— Но ведь только помогают, а в основном заняты своими делами.

— Они давно этим занимаются, еще с университета. Пусть заканчивают. Алексей говорит, что это стоящая работа. Они и в самом деле способные ребята.

Жанна не стала больше допрашивать его, она знала, как много значит для Шумилова мнение Дубровина.

А потом было это неожиданное предложение Дмитрия, озадачившее Жанну. Удивило

ее, что Дмитрий считает совершенно естественным, что она может быть заодно с ним. И когда он сказал, что дело вовсе не в Шумилове, а в работе, она не сразу поняла его. Это был какой-то другой взгляд на мир, до сих пор неизвестный ей. Жанне непривычно было думать, что работа, какие-то абстрактные идеи — нечто такое, что не должно зависеть от личных отношений, чьих-то симпатий и антипатий. До сих пор работа для Жанны была чем-то вполне обыкновенным, и ни разу еще не случалось, чтобы она вырастала в какую-то проблему, которая могла заслонить все. Она получала задания, выполняла их, и, хотя порой ей казалось, что кое-что можно сделать по-другому, что-то изменить, она никогда не настаивала на своем. Она считала естественным и даже необходимым, что кто-то руководит ею. Привычная и естественная система отношений. И Жанне даже в голову не приходило, что в этой системе можно — и нужно — что-то менять.

И вдруг появился человек, который невозмутимо объявляет, что эта система отношений неприемлема. И он настолько уверен в своей правоте, что даже не находит нужным доказывать ее. И вот эта-то убежденность больше всего и поразила тогда Жанну.

Она быстро убедилась в том, насколько основательны возражения Дмитрия против работы Шумилова. Но не это заставило ее согласиться с ним. В конце концов, за этими возражениями тогда еще не стояло ничего конкретного, не видно было того пути, по которому в дальнейшем пошла их работа. Потом Жанна признавалась Дмитрию, что сначала она просто не верила, что им удастся что-то сделать.

— Почему же ты согласилась работать с нами? — удивился Дмитрий.

Жанна промолчала. Она все равно не сумела бы объяснить. Ведь Дмитрий так давно жил в другой системе отношений, что просто не понял бы ее сомнений. А Жанна только начинала жить по новым для нее законам, и многое пугало ее. И не сразу решилась она пойти против Шумилова. И все-таки пошла, заранее готовясь к неудаче, потому что дорога с Шумиловым ясно просматривалась чуть ли не до самого конца: еще год-два спокойной работы — и благополучное завершение темы. Не бог весть что, конечно, — Шумилов и сам не питал иллюзий на этот счет, — но все же нечто существенное. Не хуже, чем у других. А для нее лично — кандидатская степень. А потом другая подобная работа — еще на несколько лет. Не слишком значительная, не слишком рискованная. Какая-то доля риска, конечно, оставалась бы — в науке совсем без этого нельзя, но шансы на успех максимальные. Жанна достаточно хорошо знала Шумилова, чтобы понимать — других тем он не возьмет, разве что по ошибке. Но даже если такая ошибка и случится, Шумилов все равно, вольно или невольно, любую значительную и рискованную идею подгонит под свой рост, под свои возможности, как, в сущности, и случилось с идеей Дубровина. И вряд ли стоит его упрекать за это. Мир — и наука тоже, конечно, — бесконечно велик и разнообразен, и единственная возможность безболезненно жить в нем — это мерить его своей меркой, иначе неизбежна катастрофа.

До сих пор ее мерка — в работе, по крайней мере, — была частью мерки Шумилова. Но и их личные отношения в конечном итоге тоже определялись этими мерками. А Жанна не хотела больше ни этих отношений, ни куцых мерок Шумилова. И она согласилась работать с Дмитрием.

Последовавшие вскоре события и оказались тем, что изменило ее жизнь.

51

Кто-то позвонил, Жанна механически отметила: два звонка, — значит, к ней. Нехотя поднялась, провела щеткой по волосам, открыла дверь. Ольф.

— Не разбудил?

— Нет. Проходи.

Ольф остановился на пороге, неуверенно посмотрел на нее.

— Проходи, — повторила Жанна.

— Да нет, я на минутку. Слушай, может, пойдешь к Диме, посидишь у него?

— А что такое?

— Да понимаешь, какое дело... Сидели мы с ним, спокойно разговаривали — и вдруг он побелел весь, даже как будто отключился на секунду...

— Как отключился? — испугалась Жанна.

— Ну как, обыкновенно. Да не пугайся ты, ничего страшного...

— Что же мы стоим? Надо врача вызвать.

И она сдернула с вешалки плащ, но Ольф удержал ее:

— Не надо врача. Я дал ему снотворное, он уже засыпает. Но лучше, если ты немного посидишь с ним, пока он совсем не заснет, а то у него иногда кошмары бывают. А мне домой надо.

— Господи, ну конечно, посижу. А может, все-таки врача вызвать?

— Не надо, ему неприятно будет, я знаю. Да и действительно ничего страшного, такое на моей памяти раза два бывало. Это от переутомления.

— От переутомления? — не поняла Жанна. — Но он же целую неделю отдыхал.

— Это ничего не значит. Раньше тоже так бывало, и именно после окончания работы.

Дмитрий спал, неловко подвернув руку под голову. В полутьме — свет горел только в коридоре — его лицо выглядело осунувшимся и усталым. Жанна постояла над ним и села в кресло. Дмитрий лежал подтянув ноги, и его фигура под одеялом казалась совсем маленькой. Она вспомнила, как важно, осанисто выглядел Шумилов, и о том, что в первое время знакомства с ним он представлялся ей очень сильным и уверенным в себе. Трудно было представить, что есть вещи, которые могли бы по-настоящему испугать его. Скоро выяснилось, что таких вещей довольно много. То есть по-настоящему его пугало как будто только одно — ее уход от него. А понимал ли Шумилов, что и в науке он безнадежно труслив? Вероятно, нет. Он всячески избегал в работе любого, даже самого незначительного риска, но делалось это инстинктивно. Точно так же, как мы обходим лужу на улице, чтобы не замочить ноги. В самом деле, зачем мочить ноги, если лужу можно обойти? И мы, не задумываясь, делаем шаг в сторону. Жанна хорошо помнила, как объяснял Шумилов неудавшийся эксперимент по упругому рассеянию К-минус мезонов на протонах. Он даже не был слишком огорчен. Ни тени сомнения не появилось на его лице, когда он объявил, что дальнейшие эксперименты решил не проводить.

— Видимо, экспериментаторы намудрили в чем-то, — небрежно сказал он. — Можно повторить, конечно, но в этом уже нет необходимости. — Он похлопал рукой по новенькому, только что полученному журналу. — Здесь есть все, что нам нужно было знать.

Ему не возражали. Зачем? Шумилову лучше знать, что ему нужно.

А что было, когда Шумилов узнал, что и Жанна заодно с Дмитрием? Его действительно не интересовало, прав ли Дмитрий. Он просто не думал об этом. Ведь это было такой мелочью по сравнению с главным, что Жанна, его Жанна, против него. А ей уже казалось странным, что именно это может быть главным... Тогда она уже почти не думала о том, что их может постигнуть неудача, это представлялось не столь уж важным. Ей уже казалось, что даже неправота Дмитрия лучше правоты Шумилова. Она просто Верила в него, как могут верить только женщины — почти не рассуждая, не сомневаясь. Первым подметил это Ольф и однажды на какое-то ее высказывание ехидно сказал:

— Димыч, а ну, пощупай голову — тебе не жарко?

— С чего это ты? — не понял Дмитрий.

— Да мне показалось, что вокруг твоей будущей лысины что-то светится.

Дмитрий так ничего и не понял, а Жанна незаметно от него погрозила Ольфу кулаком. А когда они остались вдвоем, Ольф примирительно сказал:

— Не сердись, я же пошутил. Тем более что этот параноик ничего не понял.

— Лучше без таких шуточек, — недовольно сказала Жанна.

Слишком дорожила она вновь обретенной верой, чтобы рисковать потерять ее. А риск был немалый — Жанна видела, что отношение Дмитрия к ней далеко даже от простой влюбленности. Тот вечер, когда Дмитрий вдруг стал превозносить ее красоту, не ввел ее в

заблуждение, разве что на минуту. Она хорошо понимала, чем это вызвано, и дальнейшее поведение Дмитрия подтвердило ее предположения. А главное — Жанна понимала, что и ее собственное желание получить это большее идет скорее от разума, чем от чувства. Ей было хорошо с Дмитрием, ежедневным общением с ним она дорожила, пожалуй, больше, чем всем остальным, но что из этого? Ведь не было того чувства, которое могло бы заставить ее добиваться желаемого любой ценой. Да и не было никакой уверенности, что она смогла бы добиться этого желаемого.

Первое время беспокоила ее Ася. Жанна очень боялась, что повторится то, что уже не раз случалось. А бывало это так: стоило ей более или менее подружиться с кем-то из мужчин, как их жены немедленно объявляли ей войну, хотя для этого не было никаких оснований. Никаких — это, конечно, с ее точки зрения. Для них же оснований было больше чем достаточно, и главное — ее красота.

Ася оказалась приятным исключением. Ни словом, ни взглядом она ни разу не показала, что присутствие Жанны в ее доме беспокоит ее. И это не было притворством — Жанна была уверена, что ее пронизательность не обманывает ее. Но, не успев как следует порадоваться своей удаче, она задумалась: а почему, собственно, Ася так спокойна? Полностью доверяет Дмитрию? Допустим. А как бы она сама чувствовала себя на ее месте? Была бы так же спокойна? О нет... Дмитрий — человек превосходнейший, но все-таки надолго она его не оставила бы. И дело тут не в недоверии. Просто такой вариант, как, скажем, разлука на целый год, автоматически предполагает, что можно, в конце концов, и вообще обойтись друг без друга. Это же ясно как день. А если еще учесть, что пять дней в неделю они бывают врозь... Если тебе кто-то нужен — он нужен всегда, постоянно. И все-таки Ася решилась уехать. Почему? Жанна не переставала задавать себе этот вопрос, как только узнала об ее отъезде. Не понимает, чем ей это грозит? Или не представляет, как будет тяжело Дмитрию? А ей? Ася в предотъездные дни была спокойна, словно уезжала, как обычно, только до пятницы. А Дмитрий беспрерывно нервничал, это было заметно всем. Его-то по-настоящему пугала эта разлука, никогда Жанна не видела его таким растерянным. Глядя на него, ей хотелось крикнуть Асе: «Что ты делаешь, ты только посмотри на него!» Разумеется, она промолчала. «Может быть, это и к лучшему», — даже так подумала она потом.

Ася уехала, и Дмитрий как будто успокоился. Вот только взгляд у него стал другой — даже не печальный, а скорее недоумевающий. Теперь Жанна гораздо чаще бывала у него по вечерам и видела, как тяжело ему. А иногда трудно бывало с ней, Жанна всегда чувствовала это и уходила. И все чаще ловила на себе настороженный взгляд Ольфа. Однажды Жанна прямо спросила:

— Ты хочешь что-то сказать?

— Да, — не сразу ответил Ольф, испытываясь глядя на нее. — Мне кажется...

Он явно не знал, как сказать, и Жанна, выждав немного, спокойно спросила:

— Что тебе кажется? Что я хочу заполучить Диму в мужья?

— У тебя не язык, а кол осиновый, — сердито скривился Ольф. — Кто говорит об этом? Как будто других вариантов не может быть.

— Например?

— Например, например... Сама знаешь.

— Не знаю.

— Да брось ты девочкой прикидываться... Мы же все-таки взрослые люди.

— Короче говоря, ты боишься, что я заберусь в Асину постель? — невозмутимо сказала Жанна.

— О господи... — Ольф поднял глаза к потолку.

— Мы же взрослые люди, — усмехнулась Жанна. — Именно поэтому я предпочитаю называть вещи своими именами. А поскольку ты имел в виду именно это... я не ошибаюсь?

— В общем-то нет, — буркнул Ольф, — если не считать твоего... кабацкого способа выражаться.

— Ну так вот, — Жанна пропустила «комплимент» Ольфа мимо ушей, — можешь не беспокоиться, Асе ничего не грозит... Кроме того, что она сама себе сделает.

— Что ты хочешь этим сказать? — насторожился Ольф.

— Что ей не надо было уезжать.

— Это их дело.

— Разумеется. И все же, друг мой, — с иронией сказала Жанна, — у тебя нет никаких оснований полагать, что я воспользуюсь отсутствием Аси, чтобы тут же броситься в атаку.

— Да не о том я, — поморщился Ольф. — Просто... вы очень часто бываете вместе, и где гарантия, что в один прекрасный день... вам обоим не помешается то, чего нет?

Жанна закурила и сухо сказала:

— А тебе не кажется, что ты... далеко заходишь? За кого ты меня принимаешь? Почему ты имеешь право думать, что мои намерения, о которых ты ничего не знаешь, должны сводиться к какой-то легонькой, ни к чему не обязывающей любовной игре? Я понимаю, что цели у тебя самые благородные, но все же... не стоит так думать обо мне, я не заслуживаю этого.

— Жан, — придвинулся к ней Ольф, — пожалуйста, пойми, почему я затеял этот разговор. Ты же видишь, как трудно сейчас приходится Димке. И кто же, как не мы, должен помочь ему прожить этот год? Я ведь чего боюсь? Я вовсе не считаю, что ты можешь затеять какую-то игру, иначе не стал бы и говорить об этом. Но невольно может получиться так, что ты, сама того не желая, здорово осложнишь ему жизнь, и без того достаточно нелегкую. Ты нравишься ему, очень нравишься, — подчеркнул Ольф, — да и он тебе небезразличен, я же знаю, — осторожно добавил он. Жанна промолчала. — Но давай говорить прямо. Мужчинам в нашем возрасте дьявольски трудно без женщины... Я имею в виду не только... чисто физиологическую сторону, хотя и это очень важно. Но если бы дело было только в этом. Не знаю даже, как объяснить...

— Не надо ничего объяснять.

— Тем лучше, — с облегчением сказал Ольф и примирительно добавил: — Не сердись.

— Не сержусь, — улыбнулась Жанна.

И все-таки этот разговор оставил у нее неприятный осадок. Подозрительность Ольфа не имела никаких оснований. Никаких? Тогда — да, а после? Ольф, сам того не ведая, подтвердил ее предположения о том, что у Дмитрия и Аси далеко не все так гладко, как это выглядело со стороны. Ася и для нее самой была загадкой. И вдруг всплыла аналогия, смутившая ее своей прямолинейностью: а разве сама она не была спокойна, когда жила с Шумиловым? Разве ее волновало, где он бывает и с кем встречается? Ей и в голову не приходило ревновать его или беспокоиться о том, что он может уйти от нее... Но ведь она не любила его... Может быть — и Ася? А не потому ли, девонька, ты так думаешь, спрашивала себя Жанна, что тебе хочется этого?

Но у этой новой мысли было одно бесспорное преимущество: она все объясняла.

52

День, которого они все так ждали, настал.

Сбор был назначен на половину четвертого, но уже к двум почти все приехали в институт. И только Дмитрий опоздал на несколько минут. Ждали его уже давно, заволновались даже самые спокойные, облепили подоконники, поминутно спрашивали — не видать ли? А он медленно шел по бетонной дорожке, не догадываясь, что все смотрят на него из окон, и совсем не думал об эксперименте, — только о том, что оставил полчаса назад, вставая из-за письменного стола. И те, кто с таким нетерпением ждал его, очень удивились бы, узнав, чем он занимался в последние дни.

Если бы они заглянули в его бумаги, то увидели бы, что результаты предстоящего эксперимента для Дмитрия Александровича — нечто бесспорное, сомнению не подлежащее. Он оперировал ими так, словно это было что-то заурядное и давно известное. То, что было

для них близким тревожным будущим, для него как будто стало уже прошлым.

Но что наверняка еще больше поразило бы их — суть некоторых выкладок и предположений. И не то было бы удивительно, что многое в них будто не имело никакого отношения к еще не состоявшемуся эксперименту. Такая связь, в конце концов, не обязательно должна быть явной, видной невооруженным взглядом.

То, что предполагал Кайданов, могло прийти в голову только человеку, не обладающему даже элементарными знаниями в физике.

Или сумасшедшему. Или — гению, может быть, решили бы они.

Дмитрий оглядел всех, посмотрел на часы и будничным тоном сказал:

— Ну что ж, идемте в штаб.

«Штабом» называли просторную, уютно обставленную комнату рядом с вычислительным центром. Отсюда следили за ходом эксперимента. Здесь им предстояло провести почти сутки. В сущности, делать им было совершенно нечего — только ждать результаты и наносить их на график. Весь ход эксперимента рассчитан по минутам, и вмешательство в него допускается лишь в крайнем случае. Но о крайних случаях не только не заговаривали — это была запретная тема, — но старались и не думать.

График был приколот к тяжелой наклонной плоскости кульмана. На нем красивой красной дробью ярко выделялись точки — ожидаемые значения эксперимента. Если смотреть издали, точки сливались в кривую линию с двумя характерными изгибами и резким изломом чуть выше середины. Пока что этот излом ничего не означал, вернее — почти ничего. Всего лишь их теоретические предположения. Смелые, оригинальные, но всего лишь предположения. Вот если они подтвердятся...

Никаких «если». Подтвердятся. Конечно же подтвердятся. Через полчаса на красные точки — прямо на них или очень близко — начнут накладываться синие крестики, и их предположения постепенно начнут превращаться в реальность. Излом тоже станет реальностью — и это будет означать победу. Потому что этот излом не предполагается никакими теориями, кроме той, что создали они. «Теория» — сказано, может быть, и слишком громко, да они и не говорили так. «Идея», «идейка», «расчеты», «гипотеза». А впрочем, не все ли равно, как называть? Главное — это будет что-то новое, до сих пор никому не известное. То, ради чего они работали почти три года. И это будет. Разумеется, будет.

Данные с ускорителя в вычислительный центр передавались по телетайпу. Машине предстояло «начерно» обработать их и каждые двадцать минут выдавать результаты — несколько колонок цифр. Но в ходе эксперимента не было необходимости разбираться в этих десятках цифр. Сейчас нужны были только пять самых необходимых чисел, и, чтобы получить их, не нужно было даже идти в машинный зал, они будут печататься на пишущей машинке, стоящей на специальном столике рядом с кульманом. И они нет-нет да и поглядывали на нее, словно опасаясь, что она может не вовремя застучать. Но машинка — внушительный «Консул», поблескивавший черными клавишами, — молчала. Ей еще нечего было сказать.

Они уже звонили на ускоритель, наведались в машинный зал, но им не слишком вежливо посоветовали заняться своим делом. Легко сказать... А если свое дело одно только ожидание?

Расхаживания по комнате. Полтора десятка дымящихся сигарет. Напряженные лица, натянутые улыбки, взгляды, перескакивающие с предмета на предмет. Молчание. Тяжелое, густое, плотно набившееся в комнату, с пола до потолка, подкрашенное сизым табачным дымом молчание.

— Дайте чего-нибудь пожевать, — сказал Дмитрий.

Головы в секундном недоумении повернулись к нему. О чем это? Что означает «пожевать»?

— Не успел пообедать, — сказал Дмитрий. — Надеюсь, едой вы запаслись?

О господи, только-то и всего? Пожевать? Разумеется, они запаслись едой! Холодильник

трещал от того, что можно было жевать! Через минуту стол перед Дмитрием был заставлен так, что жевать ему пришлось бы по меньшей мере до утра.

— Полегче, полегче, — поднял он руку. — Пантагрюэльствовать будем завтра, у меня дома... А пивка не найдется?

— Пивка? Еще бы ему не найтись! Какое вам, Дмитрий Александрович, — жигулевское, московское, рижское?

— А кто со мной за компанию?

— Нет уж, увольте. Мы — сыты. По горло и даже выше. Мы — нет. Мы — пас... Что означает эта лампочка?!

Рядом с «Консулом» светился зловеще-красный кружочек.

— Трехминутная готовность, — спокойно сказала Таня Медведева, программистка. — Не паникуйте и рассаживайтесь по местам, не толпитесь у машинки.

— Почему раньше этого не было? — зло спросил кто-то.

— Раньше не было, а теперь стало.

— Выдумывают тут всякое. Народ-то нервный пошел, насквозь психованный...

— Психи, по местам!

Главное — уже не было тишины. Уже улыбались, а не изображали улыбки. Говорили, а не выдавливали слова. Теперь уже можно было ждать. Три минуты, а потом еще двадцать — и первый результат. А потом будет совсем просто. Главное — первый результат.

Но не успели они сесть, как с сухим пулеметным стуком заговорил «Консул». Савин даже подпрыгнул на месте. Что он бормочет, этот идиот «Консул»? Зачем? Ведь до результата еще целых двадцать минут!

Дмитрий поставил стакан и вопросительно посмотрел на Ольфа.

— Заголовок печатает, — сказал Ольф и усмехнулся: — И правда, психи.

«Консул» с грохотом передвинул каретку и снова мелко застучал. Несколько человек уже стояли над ним, плотно сдвинув головы.

— Тьфу, собачкин сын! — ругнулся Костя Мальцев. — Это ж вмиг можно инфаркт схватить... — И накинулся на Таню: — А без этих фокусов нельзя обойтись?

— Спокойно, спокойно, — невозмутимо проговорила Таня. — Сядь, голубчик, вредно так волноваться.

«Консул» еще раз дернулся и умолк. А ровно через двадцать минут он отпечатал первую строчку результатов. Строчку эту давно все выучили наизусть, Савин признавался, что она даже снилась ему, и теперь, когда они увидели, что «Консул» выдал почти то же самое, что было в их расчетах, — это «почти» значения не имело, без него не обходится ни один эксперимент, — раздалось разноречивое «ура». Игорь Воронов, расплывшись в неудержимой улыбке, похлопал машинку по черному блестящему боку:

— Молоток, «Консул», так держать!

Дмитрий оторвал листок с цифрами и нанес на график крестик. Центр его почти совпал с красной точкой.

А через восемьдесят минут случилось то, о чем они потом долго не могли вспоминать без содрогания.

За это время все более или менее успокоились, настроились на долгое ожидание. На часы все-таки посматривали, и за несколько минут до выдачи результата два-три человека уже стояли у «Консула». И когда тот в пятый раз застучал, Дмитрий встал и неторопливо направился к кульману. И, еще не доходя до машинки, он понял, что случилось что-то неожиданное и очень неприятное. Майя так смотрела на цифры, словно никак не могла поверить своим глазам или думала, что от ее взгляда они переменятся. А Савин, неизменно дежуривший у «Консула», повернул к Дмитрию голову, пошевелил губами и громким хриплым шепотом сказал:

— Дмитрий Александрович, тут... Смотрите.

И неуверенным, боязливым жестом показал на машинку.

А Дмитрий уже и сам увидел.

Из пяти цифр главной была последняя — отклонение экспериментального значения от теоретического. Они предполагали, что эти отклонения не должны превышать двух процентов. Чуть больше — не страшно, меньше — бога ради, нам же лучше. И в каждой строчке они прежде всего смотрели последнюю цифру, и до сих пор все шло как нельзя лучше. Ноль и шесть десятых, один и два, ноль и девять, ноль и восемь. И четыре синих крестика легли почти по центрам красных точек.

Сейчас пятая цифра означала что-то совершенно невозможное — тысяча триста сорок семь. Первое, что пришло в голову Дмитрию, — это опечатка. Но стоило взглянуть на остальные числа, и все стало ясно. Никаких опечаток. Ошибка тысяча триста сорок семь процентов и еще восемьдесят шесть сотых. Экспериментальное значение в тринадцать с половиной раз превышало расчетное.

Дмитрий оторвал листок и, поворачиваясь к кульману, увидел, как все встают и идут к нему. Он еще раз взглянул на листок, взял толстый двухцветный карандаш и стал отсчитывать на графике это нелепое, невозможное значение. График был большой, и туда, где нужно было поставить крестик, он не мог дотянуться.

— Опустите кульман, — сказал он.

Потом ему говорили, что всех поразило его спокойствие в эту минуту. Это спокойствие ввело их в заблуждение и помешало сразу понять, что произошло, листок он держал так, что цифры не были видны. И зачем опускать кульман, они не поняли и продолжали смотреть на него, и ему пришлось повторить:

— Опустите кульман.

— Зачем? — спросил Полынин.

Дмитрий посмотрел на него, и Полынин принялся торопливо откручивать винты. Доска медленно, со скрипом поползла вниз.

— Хватит, — сказал Дмитрий.

Он еще раз отсчитал деления, поставил точку и нарисовал аккуратный синий крест. Наверное, он нажимал на карандаш сильнее обычного, и крест получился жирным. «Как паук», — скажет потом Савин.

Крест безобразно повис в левом верхнем углу графика. Он был так высоко, что, если смотреть только на него, четыре предыдущих крестика скрывались из поля зрения. Да они теперь и не нужны были — один этот новенький, живущий всего несколько секунд крест перечеркивал не только предыдущие, но и будущие шестьдесят крестов, даже если все они лягут точно на красные точки.

— Что это? — громко спросил кто-то.

Дмитрий положил карандаш и негромко сказал:

— Не знаю. Может быть — крокодил, может быть — пятитонный грузовик.

Он не собирался шутить, просто вспомнил фразу профессора Давыдова на лекции по ядерной физике в университете. Давыдов, объясняя природу ядерных сил, писал уравнения, и его спросили об одной константе — что она означает? И Давыдов, без тени улыбки, даже несколько раздраженно, ответил. Он действительно не знал, что означает эта константа. И никто не знал — ни тогда, ни сейчас.

Может быть — крокодил, может быть — пятитонный грузовик.

Майя Сеницына всхлипнула, закрыла лицо руками и выбежала в коридор. Дмитрий проводил ее взглядом, чуть помедлил и сказал Тане:

— Сходи в машинный зал, узнай, не у них ли что. А ты, — обратился он к Ольфу, — звони на ускоритель, пусть проверят все параметры. Остальные... — он обвел всех взглядом и чуть улыбнулся, — остальные могут сесть.

Он и сам потом удивлялся, откуда у него взялись силы на эту улыбку и легкую иронию. И как догадался попросить Таню и Ольфа проверить то, что проверять не стоило. Он знал,

что и в машинном зале, и на ускорителе все в порядке, но надо было немного выждать, чтобы дать всем время прийти в себя. И они стали медленно рассаживаться, полезли за сигаретами. Таня ушла в машинный зал, а Ольф позвонил на ускоритель.

— Через несколько минут сообщат, — сказал он и почему-то не клал трубку, и все слышали тонкие частые гудки.

Дмитрий дотянулся до телефона и нажал на рычаг. Ольф положил трубку и вздохнул.

Вошла Таня и еще с порога сказала:

— Все нормально.

Дмитрий кивнул.

Три или четыре минуты, прошедшие до звонка с ускорителя, как будто выпали из их памяти. Потом никто не мог толком вспомнить, что они делали и о чем думали в эти минуты. И когда телефон зазвонил, они посмотрели на него со страхом — Дмитрий очень хорошо видел это. Даже Ольф испугался, он смотрел на телефон, словно ждал, когда тот кончит звонить, и Дмитрий сказал ему:

— Возьми.

Ольф взял трубку и сказал:

— Да.

И, выслушав что-то, молча положил ее и с видимым усилием сказал:

— Там тоже... все нормально.

— Ну что ж, этого следовало ожидать, — Дмитрий видел, что все смотрят на него, и старался говорить спокойно. — Подождем еще... — он взглянул на часы, — четырнадцать минут.

Но теперь уже все поняли, что это только отсрочка. Каким бы ни был следующий результат, он ничего не изменит. Ничто не сможет убрать этого жирного синего паука.

И эти четырнадцать минут помнились смутно. Даже на часы никто не смотрел. И никто заранее не подходил к «Консулу», и даже когда он застучал, все остались на местах. Дмитрий встал сам, подошел к машинке и, не глядя на цифры — так им казалось, на самом деле он еще издали увидел, что результат правильный, — оторвал листок, не спеша подошел к кульману и, нагнувшись, поставил шестой крестик. Там, где ему и полагалось быть — на шестой красной точке. И оттого, что на пятой точке крестика не было, она выделялась особенно ярко. Маленькая кровавая точка на белой бумаге и два синих крестика по бокам.

— А теперь, — сказал Дмитрий, — садитесь-ка поближе и вместе подумаем, что делать дальше.

И они зашевелились, задвигали стульями, долго устраивались, всячески стараясь оттянуть начало разговора. О чем тут думать? Все казалось ясным — надо было прекращать эксперимент. Так гласили неписанные законы современной исследовательской работы. Ускоритель — не копеечный электроскоп Фарадея. Каждый час его работы обходится в сумму, которую иначе чем астрономической не назовешь. Одной электроэнергии он потребляет больше, чем весь город. А это далеко не единственная статья расходов по их эксперименту. Два часа уже потеряно, но впереди еще двадцать...

Другого выхода не было, однако никто не решался первым сказать об этом.

— Давайте подумаем, почему так могло получиться, — сказал Дмитрий.

— Ты считаешь возможным продолжать эксперимент? — спросил Мелентьев.

До сих пор он почти все время молчал. И вообще в последнее время вел себя так, словно его не очень-то интересовало, чем все закончится. Работал он по-прежнему безупречно, но как будто с полнейшим равнодушием. Или это маска? — думал иногда Дмитрий. И сейчас Мелентьев задал вопрос с таким видом, как будто исполнял скучную формальность. Он почти лежал в кресле, далеко вытянув ноги, и разрисовывал карикатуру в «Крокодиле».

— Почему же нет? — сдержанно сказал Дмитрий.

— Ну-ну, — небрежно бросил Мелентьев. Это прозвучало так: «Я умываю руки».

Дмитрий еще несколько секунд смотрел на него и отвернулся. И все взгляды опять

обратились к нему.

— Я изложу кое-какие свои соображения, а вы хорошенько подумайте, — начал Дмитрий. — Есть несколько возможных причин... такой несурязицы. Первая — какие-то технические ошибки экспериментаторов. Но они уверяют, что у них все в порядке, и у нас нет оснований сомневаться в этом. Кроме того, ошибка очень уж грубая, там она может вызываться только какими-то из ряда вон выходящими неполадками, и их было бы нетрудно заметить. Вообще же это обстоятельство — столь большая величина расхождения — очень нам на руку. Гораздо хуже, если бы она была... в пределах разумного.

— Почему? — спросила Корина.

— Частично я уже объяснил, — мягко сказал Дмитрий. — Соринку можно и в собственном глазу не заметить, но такое бревно... — Он покачал головой и с удовлетворением отметил, что кое-кто улыбнулся. — Остальное позже, по ходу дела. По тем же причинам отпадает подозрение на машину.

— А при передаче по каналам связи вранья не могло быть? — спросил Лисовский.

Дмитрий посмотрел на Таню, и она тут же сказала:

— Исключено. Каналы связи дублированы, и вообще система контроля построена так, что практически исключает потерю даже одного бита информации.

— А теоретически? — не унимался Лисовский.

Таня сердито посмотрела на него:

— А теоретически вероятность такой потери равняется что-то около стотысячной доли процента.

— Вот что, друзья, — поднял руку Дмитрий, — времени у нас мало, так что давайте... на несущественных деталях останавливаться не будем. Второй вариант, наиболее естественный, — ошиблись мы. Его пока обсуждать не будем, оставим напоследок. Должен только сказать, что в нашей правоте я не сомневаюсь. Я имею в виду не какую-то частную ошибку, — спохватился он, заметив, что его не все поняли, — а принципиальную правильность нашей теории. Частные ошибки, разумеется, возможны, но о них потом. Третий вариант — перед нами не ошибка, а нечто принципиально новое, до сих пор неизвестное.

Он помолчал немного, давая им время переварить эту мысль, и продолжал:

— Для начала должен заметить, что этот вариант не только не исключает возможности продолжения эксперимента...

Мелентьев хмыкнул. Дмитрий, не обращая на него внимания, продолжал: — ...но и просто требует, чтобы мы довели его до конца. Но этот вариант маловероятен. Почти невероятен...

И снова раздалось нетерпеливое «почему». Дмитрий видел, что они уже не боятся, а пытаются вместе с ним разобраться в причинах неудачи. Этого он и добивался, рассказывая о таких, в общем-то, очевидных вещах.

— По двум причинам. Режим работы ускорителя в нашем эксперименте пока что не слишком отличается от обычных. И маловероятно, чтобы до нас кто-то... не споткнулся об это бревно. Вторая, более существенная причина — такой аномальный пик может, в принципе, соответствовать только резонансным состояниям с чрезвычайно коротким временем существования. Но в этой области, посмотрите хорошенько на график и прикиньте, такие состояния, если они, конечно, вообще возможны, могут быть разве что при мощности ускорителя по меньшей мере в двадцать раз большей, чем мы имеем.

Мальцев схватился за ручку и стал что-то писать, наверно и в самом деле решил прикинуть, но через несколько секунд отодвинул листок в сторону и стал слушать.

Дмитрий помолчал, внимательно оглядывая их.

— Что ж, вернемся к первой причине — нашим ошибкам. Еще раз повторяю — принципиальная правильность наших расчетов сомнений у меня не вызывает. Никаких, — решительно подчеркнул он. — Техническую аранжировку мы тоже решили исключить.

Снова застучал «Консул». Дмитрий небрежно оторвал листок и поставил на графике

седьмую точку. И, не глядя на притихших ребят, — они, видимо, никакие могли понять, какая еще может быть причина, — спокойно закончил:

— Остается одно — ошибки математического аппарата.

Дмитрий сел в кресло, неторопливо закурил, внимательно посмотрел на Таню, перевел взгляд на Ольфа, потом на Мелентьева. Теперь все зависело от них. Только они могли до конца разобраться в сложнейшем математическом хозяйстве эксперимента. А они молчали.

— Надеюсь, — с улыбкой сказал Дмитрий, — мне не надо уверять вас, что такое предположение вызвано отнюдь не недоверием к вам?

— Надо полагать, — буркнул Ольф.

— Ты считаешь, — медленно начал Мелентьев, — что таких вот рассуждений, ничем конкретно не обоснованных, достаточно, чтобы продолжать эксперимент?

— Да.

— Завидная самоуверенность.

— Пусть будет так.

— Значит, останавливать не будем?

Дмитрий секунду помедлил и сказал:

— Нет.

— Ответственное решение, Кайданов.

— Да, конечно, — согласился Дмитрий. — Но должен заметить, что эта ответственность целиком ложится на меня. Ко всем остальным в любом случае претензий быть не может.

— Ну, разумеется, — усмехнулся Мелентьев. — Но ради чего такой риск? Что страшного в том, если мы остановим эксперимент? Если ошибка действительно в математическом аппарате, в чем я изрядно сомневаюсь, хотя, конечно, и допускаю такую возможность, то мы в спокойной обстановке обнаружим ее и через три-четыре месяца проведем эксперимент.

— Во-первых, — возразил Дмитрий, — нельзя гарантировать, что по одному этому пику мы сможем найти ошибку. Я думаю, что появится еще хотя бы один, это наверняка облегчит нам поиски.

— Резонно, — нехотя согласился Мелентьев.

— Ну, а главное — я верю в нашу работу.

— Может быть, — предложил Ольф, — посоветоваться с Дубровиным?

— Нет, — твердо сказал Дмитрий. — Это не тот случай, когда можно прибегать к чьим-то советам.

— Значит, продолжаем? — спросил Мелентьев.

— Да.

— Ну что ж. — Мелентьев пристально посмотрел на него и встал. — Тогда за работу.

— Возражений нет? — обратился Дмитрий ко всем.

Он спросил это с легкой улыбкой, давая понять, что не ждет от них ответа. И они поняли почему — он не считал возможным возлагать на них какую бы то ни было ответственность, даже если это всего лишь ни к чему не обязывающее личное мнение.

Разумеется, они ответили «нет».

54

Составили вместе два стола и разложили на них листки с уравнениями и выкладками.

— С чего начнем? — спросил Дмитрий.

— Первым делом надо принести решения с машины, — сказал Ольф. — Может быть, что-нибудь и сразу увидим.

— Разумно. Таня, сходи, пожалуйста.

Ничего нового увидеть не удалось. Колонки цифр говорили о каком-то хаотическом взрыве на пятой итерации, и только. Но это и на графике было видно.

— Много отсюда не выудишь, — недовольно сказал Мелентьев. — Надо бы перенести все на графики.

— Ну, это не сложно... Попрошу всех сюда! — громко сказал Дмитрий. — Валерий, объясни, что нужно делать.

Мелентьев объяснил, и все тут же взялись за работу.

— А мы, — сказал Дмитрий, удобно усаживаясь в кресле, — давайте помыслим. Начнем с главного — теоретической части. Тут ты больше всех смыслишь, Валера. У тебя нет никаких подозрений?

— Нет, — покачал головой Мелентьев. — Пока, по крайней мере.

— Ольф?

— Нет.

— И у меня нет, — медленно сказал Дмитрий. — Что ж, в первом приближении примем, что тут все верно. Что дальше?

— Программа, — сказал Ольф.

— Это уже по вашей части. Что тут может быть?

Ольф и Таня переглянулись.

— Программа предварительно прогонялась на четырнадцати вариантах, — неуверенно начала Таня. — Параметры для проверки подбирал Ольф.

— Сейчас я поищу свои графики, — сказал Ольф и порылся в папке. — Могу с уверенностью сказать, что проверил все подозрительные места. Вот смотрите, — выложил он листок. — Области проверки везде перекрывают поля предполагаемых решений...

Зазвонил телефон, и Ольф поспешно схватил трубку.

— Да... Да, сейчас...

Он прикрыл ладонью микрофон и тихо сказал:

— Дубровин... Что будем говорить?

— Дай сюда, — сказал Дмитрий и взял трубку. — Добрый вечер, Алексей Станиславович.

— Как дела? — спросил Дубровин.

— Дела? — Дмитрий помедлил с ответом. — Дела, откровенно говоря, неважные.

И он подробно рассказал о том, что у них произошло, и о своем решении. Дубровин долго молчал.

— Вы считаете, что я не прав? — спросил Дмитрий.

— Что тебе сказать, милый мой... Ты многим рискуешь.

— Я знаю.

— Если все закончится неудачей, у тебя будут большие неприятности... Очень большие.

— Вы считаете, что надо прекратить?

— Ничего не хочу советовать, — не сразу сказал Дубровин. — Решай сам.

— Будем продолжать.

— Ну что ж, с богом... Моя помощь нужна?

— Пока нет.

— Если что понадобится, звони в любое время. Ночью, разумеется, тоже. И когда найдете, в чем дело, сразу сообщи мне.

— Хорошо.

Он не клал трубку, и Дубровин положил сам.

— Ну, на чем мы остановились? — повернулся Дмитрий.

— Вот посмотри график, — сказал Ольф.

Дмитрий несколько минут рассматривал график и отложил в сторону.

— Тут если и искать, то в последнюю очередь... Так? — посмотрел он на Мелентьева.

— Да.

— А что представляет сама программа?

— Процент на восемьдесят — набор стандартных программ, неоднократно

использовавшихся в других задачах, — сказала Таня. — А в связках я проверила каждую запятую.

— Ну, а чего-нибудь такого, за что можно уцепиться, нет?

— Нет. Если уж подозревать, то надо все с начала до конца.

— А какие-нибудь основания для таких подозрений есть?

— Вообще-то есть. Мы пользуемся программами АЛГОЛа, а там ошибки случаются, особенно на границах рабочих областей. Но все же не настолько грубые, чтобы могло получиться такое могучее бревно, — улыбнулась Таня.

— Ясно, — сказал Дмитрий. — Можно считать, что первый заход закончился блистательной неудачей. И надо же нам было так хорошо работать, что даже уцепиться не за что. Ну что ж, подождем, пока будет готова наша картинная галерея. Первые шедевры уже есть, — он придвинул к себе два готовых графика, но они ровным счетом ничего не говорили ему.

Через десять минут все графики были готовы. Они разложили их на столе и долго всматривались, пытаясь уловить хоть какую-нибудь закономерность.

— Пикантное зрелище, — пробормотал Ольф.

Зрелище действительно было необычное. Кривые на всех графиках сначала стройно поднимались вверх, но на пятой итерации всюду были какие-то провалы, изломы, острые зубцы, торчащие в стороны, а выше опять все шло гладко. Словно какой-то чудовищный вихрь обрушился на этот лес кривых, и ни одна не смогла устоять.

— И все-таки из этого уже можно кое-что выбрать, — сказал Мелентьев.

Через полчаса они отобрали четыре наиболее подозрительные кривые, на которых были характерные изломы — функции Бесселя и Неймана и два интегральных уравнения. Ольф демонстративно засучил рукава:

— Ну-с, кого первого будем брать за жабры? Неймана?

— Лучше начать с уравнений, — возразил Мелентьев. — Все-таки функции Бесселя и Неймана — инструмент расхожий, а уравнения — наши кровные чада.

— Ты прав, — сказал Дмитрий.

Мелентьев вдруг усмехнулся и отложил листки.

— Ты что? — спросил Ольф.

— Мы забыли суший пустячок. На чем это мы будем кого-то брать за жабры? На арифмометрах?

Ольф присвистнул.

— Мама родная, а ведь правда... Начальник, что делать будем?

— Я уже и сам подумал, — вздохнул Дмитрий. — Сколько всего машин?

— Девять, — сказала Таня. — Но таких, как наша, шесть, и одна из них на профилактике.

— Значит, остается четыре...

— А кто тебе их даст? — спросил Ольф.

— Посмотрим... Кто начальник смены?

— Юрка Токарев.

— Ты его знаешь?

— Да.

— Что он за человек?

— Человек-то он хороший, да что толку? Он не имеет права менять график работ. Центр и без того работает на пределе, за каждый час грызня идет.

— Все-таки попробуем. Таня, пригласи его сюда. И пусть захватит талмуд с графиком работ.

Токарев — долговязый большеносый парень лет тридцати — пришел сразу.

— Видите ли, какое дело, Юра, — начал Дмитрий. — Нам крайне необходима еще одна машина.

— Таня мне уже сказала. Сам я ничего не могу решить. Договаривайтесь с заказчиками.

— Об этом и речь. У кого наименее срочный счет?

Токарев улыбнулся.

— У всех срочный. Я уже не помню, когда были несрочные задачи. Я вам скажу, что сейчас решается, а вы уж сами думайте, к кому обратиться.

— Хорошо. Задач Дубровина нет?

— Нет... Так вот, раскладка такая — две машины работают на отдел директора...

— И долго они будут считать ему?

— Месяца три, — небрежно бросил Токарев. — Третья машина — до десяти вечера Черненко, шесть часов — Шумилов, потом — семьдесят часов Осинцев. Четвертая — до двух тридцати Королев, двенадцать часов — Ольховский, потом Заволоцкий, до конца недели. Пятая — ваша, шестая на профилактике. Все.

— А директорскую задачу прервать можно? — спросил Дмитрий.

— Прервать можно любую задачу почти в любой момент, — бодро ответил Токарев. — При одном-единственном условии — если на это согласен заказчик.

— А если мы получим чье-то время, то сдвинуть его, как нам будет удобнее, можно?

— Это можно.

— Ясно. — Дмитрий потер подбородок. — А сколько просить?

— Откуда мы знаем? — неуверенно пожал плечами Ольф. — Все будет зависеть от того, чем нам придется заниматься.

— А все-таки?

— Часов пять, не меньше... для начала.

— Ну что ж, пойдем на поклон, авось не откажут.

Дмитрий снял телефонную трубку и стал набирать номер.

Все были уверены, что он звонит Дубровину. Чего проще? Из всех заказчиков они знали только Шумилова и Ольховского. Шумилов отпадал, а с Ольховским опять же лучше всего договорился бы Дубровин. В крайнем случае он мог бы обратиться и к Александру Яковлевичу, и тот наверняка не отказал бы — что такое несколько часов по сравнению с тремя месяцами? А Дмитрий позвонил Шумилову.

— Николай Владимирович? Добрый вечер... Это Кайданов.

— Здравствуйте, — не сразу отозвался Шумилов. — Слушаю вас.

Дмитрий коротко изложил ему свою просьбу.

О чем думал Шумилов в эти несколько секунд молчания? Удивлялся? Негодовал? Или просто растерялся от неожиданности? Может быть, ему хотелось спросить, почему Дмитрий обратился именно к нему?

Шумилов ничего не стал спрашивать, отрывисто сказал:

— Хорошо. Передайте трубку начальнику смены.

— Благодарю, Николай Владимирович, — сказал Дмитрий и передал трубку Токареву. Тот выслушал и сказал:

— Ясно.

— Значит, — сказал Дмитрий, избегая изумленных взглядов Ольфа и Жанны, — мы можем в любое время получить машину?

— Почти в любое. Но только шесть часов, ни минутой больше.

Токарев ушел, и Ольф сказал:

— А ты, однако, гусь... краснолапчатый. Что это за хитрый ход? Не мог попросить у Ольховского?

— Какая разница? — с деланной небрежностью сказал Дмитрий. — Главное — машину мы получим, давайте думать, как лучше использовать ее. Итак, мы остановились на уравнениях. Что мы имеем против них?

— Каким методом они решаются? — спросил Мелентьев у Тани.

— Симпсона.

— Грубоватый метод, — неопределенно заметил Мелентьев.

— Зато самый быстрый, другие работают значительно медленнее. А точность вы

задавали сами, и метод Симпсона ее дает.

— А мог метод Симпсона не учесть каких-то особенностей решений этих уравнений? — спросил Дмитрий.

— Вообще говоря, да, — ответил Мелентьев. — В моей практике такой случай был. Но ведь мы сами когда-то проверили оба уравнения на особенности решения и ничего подозрительного не обнаружили.

— Могли и не учесть всего, — заметила Жанна. — Я тоже занималась этими уравнениями и помню, как это было. Они с самого начала ни у кого не вызывали подозрений, и проверяли мы их довольно формально.

— Это верно, — согласился Дмитрий. — Тогда у нас были заботы поважнее. Может, стоит теперь пересчитать их по более точному алгоритму? Есть такие программы?

— Есть, — сказала Таня. — Сейчас поищу.

— И прикинь, сколько времени это займет.

— Хороню.

— Пожалуй, так и надо сделать, — согласился Мелентьев. — Тем более что ничего лучшего пока не видно.

— Вот, нашла, — сказала Таня. — Точность почти на порядок выше, а времени это займет... — она прикинула на бумажке, — что-то около пятидесяти минут.

— На оба?

— Да.

— А готовиться долго?

— Минут сорок.

— Ну что, будем считать? — спросил Дмитрий.

— Да, — сказал Мелентьев. — Хоть шансы и не очень велики, но и их, по нашей бедности, отбрасывать нельзя.

— Тогда я пойду, — сказала Таня.

— Помощь тебе нужна?

— Одного не мешало бы.

— Бери любого.

Таня позвала с собой Аллу Корину и ушла.

— А мы давайте мыслить дальше. Там ничего нового? — кивнул Дмитрий на «Консул».

— Ничего, — сказал Игорь. — В яблочко бьет.

— Жаль. Еще одно землетрясение нам не помешало бы.

Часа через полтора Таня принесла новые решения уравнений. Разочарование было полным. Ничего существенного, более точные решения — и только, и никаких намеков хотя бы на крошечный «пичок». И «землетрясения» не случилось — новые крестики послушно ложились на красные точки.

— Что дальше? — уныло спросил Ольф.

— Перекур, — сказал Дмитрий и посмотрел на Мелентьева.

Тот уже давно с сосредоточенным видом рассматривал выкладки и ничего не замечал. А через несколько минут он сказал:

— Кажется, проклюнулась идея.

— Ну? — сразу вскинулся Ольф.

— Все четверо подозреваемых, — кивнул Мелентьев на графики, — неявно связаны с функцией Ханкеля.

— А ну-ка... — Дмитрий привстал.

— Вот смотрите.

Связь действительно была, хотя и тщательно замаскированная.

— Таня, давай сюда этого Ханкеля, — протянул руку Дмитрий, не глядя на нее, и Таня сунула ему уже раскрытую книгу. Дмитрий прочел характеристики программы и задумчиво сказал: — Формально к ней претензий как будто не должно быть, но... но... Дайте-ка

минутку подумать...

Дмитрий прикинул что-то на логарифмической линейке, внимательно просмотрел все графики и отложил один в сторону, подумал над ним и показал Мелентьеву:

— Здесь связь с функцией Ханкеля есть?

— Да.

— Написать уравнение связи можешь?

— Постараюсь.

— А на остальных графиках эта связь есть?

Мелентьев просмотрел кипу листков и неуверенно сказал:

— Похоже, что нет, но ручаться не могу. Надо посчитать.

— Не надо считать, — отмахнулся Дмитрий. — Здесь этой связи нет.

— Почему?

— Сейчас увидите. Ты пока пиши уравнение связи для этой штуки.

Мелентьев стал высчитывать, а Ольф сунулся к Дмитрию:

— Нашел что-нибудь?

— Пока не знаю... Игорь, иди сюда. Ты у нас лучший чертежник, так что придется поработать.

— Есть!

— Нарисуй поточнее все пять графиков вместе, но вот эти три — с обратными коэффициентами, и все приведи к общему масштабу и отбрось константы. Делать быстро, но не торопясь.

— Слушаюсь! — Воронов даже каблуками щелкнул.

— Похоже, что ты прав, — сказал Дмитрий Мелентьеву. — Именно функция Ханкеля могла подбросить нам свинью. Давайте основательно потрясем эту функцию. Не исключено, что именно она всему причиной. Таня, ты как будто говорила, что программы АЛГОЛа чаще всего врут на границах рабочих областей?

— Да.

— Вот с них и начнем.

И уже через полчаса выяснилось, что программа действительно врет — на одной границе рабочей области ее решения значительно расходились с теоретическими.

— Ну! — Ольф погрозил графику. — Теперь держись!..

Минут через сорок Дмитрия позвали к «Консулу»:

— Дмитрий Александрович, сюда!

Это был второй пик, которого он так ждал, — почти вдвое больший, чем первый. Он даже не поместился на графике.

— Ну что ж, — сказал Дмитрий, — тем лучше.

И, подумав немного, сказал Мелентьеву:

— Вы пока без меня поработайте, а я... — он щелкнул ногтем по наскоро набросанному графику, — этим займусь.

Ольф встревоженно посмотрел на него.

— Ты думаешь, еще что-то может быть?

— Кто знает... Приглядеться не мешает.

И Дмитрий ушел в маленькую комнату по соседству, где и просидел часа полтора в полном одиночестве. А потом пришла Жанна, принесла кофе.

— Спасибо... Как у вас?

— Алгоритм закончили, теперь дело за Таней.

— Надолго это?

— С час.

Жанна открыла окно и слегка коснулась рукой его плеча:

— Устал?

— Немного. А ты?

— Ну, я-то что... Тебе больше всех достается.

— А как ребята?

Жанна улыбнулась.

— Ожили. Так рвутся помогать, что хоть специально для них работу выдумывай. А ты еще что-нибудь нашел?

Дмитрий промолчал, вглядываясь в бумаги.

— Пей кофе, а то остынет.

— Сейчас... Что ты так смотришь?

— Я так боялась за тебя, когда это случилось, — тихо сказала Жанна.

— За меня?

— Да.

— А теперь?

— Тоже, но уже не так... Мне уйти?

— Иди. Перед проверкой пятого шага позовите меня.

— Хорошо.

Когда его позвали и он, войдя в «штаб», увидел оживленные, довольные лица, ему стало не по себе. «Как-то они перенесут это? Не слишком ли много потрясений для одного дня?»

— Вот, — показала ему Таня новые решения. — Можно поточнее подобрать коэффициенты, но и этого достаточно. Мы подсчитали — дополнительная погрешность не больше трех десятых.

— Хорошо, — сказал Дмитрий и положил листки на стол.

— Можно начинать проверку?

— Нет.

— Нет? — удивилась Таня. — Почему?

— Она ничего не даст. Результат будет тот же самый.

Стало тихо. Дмитрий сел в кресло и полез за сигаретами, стараясь ни на кого не смотреть.

— Что это означает? — спросил Мелентьев.

— А то, — вздохнул Дмитрий, — что на пятом шаге функция Ханкеля не выходила из области верных значений.

— Откуда ты знаешь? — спросил Ольф, нервно поводя головой. — Ты же не мог посчитать этого вручную.

— Это не обязательно. Вот смотрите.

Он показал им замысловатый график и пояснил, как делал его. Они долго разбирали его, дотошно считали узловые точки, и наконец Мелентьев сказал:

— К сожалению, ты прав.

— А если мы все в чем-то ошибаемся? — с надеждой спросил Ольф. — Редкий случай массовой слепоты, а? Может, все-таки пересчитать?

— Читайте, — тут же согласился Дмитрий.

— Чего считать, только время зря расходовать... — начал было Мелентьев, но Дмитрий остановил его:

— Пусть. Двадцать минут нас все равно не спасут.

Ольф сердито посмотрел на них, подумал немного и решительно сказал:

— Идем, Татьяна, авось и утрем нос этим корифеям.

Пришли они через полчаса, и их даже не стали спрашивать, как прошла проверка. Ольф швырнул папку с бумагами на стол и повалился в кресло.

— Слушай, Димка, а давно ты эту кривульку сочинил? — он брезгливо показал сигаретой на график.

— Порядком.

— А почему сразу не сказал? — накинута на него Ольф. — Чего ради мы мозги себе ломали, программу переделывали?

— Ты же все равно не поверил бы, — сказала Жанна.

— А, — отмахнулся Ольф. — Что я, совсем кретин?
— Не кипятись, — мирно сказал Дмитрий. — Программу все равно пришлось бы переделывать.
— Почему?
— В конце концов функция Ханкеля должна попасть и в переделанную вами область. По моим расчетам, где-то в районе пятьдесят второй итерации.
— О господи, когда-то это будет...
— Завтра утром, часиков в девять, — спокойно сказал Дмитрий, взглянув на часы. — А точнее, уже сегодня.
Было десять минут первого.
— А что теперь делать? — робко спросил кто-то.
— Ужинать. Кто как, а я хочу есть.

55

А что, если они ищут не там, где нужно? Не слишком ли он уверовал в безошибочность своей идеи?

Сейчас это был опасный вопрос. Очень опасный и совершенно бесполезный — ведь останавливать эксперимент все равно уже поздно.

И все-таки Дмитрий задал себе этот вопрос, хотя и заранее знал, каким будет ответ. Нет, не слишком. Да к слову «верить» такие оценки и неприменимы — можно или верить, или нет, середины быть не может. И он верил, и это была не слепая вера, а убеждение, подкрепленное сотнями страниц расчетов. Вот почему он не колеблясь решил продолжать эксперимент. Потому что прекратить его — значило бы отказаться от уверенности в своей правоте, а он знал, что этого нельзя допускать. Сомнения хороши лишь на определенной стадии исследований. Но рано или поздно в любой работе наступает момент, когда нужно сделать окончательный выбор: или — или. Или твоя идея верна — и тогда прочь все сомнения. Или неверна — и тогда надо отказываться от нее. Дмитрий знал, что многие работы не доводились до конца только потому, что такой выбор не был сделан. Он и сам прошел через это пять лет назад и очень хорошо представлял, что могло получиться сейчас, откажись он от продолжения эксперимента. Дело даже не в трех-четыре месяца ожидания, хотя они неприятны и сами по себе, особенно для ребят. Страшнее было бы другое — сомнение, как злокачественная опухоль, неминуемо даст свои ростки. Тут же появится второе, третье, десятки других сомнений, и в конце концов этот груз оказался бы непосильной ношей для всех и для него самого тоже. И вполне могло случиться, что они так и не нашли бы ошибку. Возможно, не хватило бы данных. Или — уверенности в том, что эту ошибку вообще можно найти. А в конце концов они могли бы прийти и к мысли, что дело не в какой-то частной ошибке, а в порочности главной идеи. И это была бы катастрофа.

А Мелентьев и даже Дубровин говорят, что риск слишком велик. Еще бы не велик, трудно даже представить, что будет, если эксперимент закончится неудачей. Но ведь любое исследование — всегда риск. Иногда больше, иногда меньше, но всегда! Рискнешь потерять годы в погоне за призраками, рискнешь взяться за неразрешимую проблему, рискнешь, доверяя выводам других, рискнешь тем, что задача окажется тебе не по силам... И если не быть готовым к риску, незачем вообще браться за исследования, потому что рано или поздно, а чем-то рисковать все равно придется.

Но почему он так решительно отбросил возможность технической ошибки? Ведь кроме его группы в эксперименте участвовали десятки людей — конструкторы, химики, механики, он даже в лицо не всех знал. Могло, например, быть и так, что в мишенях оказались недопустимые примеси. Или неполадки в жидкостной водородной камере... Да мало ли что могло случиться в этом сложнейшем аппаратном комплексе?

Могло, конечно. Но он верил экспериментаторам. Это тоже был риск, хотя и незначительный, — на ускорителе превосходные специалисты, и технические ошибки

случались там крайне редко.

Оставалось одно — искать ошибки в математическом аппарате. Да и теоретически это было наиболее уязвимое место. Предварительные проверки не могли дать полной гарантии, что в условиях реального эксперимента математический аппарат сработает так же надежно, как на «тренировке». Значит, надо продолжать поиски именно здесь...

Настроение у всех было отчаянное. Они исподтишка посматривали на Дмитрия, а он делал вид, что не замечает их взглядов. И тоже молчал, как они. А что он мог сказать? Какие-то банальные бодренькие слова? Ну нет...

Сказал он другое:

— Вот что, ребята. Покурите — и давайте-ка разбежаться. Пусть останутся человека два-три, остальные — спать.

Спать?! Вот дает наш начальник. Неужели всерьез?

— Я неясно выразился? — Дмитрий посмотрел на них.

— Значит, спать? — спросил Лешка Савин.

— Вот именно, спать.

— А вы комик, Дмитрий Александрович! — брякнул Савин.

— Почему же? — улыбнулся Дмитрий. — Я совершенно серьезно. Кто знает, сколько еще работы нам предстоит, и надо, чтобы вы были в форме. Хотя бы часть из вас.

— Понятно, — уже серьезно сказал Савин. — А кто должен остаться?

— А это уж вы сами решайте.

После минутного препирательства решили, что останутся Савин и Воронов, остальные нехотя побрели в свои комнаты.

— Ну а мы, — сказал Дмитрий, — давайте мыслить дальше. Соображения есть какие-нибудь?

Соображений не было.

Ольф, пристально вглядываясь в Дмитрия, потребовал:

— Давай, вождь, выкладывай, я же вижу, что у тебя за пазухой что-то есть. Кошелек или камень?

— Этого я пока не знаю.

— Но что-то есть?

— Да.

— Валяй, — милостиво разрешил Ольф и царственным движением склонил голову.

— Кто занимался проверкой уравнений на неустойчивость?

— Все понемногу, и ты тоже, кстати.

— Я помню.

— А что именно тебя интересует?

— Все.

Ольф с сомнением посмотрел на него и стал рыться в бумагах, приговаривая:

— Это мы ш-шас, кашатик, в один момент шпроворим...

Ольф дурачился, гримасничал, по-старушечьи пришепetyвал и держался гораздо спокойнее, чем раньше.

Через минуту он подал Дмитрию бумаги и небрежно заметил:

— По-моему, это не та степь.

— Та не та, а съездить в нее не мешало бы. Ты что думаешь? — обратился Дмитрий к Мелентьеву.

Тот неопределенно пожал плечами:

— Смотри сам... Я просто не вижу, что там может быть. Мы же тогда все проверили.

Дмитрий посмотрел на Жанну — взгляд у нее был откровенно беспомощный.

— А какие у тебя основания подозревать неустойчивость? — спросил Мелентьев.

— Довольно слабые, — признался Дмитрий. — А навело меня на эту мысль вот какое соображение: оба выброса — с изрядной, правда, натяжкой — почти симметричны относительно этого изгиба. Смотрите...

— Ничего себе «почти», — недовольно заметил Ольф. — Натяжка-то чуть ли не полста процентов.

— Не полста, а всего около тридцати.

— Уже подсчитал?

— Да, прикинул... Натяжка, конечно, недопустимая, если бы не одно обстоятельство: из двух уравнений симметрично только одно, вот это, — он показал, — относительно тау.

— Ну и что? — наморщил лоб Мелентьев.

— А то, что эти тридцать процентов могут объясняться вкладом второго уравнения.

Мелентьев молча придвинул к себе листки и стал что-то писать. Ольф и Жанна смотрели на уравнения, и Ольф наконец сказал:

— Не понимаю, почему так может быть.

— А ты смотри на те переменные, которыми отличаются уравнения. По моим подсчетам, тэта и кси во втором уравнении должны давать больший вклад в суммарный рост функции, чем сигма и пси в первом. Этим и может объясняться несимметричность выбросов.

— Доводы действительно шаткие, — сказал Мелентьев, — но в этом что-то есть.

— Ну, допустим, вы правы, — сказал Ольф. — Но тогда почему эта неустойчивость не обнаружилась при проверке?

— Чего не знаю, того не знаю... С каким шагом проверялись уравнения?

— Одна сотая, — сказала Таня. — Ольф говорил, что это даже меньше, чем нужно по вашим теориям.

— А наша теория гласит, что достаточно восемнадцати тысячных, — хмуро пробурчал Ольф. — Вот, смотрите сами.

— Смотреть не будем, — взглянул на него Дмитрий. — Я и не сомневаюсь, что все сделано правильно... по теории.

— Что, теория неверна?

— А ты этого не допускаешь?

— Этими методами проверки пользуются уже десятки лет.

— Но и группы неустойчивых уравнений постоянно расширяются, — вмешался Мелентьев. — Так же, как, впрочем, и методы проверки.

— Так что, попытаемся здесь? — спросил Дмитрий.

— Попытка не пытка, — неопределенно сказал Ольф.

— Надо сделать, — решительно поддержал Дмитрия Мелентьев. — Чует мое сердце, что тут мы кое-что выудим.

— Ну, еще бы, — поддакнул Ольф. — Например, кильку. Или тюльку. Бирюльку. Сюсюльку.

— Ну, хватит! — прервал его Дмитрий. — Так что, поедем в эту степь?

— Поехали, Матильда. — Ольф потянулся и пропел: — Эх, да погоняй коней ретивых, черны гривы по ветру... — Он на минуту запнулся и закончил: — Эх, да нам начхать на все заливы, мы поедем в степь вон ту... Экспромт. Собственного сочинения.

— Оно и видно, — неодобрительно покосилась на него Жанна.

Ольф продолжал дурачиться:

— Все бы тебе хиханьки, все бы тебе хаханьки, а как времечко придет — будут тебе оханьки... Ымпрывызаця.

— У тебя еще что-нибудь есть? — спросил Дмитрий.

— У меня? Сколько угодно... — Он на секунду задумался и выдал:

Неустойчивость
Мы — настойчивостью!
Мы — разбойничий
Раз...

— ...а дальше нецензурно.

— Перестань дурака валять, — сердито оборвала Жанна.

Но Ольфа это не смутило.

— Хоть бы посмеялись, что ль, — возмутился он. — Чудаки! Ведь пять граммов смеха заменяют килограмм мяса... Все, молчу, молчу. — Он испуганно втянул голову в плечи под взглядом Жанны и аккуратно, как первоклассник, сложил на столе руки и с серьезной, вытянувшейся физиономией уставился на Дмитрия, с безмерным почтением в голосе проговорил: — Мэтр, я весь внимание...

Таня зашлась в приступе смеха, не выдержала и Жанна. Дмитрий, сам едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, сказал Ольфу:

— Слушай, убирайся отсюда. Иди погуляй минутку, а то мы не остановимся.

Ольф сокрушенно покачал головой и с обидой прошамкал — у него даже рот как будто по-старушечьи провалился:

— Людям всю жизнь добро делаешь, а оне, неблагодарные, на улицу выгоняют, корки хлеба им жалко...

Он с трудом поднялся — казалось, что вот-вот развалится прямо на глазах, — и зашаркал к двери.

— Ой, не могу, — застонал Савин, и весь «штаб» еще минуты две сотрясался от хохота. И только стук «Консула», выдавшего результаты очередной итерации, привел их в себя.

Вернулся Ольф, по-настоящему серьезный, деловито сообщил:

— Первое отделение концерта окончено... Ну-с, что мы будем делать со своими подозрениями?.

— Давайте подумаем, — сказал Дмитрий. — Программа проверки на неустойчивость сохранилась?

— Конечно, — сказала Таня. Она явно избегала смотреть на Ольфа, и уголки ее губ подозрительно подрагивали.

— Шаг изменить сложно?

— Ну, это пустяки.

— Тогда давайте его дробить.

— На сколько?

— На сколько? — задумался Дмитрий. — Этого я не знаю... А ширину пиков нельзя измерить?

Таня, не задумываясь, сказала:

— Очень сложно. Надо новую программу составлять.

— Тогда решайте сами, я в этом не очень-то разбираюсь.

— Надо взять сразу одну тысячную, — предложил Мелентьев. — Ловить, так наверняка.

— Это займет много времени, — сказала Таня.

— А именно?

— Сейчас прикину.

Таня подсчитала на бумажке и с сожалением вздохнула:

— Часов восемь, не меньше.

— А сколько у нас осталось?

— Меньше четырех.

— Можно, конечно, увеличить шаг, — сказал Мелентьев, — но нежелательно.

— Будем просить у Ольховского? — предложил Ольф.

— Подождите, — сказал Дмитрий. — А нельзя ли попытаться сначала выделить наиболее подозрительные участки? Они же наверняка найдутся.

— А это идея, — подхватил Мелентьев. — Давайте-ка прикинем.

Минут через сорок они отобрали три таких участка. Таня сказала, что для их проверки хватит и трех часов.

— Тогда — с богом, — сказал Дмитрий.

— А с какого начинать?

— С любого. Какой больше понравится. Или не понравится. А мы пока вздремнем, — предложил Дмитрий и устроился в кресле. — А, корифеи?

«Корифеи» не удостоили его ответом — до сна ли тут? И очень удивились, увидав, что Дмитрий и в самом деле заснул. «Корифеи» переглянулись, Мелентьев только головой покачал, Жанна вздохнула, а Воронов вполголоса сказал:

— Вот нервы у нашего вождя...

56

Дмитрию снилось землетрясение. Он видел себя, сидящего в кресле, среди высокой каменной пустыни, мощные подземные толчки сотрясали его, камни угрожающе дыбились, медленно двигались, с грохотом сталкиваясь друг с другом, кресло скрипело, ноги мелко подрагивали. «Асса!» — вдруг взревело откуда-то сверху, и «вождь» проснулся и понял причину землетрясения. Причиной могла быть только победа.

Победа заставляла неистовствовать Ольфа и Лешку, они заняли середину «штаба» и отплясывали какой-то немислимый танец. Твист, чечетку, шейк? Всего тут хватало — Даже, пожалуй, пляски святого Витта. Ольф плясал стремительно, его руки и ноги образовывали живой, неуловимо мелькавший клубок, взрывающийся хлопаньями и дробным перестуком каблучков. Лешка, как видно, вообще не умел танцевать. Его огромные туристические ботинки с блестящими подковами неутомимо грохали в пол, словно пытались проломить его, и в такт этим слоновьим па плясали стаканы на столе и пустые бутылки. Мелентьев курил и улыбался, Таня беззвучно давилась хохотом, Воронов пил воду прямо из графина и косил веселым блестящим глазом на танцующих.

— Асса! — снова взревел Ольф, заметив, что Дмитрий проснулся, и кинулся к нему. — Лешка, подымай!

И не успел Дмитрий сообразить, что они собираются делать, как Ольф и Лешка схватили его кресло и вздернули вверх. Дмитрий спрыгнул и молча покрутил пальцем у виска.

— Димка! — орал Ольф. — Эввива! Банзай! Ты гений! Мецтакахубербиллер! Пик-то вот он, аззакатандер! Точно такой же, как на графике! М-ма! — Ольф смачно облобызал лист с решением и сунул Дмитрию.

Тот посмотрел на решение и спокойно сказал:

— Вот и отлично, можно ехать дальше.

— Кретин! — завопил Ольф, трагически воздев руки к потолку. — Растакудыттер! Тебя в паноптикум, в долговую яму, в невесомость, в разбазараздер! Можно! Нужно! Должно! Других слов ты не знаешь?! Гр-р-ры-ы! — зарычал Ольф, не в силах выразить свое возмущение. — Уз-зы его! Смотрите на его рожу! Это же покойник! Покойник! Отстойник! Аб-бр-ре-виатур-р-ра! — даже зубами заскрежетал Ольф.

— Дайте ему воды, — улыбнулся Дмитрий.

— Воды?! — рассвирепел Ольф. — Водки! Спирту! Нефти неочищенной! Мазут! Где мазут, дайте сюда мазут! Я буду лакать его, ать, мать, бать!

Лешка тем временем тихонько направился к двери, но Дмитрий остановил его:

— Ты куда?

— Так... это самое, Дмитрий Александрович... ребятам надо сказать.

— Подожди.

— Они же все равно не спят.

— Да что ты слушаешь этого параноика! — вышел из себя Ольф. — Гони что есть духу! Пусть рвут сюда сломя голову! Головы новые привинтим! Дуй, валяй, бей!

Но Лешка уже и так выскочил в коридор, а Ольф плюхнулся в кресло и шумно вздохнул:

— Фу, мать моя владычица... А в самом деле, дайте-ка водицы испить.

Но графин был пуст. Ольф изумленно повертел его в руках и захохотал:

— Он же только что полный был! Ворон, ты что, все выхлебал?

— Да вроде бы, — неуверенно поморгал длинными девичьими ресницами Воронов.

— Вот это финт, я понимаю... Вот это жажда...

Ольф вдруг заметил Жанну, сидевшую в уголке, и осекся. Медленно поднялся с кресла и пошел к ней:

— Жан, да ты что, никак плачешь? А ну-ка...

Он легко поднял Жанну вместе со стулом и вынес на середину комнаты.

— Вот она, возьмите ее за рупь двадцать. Все радуются, а она плачет!

— Я тоже... от радости, — сквозь слезы улыбнулась Жанна.

— Ну, это другой коленкор... А вот и наше племя несется. Вождь, приготовиться!

«Племя» действительно неслось сломя голову. Оно, сотрясая двери, с грохотом влетело в «штаб» и окружило Ольфа, размахивающего листом с решением, как знаменем.

— Братья славяне! — орал Ольф. — Мы спасены! Аллилуйя! Осанна!

И хотя трудно им было что-то разглядеть на этом листе, да и не просто разобраться в густой вязи цифр, но они уже знали от Савина, что ошибка найдена, а вид Ольфа подтверждал это лучше всяких слов. И они толкались вокруг него, смеялись; но шум этот как-то уж очень быстро стал прекращаться — и совсем затих. И чей-то неуверенный голос спросил:

— Дмитрий Александрович, это правда?

— Что? — Дмитрий поднял голову — он небрежно перебирал листки на столе, искал что-то.

— Что нашли ошибку?

— Да.

Они почему-то продолжали молча смотреть на него, и Дмитрий шутливо спросил:

— А что вы так смотрите? Может, у меня нос в чернилах?

Рассмеялись, но не слишком энергично, и стали рассаживаться.

— Давайте думать, как убирать неустойчивость, — сказал Дмитрий и посмотрел на Мелентьева. — Как думаешь, это сложно?

— Не очень. За час справимся, — уверенно сказал Мелентьев. — У меня уже есть мыслишка.

«Мыслишка» Мелентьева попала в точку — проверка на машине показала, что неустойчивость исчезает.

— Ну что ж, — сказал Дмитрий, — пересчитаем, благословясь.

Ольф, ухватившись за его последнее слово, тут же принялся благословлять Таню. Он осенил ее широким крестом и с чувством сказал:

— Отыди, женщина, в свое предназначение и принеси нам весть добрую, великую, благодатную. Мир с великим и невозможным нетерпением ждет тебя...

И мир дождался. В машинный зал их не пустили — там были только Ольф и Таня, — и они ждали в коридоре перед дверью. И когда дверь наконец открылась и показалась Таня, а за ней и Ольф, держа поднятый вверх большой палец, кто-то шепотом сказал:

— Ура.

И тихо повторили за ним:

— Ура.

И кто-то в одиночестве закончил:

— Ура.

И второй пик после пересчета исчез — как и не бывало его. Когда они стояли вокруг кульмана и смотрели, как Дмитрий наносит его на график, Костя Мальцев с изумлением сказал:

— Братцы, а ведь излом тоже получился... Смотрите!

Об этом главном, ради чего проводился эксперимент, они совсем забыли — неустойчивость заслонила все. И сейчас, не веря себе, смотрели они на два крестика, круто изогнувших плавную до сих пор кривую.

— А кто наносил их на график? — спросил Польшин.

— Я, — сказал Дмитрий.

— А почему же сразу не сказали? — даже рассердился Мальцев.

— Опасался за целостность перекрытий, — неловко попытался отшутиться Дмитрий, но шутку не поддержали, и он подосадовал на себя: «Надо было сказать... Что они так смотрят? Обиделись?»

Были в их взглядах и обида, и недоумение, и — как ни странно — что-то вроде жалости и сочувствия к нему. Эта жалость явственно промелькнула в глазах Игоря Воронова — он сразу отвел глаза, когда Дмитрий посмотрел на него, — а Дина Андреева прикусила губу и с таким страдальческим непониманием глядела на него, что Дмитрий окончательно смешался: «Почему они так?»

Майя Синицына боязливо спросила:

— Дмитрий Александрович, а теперь... все в порядке?

— Конечно, — чуть-чуть удивился Дмитрий. — Вы же сами видите.

— И никаких... неприятностей не будет?

— Думаю, что нет. Самые сложные этапы уже закончились. Так что можете спокойно дожидаться конца... и веселиться.

Но они и не думали веселиться. То ли израсходовали все веселье на победу над неустойчивостью, то ли что-то останавливало их. Может быть, его непонятное, ничем не объяснимое равнодушие к успеху?

Потом Жанна говорила ему:

— Ты знаешь, почему я тогда заплакала? Нет, не от радости. Я посмотрела на тебя и подумала, что у тебя что-то случилось. Это было так неожиданно... Хотя Ольф как-то и говорил мне, что ты не любишь показывать свою радость, но ведь тут другое было. А потом, когда ребята увидели, что излом получился, они просто не могли понять, почему ты сразу не сказал им и совсем не радуешься этому. По-моему, они до самого конца эксперимента думали, что ты что-то скрываешь от них, потому и сами не очень-то обрадовались. Глядя на тебя, никак нельзя было подумать, что все самое трудное позади.

— Что, такой несчастный вид был у меня?

— Не несчастный, конечно, а... неестественный, что ли. Я не знаю, как сказать. Во всяком случае, все поняли, что у тебя что-то неладно. И сначала думали, что это относится к эксперименту. То есть мне так кажется, — сказала Жанна и посмотрела на него так, словно ждала его объяснений.

Дмитрий промолчал.

57

А был ли он рад успеху?

Конечно. Но его радость не шла ни в какое сравнение с радостью других. Дмитрий сам в первую минуту удивился этому и тут же нашел объяснение: а чего особенно прыгать-то? Случилось то, что и должно было быть. Но ведь другие прыгали... Еще раньше, когда узнали о том, что удалось найти ошибку. А ведь это еще и не было успехом — и все-таки они прыгали, кричали, танцевали, даже — он вспомнил Жанну — плакали... Или все дело в том, что он несравненно больше их был уверен в успехе? Чепуха какая-то...

Он не стал слишком раздумывать об этом. Но реакция группы на его поведение озадачила Дмитрия. Он видел, что даже Мелентьев не скрывает своего удивления. А во взглядах Ольфа и Жанны была явная тревога. «Вся рота шагает не в ногу, один поручик шагает в ногу», — усмехнулся Дмитрий, но тут же погасил усмешку и нарочито будничным тоном сказал, ломая неловкую тишину:

— Сварите кто-нибудь кофейку, что-то устал я.

Он действительно очень устал и вялой походкой пошел к креслу. Пусть думают, что все дело в этом. Но они не очень-то поверили ему. То есть не тому, что он устал, — не

поверить этому нельзя было, — а что все дело только в усталости, и тревожились за исход эксперимента. А он больше не подходил к кульману и даже не спрашивал о результатах. Но и эта уверенность воспринималась теперь, пожалуй, тоже как равнодушие. Они не понимали его.

Утром Дмитрий позвонил Дубровину и коротко рассказал о том, что было.

— Поздравляю, — сказал Дубровин.

— Спасибо.

— А что это голос у тебя... осенний?

— Да так...

— Теперь, насколько я понимаю, самое страшное позади?

— Как будто.

— Не слышу должного энтузиазма... Устал, что ли?

— Да.

— Постарайся уснуть. К концу приеду. Передай всем мои поздравления.

— Хорошо.

Дмитрий положил трубку и сказал:

— Алексей Станиславович шлет вам свои поздравления. — И, глядя на сразу оживившиеся лица, добавил: — Теперь, надо полагать, вы немного успокоитесь?

— Идите спать, Дмитрий Александрович, — сказал Воронов.

— Пойду, — тут же согласился Дмитрий.

И он ушел к себе в кабинет. На диване кем-то заботливо были положены подушка, аккуратно свернутый тяжелый плед, рядом, на стуле, стояли бутылки с лимонадом и нарзаном, до блеска вымытая пепельница, лежали сигареты и спички. А на столе — цветы. От неожиданной этой заботливости Дмитрий почувствовал себя неловко. «Ну, это уже зря», — подумал он и оглянулся: ему показалось, что по коридору кто-то тихо прошел. Он лег и быстро уснул.

Разбудил его Дубровин. Дмитрий, поднимаясь, качнулся тяжелой головой вперед, отвернул лицо от яркого света за окном.

— Нехорошо спишь, — сказал Дубровин. — Дергаешься весь, стонешь... Снилось что-нибудь?

— Не помню, — пробормотал Дмитрий и осторожно провел руками по лицу — почему-то болели глаза и лоб.

— Иди умойся, — сказал Дубровин.

— Сейчас... Вы были там?

— Да. Все в порядке. Осталось пять итераций.

— Так мало?

— Да ведь уже первый час. — Дубровин внимательно посмотрел на него. — Когда ты лег?

— Часов в семь, что ли, — неуверенно сказал Дмитрий.

— Двадцать минут восьмого ты звонил мне.

— Разве? Значит, позже.

— Ладно, иди умывайся.

Дмитрий нетвердыми шагами — после тяжелого сна его покачивало — пошел в туалет, сунул голову под кран и долго держал так. От холодной воды боль внутри лба улеглась, но поворачивать глаза было все еще трудно. Он посмотрел на себя в зеркало — белки налились кровью, взгляд был мутный. «Заболеваю, что ли? — огорченно подумал он и вздохнул. — Как некстати...»

Когда он вернулся, Дубровин окинул его пристальным взглядом и сказал:

— Надо бы тебе врачу показаться.

— Здоров я, — буркнул Дмитрий, открывая бутылку с лимонадом. — Вы будете?

— Нет.

Дмитрий выпил и жадно затянулся сигаретой. Дубровин продолжал бесцеремонно

разглядывать его и неодобрительно качнул головой.

— Все-таки сходи, пусть посмотрят тебя.

— А, — отмахнулся Дмитрий, но Дубровин рассердился:

— Не акай, ноги не отвалятся. Твое геройство никому не нужно. И не заставляй меня еще раз напоминать тебе об этом.

Помолчали. Дубровин, постукивая пальцами по столу, нерешительно сказал:

— Надо бы побыстрее обработать и подготовить публикацию, но с этим, в случае чего, и без тебя справятся. Так что, если скажут, чтобы ехал куда-нибудь, — поезжай.

— Да куда мне ехать? — с досадой сказал Дмитрий. — Закончим все, дождусь Асиного отпуска — тогда и поедем.

— А врачу все-таки покажись. Сейчас.

— Я уже сказал — схожу, — с раздражением повел плечом Дмитрий. — Да и с чего вы взяли, что я так уж нуждаюсь в этом? Просто скверно спал — только и всего.

— Нет, не только, я вижу... Да и другие не слепые.

— Уже накапал кто-то?

— Экий ты... — Дубровин поморщился. — Кое-кого очень беспокоит твоё состояние, и я могу только приветствовать такое беспокойство.

— Я пока еще вполне вменяем, и хватит об этом, — сердито сказал Дмитрий, прикидывая, кто мог пожаловаться Дубровину: Ольф, Жанна? Наверняка кто-то из них. Не Ася же, конечно, — она никогда не вмешивалась в его дела, связанные с работой. (А во что она вообще вмешивается?)

— Хватит так хватит, — согласился Дубровин и, улыбаясь, спросил: — А знаешь, с кем я приехал сюда?

— С кем? — безразлично осведомился Дмитрий.

— С Шумиловым.

Дмитрий удивленно взглянул на него:

— А что ему понадобилось здесь в воскресенье?

— Не знаю, — уклончиво ответил Дубровин. — Он позвонил мне утром и спросил, не знаю ли я, как у тебя обстоят дела. Я сказал, что все в порядке, и нельзя сказать, чтобы это его огорчило. Скорее наоборот...

— Даже так, — невнятно сказал Дмитрий.

— А когда я сказал, что собираюсь поехать к тебе, он предложил подвезти. — Дмитрий промолчал, и Дубровин продолжал: — По-моему, он хочет поговорить с тобой. Как ты на это смотришь?

— Вообще-то надо бы... Он у себя?

— Да.

— Пойти сейчас?

— Как хочешь.

Дмитрий подумал немного — и отказался:

— Нет, потом.

— Ну, пошли тогда к ребятам.

В «штабе» была атмосфера будничной усталости — дремали в креслах, вяло переговаривались, лениво дымили сигаретами, позевывали. Теперь, кажется, уже все были уверены в успехе эксперимента.

Дмитрий подошел к кульману. Кривая строчка синих крестиков цепочкой куриных следов послушно тянулась за красными точками. Оставалось всего три итерации. Вообще-то говоря, вполне можно было обойтись и без них. Дмитрий предлагал брать всего шестьдесят точек, продолжительность эксперимента сократилась бы на два часа, но его не поддержали — ни свои, ни в Ученом совете. Избыточная защита — так это называется. Или — защита от «дураков». «Дураки», а точнее, просто чересчур осторожные люди могли оказаться везде. Приходилось на всякий случай защищаться от них.

Тихо подошла Жанна, молча встала рядом с ним — и вдруг легонько погладила его по

руке. Дмитрий улыбнулся ей и спросил:

— Устала?

— Очень. А ты спал?

— Как младенец.

58

И вот сейчас, когда его спросили, как он спал, и все почему-то смотрели на него, словно им очень важно было знать это, — не смотрела только Ася, она разделявала курицу, — он чуть не сказал: «Как младенец». Но, взглянув на Жанну, сказал другое:

— Нормально. — И скомандовал на другой конец стола: — А ну, наливайте там!

— Да налито уже!

— Тост, Дмитрий Александрович!

— Тост! — требовало застолье.

— Тосты по части Ольфа, — отмахнулся Дмитрий. — Он вам сейчас такое загнет, что полдня будете разбираться, что к чему.

— Ах так! — рассердился Ольф. — Тогда назло тебе ничего не буду загибать. Сам говори, посмотрим на твое ораторие!

— И я не буду.

— Нет, Дмитрий Александрович, тост!

— Не умею я, так пейте.

— Тост!

— Ну хорошо, — сдался Дмитрий. — Всего три слова. За нашу удачу!

И он торопливо выпил, забыв чокнуться. За столами недовольно зашумели:

— Мы не чокнулись!

— Так не пойдет!

— Налейте ему еще!

— Вот недотепа! — ругнулся Ольф. — Да закуси хоть!

— Я же говорил вам — не умею, — расстроился Дмитрий, глядя, как ему снова наливают. — Сами говорите.

— Можно мне? — сказала Майя.

— Можно!

— Давай, Майя!

— Реки, богиня плодородия!

Майя вышла из-за стола и зашептала что-то на ухо Асе. Та, улыбаясь, кивнула. Майя подошла к Дмитрию, стала рядом и повернулась к столу.

— Я предлагаю выпить... конечно, и за нашу удачу, но в первую очередь за того, кому мы обязаны ей... За вас, Дмитрий Александрович!

Майя поставила рюмку на стол — и вдруг обняла Дмитрия и поцеловала его.

— Браво, Майка!

— Вот это тост!

— Молодчина!

— За вас, Дмитрий Александрович!

Тянулись через стол руки; гремя стульями, вставали из-за дальнего конца стола, шли к нему, тонко звенели рюмками:

— Будьте здоровы, Дмитрий Александрович!

— Многая лета!

— За вас!

Смотрели на него признательными, почти влюбленными глазами, говорили добрые, ласковые слова.

Он, растерянно улыбаясь, молча выпил, постоял, крутя рюмку в пальцах; кто-то взял ее у него, поставил на стол.

— Да-да, — почему-то сказал Дмитрий, оглядывая всех, и, торопливо нашарив спинку стула, сел, быстро сказал: — Да садитесь вы, ешьте, а то опьянеете.

— Сегодня можно, — засмеялся Савин.

— Сегодня все можно!

— Атлеты, налетай!

Налетели атлеты, только сейчас сообразив, что изрядно проголодались. Неверными от усталости и водки движениями тыкали вилками, толкали друг друга локтями — сидели тесно, в ход пошли даже детские стульчики из квартиры Ольфа — и говорили:

— Хорошо-с!

— Особенно после рюмашечки.

— А что это мы, братцы, так окосели?

— И вообще — хорошо-с!

— Смени пластинку, Савва.

— Братцы, а ведь отпуск скоро!

— Не торопись, коза, в лес, все твои волки будут.

— Надо еще обработать все.

— А долго это?

— Не знаю.

— Недели три, наверно.

— Надо у Дмитрия Александровича спросить. Дмит...

— Тихо, горлопан! Дай человеку поесть. Успеешь, все узнаешь.

— Тоже нашел когда спрашивать.

— А что, если всем вместе поехать?

— Идея! Только не на паршивый юг.

— Лиса, на скатерть ляпашь.

— Дина, дай селедочки, жажда одолела.

— Слушай, братва, а Дмитрий Александрович что-то очень уж невеселый.

— Устал...

— Да нет, не то.

— Да, тебе бы так... Мы, как щенки, повизгивали, а он...

— Да не о том я.

— Не лезьте вы к нему.

— Нет, братцы, что ни говори, а с начальником нам дико повезло.

— Это уж точно.

— Не дай бог, если бы Мелентьев был.

— Я бы с ним и дня работать не стал.

— Да куда бы ты делся? Работал бы как миленький.

— Тише вы! Услышит.

— Пусть услышит.

— А ведь он остановил бы эксперимент.

— Это уж как пить дать.

— А ты на его месте не остановил бы?

— Ну, я... Не обо мне речь. Дмитрий Александрович не остановил же.

— Так то Дмитрий Александрович... Нам до него ехать да ехать, пахать да пахать.

— Ольф говорил, что на эту идею он еще в университете наткнулся, на втором курсе...

— На третьем.

— Все равно. А что ты умел на третьем курсе?

— Тихо, Дмитрий Александрович будет говорить!

— Просим!

— Да тише вы!

Он действительно хотел говорить. Встал и, дождавшись тишины, медленно заговорил:

— Благодарю за все добрые слова, сказанные в мой адрес, но не могу принять их на

свой счет...

— Так не пойдет!

— А то снова придется повторить!

— Да тише, охломоны, дайте сказать! — ...не могу принять их на свой счет, — повторил Дмитрий. — Возможно, не все из сидящих здесь знают, что судьба нашей работы в самом зародыше висела на волоске, и тем, что этот волосок не оборвался, да и вообще — самим существованием нашей группы мы обязаны одному человеку, сидящему здесь. Человеку, которого я считаю своим учителем и чья неизменная поддержка не раз спасала нас от тяжелых неприятностей. Вы этой поддержки непосредственно ощутить не могли, но, поверьте, она была так велика, что... В общем, как вы, наверно, уже догадались, я предлагаю выпить за Алексея Станиславовича.

За столом неистово захлопали и потянулись к Дубровину:

— Алексей Станиславович, ваше здоровье!

Дубровин постучал вилок по бокалу и встал:

— Ну что ж, друзья, приятные речи приятно слышать. С вашего позволения, мне придется ограничиться этой бледной водичкой... — Он поднял бокал с нарзаном. — С удовольствием и благодарностью принимаю ваш тост, но сначала позвольте мне сказать несколько слов... Я действительно с самого начала, когда вас здесь еще и не было, — а говорю я в основном для вас, мои молодые коллеги, — наклонил голову Дубровин, — помогал Дмитрию Александровичу в его работе. И сейчас, когда эта работа закончена, мне приятно сознавать, что мои усилия вознаградились сторицей... Еще раз поздравляю вас со столь успешным началом вашей научной деятельности. Поверьте, очень немногим удастся начинать так внушительно... — Дубровин переждал взрыв радостного гула и продолжил: — Дмитрий Александрович только что говорил о моих заслугах и совершенно справедливо заметил, что вы не могли непосредственно ощутить моей поддержки. Это, так сказать, наши внутренние счета, и сводить их — наше личное дело...

Засмеялись, захлопали, Дубровин улыбнулся и продолжал:

— Должен сказать, что мой друг — а я считаю Дмитрия Александровича не столько своим учеником, сколько другом, товарищем по работе, — явно преувеличил мои заслуги. Я при всем желании не мог оказать ему столь внушительной помощи, как это можно заключить из его слов. Моя помощь имела в основном административный характер...

— И моральный, — вставил Дмитрий.

— Пусть так... Но все, что касается чисто научной стороны этой работы, — целиком ваше. А уж вам лучше судить, кто что сделал. Это уж ваши счета, и лавры извольте делить сами...

Очень не хотелось им расставаться, но время шло к двенадцати, и они разошлись.

Дмитрий, не раздеваясь, прилег на диване, решив дожидаться, когда Ася уберет на кухне и постелет. Но так и уснул одетым. Проснулся среди ночи, прошел в ванную и долго пил воду прямо из-под крана. Ася спала. Дмитрий постоял немного у ее постели и снова лег на диван. Раздеваться не хотелось, да и смысла не было — Асе через полтора часа вставать.

Но когда он проснулся, Аси уже не было. Не было даже записки.

59

Потом их поздравляли. Как говорил Ольф — оптом и в розницу... Самым значительным, конечно, было красочное поздравление от имени директора и Ученого совета, вывешенное у входа в институт на специальной доске. Такой чести удостоивались не многие. Потом стали приходить телеграммы из Москвы, Дубны, Новосибирска — от бывших однокурсников, от Калинина, от деканата физфака.

— Как это они так быстро узнали? — недоумевал Дмитрий, разглядывая телеграфные бланки.

— Наверно, Дубровин сообщил, — предположил Ольф.

Дубровин на вопрос Дмитрия хмыкнул и уклончиво ответил:

— Да кое-кому действительно говорил... — И уже серьезно пояснил: — Сообщение о вашем эксперименте было включено в «Экспресс-информацию». Так что я тут ни при чем.

— А кто же составлял его?

— Ваш покорный слуга. Вы недовольны? Кстати, у врача ты был?

— Нет.

— Почему?

— Некогда.

— Ах вот как, некогда... — Дубровин посмотрел на него, снял телефонную трубку и стал набирать номер. — Ну что ж, если тебе очень некогда... Олег? Здравствуй. Да, Алексей. У меня к тебе просьба. Надо посмотреть одного молодого человека. Кайданов, Дмитрий Александрович, я как-то говорил тебе о нем. Когда? Хорошо. Потом позвони мне. — Дубровин положил трубку и, сердито глядя на Дмитрия, сказал: — Завтра к пяти в тридцать четвертый кабинет; к Олегу Константиновичу Грибову. В регистратуру обращаться не нужно. Человек он деликатнейший, так что советую быть с ним пооткровеннее. Запомнишь или записать?

— Запомню, — буркнул Дмитрий и уныло подумал, глядя на Дубровина: «Придется идти...»

Увидев на двери тридцать четвертого кабинета табличку с надписью «психоневролог», Дмитрий рассердился на Дубровина и уже повернулся, чтобы уйти, но, подумав о том, что придется снова объясняться с Дубровиным, постучал в дверь, заранее решив, что ни в какие откровения с Грибовым пускаться не станет, будь тот человеком хоть трижды деликатнейшим. Но Грибов, тщательно осмотрев и выслушав его, стал задавать вопросы самые обыкновенные. Дмитрий нехотя отвечал на них, сумрачно смотрел перед собой в стол, готовый тут же пресечь всякие попытки вызвать его на откровенность. Но Грибов, видимо, понял его и, помолчав, сказал:

— Мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов, но, похоже, вы не склонны отвечать на них. Ну что ж, отложим пока...

— Пока? — Дмитрий поднял на него глаза. — Что значит пока?

Грибов, тщательно подбирая слова, мягко заговорил:

— Пожалуйста, не волнуйтесь, я не собираюсь выпытывать у вас то, о чем вы сами не захотите говорить. Но ваше состояние...

— А что мое состояние? — перебил Дмитрий. — Вы считаете, что я болен?

— Несомненно, — уверенно сказал Грибов.

— Чем же? — сузил глаза Дмитрий.

— Пока что ничего серьезного, но если немедленно не начать лечиться...

— Чем я, по-вашему, болен? — нетерпеливо переспросил Дмитрий.

— Во-первых, вы явно переутомлены... Вам, насколько мне известно, приходится много работать?

— Допустим... А во-вторых?

— Есть и во-вторых. Депрессия, которая одним переутомлением необъяснима.

— Чем же она, по-вашему, вызвана?

— Не знаю. И вряд ли узнаю, если вы не захотите мне помочь.

— Ну хорошо, — с усилием сказал Дмитрий. — Какие вопросы вы мне хотели задать?

Грибов испытывающе посмотрел на него.

— Для вас они, возможно, будут не слишком приятны, и если не хотите отвечать — не насилуйте себя. Разговор имеет смысл только в том случае, если вы будете откровенны.

— Спрашивайте.

— Какие у вас отношения с женой?

Дмитрий помолчал и, избегая взгляда Грибова, сказал:

— Пожалуй, я и в самом деле не готов к такому разговору.

— Хорошо, оставим, — сразу согласился Грибов. — А вы сами... ничего не хотите

сказать мне?

— Нет.

— Дмитрий Александрович, поверьте, что я хочу вам помочь. И не только потому, что Алексей Станиславович так озабочен вашим здоровьем. К сожалению, для опасений у него есть все основания. Естественно, что вы не хотите считать себя больным и надеетесь сами справиться со своим состоянием. Но это удастся далеко не всегда и не всем. Депрессия, случается, принимает крайне тяжелые формы и, если не принять никаких мер, может надолго вывести вас из строя.

— Что вы предлагаете?

— По возможности ничего не скрывать от меня и постараться откровенно рассказать о том, что вас угнетает. Не сейчас, я уже сказал, что не настаиваю на этом. Но, может быть, со временем у вас появится такое желание — тогда, прошу вас, придите ко мне, и мы вместе попытаемся разобраться...

— Хорошо, — нетерпеливо сказал Дмитрий. У него было одно желание — поскорее уйти.

— А пока, — продолжал Грибов, — непременно сократите ваши нагрузки. Лучше всего уехать куда-нибудь, отключиться от всех забот и как следует отдохнуть.

— Сейчас не могу, — сказал Дмитрий, решив не упоминать о том, что работает он сейчас и без того немного.

— Как знаете. Приказывать не могу, а советовать... советую настоятельно. Это в ваших же интересах.

— Разумеется.

Кончилось все тем, что Грибов прописал ему таблетки и Дмитрий, пообещав «зайти как-нибудь», ушел, удрученный разговором. Он и сам чувствовал, что заболевает. Тяжело и неохотно просыпался по утрам, уезжал в институт и сразу шел к себе в кабинет, но еще долго не мог заставить себя взяться за работу. Сначала к нему шли с вопросами, предложениями, ждали от него совета, а он порой никак не мог понять, что от него требуется. Потом хождения как-то сразу прекратились, — видимо, кто-то подсказал, что его лучше оставить в покое. И если и заходили, то лишь спросить, не пойдет ли он обедать, приносили кофе, — и на долгие часы он оставался один. И вечерние собрания в его квартире тоже как-то сами собой прекратились. Ольф и Жанна по-прежнему заходили, но ненадолго, сказать или спросить что-то нестоящее, не относящееся к работе. Все чаще охватывали Дмитрия приступы глубокой и острой тоски, накатывавшейся вдруг, беспричинно, — и несколько раз он ловил себя на том, что ему почему-то хочется плакать. Неотвязно мучили воспоминания — и почему-то все больше печальные, горькие: мать, Ольга... К приездам Аси он как-то пытался взбодриться, заранее глотал таблетки, приходило обманчивое успокоение, а вместе с ним вялость и сонливость. Но Ася, кажется, ничего не замечала, — да и сама она была измучена работой настолько, что большую часть времени проводила в постели. И оба инстинктивно избегали даже намеков на какой-нибудь значительный разговор.

«Почему так?» — поразился однажды Дмитрий, заметив, что уже полчаса бездумно стоит у окна, смотрит на темное холодное небо за стеклами — лето выдалось на редкость скверное, — и нет у него никаких желаний, совсем никаких. Разве что уехать куда-нибудь, где никто не знает его. Уже не впервые думал он об этом — удручали его недоумевающие, сочувствующие взгляды, раздражало непрощенное внимание. Думать-то думал, но как только представлял, сколько хлопот будет с предстоящим отъездом, что придется с кем-то объясняться, — и пропадало всякое желание ехать.

Нездоровье еще позволяло ему работать несколько часов в день, и Дмитрий, догадываясь, что скоро и этих часов может не быть, ежедневно садился за стол. Но странная была эта работа. То, что выводила его рука, что с готовностью подсказывал мозг, порой ему самому казалось бредом. Он помнил, что однажды с ним уже было такое, осенью шестьдесят третьего года. Тогда закачался весь мир знакомых уравнений и формул, стало вызывать сомнение любое элементарное явление, едва ли не каждая строчка простейших

математических выкладок. Но сейчас, когда он знает намного больше, когда позади значительная, уверенно проведенная работа, — откуда эти сомнения? Даже не сомнения, а твердое ощущение непрочности, недостоверности того, что установлено работами сотен тысяч людей... Откуда это, зачем? Порой он сам боялся того, что сейчас начнет писать. И все-таки садился и писал. А потом, в отчаянии оглядывая написанное, думал: «Что это? Неужели действительно схожу с ума? А если все это — правда и никто до меня не видел ее? Ну пусть не все, а только часть? Тогда — какая часть? Может быть, это? Или вот это?» Выбора сделать не удавалось, все казалось одинаково важным и значительным, хотя многое противоречило давно установленным физическим законам.

Сходить к Грибову? Но как объяснить ему свое состояние? И разве только в этом дело? «Какие у вас отношения с женой?» Он наверняка задаст этот вопрос, а что отвечать? Что он не знает, не понимает?

Он действительно ничего не понимал — ни своего отношения к Асе, ни, в еще большей степени, ее отношения к нему. Было лишь ясное ощущение того, что что-то изменилось. И теперь Дмитрий уже почти со страхом ждал ее приезда и думал иногда: лучше, если бы она сейчас не приезжала...

А в группе работа шла полным ходом. Дмитрий почти не принимал в ней участия. Его просто информировали о том, что сделано. Оставалось совсем немного, и теперь Дмитрия пугало уже другое — что дальше? Закончат обработку результатов, ну, еще на месяц разъедутся в отпуск, а потом? Он — руководитель группы, и в первую очередь ему придется решать, над чем работать дальше. А что он может им предложить? Одну из своих бредовых идей? Сообщить, например, что вся, или почти вся, ныне существующая теория элементарных частиц представляется ему в корне неверной и надо искать какие-то другие пути? То-то физиономии у них будут. Или предложить одну из тех куцых побочных идей, которые в изобилии появляются во всякой значительной работе? Но это же только отходы, и уж он-то сам в любом случае заниматься этим не станет...

60

В начале июня пришел к нему Мелентьев и сказал:

— Разговор есть, Кайданов.

— Садись.

Мелентьев сел, вытащил бумагу, медленными движениями развернул ее и положил на стол:

— Вот, читай.

Это было заявление об уходе.

Дмитрий несколько секунд молча разглядывал его.

— Самое сложное в обработке я сделал, — сказал Мелентьев. — С остальным Ольф справится.

Дмитрий, не поднимая на него глаз, кивнул, написал внизу «не возражаю», поставил число, подпись и только тогда спросил:

— Куда думаешь идти?

— Еще не знаю, — сказал Мелентьев, внимательно разглядывая его. — Наверно, в Москву вернусь... А ты, я гляжу, не очень-то удивлен.

— Нет.

Мелентьев усмехнулся.

— Считаешь, что так все и должно было кончиться?

— Вероятно.

— Вон как... — Мелентьев покрутил головой и полез за сигаретами. — Это почему же, если не секрет?

Дмитрий промолчал, устало подпер рукой тяжелую голову.

— И давно ты так думаешь? — продолжал допытываться Мелентьев. — Не с первого

же дня?

— Какая разница?

— Ну все-таки... Плохо ли, хорошо ли, а почти три года вместе отработали. Это же все-таки срок, и немалый. Что молчишь?

— А что говорить?

— Или — неподходящее время для разговора я выбрал?

— Пожалуй.

Мелентьев помолчал и жестко сказал:

— Может, и так, но когда-то мы еще увидимся... Хочется мне напоследок кое-что сказать тебе.

— Говори.

— Жаль, разговор в одни ворота будет... Ну, да ладно, и то хлеб. Так вот, Кайданов, если ты считаешь, что я уйду потому, что в наших с тобой стычках твою правоту признал, то — ошибаешься.

— Ничего я не считаю, — Дмитрий поморщился.

— Да? Уже хорошо, хоть и не совсем верится. Ладно, спишем это и на мою мнительность. Так вот, правоты за тобой признать не могу по одной причине — нет ее у тебя. Пока, по видимости, последнее слово за тобой осталось, но это только видимость. Рано или поздно и ты придешь к тому же, что и я, или застрянешь где-то в середнячках, хотя, возможно, я не совсем понимаю тебя, и все твоё благодущие и так называемая доброта — тоже одна только видимость.

Мелентьев помолчал, видимо ожидая возражений. Но Дмитрий коротко сказал:

— Я слушаю.

— Слушать-то слушаешь... Тебе что, совсем неинтересно, что я говорю?

— Откровенно говоря, не очень.

— Да? Ну, я все-таки скажу. Видишь ли, я вовсе не против доброты как таковой. Я и сам не считаю себя злым. Одного только понять не могу: когда эта доброта расплзается сопливой лужей и мажет все, что ни попадется. Когда доброта превращается в бесхарактерность, в безволие — а случается это сплошь и рядом, — это уже бедствие. На этом-то мы с тобой и разошлись.

— Разве?

— Ну а на чем же? Все твои выкрутасы с Шумиловым, с этими зелеными новичками — что же это, по-твоему? Или ты думаешь, что теперь я иначе смотрю на все? Ошибаешься. Я уже сказал, что твоей правоты в наших спорах с тобой не признаю. Правда, ты оказался не таким уж простым, как мне показалось сначала. Потому-то я и затеял этот разговор, что всего не понимаю в тебе.

— Чего именно не понимаешь? — вяло спросил Дмитрий.

— Да как-то нелогично действуешь ты... Сначала я думал, что вся эта возня с пацанами — от твоей слабости. Решил, что тебе захотелось на всякий случай популярность себе завоевать, так сказать, тылы обеспечить, чтобы дальше легче жилось. Ну а мне не нужно это, я никогда ни под кого не подлаживался. Я привык во всем на себя полагаться, и что твой либерализм мне не по вкусу пришелся — естественно. Я принимаю за аксиому, что люди делятся на умных и глупых, сильных и слабых, на талантливых и бездарных. Так было всегда, так есть и так будет. Это — биология, и никуда от нее не денешься. И каждый должен знать свое место и свои возможности. Нельзя допускать, чтобы глупые, слабые и бездарные пудовыми гирями висели на ногах умных, талантливых и сильных. Пользы от этого никому, в том числе и слабым, а вред — огромный. По-моему, это достаточно очевидно, Америки я не открыл.

— Да, тезисы не из свеженьких, — согласился Дмитрий.

— Надеюсь, обзывать меня нищеанцем и суперменом ты не станешь? — с иронией осведомился Мелентьев.

— Да нет, зачем же...

— Уже хорошо. Так, как думаю я, думают многие, но высказываться не решаются, потому что это считается неприличным. И действовать в соответствии с этими принципами тоже отваживается далеко не каждый. Ну а я вот — не боюсь.

— Потому что ты сильный, умный и талантливый, — без всякого выражения сказал Дмитрий.

— Да, — серьезно сказал Мелентьев. — И я не хочу, свои силы и талант тратить на пустяки. И уверен, что и ты не хочешь, — потому что и ты из той же породы. И ты меня не убедишь, что тебе приятно расходовать себя по мелочам.

Дмитрий покачал головой:

— Не собираюсь ни в чем убеждать тебя.

— А вот мне кое в чем хотелось бы тебя переубедить.

— Это в чем же?

— Ты — большой корабль, а плаваешь пока мелко. Вернее, не так глубоко, как мог бы. Сначала я думал, что все это из-за твоей мягкотелости, из нежелания трепать себе нервы, из-за стремления угодить и нашим и вашим. Но твое поведение во время эксперимента, откровенно говоря, удивило меня.

— Почему?

— Ты ведь очень многим рисковал. Вся твоя карьера могла к черту полететь. Чтобы решиться на такой риск, сила нужна немалая. Я попытался поставить себя на твое место и подумал: а я решился бы на это? Пожалуй, что и нет... Даже наверняка не решился бы, — признался Мелентьев. — И вот этакое... логическое несоответствие и удивляет меня в тебе.

— А может, дело тут не в логике? — усмехнулся Дмитрий.

— В чем тогда?

— Ты хочешь, чтобы я тебе объяснил?

— Да не мешало бы.

Дмитрий помолчал и вздохнул:

— Эх, Валерка, человек ты... Ничего я тебе не стану объяснять. Не сумею, да и вряд ли ты поймешь.

— Вон как...

— Это не в обиду тебе сказано... Просто мы люди разных миров. Ты моего мира не приемлешь, я — твоего, и объясниться нам трудно.

— А ты попробуй, — прищурился Мелентьев.

— Да что пробовать... Жалко мне тебя.

— Жа-алко? — с нескрываемым удивлением протянул Мелентьев, — Вот дожил... Впервые слышу такое.

— И плохо, что никому не приходило в голову пожалеть тебя, посочувствовать.

— А мне это и не нужно.

— А что же тебе нужно?

— Многое. И прежде всего — чтобы мне не мешали работать, дали возможность полностью проявить себя. Я думаю, что способен на многое... И многое сделаю.

— Возможно, — неохотно согласился Дмитрий. — Талантом тебя бог не обидел. Сделаешь...

— Тогда с чего это тебе жалко меня стало? — Мелентьев зло усмехнулся.

— А с того, что, видно, не так уж сладко тебе... в этой пустыне жить.

— В какой пустыне?

— Да в такой... из которой ты пытаешься бежать сейчас.

— Куда это я пытаюсь бежать?

— Куда — не знаю, а откуда — вижу.

— Интересно... И что же ты видишь?

— Да то, что вот уходишь ты — и ничего после тебя не останется здесь. Кроме работы, конечно.

— Мало этого?

— Этого, как видно, даже для тебя мало.
— На Жанну намекаешь?
— Не только. Уедешь — и ведь вряд ли найдется хоть один человек, который пожалеет об этом.

— Далась тебе эта жалость, — с досадой сказал Мелентьев. — Жил до сих пор без нее — и ничего, обходился. И дальше проживу.

— Да живи, кто тебе не дает.

И так явно прозвучало в словах Дмитрия желание поскорее закончить разговор, что Мелентьев, пристально поглядев на него, поднялся.

— Ну что ж, погутарили — и хватит. Видно, и в самом деле неудачное время я выбрал... Ты бы полечился, а то выглядишь неважно.

Дмитрий молча поднялся, протянул ему руку:

— Ну, счастливо.

— Может, когда еще увидимся...

— Конечно... Заявление отдашь секретарю Торопова, она все сделает.

— Знаю.

Дня через три Ольф спросил:

— Куда это Валерка запропастился?

— Наверно, уехал, — сказал Дмитрий.

— В отпуск?

— Да нет, он же уволился.

— К-как уволился?

— Да так. Написал заявление, я подписал.

— Когда?

— Три дня назад.

Ольф долго молча смотрел на него и неуверенно осведомился:

— А ты, это самое... не погибаешь?

— Чего ради?

— А что же сразу ничего не сказал?

— Я думал, он сам скажет.

— Сам, сам... А у тебя что, язык отвалился бы?

Дмитрий промолчал, а Ольф огорченно сказал:

— Черт, как нехорошо получилось... Столько работали вместе, а расстались — как случайные попутчики на вокзале.

Дмитрий с отсутствующим видом смотрел перед собой в стол и явно ждал, когда Ольф уйдет. Но Ольф не уходил. Он вспомнил, как Дмитрий при его появлении торопливо прикрыл газетой исписанные листки, и решил спросить напрямик:

— Послушай, что ты сейчас делаешь?

— Сiju.

— Это я вижу, — серьезно сказал Ольф. — Работаешь над чем?

— Ищу математическое доказательство существования господ бога, — медленно сказал Дмитрий. — А также всех его боженят, ангелят, чертенят и прочей нечисти.

— Ясно, — сказал Ольф, поднимаясь. — Когда прикажешь лететь в Новосибирск?

— Когда хочешь. Только сначала сдай работу.

— Тогда в понедельник и подамся. Что не успею сам — Жанна закончит.

— Мне все равно, — безучастно сказал Дмитрий.

61

В Новосибирске Ольф пробыл чуть меньше месяца. С первых же дней затосковал по Светлане, по сыну, через неделю уже ругал себя, что выдумал эту поездку, и, стремясь до предела сократить срок командировки, работал с утра до ночи. Одно хорошо было в этой

затее — Светлана присылала ему письма, каких не писала никогда. Приходили они почти ежедневно, и Ольф, бережно вытягивая конверт со знакомым почерком из пачки писем на столике дежурной, улыбался, шел к себе в номер и запирался на ключ, хотя помешать ему никто не мог — против обыкновения, знакомыми он почему-то не обзавелся, и приходить к нему в номер было некому. Сначала он быстро проглядывал письмо, чтобы узнать новости, потом удобно усаживался в кресло и читал медленно, и улыбался ласковым словам Светланы, а вечером, лежа в постели, перечитывал письмо еще раз. И на следующий день, не дожидаясь лифта, торопливо поднимался на пятый этаж и шел к столику дежурной. Она как-то пошутила, качая старой седой головой:

— Видно, какая-то крепко присушила тебя, парень. Зазнобушка, что ли?

— Жена.

— Жена? — удивилась дежурная. — Видать, недавно поженились?

— Сыну уже почти три года, — с гордостью сказал Ольф.

— Да ну? — поразились дежурная. — Видать, дал вам бог счастья...

— Спасибо.

Домой Ольф приехал в субботу поздно вечером. Отметил, что свет в окнах Дмитрия и Жанны горит, — значит, в отпуск еще не уехали, — легко взбежал по лестнице, держа наготове ключи. На площадке мимоходом прислушался к тишине в квартире Дмитрия, решил: «Сегодня никуда не пойду». И, не успев еще открыть дверь, услышал легкие быстрые шаги Светланы, выронил из рук чемоданчик и обнял ее.

За ужином он спросил:

— Как Димыч с Асей?

Радостный блеск в глазах Светланы погас, и она с тревогой сказала:

— Ой, Ольф, я даже не знаю. Диму встречаю редко, он ни разу не заходил ко мне, разговаривать со мной почему-то не хочет, а Ася... — Светлана запнулась и тихо закончила: — Я ее вообще ни разу не видела.

— Как это не видела? — насторожился Ольф.

— Так... С тех пор как ты уехал, не видела. По-моему, она больше не приезжала сюда.

— Не может быть...

— Не знаю, — потерянно сказала Светлана. — Я хотела спросить у Димы, но он такой странный стал. Встретимся на лестнице, а он идет — и как будто не видит меня. Поздороваясь, он ответит — и сразу мимо. Я так и не решилась спросить, где Ася.

Ольф закурил, подумал немного — и встал.

— Ты к нему? — спросила Светлана.

— Да. Ложись, я скоро.

Ольф решил не звонить, негромко постучал условным стуком, принятым у них еще в студенческие времена. Никто не отозвался. Ольф нерешительно потоптался на площадке, достал ключ и открыл дверь.

Дмитрий лежал на диване, заложив руки под голову, небритый, в мятой рубашке, и смотрел на него.

— Привет, — растерянно сказал Ольф.

— Привет, Рудольф Тихоныч, — спокойно сказал Дмитрий и сел, упираясь кулаками в диван. — Давно приехал?

— Минут двадцать.

— Быстро ты, — сказал Дмитрий, и непонятно было, к чему это относится — к командировке или к приходу Ольфа к нему. — Садись, чего стоишь.

— А где Ася?

— Нету. Рассказывай, как дела.

— Где Ася, Димыч?

— Я же сказал — нету, — посмотрел на него Дмитрий спокойными темными глазами. — Давай рассказывай. Все успел сделать или еще придется ехать?

— Все.

Ольф торопливо стал рассказывать о поездке, но Дмитрий поморщился и тут же остановил его:

— Куда тебя несет. Поподробнее, не в бирюльки же ты там играл.

И Ольф, чертыхнувшись про себя, должен был подробно рассказывать о тех многочисленных делах, которыми пришлось заниматься ему в Новосибирске. Дмитрий слушал внимательно, задавал вопросы, и Ольф успокоился, решив, что с Асей все в порядке, — наверно, ненадолго уехала в командировку или к родным. Когда он закончил, Дмитрий задумчиво сказал:

— Ну что ж, отлично... Ты неплохо поработал... Теперь что, в отпуск поедете?

— Наверно... А все-таки — где Ася?

— Уехала.

— Куда?

— В Каир.

— Брось шутить, — упавшим голосом сказал Ольф.

— Ну, какие тут шутки.

— Надолго?

— На три года.

— Да как же она могла... — с яростью начал Ольф, но Дмитрий с непонятной рассудительностью прервал его:

— Почему же не могла? Она человек взрослый, самостоятельный.

— И что она там будет делать?

— Преподавать.

— А как же ты?

— А никак. Она сама по себе, я сам по себе.

— Ничего не понимаю...

— А что тут понимать, — спокойно сказал Дмитрий. — Это она в Каир на три года уехала, а от меня... совсем ушла. Такие вот мандаринчики.

Ольф молча смотрел на него, и Дмитрий с досадой сказал:

— Да не гляди ты на меня как на утопленника... Иди, Светлана ведь ждет.

— Подожди, дай очухаться.

— Ну, чухайся, — Дмитрий улыбнулся.

Ольф встал, прошелся по комнате.

— Димыч...

— Ну? — поднял голову Дмитрий.

— Это что же... конец?

— С ней — да.

— Но почему?

— Ты бы меня о чем-нибудь попроще спросил, — устало сказал Дмитрий.

— А может быть, все еще наладится?

— Нет... Знаешь что, иди-ка ты к себе, а? — попросил Дмитрий. — Не хочу я об этом говорить. Случилось — ну и-случилось, и нечего тут... Правда, иди, Ольф.

— Пойду, что ты меня гонишь, ночевать не останусь. На работу едешь завтра?

— Да.

Помолчали, и Ольф направился к двери:

— Ну ладно, пойду.

— Дверь захлопни.

— Хорошо.

И не успел Ольф закрыть дверь, как услышал скрип дивана, — Дмитрий, видимо, снова лег. Ольф постоял на площадке, подумал немного — и пошел к Жанне. Она безмерно обрадовалась, увидев его.

— Наконец-то хоть ты приехал.

— А ты принца Савойского ждала? — буркнул Ольф.

— Ох, Ольф, давай без шуточек... Идем.
Ольф прошел в ее комнату и сразу спросил:
— Ты знаешь, что Ася уехала?
— Да.
— А почему мне не написала?
— Не злись, я сама недавно узнала.
— Когда она уехала?
— Недели три назад.
— И он ничего не говорил тебе?
— Нет.
— Как же это случилось?
— Она даже не попрощалась с ним. Приехала, когда он был на работе, взяла кое-какие вещи, оставила ему письмо — и все. Он сразу же поехал в Москву, но она уже улетела. Оказывается, документы на оформление она еще в феврале подала. Вот и все, что я знаю.
— Да, дела. — Ольф покрутил головой. — Как в плохом детективе. И как он?
— Плохо, Ольф. Совсем плохо.
Жанна даже руками за голову схватилась, и Ольф с досадой посмотрел на нее:
— Ну вот... Да что плохо, говори толком.
— Понимаешь, он почти не разговаривает. Ни с кем. Запирается у себя в кабинете и иногда даже на телефонные звонки не отвечает. И взгляд у него бывает... Ох, Ольф, — простонала Жанна, — если бы ты видел, как он иногда смотрит. Мне плакать хочется... — Жанна и в самом деле заплакала. — Боюсь я за него. Алексей Станиславович говорит, что ему в больницу надо ложиться, а он не хочет. И как ему помочь, просто не знаю. Я каждый день захожу к нему, но и со мной он не разговаривает. Молчит и ждет, когда я уйду.
— А Дубровин что предлагает?
— Со мной он об этом не говорил.
— Ладно, не реви, придумаем что-нибудь.
— А я и не реву... Дай сигарету.
Они закурили, помолчали, и Жанна спросила:
— Ты-то как съездил?
— Я-то нормально, — угрюмо сказал Ольф. — А ты все сделала?
— Да. Статью отдала Алексею Станиславовичу, он сам отвез ее в Москву. Говорит, сразу в набор пойдет.
— Доклад на Ученом совете был?
— Да.
— Дима делал?
— Нет, я. Он наотрез отказался, даже не пришел на заседание.
— Н-да... А ребята как?
— Нет никого, все в отпуске.
— А ты когда пойдешь?
— До отпуска ли сейчас, — махнула рукой Жанна. — Знаешь, Ольф, по-моему, он хочет уехать куда-то.
— Говорил, что ли?
— Нет. Но купил рюкзак, туристические ботинки. Я случайно увидела.
— Ася писала ему из Каира, не знаешь?
— Не знаю.
— Ну ладно, пойду.
На следующий день они вместе поехали в институт, и при ярком свете солнечного дня Ольф заметил, что Дмитрий сильно изменился за этот месяц — похудел так, что выпирали скулы, под глазами густо залегли синие тени и взгляд действительно был такой, что Ольфу стало не по себе. Всю дорогу он промолчал, отвернувшись к окну. Ольф сразу направился к Дубровину, но Дмитрий остановил его:

— Ты куда?
 — Скоро приду.
 — Подожди, поговорить надо. Что с отпуском решил? — спросил Дмитрий.
 — Еще ничего.
 — Тогда не торопись пока.
 — А что?
 — В общем, — заговорил Дмитрий, глядя куда-то в сторону, — тебе придется занять мое место.
 — Как прикажешь это понимать?
 — А так, что я уезжаю.
 — Куда?
 — Еще не знаю.
 — Ну и что? Ты же вернешься.
 — Нет.
 — Ты бредишь.
 — Нет, Ольф. Если я и вернусь, то не скоро.
 — А именно?
 — Может быть, через год или два.
 — Димка, выкинь это из головы. — Ольф старался говорить спокойно, как о деле само собой разумеющемся. — Некуда и незачем тебе ехать. То есть поезжай, пожалуйста, куда угодно, но совсем... нет, это невозможно.
 — Ольф, я не собираюсь с тобой спорить, — тихо сказал Дмитрий. — И я не прошу тебя, а просто сообщаю. Все равно тебе придется стать руководителем сектора.
 — А как на это Дубровин смотрит?
 — Я еще не говорил с ним. Ждал твоего приезда. — Дмитрий встал и, избегая взгляда Ольфа, сказал: — Я сейчас пойду к нему, а ты пока здесь побудь — может, понадобится.
 — Пойдем вместе.
 — Нет, я один. И пожалуйста, пока не говори никому, что я уезжаю. Даже Жанне.
 Дмитрий ушел к Дубровину, а Ольф сел за стол и в бессильной ярости сжал кулаки. Только сейчас он понял, почему Жанна была так расстроена вчера.

62

Дмитрий пришел к Дубровину и, щурясь от яркого света, бывшего в окно, сказал:
 — Алексей Станиславович, я решил просить Торопова освободить меня от обязанностей руководителя сектора. И хочу, чтобы вы поддержали меня.
 Дубровин как будто не удивился его словам, помолчал немного и спросил:
 — Так все скверно?
 — Да.
 Дубровин встал, прошел к двери и спустил защелку, замка. Мельком взглянув на Дмитрия, задернул штору на окне.
 — Садись поближе, будем думать.
 — Что тут думать... — сказал Дмитрий, но стул все-таки пододвинул.
 — Что собираешься делать?
 — Поеду куда-нибудь.
 — Куда?
 — Не знаю. Куда-нибудь, где потише, людей поменьше.
 Дубровин помолчал и негромко заговорил:
 — Дима, я был в этой больнице... Подожди, я ведь не настаиваю, а только рассказываю. Очень тихое и спокойное место на окраине Москвы. И никаких общих палат. Тебе дадут отдельную комнату в маленьком деревянном флигеле. Тебе ни с кем не нужно будет говорить, если не захочешь сам. Там превосходные врачи. И ты сможешь там работать.

— В общем, филиал рая на земле, — усмехнулся Дмитрий.

— Нет. Но это то, что тебе нужно сейчас.

— Мне лучше знать, что сейчас нужно.

— Дима, друг мой, я прошу тебя сделать это.

— Нет, Алексей Станиславович...

— Тебе опасно ехать в таком состоянии. Немного побудешь там и, если не захочешь остаться, поедешь.

— Нет, — покачал головой Дмитрий. — Я сейчас поеду.

— Ну хорошо, давай сейчас не будем решать этот вопрос.

— А когда?

— Завтра.

— А что изменится до завтра?

— Я сегодня же увижу Грибова и поговорю с ним.

— О чем вы будете с ним говорить? Все равно я уеду.

— Но день-то ты можешь подождать?

— День могу.

— А теперь вот что. О том, чтобы совсем освободить тебя от руководства сектором, не может быть и речи.

— Придется.

— Нет. Если уж все-таки решишь уехать — поезжай, но когда вернешься...

— Вы не поняли меня, Алексей Станиславович, — перебил его Дмитрий. — Я ведь не говорил, что собираюсь возвращаться. По крайней мере, скоро.

Дубровин с тревогой посмотрел на него:

— Вот как... А что же ты намерен делать?

— Еще не знаю. Но даже если я и вернусь — а вряд ли это произойдет раньше чем через год или два... я не собираюсь снова становиться руководителем.

— Почему?

— Не хочу. И не смогу.

— Это тебе сейчас так кажется.

— Нет, Алексей Станиславович, — твердо сказал Дмитрий. — Сейчас я не могу вам этого объяснить. Разве что самыми общими словами...

— Слушаю.

— Чтобы руководить другими, надо самому быть уверенным в том, что идешь по верному пути и что есть какие-то хотя бы минимальные шансы на успех. А то, чем я занимался в последнее время... и над чем собираюсь работать дальше... — Дмитрий встретил настороженный взгляд Дубровина и торопливо закончил: — В общем, тут ни уверенности, ни шансов. На ближайшие годы, по крайней мере.

— Что же это за работа?

— Сейчас я не могу вам объяснить. Поверьте на слово, что так оно и есть, и это вовсе не следствие моего болезненного состояния. Скорее наоборот. Возможно, я просто замахнулся на проблему, которая не по силам ни мне, ни другим. И все-таки я не собираюсь отступать от нее. Разумеется, до тех пор, пока не буду убежден, что использовал все возможности. Но на это понадобится много времени. Наверняка не один год.

— Ты не можешь поподробнее?

— Хорошо, попытаюсь, — не сразу сказал Дмитрий. — Если кто и сможет меня сейчас понять, то только вы... В один из дней — это было еще до нашего эксперимента — мне пришло в голову, что теория элементарных частиц зашла в тупик, из которого выхода нет и не может быть, пока мы идем по этому пути, который представляется мне безнадежно порочным. Мы ищем просто не там, где нужно. Я уверен, что когда-то — и наверняка довольно давно — поиски пошли в принципиально неверном направлении. И что продолжать их просто бессмысленно — это ни к чему не приведет. И мы напрасно возлагаем надежды на новые сверхмощные ускорители. В лучшем случае мы обнаружим еще

несколько десятков новых частиц — а что толку? Еще больше запутаемся — и все. Наверняка должно быть какое-то другое, совершенно иное решение... Вот я и пытаюсь его найти. Вы-то, надеюсь, понимаете меня?

— Да, — мягко сказал Дубровин. — Не тебе одному приходила в голову эта идея.

— Я знаю, — нетерпеливо сказал Дмитрий. — Вы имеете в виду Гейзенберга и Фейнмана.

— Да. И еще кое-кого.

— Их идеи мне кажутся также бесперспективными. Это всего лишь полумеры, которые наверняка ни к чему не приведут. Гейзенберг и Фейнман пытаются сделать шаг в сторону — и только. А я хочу вернуться назад, к самым истокам, и попытаться нащупать другой путь. Возможно, это безнадежная затея, на которую может решиться только сумасшедший. Пусть так, но от этой идеи я не откажусь — пока, по крайней мере. Ни о чем другом я думать все равно не способен. Не знаю, надолго ли меня хватит, но уж несколько лет это наверняка займет. Вот почему я не смогу дальше руководить сектором. Тянуть в эту пучину других — увольте. Да никто и не согласится идти за мной — и правильно сделают. Пусть ребята займутся тем, что им по силам. Я думаю, Ольф великолепно справится с ними.

— Ольф?

— Да. Вас это не устраивает?

— Ты забываешь о том, что эти ребята — твои ученики. Что группа создана тобой по существу из ничего. Ты для них — самый большой и, в практическом смысле, единственный авторитет. И всю дальнейшую работу они прочно связывают только с тобой.

— Вы преувеличиваете.

— Нет, я ведь знаю их отношение к тебе... На том празднестве, — Дубровин улыбнулся, — это очень хорошо было видно. И Ольфу, несмотря на все его превосходные качества, будет нелегко с ними.

— Ну, а что делать? Вы же сами понимаете, что я не могу втягивать их в свои сумасшедшие идеи. А быть формальным руководителем — абсурдно.

Дубровин помолчал.

— Вот что, Дима... Нет необходимости решать этот вопрос сейчас.

— Есть такая необходимость, Алексей Станиславович. Во-первых, я должен чувствовать себя совершенно свободным, ничем не связанным. Во-вторых, они должны сразу узнать, что я не буду работать с ними, и соответствующим образом настроиться и взяться за новую задачу. Зачем им терять время? Тем более что выбирать им есть из чего — пусть сразу и берутся за работу. Сейчас, после этой удачи, им кажется, что они могут горы своротить. И на здоровье, пусть ворочают.

— Хорошо, я подумаю об этом, — сказал Дубровин таким тоном, что Дмитрий понял — сказано для того, чтобы прекратить спор. — А теперь и тебе придется подумать и, по возможности, увязать свои планы с тем, что я сейчас сообщу. Во-первых, на Ученом совете принято решение — пока еще не официальное, но это уже детали — по результатам вашей работы присвоить Алексеевой кандидата, а тебя рекомендовать к докторской.

— И все?

— Мало тебе? — улыбнулся Дубровин.

— Я не о том. Доктора — только мне?

— Да. Но и это еще не все. На сентябрь намечен твой доклад на сессии Академии наук.

— Ольф сделает.

— Ну, там видно будет. Лучше, конечно, если бы ты сделал... Ты хочешь что-то сказать?

— Да. Если давать доктора, то не только мне.

— Кому же еще?

— Мелентьеву.

Дубровин нахмурился:

— Милый мой, а тебе не кажется, что ты... недооцениваешь способности членов

Ученого совета? И мои в том числе?

— Нет. Но мне лучше, чем кому-либо, известно, кто что делал в этой работе.

— Но идея была твоя. И главные решения в этой работе принимал ты. За это тебя и представляют к докторской степени.

— Но и Мелентьев сделал много. Очень много, — подчеркнул Дмитрий. — Кроме того, у него и других работ немало — и более значительных, чем прежние мои работы. Я настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели его кандидатуру.

— Хорошо, — отрывисто сказал Дубровин. — Я сделаю такое предложение в Ученом совете, но и только. Поддерживать его кандидатуру я не буду. А тебе придется составить докладную и отметить то, что он сделал.

— Это несложно, сегодня же сделаю.

— Ты так торопишься уехать? — Дубровин помолчал и невесело сказал: — Ладно, иди.

— Завтра когда к вам прийти?

— Я сам позвоню.

Ольф встретил его мрачным вопрошающим взглядом.

— Не рычи, Тихоныч, — мирно сказал Дмитрий. — Подожди до завтра.

— Ну-ну.

— Я домой поеду, голова что-то разболелась.

— Поезжай, что ты мне докладываешься, — отвернулся Ольф.

На следующий день, не дождавшись звонка Дубровина, Дмитрий сам пошел к нему. Дубровин, взглянув на часы, сумрачно проговорил:

— Явился — не запылится... Рано, я же сказал — сам позвоню.

— Говорили с Грибовым?

— Говорил.

— Ну и что?

— Не нравится ему твоя затея.

— Можно было предполагать... И что вы все-таки решили?

Дубровин, как-то жалко глядя на него, тихо попросил:

— Дима, послушай ты меня, старого лысого дурака, — не езд, а?

Дмитрий отвел взгляд от его лица.

— Что-то рано вы в старики записались.

— С такими, как ты, постареешь, — вздохнул Дубровин.

— И много у вас таких? — натянуто улыбнулся Дмитрий.

— Да вот один нашелся на мою голову... Может, не поедешь?

— Не могу, Алексей Станиславович.

— Ну, поезжай, что делать, — печально сказал Дубровин. — А все-таки зря ты это затеял.

— Может, и зря, — согласился Дмитрий, — но другого выхода не вижу. Вот заявление, отдайте Торопову сами, объясните ему...

— Какое заявление?

— Об увольнении, какое же еще?

— Ну, знаешь ли... — рассердился Дубровин и брезгливо, одним пальцем, отодвинул заявление. — Как-нибудь без него обойдемся.

— Как?

— Это уже не твоя забота. Иди, я позвоню.

Дубровин позвонил в четыре и, когда Дмитрий пришел, сразу заговорил:

— В общем, так... Месяц у тебя законного отпуска, еще три — творческий отпуск. С сохранением зарплаты, разумеется.

— Это еще зачем?

— Послушай, — Дубровин гневно сдвинул брови, — ты хочешь уехать? Ну, так и поезжай, никто тебя не держит. А эти дурацкие «зачем» и «почему» оставь при себе. Тебе не милостыню подадут, а то, что полагается. И не тебе первому, кстати.

- Через четыре месяца я не вернусь.
- И прекрасно, — отрезал Дубровин. — Продлим еще или дадим административный.
- До бесконечности?
- Не твое дело. Садись, пиши заявление.

Дубровин сам продиктовал ему заявление и, когда Дмитрий расписался, почти выхватил его из рук и спрятал в стол.

- Все. Можешь убираться.
- Кто вместо меня будет?
- Ольф.
- Как?
- Врию, разумеется. Иди, некогда мне.
- До свиданья.

Дмитрий направился к двери, но колючий вопрос Дубровина остановил его:

- Когда ехать думаешь?
- Дней через пять.
- Попрощаться не забудешь?

Дмитрий молча смотрел на него, и Дубровин отвернулся к окну, буркнул:

- Ладно, иди.

63

Через два дня Дмитрий с утра уехал в Москву. «За билетом», — догадался Ольф и к вечеру прочно обосновался в квартире Дмитрия. «С этого параноика все станется... Соберет вещички — и смоемся потихоньку. И Жанка еще психует... С ним ехать хочет, что ли?»

Дмитрий приехал поздно и, кивнув на приветствие Ольфа, молча прошел на кухню, поставил чайник и почему-то долго не выходил оттуда. Ольф сам пошел к нему. Дмитрий стоял посреди кухни и оглядывал полки раскрытых шкафов.

- Взял билет? — спросил Ольф.
- Да.
- Когда?
- Послезавтра, в десять вечера.
- И куда?
- Пока до Иркутска.
- Самолетом?
- Нет, поездом.
- И что ты собираешься там делать?
- Посмотрю Байкал, а там видно будет.
- Пришли гранки, — сказал Ольф. — Будешь читать?
- Зачем? Сам вычитаешь.
- Уже. Там твоя подпись требуется.
- Ладно, пошли отсюда.

Дмитрий расписался и выложил из папки несколько листов.

— Вот тебе все мое хозяйство... на будущее. Немного, конечно, но больше пока и вряд ли нужно. Чем конкретно будете заниматься — решайте сами. Посоветуйтесь с Дубровиным.

- А что ребятам сказать?
- Наилучшие пожелания и больших творческих успехов.
- Я серьезно, Димыч.
- Я тоже.
- Как им объяснить твое отсутствие?

— Что значит «как»? Говори то, что есть. Что я уехал, и теперь ты будешь руководителем. Вообще — сразу поставь все точки над «и». Еще можешь сказать, Что мне было очень приятно работать с ними.

- Стоит ли так?
- Как так?
- Ставить точки.
- Почему же нет? Это же правда. Только так и нужно.

Ольф промолчал, и Дмитрий, взглянув на него, твердо сказал:

— Не вздумай отделяться туманными обещаниями вроде того, что я еще вернусь. Я не вернусь, и надо, чтобы они сразу узнали об этом и увидели в тебе руководителя. Не временного, а постоянного. Так будет лучше и для них, и для тебя. Ну а как вести себя с ними — тебе лучше знать.

- Димка, неужели ты вот так и уедешь?
- Именно вот так. Сяду в поезд и уеду.
- А как же мы?
- Кто это вы?
- Я. Жанна. И ребята.

Дмитрий вздохнул и тоскливо посмотрел на него:

- Ольф, опять все сначала? Я же тебе объяснил, почему еду...
- Объяснить-то объяснил...
- Ну и чего ты еще хочешь от меня?

У него задергалось веко, Дмитрий прижал его пальцем, и Ольф торопливо сказал:

— Ладно, старик, все, успокойся. Поезжай, но помни, что тебя здесь ждут. И что без тебя плохо будет всем нам. Да и тебе без нас...

— Ну, хватит, бога ради... — Дмитрий в раздражении вскочил и отошел к окну, повернулся к Ольфу спиной.

Ольф обескураженно молчал, не зная, нужно ли сейчас разговаривать с ним. Дмитрий, глядя в заоконную темноту, заговорил сам:

— За квартиру уплачено до конца года, если не вернусь к тому времени — заплатишь сам. Все письма, кроме Асиных, вскрывайте и, если нужно кому-нибудь ответить, — отвечайте.

- А с Асиными письмами что делать?
- Пусть лежат. Если от меня писем не будет — паники не разводить.
- Ты что, не собираешься нам писать?
- Я сказал «если». — Дмитрий повернулся и со злостью посмотрел на него.
- Вряд ли у меня будет шибко писучее настроение.
- Хотя бы открытки присылай, чтобы мы знали, где ты.

Дмитрий промолчал, и Ольф, выждав немного, спросил:

— Завтра соберемся?

— Можно, — с видимой неохотой согласился Дмитрий. — Но только ты и Жанна, больше никого.

— Хорошо.

С утра Ольф поехал в институт и со злостью обнаружил, что явился один. Даже Жанны не было. Атаман без шайки, невесело усмехнулся Ольф, разглядывая косые солнечные столбы пыли, протянувшиеся из окон.

Он потолкался час по институту и поехал домой, но и там никого не застал. Ольф посидел в квартире Дмитрия, послушал музыку, повалялся на диване, сходил за почтой, проверил и ящик Дмитрия — там было увесистое письмо от Аси. Ольф повертел его в руках, зачем-то понюхал и положил на столик.

В два часа пришла Жанна. Ольф заулыбался, но Жанна на проявление его радости ответила довольно прохладно, молча принялась освобождать сумку.

- Ты что такая невеселая? — спросил Ольф.
- А тебе очень весело?
- Мне-то? Жуть как радостно.
- Оно и видно.

— Где Димыч, не знаешь?

— Наверно, в библиотеке.

— Говорил, что пойдет туда?

— Да.

Увидев, что Жанна вытаскивает из сумки коньяк, Ольф предложил:

— Давай тяпнем по рюмашке.

— Успеешь.

— Ну давай, а?

— Пей один, если не терпится.

— Одному неинтересно, — Ольф уныло посмотрел на нее.

— Я не буду.

— Ну символически, а, Жан?

— Ох и зануда ты!.. — рассердилась Жанна. — Прилипнет как смола.

— Ты не ругайся, душа моя. Лучше выпей — сразу тонус повысится, и мир засияет всеми цветами радуги. Крохотулечку, вот такую. — Ольф отмерил на мизинце «крохотулечку» и скорчил такую жалобную физиономию, что Жанна невольно улыбнулась:

— Ладно, черт с тобой, наливай.

— Вот это другой разговор, — сразу повеселел Ольф.

Выпили «крохотулечку», и Жанна сказала:

— А теперь исчезни, я убираться буду.

— Да куда я пойду? — взмолился Ольф. — Не гони ты меня, ради Христа... Дай я лучше помогу тебе.

— Не надо мне помощников... Не хочешь уходить — сиди на кухне и не высовывайся.

— Слушаюсь...

Жанна убралась и принялась готовить, ожесточенно гремя посудой, велела Ольфу начистить картошки.

Жанна молчала, и Ольф, не подумав, сказал со вздохом:

— Даже не верится, что придешь сюда, а Димки нет.

Жанна швырнула нож и с яростью накинулась на него:

— Слушай, ты... За язык тебя тянут, что ли? Минуту помолчать не можешь? И так тошно, а ты еще...

На глазах у нее выступили слезы, она шмыгнула носом и выбежала из кухни, хлопнув дверью. Ольф тщательно вымыл картошку, вытер руки и пошел за ней. Жанна, комкая занавеску, стояла у окна. Ольф тронул ее за локоть:

— Прости, пожалуйста.

Жанна передернула плечами.

— Ты что, хочешь с ним ехать?

Жанна промолчала. Ольф осторожно сказал:

— Это было бы просто здорово, если бы ты поехала с ним.

— Поехала бы, да он не хочет, — сказала Жанна, не оборачиваясь. — Иди ставь картошку... А впрочем, не нужно, рано еще. Кто знает, когда он придет.

Ольф поклонился по квартире, Жанна опять рассердилась на него за то, что он мешает ей, — и он ушел за Игорьком. И, промаявшись еще с полчаса дома, снова собрался к Дмитрию.

— Мне приходиться? — спросила Светлана.

— Не стоит. — Ольф виновато посмотрел на нее. — Он предупредил, чтобы, кроме меня и Жанны, никого не было. Ты уж не сердись на него.

— Ну что ты, милый, я понимаю. Иди.

А Дмитрия все еще не было. Пришел он только в девять, с внушительной связкой книг и журналов. Ольф и Жанна, измученные ожиданием, набросились на него с упреками.

— Господи, ну где ты ходишь? — говорила Жанна чуть не плача. — Хоть бы предупредил, когда вернешься.

— Свинтус ты порядочный, Кайданов, — поддержал ее Ольф. — Форменный оглоед.

— Не шумите, братцы, — мирно сказал Дмитрий. — Дела.

— А если дела, так на нас совсем можно наплевать? — срывающимся от обиды голосом спросила Жанна, и Ольф подумал: «Однако, как ее Димкин отъезд скрутил...»

Дмитрий молча взял руку Жанны и погладил ее ладонь, и Жанна сразу притихла, наклонила голову и, коснувшись лбом груди Дмитрия, улыбнулась.

— Ну ладно, иди мой руки, садиться будем...

Увидев письмо Аси, Дмитрий взял его, подержал на ладони, словно взвешивая, и, не распечатав, заложил в книгу.

Невеселое это было прощание... Выпили с коротким шаблонным тостом «счастливого тебе ехать», молча принялись за еду. Жанна наклонила голову над тарелкой, старательно пряча глаза, два раза без всякой нужды — так казалось Ольфу — уходила на кухню.

— Когда трогаешься отсюда? — спросил Ольф.

— В пять тридцать четыре.

— Утра? — удивился Ольф.

— Да.

— Тю, совсем сдурел... Зачем в такую рань?

— Похожу по Москве.

— Да куда там... — начал было Ольф и осекся, догадавшись, почему Дмитрий едет так рано: не хочет, чтобы знакомые видели. — Ладно, мы все равно проводим тебя.

— Нет.

— Ну, батя, это ты лишнее...

— Ничего не лишнее, — решительно сказал Дмитрий.

И снова надолго замолчали. И вдруг Дмитрий, окинув их сумрачным взглядом, спросил:

— Слушайте, а куда вы пришли?

— Как это куда? — опешил Ольф.

— Меня провожать, что ли? — спросил Дмитрий.

Он был так спокоен, что Ольфу показалось: затея с его отъездом — всего лишь шутка, и сейчас Дмитрий скажет об этом, и они вместе посмеются. Видимо, и Жанна решила так же — с такой надеждой взглянула она на Дмитрия.

— Ну а куда же? — сказал Ольф, пристально глядя на него.

— А вы, случаем, не ошиблись? — сказал Дмитрий, и глаза его сузились в злом прищуре. — Действительно меня провожать? Или на поминки? — Он повысил голос. — Что вы меня как на смерть провожаете? Глядеть тошно на ваши похоронные физиономии. Я же...

Он взглянул на Жанну и сразу замолчал. Медленно встал из-за стола, подошел к ней сзади и положил руки на плечи.

— Простите меня... Не надо плакать, Жанна.

Жанна судорожно схватила его руку и прижала к своему лицу.

— Дима, — давясь слезами, прошептала она, — скажи, что ты вернешься...

— Я вернусь, — тихо сказал Дмитриий. — Конечно, вернусь. Куда же я без вас? Но прошу вас, будьте повеселее. Ведь ничего не случилось. Просто мне надо уехать. Надо, понимаете? Ольф, сходи за гитарой.

Когда Ольф вернулся с гитарой, Жанна уже успокоилась, она сидела на диване рядом с Дмитрием и сбоку глядела на его низко склоненную голову. Прихода Ольфа она словно и не заметила.

Дмитрий поднял голову, улыбнулся:

— Наливай, выпьем еще, а потом выдай что-нибудь...

И Ольф выдал. Он обрушил на их головы каскады бравурных аккордов, спел все самое веселое, что знал. Но веселья не получилось. Жанна ни разу не улыбнулась — да слышала ли она вообще что-нибудь? Дмитрий слышал, даже подпевал, потом надолго замолчал и, оборвав Ольфа на полуслове, поднялся:

— Ну, хватит, ребяташки. Давайте-ка будем прощаться.

— Как-кой шустрый молодой человек. — Ольф покачал головой. — Нет уж, дорогой, прощаться завтра будем. Не хочешь, чтобы в Москву с тобой ехали, — дело твое, но уж в электричку мы тебя посадим. Правда, Жаннета? Вот видишь, нас двое, а ты один. Мы — коллектив, а ты — кустарь-одиночка. Коллектив, как известно, — пятьдесят один процент акций наличного состава, а нас, как нетрудно посчитать, даже больше — шестьдесят шесть целых и шестьдесят семь сотых, грубо округляя. Пойдем, Жанна, пусть этот хмырь побудет в гордом одиночестве.

Ольф пришел к нему без четверти пять. Жанна была уже там, стояла у окна, смотрела на тяжелые багровые облака, освещенные низким холодным солнцем.

— Те же двое и Рудольф Тихоныч, — сказал Ольф, останавливаясь в дверях.

— Приветствую бессонную компанию. Путешественник наготове, его багаж — также, скудный комплект провожающих в сборе... Граждане провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих... Гражданка Алексеева, а не сообразите ли вы для нас закусь? Гражданка Алексеева безмолвствует... Тогда и гражданин Добрин умолкает...

Но Ольф и не думал умолкать. Он говорил за троих, молот всякий вздор, походя спел несколько песенок, выдал три анекдота, припасенных «на пожарный случай», — и развеселил-таки их. Во всяком случае, когда пили прощальную, Ольф одобрительно сказал:

— Состояние отъезжающих и провожающих удовлетворительное, можно приступать к минуте молчания. А ну, сели, по обычаю древнерусскому!

Присели, помолчали — и Ольф скомандовал:

— Подъем.

Дмитрий закрыл дверь, подбросил на ладони ключи и отдал их Жанне.

Молча пошли мимо тихих спящих домов, несколько минут постояли на чистой серой платформе, и, когда быстро выкатилась из-за поворота электричка, Ольф протянул Дмитрию руку, бодро сказал:

— Экипаж подан — в путь, человек Кайданов... Ни пуха тебе, ни пера:

— К черту, — пробормотал Дмитрий, пожимая его руку, а левой рукой обнял Жанну и неловко поцеловал ее в висок.

Ольф взял чемодан и рюкзак, отвернулся, сделал несколько шагов навстречу с грохотом распахнувшимся дверям, встал на площадке, на всякий случай придерживая ногой дверь, и увидел — Жанна, прикрыв глаза, осыпала лицо Дмитрия быстрыми поцелуями и так крепко вцепилась в его плечи, что Дмитрию пришлось силой развести ее руки. Дмитрий торопливо нырнул под вытянутую руку Ольфа. Жанна слепо шагнула за ним, Ольф перехватил ее руки и соскочил на платформу. Закрывающаяся дверь ударила его по плечу, он покачнулся и выпустил Жанну. Она повернулась и молча пошла вперед, но, не доходя до конца платформы, неловко, боком, села на скамейку и уронила голову на руки. Ольф снял куртку и, укутывая вздрагивающие плечи Жанны, невольно оглянулся вслед электричке.

Они, не сговариваясь, вернулись в квартиру Дмитрия. Коньяку оставалось еще довольно много, Ольф налил себе и Жанне и, подумав, чуть плеснул в рюмку Дмитрия.

— Пей, подружка, — подал он рюмку Жанне. — Остались мы одни — так что давай покрепче держаться друг за друга. Старые обиды — вон, новых быть не должно, а если я случайно ляпну что-нибудь — бей меня по голове чем ни попадя.

— Ну, пей.

Выпили, и Ольф сразу ушел к себе. Жанна зачем-то основательно, на два оборота, заперла за ним дверь, постояла, взяла рюмку Дмитрия и выпила то, что налил туда Ольф. Поддержала рюмку в руках и отнесла на кухню, поставила в шкаф, почему-то решила не мыть ее. Не раздеваясь, прилегла на диван и уснула. А когда проснулась — нестерпимо ярко сверкал за окном жаркий июльский полдень. Жанна взглянула на часы и торопливо сбежала вниз, открыла сначала свой почтовый ящик, развернула газеты, проверяя, нет ли писем, потом заглянула и в ящик Дмитрия. Никаких писем не было, да и быть не могло. Она снова вернулась в квартиру Дмитрия, принялась убирать со стола. Закончив, посидела с минуту,

бездумно пересчитывая красно-коричневые квадратики висевшего на стене ковра, потом пошла к себе, быстро собралась и поехала в Москву.

Она видела, как Дмитрий вышел из метро и медленно побрел по перрону, подложив большой палец левой руки под лямку рюкзака. Жанна осторожно пошла вслед за ним. Дмитрий остановился у своего вагона, показал проводнице билет и с трудом протиснулся на площадку. Жанна, прячась за угол киоска, ждала, не выйдет ли он снова на перрон. Дмитрий не выходил. Потом она увидела его у открытого окна, он курил и смотрел куда-то поверх голов торопящихся пассажиров. Объявили отправление, и Жанна не выдержала, кинулась к нему. Дмитрий вздрогнул, выронил сигарету и сказал:

— Я сейчас выйду.

— Не надо, вот-вот уже тронется... Я все-таки пришла...

— Да... Это хорошо, что ты пришла.

— Вот видишь, — улыбнулась Жанна.

Она положила ладони на его руки, сжимавшие раму окна, и быстро сказала:

— Дима, приезжай. Обязательно приезжай, слышишь? Ко мне приезжай, я буду ждать тебя.

Поезд тихо тронулся, Жанна осторожно провела ладонью по щеке Дмитрия и погладила его руку.

— Ну все, пиши.

Потом, морщась от тяжелого колесного грохота, Жанна проводила взглядом его вагон и, когда поезд скрылся в серой застанционной тьме, медленно пошла назад, к метро.

*** ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ***

64

Группа начала собираться через неделю.

Прибыли они почти одновременно и явились на работу за три дня до окончания отпуска — темнокожие, дружно порыжевшие от солнца, — ездили все-таки на «паршивый юг», — и необыкновенно довольные поездкой. Савин оброс густейшей двухцветной бородой; Воронов элегантно помахивал самодельным костыликом темного вишневого дерева — сильно ушиб ногу, лазая по Крымским горам; Дина Андреева то и дело зябко поводила плечами, морщилась от боли в сожженной спине.

— Динуша, ты бы обнажилась, — посмеивался Савин. — Частично, разумеется. И тебе легче будет, и нам приятно. И Ольф заодно полюбуется на твои нежные лохмоточки.

— Ты, сивый, лучше усы себе покрась, — сердито отговаривалась Дина. — А то бабки и так уже чуть ли не крестятся...

— А у меня естество такое, — философствовал Савин, довольно улыбался, трогая светлые усы, переходящие в черную бороду. — Признак породы, стал быть.

— Если и есть в тебе порода, то только плебейская, — поддел его Полюнин.

— Какая есть, — скромно соглашался Савин. — А ты, рыжий, и рад бы бороду отпустить, да ведь тогда пожарники со всей округи сбегутся. И так небось за версту светишься.

Разумеется, они сразу же спросили Ольфа — где Дмитрий Александрович?

— В отпуске.

Сообщение приняли как должное. Майя спросила:

— А когда вернется?

— Неделью назад уехал, — уклонился от ответа Ольф.

— А чем же мы пока заниматься будем? — спросила Алла Корина.

Это «пока» очень не понравилось Ольфу. Он буркнул:

— Найдем чем.

И тут же ушел, избегая расспросов.

Это было в пятницу, а в понедельник, войдя в большую комнату, где обычно все собирались перед началом работы, Ольф понял: знают. Не успел он и рта раскрыть, чтобы поздороваться, как Савин спросил:

— Ольф, где Дмитрий Александрович?

— Я же сказал — в отпуске.

— Неправда! — вскочила Майя. — Мы все знаем!

Ольф с раздражением сказал:

— Если вы все знаете, то вы знаете больше меня. Какого дьявола тогда спрашиваете? Это во-первых. А во-вторых, это правда. Он действительно в отпуске. Длительном отпуске...

— Он вернется? — спросила Майя.

— Будем надеяться.

— Что значит будем надеяться? — вскинулся Воронов. — Почему он уехал?

— Почему он уехал, я объяснить вам не смогу. Лучше не спрашивайте, я сам толком не понимаю. Если, конечно, не считать того объяснения, что он болен.

— Это правда, что Ася Борисовна уехала в Каир?

— Да.

— Он вернется? — как заведенная, спрашивала Майя.

Ольф, не ответив ей, сел на стол, скрестил на груди руки и невесело оглядел их:

— Слушайте меня, ребяташки... Я понимаю, новость для вас несимпатичная, но и для меня это событие не из радостных.

— Он вернется? — снова спросила Майя.

— Если и вернется, то не скоро.

— А сам он что-нибудь говорил об этом? — спросил Воронов.

И Ольф решил, что лучше сказать правду.

— Да, говорил. Он сказал...

Мгновенно установилась полная тишина, заставившая Ольфа оборвать фразу. Не выдержав их взглядов, он отвернулся и быстро закончил:

— Он сказал, что не приедет.

И еще несколько секунд стояла тишина, и чей-то голос — кажется, Аллы Кориной — беспомощно проговорил:

— Но этого не может быть! Ольф, ты что-то путаешь... Он так сказал?

— Да, он так сказал, — как эхо, повторил Ольф. — Зря не морочьте себе головы, ребята. Он сказал, что не вернется, но это еще не значит, что он действительно не вернется. Он нездоров, вы же знаете. Это переутомление. Он отдохнет и наверняка приедет и снова будет работать с нами. А пока что придется начинать новую работу без него. Теперь — временно, разумеется, до приезда Дмитрия... Александровича — руководить сектором буду я. И вам придется основательно помогать мне. Прежде всего нам надо решить, над чем работать дальше. Сегодня, понятно, у вас настроение нерабочее, а завтра, будьте добры, начнем думать. Кое-какие наметки оставил Дмитрий Александрович, какие-то идеи у меня появились — в общем, помыслим...

Он оглядел свое невеселое, молчаливое «воинство» и бодро закончил:

— А теперь — можете валять на все четыре стороны.

И Ольф торопливо ушел в комнату Дмитрия. Вслед за ним пришла и Жанна. Во время объяснений Ольфа она упорно молчала, забившись в угол.

— Ты уходил из дома — почты не было? — спросила Жанна.

— Так ведь рано еще... — Ольф прислушался к тишине за стеной, сказал с недоумением: — Сидят как мыши... Пойти к ним, что ли? А то получается, что мы вроде отделились.

— Выдумываешь бог знает что, — с досадой сказала Жанна. — Сиди, пусть сами... в своих чувствах разбираются.

На следующее утро Ольф с самым решительным видом приступил к руководству.

Демонстративно засучив рукава, он взял мел и торжественно сказал:

— Нуте-с, господа, приступим... На сегодняшний день мы имеем три примерно равноценных идеи...

Он обстоятельно изложил эти идеи и с огорчением отметил — ни одна из них не вызвала и намека на энтузиазм. Слушали его вяло, вопросы задавали самые незначительные, и, когда Ольф, закончив, предложил высказываться, ему ответили дружным молчанием.

— Та-ак... — протянул Ольф. — Я вижу, вам эти идеи пришлись не по вкусу.

Они переглянулись — и по-прежнему никто не решался высказываться первым.

— Что вам в них не нравится? — спросил Ольф.

— А тебе они нравятся? — простодушно осведомилась Дина.

Ольф не очень естественно засмеялся:

— Вопрос в лоб... Хитрые вы, мужички унд бабоньки...

Ольф, конечно, ждал подобного вопроса. Все три идеи, в сущности, были ответвлениями только что законченной работы. И даже на первый взгляд это были не слишком значительные идеи — и уже поэтому не могли понравиться ни им, ни ему самому. Но ведь ничего лучшего не предвиделось...

— Вот что, братья славяне, — сказал Ольф. — Давайте-ка играть в открытую. Мы привыкли к тому, что главные вопросы всегда решал Дмитрий Александрович. Я говорю «мы», потому что и сам во всем полагался на него. Но теперь-то нам волей-неволей придется решать самим. Или пойдем на поклон к Ученому совету? Они, конечно, подбросят нам что-нибудь — да только будет ли это лучше для нас? А ну, выкладывайте все, я не собираюсь решать за вас, — потребовал Ольф. — Почему вам не нравятся эти идеи?

— Ну почему же не нравятся... — неуверенно протянул Воронов.

— Я скажу вам почему. После того, чем мы занимались почти три года, эти идейки кажутся вам мелковатыми... Так?

— Ну да, — почти с радостью брякнул Савин и зачастил: — А что, разве нет? Уже одно то, что идей целых три и все действительно равноценны... Разве нет?

— Разве да? — передразнил его Ольф. — Какой ты умный, Савва... Заелись вы, вот что я вам скажу. А вам не приходит в голову, что такие идеи, как у Дмитрия Александровича, — может быть, одна за всю жизнь бывает? А ну-ка вспомните, что вам говорил Алексей Станиславович на том вечере... Вам действительно феноменально повезло, что вы начали свою научную карьеру с такой значительной работы. Но кто сказал, что вам всегда будет так везти? Или вы решили, что до конца дней своих только тем и будете заниматься, что претворять в жизнь выдающиеся идеи? Подавай вам Эвересты и Монбланы, на меньшее вы не согласны? А и где ж их взять, голубчики, эти Монбланы? Или они на дороге валяются? А может, у кого-нибудь из вас за пазухой торчит такой монбланчик? Ну так валяйте, выкладывайте, я сам с удовольствием займусь им... — Ольф закурил, небрежно закинул ногу на ногу. — А то, может, возьмем за жабры какую-нибудь элементарную сверхзадачку? Например, теорию гравитации? А что, в самом деле? Если вас эти орешки не устраивают, — он кивнул на доску, — почему бы нет? Или общую теорию поля... То-то лавров нам будет, если справимся...

Невесело посмеялись над его речью — и Ольф серьезно сказал:

— Ну, потрепались — давайте мыслить. Если у вас в самом деле есть какие-то другие идеи — милости прошу, выкладывайте.

Других идей не было. И эти три, несмотря на «разъяснительную работу» Ольфа, их явно не привлекали. До обеда они с видимой неохотой перебирали варианты, избегая каких-либо определенных высказываний, и Ольф наконец сердито сказал:

— Вот что, коллеги... Отправляйтесь обедать, и если уж вам так не хочется работать — не неволю. Но должен сказать вот что: если мы в самое ближайшее время не придем к какому-то решению — я иду в Ученый совет и прошу дать нам тему.

Угроза подействовала — после обеда обсуждение пошло более энергично. Ольф даже насмешливо хмыкнул:

— Первые признаки жизни налицо. Пульс слабый, нитевидный, дыхание прерывистое. Глядишь, скоро и по-настоящему мозгами зашевелите.

Из трех идей одна принадлежала Дмитрию — на ней в конце концов и остановились после долгого обсуждения. Ольф невольно задумался — было ли это случайностью? Они ведь не знали, что именно предлагал он, а что Дмитрий. Разве что Жанна могла сказать... Ольф спросил ее об этом. Жанна сухо ответила:

— Ничего я им не говорила, да они и не спрашивали. А тебя что, уже проблема престижа беспокоит?

Ольф с недоумением посмотрел на нее.

— Ничего себе вопросик... И как это ты догадалась? Помог кто-нибудь?

— Извини, — тихо сказала Жанна, отворачиваясь. — Я все думаю — почему он не пишет?

— Напишет, рано еще.

— Одиннадцать дней, как уехал...

В тот же день пришла от Дмитрия открытка — с десятков спокойных, безличных строчек. Дмитрий писал, что побывал на Байкале, что «священное море» вполне оправдывает все свои превосходные эпитеты, но задерживаться здесь он не собирается и завтра отправляется дальше, вероятно — до Владивостока. И что оттуда он им напишет.

Прошла еще неделя, прежде чем они получили письмо от Дмитрия — несколько небрежных строк, написанных на сером телеграфном бланке: «До Владивостока не доехал, сижу в Хабаровске. Иду по твоим следам, Ольф, — жду пропуска на Камчатку. Жара здесь тропическая, даже мухи от нее дохнут. Привет ребятам». И все — ни даты, ни подписи.

И пошли недели одна за другой, а от Дмитрия ничего больше не было.

65

С грустью и недоумением наблюдал Ольф, как буквально на глазах меняется группа. «Меняется» — пожалуй, чересчур мягко сказано. «Перерождается». Теперь они являлись на работу аккуратно, к восьми часам, долго «раскачивались» — курили, вяло перебрасывались анекдотами, неторопливо раскладывали на столах бумаги, тщательно чинили карандаши. Как-то Ольф, с раздражением наблюдая за этой «подготовкой к мыслительному процессу», насмешливо сказал:

— Ну что, юные чиновнички, приступим к процессу? Или процессоры не тем заняты? — Он постучал пальцем по лбу. — Не все процессанты на местах? Или нечего процессировать?

Намек поняли и, кажется, обиделись на него. Правда, Савин, очень похоже копируя Ольфа, глубокомысленно произнес:

— Ля процессорес дю процессуарес нихт процессирен дель процессантес, — и невозмутимо пыхнул трубкой, распространяя медовый аромат «Золотого руна». Но остальные шутку не поддержали и демонстративно приступили к «процессу». «На „чиновничков“ обиделись», — вздохнул Ольф. Ему ничего не оставалось, как начать руководить «процессом».

А руководить оказалось далеко не так просто, как представлялось когда-то Ольфу, глядя на Дмитрия. Первое, что обескураженно обнаружил Ольф, — ему никак не удавалось быть в курсе их дел. И когда они приходили к нему с вопросами и предложениями, Ольфу требовалось немало времени, чтобы как следует понять, о чем идет речь. Дмитрию, насколько помнил Ольф, нужно было для этого не больше минуты. И по взглядам ребят Ольф видел, что помнил об этом не только он. Но хуже всего было то, что он сам не был уверен в правильности доброй половины своих советов, — и они это тоже чувствовали, хотя, как правило, охотно соглашались с ним. Даже, пожалуй, охотнее, чем с Дмитрием. Но не трудно было догадаться о причинах такой сговорчивости. Просто им было все равно — или почти все равно. Как-то Ольф, подходя к дверям, услышал веселый голос Полынина:

— А мне до лампочки...

Ольф не знал, к чему это относилось, — когда он вошел, разговор тут же оборвался, — но был уверен, что догадался правильно. Все равно. До лампочки. До фени. До фениной мамы. Все это были слова из его же собственного лексикона...

И отношение к нему самому тоже изменилось. Прежней товарищеской близости как не бывало. Они не прочь были в шутку подразнить его «начальствованием», но скоро Ольфу показалось, что шутка повторяется слишком часто. А однажды, когда Алла Корина словно ненароком сказала ему «вы», Ольф сердито покосился на нее, но промолчал. Но когда Алла повторила это и в придачу назвала его Рудольфом Тихоновичем — было это при встрече в коридоре, — Ольф резко остановился и круто повернулся на каблуках.

— Вот что, сестрица Аленушка, — зло заговорил он, сдвинув брови, — бросьте вы эти фокусы...

— Да ты что? — удивилась Алла. — Я же пошутила.

— Надо думать, — мрачно посмотрел на нее Ольф. — Не хватало еще, чтобы ты серьезно сказала.

— А чего ты тогда взбеленился? — теперь уже Алла обиделась.

— А то, — Ольф повысил голос, — что вместо того, чтобы помогать мне, вы только зубы скалите.

— Мы? А я что, за всех ответчица?

— Нет, разумеется, — сразу сдался Ольф, склонил голову и шаркнул ботинком. — Пардон, мадемуазель. Куда уж там до ответчицы.

И Ольф отошел, досадуя на себя за нелепую вспышку раздражения.

«Чаепития» проходили теперь скучно и коротко. Ребята с такой готовностью вваливали на Ольфа ответственность за все решения, что однажды он взорвался:

— Слушайте, вы, оглоеды... Мне что, одному все это нужно?

— Да что все? Чем ты недоволен? — изумился Воронов.

— А тем, — заорал Ольф, — что вы сидите сложа руки!

— То есть как это? — опешил Савин.

— А так, — уже тише сказал Ольф, — что ни хрена не хотите делать. Работаете как из-под палки, думать совсем разучились. Но учтите, я над вами цепным кобелем стоять не буду. Если и дальше так пойдет — поищите себе другого руководителя. А вернее, вам его найдут.

Угроза подействовала — другого руководителя они не хотели. Ольф, бесспорно, их устраивал. Разумеется, только пока, на время отсутствия Дмитрия Александровича... И они так старательно стали изображать «бурную творческую деятельность», что Ольф через полчаса сказал:

— Ну, хватит, комедианты... По домам.

И они мигом исчезли, избегая его взгляда. Осталась только Жанна, молчала, глубоко задумавшись о чем-то. Ольф, сумрачно взглянув на нее, сказал:

— Что-то плохо получается у меня.

— Зря ты накричал на них.

— Это уж точно. — Ольф усмехнулся. — Кричат всегда зря. Трудно мне...

— И из меня помощник никудышный. Все из рук валится...

— Может, в отпуск поедешь?

Жанна с недоумением взглянула на него:

— Сейчас?

Ольф отвел взгляд и промолчал. Жанна поднялась:

— Поедем домой.

Когда они подходили к дому, Жанна ускорила шаги и почти вбежала в подъезд, держа наготове ключи. Ольф вошел следом за ней и увидел, как она разворачивает и трясет газеты. Оба почтовых ящика — и ее, и Дмитрия — были открыты. Жанна небрежно сложила газеты и приказала Ольфу:

— Открывай свой.

И хотя Ольф видел, что в его ящике ничего нет, он открыл его. Жанна молча повернулась и стала медленно подниматься по лестнице, держась за перила и внимательно глядя себе под ноги. Когда она дошла до своей двери, Ольф позвал ее:

— Жанна!

Она подняла голову, и Ольф сказал:

— Не надо так, Жан.

— Как «так»?

— Он приедет.

Жанна вдруг засмеялась:

— Ну разумеется, приедет. Хотя бы для того, чтобы забрать свои вещи.

— Не говори так. Он приедет совсем, к нам... к тебе, — не сразу добавил он.

— А если нет?

— Этого не может быть.

...Группа жила как будто одним ожиданием. Они работали, конечно, но так вяло и неохотно, что тошно было смотреть на них. Наверно, дело было не только в отсутствии Дмитрия. Возможно, это был вполне естественный спад после большой напряженной работы... Ольф уже ни в чем не упрекал их и не призывал засучивать рукава — у него и самого не было никакого желания работать.

Однажды пришел к нему Воронов, положил пачку исписанных листов.

— Что это? — спросил Ольф.

— Ваше задание выполнено, товарищ начальник.

— Ах, да! — Ольф не сразу вспомнил, какое у него было задание, и стал просматривать листки. — Ну что ж, отлично сделано.

— Да? — Воронов насмешливо поднял брови. — А по-моему, не очень.

— Не понимаю. — Ольф насторожился.

Воронов невесело вздохнул:

— Да что тут понимать... Только вчера до меня дошло, что сделать можно было по-другому и гораздо лучше.

— А именно?

— Это же типичное частное решение, приемлемое только для нашей работы.

— А чего бы ты хотел?

— А того, чтобы этот винтик, — Воронов ткнул пальцем в листки, — годился бы не только для нашего агрегата, а для прочих также.

— А как это сделать?

— Да можно было...

Воронов показал ему, как можно было расширить задачу. Ольф увидел, что действительно могла получиться вещь более значительная и интересная.

— Да, ты прав, Ворон. Жаль, сразу не додумался. И я маху дал... Слишком конкретное задание — так?

— Так, — безжалостно подтвердил Воронов.

Ольф закурил и невесело усмехнулся:

— С Дмитрием Александровичем такого, конечно, не могло случиться? Уж он-то наверняка увидел бы эту возможность?

— Не знаю, — куда-то в сторону бросил Воронов.

— Врешь, знаешь. Увидел бы. А вот я не увидел. — Ольф развел руками. — Виноват, конечно, но заслуживаю снисхождения, не так ли?

— Да брось ты...

— Бросить недолго. — Ольф угрюмо посмотрел на него. — Заново делать не будешь?

— Потом, может быть.

— Ну ладно, иди.

Воронов ушел. Ольф встал, прошелся по комнате, посмотрел на Жанну и тоскливо сказал:

— Знал бы, где он сейчас, поехал бы за ним, связал и сюда доставил бы... Проклятые «бы» мешают... Не подавать же на розыск в милицию?

— Уже, — сказала Жанна, не поднимая головы.

— Что уже? — опешил Ольф.

— Была я в милиции. — Жанна вздохнула и перевернула страницу журнала.

— Ты что, серьезно?

Жанна промолчала.

— И что тебе сказали?

— Что оснований для розыска нет.

Жанна положила на журнал руки и стала разглядывать ногти.

— Что-нибудь еще говорили?

— Да, — безучастно отозвалась Жанна. — Спросили, кем он мне приходится.

Лицо Жанны вдруг некрасиво искривилось, она качнулась вперед, уронила голову на руки, но тут же вскинула ее, тыльной стороной ладони вытерла глаза и сухо сказала:

— Иди погуляй пока.

Ольф направился к двери, задержался на мгновение у стола, тронул Жанну за плечо и быстро вышел.

Это было часов в одиннадцать. Ольф послонулся по коридорам, посидел с ребятами, сходил в буфет, а когда вернулся к себе, Жанны не было. Она пришла через час, он услышал в коридоре быстрый стук ее каблуков и поднялся в мгновенно возникшем радостном ожидании. Жанна встала на пороге, спиной прикрыла дверь и протянула ему письмо:

— Вот...

«Здравствуйте, родные мои человеки! Не сердитесь за долгое молчание — так уж получилось. Как видите, я не на Камчатке, а на Сахалине, и очень доволен, что попал сюда. Здесь тихо, спокойно и пустынно, — а это то, что очень нужно мне сейчас. И рядом море. Вернее — океан, а это нечто совсем другое, чем море. А впрочем, не тебе, Ольф, описывать... Я с завистью думаю о том, что ты прожил у этого могучего красивого чудища много лет.

Потом напишу подробнее, а сейчас — просьба к вам: разыщите номера журналов с работами по квантованию времени и пришлите сюда, непременно авиапочтой. Еще, если возможно, — статью Гейзенберга о новой классификации элементарных частиц и работы Дирака по теории вакуума. Когда и где они напечатаны — не помню, спросите у А. С. И скажите ему, что напишу чуть позже.

Большой привет ребятам.

Обнимаю вас. Д.»

Ольф взглянул на конверт, прочел обратный адрес: «Сахалинская область, п. Топорково, почта, Кайданову Д. А.».

Жанна сидела за столом и тихо плакала. Ольф сел рядом, осторожно повернул ее голову к себе. Жанна сквозь слезы улыбнулась ему.

66

В Топорково поезд пришел в три часа ночи. Ольф с минуту постоял, привыкая к густой, пахнущей морем темноте, и пошел вдоль вагонов на слабый свет одиноко горевшего фонаря. Кажется, кроме него, никто не сошел здесь — в грязном зальце ожидания было пусто, за темным деревянным оконцем кассы стояла прочная тишина. Ольф растянулся на скамье, подложил под голову рюкзак и задремал.

Утром в свете еще невидимого, но близкого, встававшего где-то за сопками солнца Ольф разглядел, что поселок невелик, и подумал, что разыскать Дмитрия будет нетрудно — здесь наверняка все знали всех. Он пошел по деревянному тротуару и у первого встречного спросил, не знает ли он человека, месяца полтора назад приехавшего из Москвы. Москвичей у нас нет, уверенно ответили ему.

— И не было? — упавшим голосом спросил Ольф.

— Нет. Из Ленинграда был кто-то — высокий, бородатый, — три дня пожил и уехал. А из Москвы... нет, точно не было.

И никто не знал человека из Москвы.

Наконец Ольф догадался спросить:

— А до моря далеко отсюда?

Оказалось, что до моря восемь километров, и Ольф с облегчением вздохнул — конечно, Дмитрий и не может быть здесь, ведь из его письма ясно, что живет он рядом с морем. Значит, где-то поблизости, на побережье, должна быть какая-то деревня. Но тут же сказали ему, что до ближайшего селения на побережье добрых тридцать километров, и Ольф снова приуныл — ему казалось невероятным, что Дмитрий может поселиться где-то прямо на берегу, один. А потом кто-то предположил: может, он в заброшенках? Ольфу объяснили, что лет шесть назад рядом, на побережье, был рыбацкий поселок, его сселили, и с тех пор там никто не живет. И кто-то тут же вспомнил, что как будто видели там с неделю назад человека, и вроде бы он раза два приходил сюда, покупал консервы и хлеб.

— Какой он из себя? — спросил Ольф.

Стали вспоминать: роста как будто среднего, с бородой, волосы вроде ни темные, ни светлые... И больше ничего не могли. Сказать. Серьезный, добавил кто-то. «Наверно, он», — подумал Ольф и решил идти туда. Ему подробно объяснили, как дойти: километра полтора по железке, свернуть налево, перевалить через две сопки — и прямо к заброшенкам.

Тропинка к заброшенкам шла узкая, затравевшая, временами и вовсе терялась, — видно, не часто пользовались ею. Тайга здесь была низкая, худосочная — ядовитые морские туманы не давали ей развернуться, — зато трава росла мощная, буйная, и временами Ольф с головой скрывался в ней. Все крепче, настойчивее чувствовалось дыхание океана, вскоре оно начисто перебило таежные запахи, и Ольф понял, что скоро будет у цели. И когда вышел на гребень второй сопки — ярчайшим светом резанула глаза океанская синь, висело над ней большое, тяжелое солнце, где-то далеко впереди сплавляя воедино границу воды и огромного, никогда не виданного на материке неба.

Внизу увидел он серые, порушенные временем и безлюдьем скелеты домов. Иные совсем уже завалились, почти уничтожились, мертво белели среди высокой травы, другие еще пытались бороться, косо щерились в нежилое пространство темными провалами бывших дверей и окон, и лишь несколько срубов стояли прямо, и у одного из них Ольф увидел протянутую к столбу веревку и что-то темное на ней. Значит, действительно кто-то жил здесь. И Ольф заспешил вниз, оскальзываясь на влажной траве, стараясь не думать о том, что этот «кто-то» мог быть и не Дмитрий. И когда Ольф подошел ближе и в том, что висело на веревке, узнал куртку Дмитрия, он остановился, сбросил рюкзак и на минуту присел на валежину, вытащил сигарету и закурил. Надо было подумать о том, как они встретятся. Слишком хорошо помнил Ольф, каким был Дмитрий, когда уезжал, помнил его долгое молчание и понимал, что для этого должны быть веские причины. Думал он недолго — ничего не шло в голову, хотелось скорее увидеть Дмитрия, и он встал, вскинул рюкзак на одно плечо и торопливо зашагал к дому.

Дмитрия не было. Ольф вошел в сумеречное, пахнущее сыростью нутро избы, увидел широкий, грубо сколоченный топчан, матовый прямоугольник затянутого синтетической пленкой окна и облегченно сбросил рюкзак, окончательно уверившись в том, что это именно жилище Дмитрия: лежали на топчане журналы, и книги, увезенные им из Долинска, рядом темнел знакомый свитер, стоял у стены его чемодан. «Ну и слава богу», — суеверно подумал Ольф, оглядываясь, и вышел из избы.

Ждать пришлось часа полтора. Ольф увидел, как Дмитрий бредет по полосе прибойя в рыбацких сапогах — высокие голенища их с торчащими в стороны ушками были подвернуты, — с ружьем и действительно с бородой. Он смотрел себе под ноги и не видел Ольфа. А когда поднял голову и увидел — Ольф шагнул ему навстречу и заторопился быстрой, неровной походкой, напрямик, через траву. А Дмитрий стоял и смотрел на него,

словно не узнавая. И, пугаясь этого странного неузнавания, безрадостной неподвижности Дмитрия, Ольф крикнул:

— Димыч, это я!

— Вижу, что ты, — спокойно улыбнулся Дмитрий, снимая зачем-то ружье, и, сжав левой рукой стволы, правой обнял Ольфа. — Какими судьбами?

— Обыкновенными, — сказал Ольф, часто моргая и все еще не отстраняясь от Дмитрия. — Аэрофлотовскими.

— Ну, идем в мою берлогу.

— Вот решил наконец проветриться, — бодро, торопливо заговорил Ольф, вышагивая рядом с Дмитрием. — Ну, как ты?

— Хорошо, — безразлично ответил Дмитрий, глядя себе под ноги.

— Выглядишь ты отлично, — сказал Ольф.

И это было почти правдой. Дмитрий за два месяца заметно поздоровел, и хотя шел медленно, но походка была спокойная, уверенная. Одно не нравилось Ольфу — взгляд Дмитрия. Не так бы должен смотреть человек, у которого все хорошо...

Ольф ждал, когда Дмитрий начнет расспрашивать его, но так и не дождался. Дмитрию как будто совсем неинтересно было, как они жили в это время. Он повесил ружье и небрежно осведомился:

— Голодный?

— Есть маленько.

— Журналы привез?

— Да.

— Давай сюда.

Ольф молча отдал ему журналы и вытащил коньяк. Дмитрий, не обращая на него внимания, стал просматривать статью Гейзенберга. Минут через десять он швырнул журнал в общую кучу, бегло просмотрел работы Дирака, помолчал, думая о чем-то, и невесело взглянул на Ольфа:

— Ну что, будем есть?

— И пить тоже.

— И пить тоже, — машинально повторил Дмитрий, поглаживая бороду.

— А борода тебе идет, — сказал Ольф. — Дмитрий невидящим взглядом посмотрел на него, вытащил из-под топчана трехлитровую банку с икрой, бревноподобную копченую кетину, и Ольф с завистью крякнул:

— Широко живешь, пустынный...

Расстелили на траве плащ. Ольф, жмурясь от яркого солнца, рассматривал море, сопки, черные прибрежные скалы и с усмешкой сказал:

— Тебе можно позавидовать самой черной завистью, Экое местечко отхватил... Присоветовал кто?

— Было дело.

Ольф кивнул на солнце:

— И давно здесь такая благодать?

— Почти все время, как приехал.

Ольф помолчал и словно нехотя сказал:

— А у нас дожди. И вообще на редкость гнусное лето выдалось... Ну что, выпьем?

— Наливай.

Ольф разлил коньяк в помятые жестяные кружки, усмехнулся:

— Коньяк из кружек... Забавно. Ну, со встречей, дружище.

Дмитрий после первого глотка поперхнулся и закашлялся.

Ольф похлопал его по спине и пошутил:

— Совсем из формы вышел, старик... Тренировки не было, что ли?

Дмитрий промолчал. Ольф, пробуя поочередно то икру, то кету, жмурился от удовольствия:

— До чего ж хорошо...

Потом он закурил, растянулся на траве. Помолчал, посмотрел на Дмитрия и с напряжением в голосе сказал:

— Ты бы хоть поинтересовался, как наши дела...

— А как ваши дела? — равнодушным голосом спросил Дмитрий, и Ольф обозлился:

— А никак... Все хорошо, прекрасная маркиза. Статья вышла, имела бесспорный успех, состоялось заседание Ученого совета, на коем вам, почтеннейший, единогласно, единоручно и единодушно было присвоено звание доктора физико-математических наук... Что же вам еще надобно?

— А Жанне?

— Жанна почти так же прекрасна, как и всегда. — Ольф с особым значением произнес это «почти», но Дмитрий этого как будто не заметил.

— Я не о том. Кандидатскую ей утвердили?

— Разумеется.

— А чего ты злишься?

— Я? — Ольф изобразил крайнюю степень удивления. — Да помилуйте, сударь, с чего бы мне злиться?

Ольфу самому было тошно от своего тона, но другого не находилось. Он с недоумением думал: неужели Дмитрий и в самом деле не рад его приезду?

— Покажи статью, — попросил Дмитрий.

Ольф молча поднялся, пошел в «берлогу», вытащил из рюкзака журнал.

Наблюдая за тем, как Дмитрий разглядывает страницы журнала, спросил:

— Чем ты недоволен?

— Почему фамилии не по алфавиту?

— Жанна наотрез отказалась ходить в лидерах. Я, разумеется, тоже вперед не рвался. Ну, а Валерка в любом случае был бы последним.

— А ему докторскую дали?

— С ним история такая приключилась... Твой меморандум на Ученом совете рассматривали, конечно. Что именно там было — в точности не знаю, со слов Дубровина передаю. В общем, мнения разделились, но похоже, что большинство все-таки склонялось к тому, чтобы дать Валерке доктора. Однако возникли какие-то вопросы, и решено было подождать... до твоего возвращения. А Валерка каким-то образом узнал об этом и сразу же прикатил. Видел бы ты, как-кой он был... Юпитер Громовержец, да и только. На всю ивановскую орал, что в твоих благодеяниях он не нуждается и сам как-нибудь добьется всего. Сочинил какую-то нелепую бумагу Ученому совету с требованием не рассматривать его кандидатуру. Видно, здорово ты его чем-то ушиб...

— Бог с ним. Дубровин как?

— Неважно, Димыч, еле ноги волочит. А в больницу не хочет.

— Доклад в академии когда будет?

— Двадцать четвертого.

Ольф ждал, когда Дмитрий спросит о Жанне и ребятах, но он молчал. «Ну и черт с тобой, молчи, — снова разозлился Ольф. — Спросишь еще...» И стал рассказывать о другом:

— Должен сообщить вам, почтеннейший, что статья произвела весьма заметное впечатление... Уже на четвертый день после выхода журнала явился посланец из Института физических проблем. Вежливый дядя... Страшно был разочарован, что не застал тебя. Долго не хотел раскрывать карты, выспрашивал о тебе — и, надо сказать, довольно умело. Под конец все же решился сообщить, что если Дмитрий Александрович пожелает переехать в Москву, то онный институт готов незамедлительно предоставить ему приличную должность, квартиру и соответствующий оклад. И не только ему, но и нескольким наиболее ценным сотрудникам, коих он, Дмитрий Александрович, сочтет нужным взять с собой. При сих словах дядя многозначительно помолчал, посмотрел на меня и добавил: в разумном количестве, конечно, — скажем, одного-двух человек... Так что — выше нос, Дмитрий

Александрович, вы явно на пороге славы. А вместе с вами, вернее, чуть в сторонке и позади и еще кое-кто, скажем, Рудольф Тихоныч с Жанной Валентиновной...

— Послал бы ты его подальше.

— Ну, зачем же, — рассудительно сказал Ольф. — С такими предложениями далеко не посылают. Такие предложения тщательно, но не слишком долго обдумываются, а потом, как правило, принимаются. А послать никогда не поздно. Будешь иметь удовольствие сделать это сам, если захочешь, конечно...

Дмитрий пристально посмотрел на него и промолчал. Ольф снова лег на траву. Долго молчали они, а потом Ольф заснул.

Когда проснулся, Дмитрия рядом не было. Ольф встал, огляделся — и увидел его. Дмитрий сидел у воды на белом, мертвенно-костяного цвета бревне и смотрел на море. Бил в берег невысокий медленный накат, лениво выбрасывал широкие лохмотья пены. Ольф подошел к бревну, сел рядом с Дмитрием, вытащил сигареты и дал ему. Дмитрий молча закурил, протянул Ольфу зажженную спичку.

— Димыч, — тихо спросил Ольф, — ты не рад, что я приехал?

Дмитрий повернул голову, несколько секунд смотрел на него и мягко сказал:

— Конечно, рад, Ольф... Но, понимаешь, такое уж у меня состояние. Рано ты приехал. Мне нужно еще одному побыть.

— Значит, — медленно сказал Ольф, — мне придется уехать?

— Не знаю, — ответил Дмитрий.

67

Я не удивился приезду Ольфа. Больше того — я был уверен, что он приедет. Ведь я на его месте сделал бы точно так же... Только поэтому я и не писал в Долинск. Я знал, конечно, что все они будут там волноваться, но другого выхода не было. Мне просто необходимо было одиночество. Нужно было самому справиться с тем, что так неожиданно навалилось на меня. Я знал, что никто не сможет мне помочь. Ни Ольф, ни Жанна, ни Дубровин. И уж конечно ни Ася, если бы она и вернулась ко мне.

Все же я не думал, что он приедет так скоро. И конечно, я рад был видеть его, но что-то мешало мне высказать эту радость. Я знал, что он приехал затем, чтобы увезти меня отсюда, но мне еще нельзя было уезжать. Это я тоже знал и теперь готовился к трудному разговору, ожидая, что Ольф с минуты на минуту начнет его. А он, видимо, и сам боялся этого разговора и, кажется, ждал, что начну его я. Когда он спросил: «Значит, мне нужно уехать?» — мне очень хотелось ответить ему «нет», а потом как-нибудь помягче объяснить, почему я не смогу сейчас вернуться в Долинск. Но я решил, что лучше сказать правду. Ольф явно растерялся. Я отвернулся от него и стал смотреть на море. Он еще немного посидел со мной и поднялся:

— Пройдусь по берегу, может подстрелю кого-нибудь.

— Надень сапоги.

— Хорошо.

Ольф надел мои сапоги и, не подходя ко мне, пошел по берегу. А я остался сидеть на бревне, смотрел на море и думал.

Статьи Гейзенберга и Дирака ничем не помогли мне, и я опять пожалел, что написал в Долинск. Я просто не знал, что теперь буду говорить Ольфу. Перед отъездом я попытался все объяснить ему, но он тут же сказал, что такое у меня уже было — «помнишь, в шестьдесят третьем?». И я тут же замолчал. Бесполезно было бы доказывать ему, что аналогии с шестьдесят третьим годом неуместны. Да Ольф, кажется, всерьез и не думал о том, что причина моей «болезни» — я знал, так они называют мое состояние, — именно работа. Он думал, что все дело в Асе. И все так думали — даже Дубровин, я видел это по его глазам во время нашего последнего разговора. Кажется, только Жанна догадывалась, что отъезд Аси — далеко не главная причина моей «депрессии»... Конечно, я помнил о том, что

было в шестьдесят третьем, и иногда принимался успокаивать себя: ведь было такое время, как сейчас, долго было, мне пришлось бросить начатую работу, но все же в конце концов я вернулся к своей идее и осуществил ее, хотя и по-другому... Но успокоение приходило разве что на минуту. Сейчас, шесть лет спустя, я хорошо понимал, чем был вызван тот кризис. Моим незнанием, невежеством и в конечном счете непониманием самой сути тех явлений, которые мне случайно удалось обнаружить. Конечно, было и неверие в себя, в свои силы, — но это уже следствие, а не причина... А теперь? За эти годы я узнал очень многое. Может быть, почти все, что можно было узнать в этой области, — я хорошо видел это, когда читал многочисленные работы по теории элементарных частиц, в них, как правило, не оказывалось ничего существенно нового и неожиданного для меня. Я смутно подозревал, что в конце концов вся эта информация сложится в какую-то более или менее законченную картину и мне придется делать какие-то выводы. Правда, я не думал, что эти выводы придется делать так рано, еще до окончания своей работы. Но так уж вышло — как только я уверился в том, что наша работа закончится успешно, я примерил ее результаты к той общей картине, которая отчетливо представлялась мне, и довольно скоро увидел — получается что-то неладное. Результаты в эту картину целиком не вписывались. На первый взгляд в этом не было ничего страшного: просто добавилось еще что-то новое, — да и как же иначе, для этого работа и проводилась! — картина стала полнее, только и всего. Мне понадобилось всего два дня, чтобы понять: дело не в полноте картины, а в ее противоречивости, вернее — в несовместимости. Вот тогда у меня и появилось ощущение надвигающейся беды... Я, разумеется, тут же напомнил себе, что эксперимент еще не проведен и результаты могут не совпасть с тем, что мы ожидаем, но это было слабое утешение. Я знал, что эксперимент удастся. Не может не удался... Проще всего было бы, конечно, подождать его результатов, а потом уж все как следует обдумать. Но это было уже не в моей воле. Я продолжал обдумывать создавшуюся ситуацию — и не видел никакого выхода. Кроме одного: все неверно, с начала до конца, вся теория элементарных частиц... ни к черту не годится. (К счастью, тут была какая-то доля преувеличения, и затем «все» я заменил на «почти все»). Я долго боялся прямо сформулировать это, искал какие-то другие решения — и не находил их. Пытался отыскать изъяны в своих построениях — и не видел их. Я цеплялся за малейшую возможность приладить свои результаты к этой общей картине, но они упрямо выламывались из нее. Я ухватился было за мысль, что мне неизвестны какие-то сверхновые данные, просмотрел все новинки — и ничего не обнаружил. Оставалось одно — признать неумолимую логику фактов и взглянуть правде в глаза. А правда была такова: все неверно. Все, в том числе и моя работа. И мое уточняющее «почти» мало что спасало. Меня поздравляли с удачей, а я отмалчивался и пытался улыбаться. Ведь они еще не знали, что кроется за этой удачей. И еще не скоро узнают — чтобы понять, что именно означают результаты нашей работы, нужно время. Но, в конце концов, поймут. Они не могут не прийти к тем же выводам, к которым пришел я. Иначе я действительно сумасшедший, и меня в самом деле надо упрятать в психбольницу...

Первое время меня все же немного смущало, что никто не понимает истинного смысла результатов нашей работы. Даже Дубровин не догадывался... Но и этому нашлось простое объяснение. Дубровину было не до нас. Ольф вообще ни о чем не задумывался — так был рад, что наконец-то все кончилось. Вот разве что Мелентьев мог бы что-то заподозрить, но и то вряд ли — он, по складу своего ума, мог блестяще решить, вероятно, любую сколь угодно сложную частную задачу, но сделать какие-то фундаментальные обобщения ему, как правило, не удавалось, я хорошо знал это по нашей работе. Помню, я как-то невесело посмеялся над собой, представив себя в роли пророка, в гордом одиночестве владеющего скрытой от всех истиной, хотя смеяться было не над чем. Действительно, пока только я один знал эту истину. Вот разве что одиночество никак нельзя было назвать гордым... И я готов был немедленно поделиться своей истиной, но я знал, что пока ничего из этого не выйдет. Истина была еще слишком неконкретной, почти бездоказательной, она пока еще лежала больше в области интуиции. И если для меня она представлялась бесспорной, то другие

восприняли бы ее более чем скептически. И пока я наверняка не сумел бы ничего доказать. Сначала надо было самому все привести в порядок. Я не сомневался, что рано или поздно мне удастся сделать это, и принялся за работу. И, кажется, уже в первый день спросил себя: зачем я это делаю? Чтобы доказать, что другие не правы? Разрушить то, что создано ими? (И мной в том числе!) Но я-то уже знаю, что это так. Пусть другие позаботятся о себе. Пройдет не так уж много времени, и кто-то задумается над результатами нашей работы и наверняка придет к тем же выводам, что и я, приведет строгие математические доказательства моих интуитивных положений. А я за это время, может быть, хоть немного продвинулся в поисках каких-то новых решений. Логично? Как будто. Но что-то во мне противилось этой логике. И вовсе не то, что эти выводы могут существенно отличаться от моих, — я уже не сомневался в своей правоте. Тогда что же?

Я подумал о том, сколько времени может занять эта разрушительная работа. Я еще смутно представлял, с какими трудностями придется столкнуться, и не мог даже приблизительно назвать какой-либо срок. Три-четыре месяца? Возможно. А если год, два? Не слишком ли это много? Много — для кого? Для очень многих! Для сотен, а может быть, и тысяч людей в разных странах, которые работают в этой области. И чем скорее они узнают о том, что означают наши результаты, тем лучше. Для них, конечно. А для меня? Возможно, для меня это будет потерянное время... И неважно, что никто, кроме меня, не будет считать, что потери напрасны. Наоборот — эта разрушительная работа наверняка будет признана очень значительной. Уж кто-кто, а физики умеют по достоинству оценивать так называемые «отрицательные» результаты — у них было немало случаев убедиться в их важности. Значит, мне нужно все-таки проделать эту работу... Постараться по возможности расставить все точки... Ведь я наверняка сделаю это быстрее, чем кто-либо. Пока статья выйдет из печати, пока ее прочтут, пока найдется кто-нибудь, кто как следует задумается о том, что она означает, — может пройти немало времени. Напрасно потерянного времени для очень многих. И не только для каких-то людей «вообще», но и для Дубровина, — я уже догадывался, что мои результаты должны касаться и его работы тоже.

И я решил сделать эту работу. Но шла она необычайно тяжело. Я не переставал думать о том, что же будет дальше, когда я сделаю это. Найдется ли хоть какой-нибудь просвет в создавшемся тупике? И, думая так, я занимался тем, что усердно достраивал этот тупик, — для того, очевидно, чтобы, положив последний камень, на минутку передохнуть и повернуть назад. В который раз я спрашивал себя: какой смысл в этой работе, если после нее мы будем знать еще меньше, чем прежде? С точки зрения абстрактной логики — никакого. Но мы-то живем в мире, где законы абстрактной логики очень часто бывают неприемлемы... И я продолжал свою разрушительную работу. И похоже было на то, что сооружение тупика близилось к концу. Но пока работа не закончена, мне нельзя было возвращаться в Долинск. Ведь они ничего не знают. У них свои заботы, и они постараются, чтобы я разделил их с ними. Я знал, что нужен им, да и мне самому было плохо без них. Но они, вольно или невольно, помешают мне, а сил у меня и без того сейчас было немного. Вот это и придется как-то объяснить Ольфу, и дай-то бог, чтобы он сумел понять меня...

Ольф пришел вечером, бросил трех уток и довольно улыбнулся:

— Принимай трофеи, Кайданов. Небогато, правда, да больше нам пока и не нужно. Еще трех подранков в море упустил. И между прочим, всего семь патронов истратил. Однако, есть еще порох в пороховницах... Была бы лодка, их можно десятками стрелять.

— Зачем? — спросил я.

— Верно, конечно, да я ведь так, к слову, охотничий азарт говорит. Давненько я с ружьишком не бродил... А ружьишко дрянь, однако...

Ольф разделся до пояса, пошел к берегу и долго мылся. Растираясь полотенцем, он кричал и ухал от удовольствия.

— Хорошо-то как, господи... Вот бы эту стихию да к нам в Долинск, а?

Ольф сам разделал уток и зажарил их. Я хотел помочь ему, но он запротестовал:

— Э, нет, братец, ты уж не лишай меня этого удовольствия. Мне так обрыдла наша

стерильная цивилизация, что ты уж того, посиди смирно. Я сам, сам... — И, принюхиваясь к запахам, он мечтательно сказал: — Ну-с, сегодня попантагрюэльствуем...

Он был очень доволен своей охотой, предстоящим пиршеством, всем, что видел вокруг, и я подумал, что мне трудно будет объяснить ему мое состояние. Но в этот вечер Ольф не начал разговора. Мы «попантагрюэльствовали» и легли спать.

Ольф долго ворочался, вздыхал, видно, ему очень хотелось поговорить, но я никак не реагировал на его намеки.

Потом я сквозь сон услышал, как Ольф встал и надолго ушел. Я вылез из спального мешка и выбрался наружу.

Ольф разжигал костер.

— Замерз? — спросил я.

— Да нет... Не спится, няня. В Долинске-то еще девять вечера, а тут уже утро на носу. Чудно, — повел он головой. — Воистину — край земли. Как-то даже не верится, что там, — он кивнул на море, — ничего нет кроме воды, а за ней — Америка.

Костер разгорелся. Ольф сходил в избу и вернулся с бутылкой коньяку.

— Выпьем по махонькой?

— Давай... Ты что, весь рюкзак бутылками набил?

— Еще одна есть. Мы же теперь богатые. Мы же теперь — с успехом, а стало быть — и с деньгами. Кстати, премии всему сектору отвалили, по два оклада.

Мы выпили, помолчали, и Ольф спросил:

— Димыч, когда мы поедем отсюда?

— Не знаю, — сразу сказал я.

— Докладчиком на сессии заявлен ты.

— И напрасно.

— Нет. Нужно, чтобы именно ты сделал доклад. Все так считают.

— Кто все?

— Все. Дубровин, Торопов, ну и мы с Жанной, конечно.

— И все-таки доклад придется делать тебе.

— Я без тебя не уеду, — твердо сказал Ольф.

Я промолчал. Ольф, пристально глядя на меня, заговорил:

— Димыч, дело даже не в докладе, хотя и это имеет значение. Ты же знаешь, что там наверняка возникнут сложнейшие вопросы, и никто лучше тебя не ответит на них. Но не это главное...

— А что же?

— Скверно там без тебя, Димыч. Ты даже представить себе не можешь, как скверно.

— Что именно скверно?

— Ребята не хотят работать.

— Не хотят?

— Вернее, не могут.

— Не понимаю.

— Это трудно объяснить, но это так, поверь, я ничуть не преувеличиваю. Они ждут тебя и хотят работать с тобой, и ни с кем другим.

— Из этого все равно ничего не выйдет.

— Допустим, — уклончиво сказал Ольф, и я понял, что он и не пытался убедить их в этом. — Но тебе самому придется объяснить им это. Мне они не верят.

— Жаль... А что еще скверно?

— Как ты говоришь... — с болью сказал Ольф. — Можно подумать, что тебе действительно на нас наплевать.

— На кого это на вас?

— На Жанну, например, на Дубровина... На меня, наконец... Знал бы ты, как Алексей Станиславович беспокоится о тебе... А Жанна форменной психопаткой стала. Она даже в милицию ходила, хотела на розыск подать. А ты двух слов не написал, чтобы мы хотя бы

знали, где ты. Мало ли что могло случиться с тобой... Все-таки это жестоко, Димка...

— Наверно... Но я не мог иначе.

— Ну хорошо, хорошо, — сразу согласился Ольф, — не мог так не мог, я же не упрекаю тебя. Ты уезжал больным, и хорошо, что уехал, — торопился Ольф, — мы, очевидно, были неправы, отговаривая тебя, эта поездка здорово встряхнула тебя, выглядишь ты просто отлично, но почему же тебе не поехать вместе со мной?

И тогда я попытался объяснить ему, чем сейчас занят и что еще мне предстоит сделать. Ольф слушал недоверчиво, со все более возрастающим изумлением. Когда я кончил, он потер рукой лоб и потерянно сказал:

— Вот это финт, я понимаю... А впрочем, пока я ничего не понимаю... погоди, дай подумать... Ты что же, хочешь сказать, что сами по себе наши результаты ничего не стоят?

— Почти ничего. Главное — в тех последствиях, к которым они приводят.

— А ты... не ошибаешься в этих последствиях?

— Думаю, что нет.

— Подожди-ка... И давно ты додумался до этого?

— Я еще не до конца додумался, Ольф. Именно поэтому я сейчас и не хочу уезжать отсюда.

— Ну, а когда... — он покрутил рукой, — это пришло тебе в голову?

— Еще до того, как мы провели опыт.

Ольф сложил губы так, словно собирался свистнуть, но свиста не получилось. Он встал, покружился вокруг костра и остановился передо мной, сунув руки в карманы.

— Слушай, что же это получается?

— Сядь.

— Ну, сел.

— Ты карточные домики строил когда-нибудь?

Ольф рассердился:

— А при чем тут карточные домики?

— Хочу популярно объяснить, что получилось... Сначала строить эти домики очень легко. Все держится более или менее прочно. А в конце, когда пытаешься положить последние карты, все вдруг разваливается. Вот так примерно получилось и у нас.

— Ты хочешь сказать, что мы положили одну из этих последних карт?

— Видимо, так.

— Ну, а если без аллегорий... Ты не можешь показать мне свои выкладки?

— Пока нет.

— А... Дубровину говорил?

— Нет. Тогда мне самому многое было неясно.

— Но ведь ты, кажется, говорил ему, что не видишь никакого выхода... Как ты объяснил ему это?

— Я говорил ему примерно то же, что и тебе. Одни эмоции, и никаких доказательств. А потом, вы все вбили себе в голову, что я болен, и все мои доводы пропускали мимо ушей. И Дубровин тоже. А я ничем не болен, Ольф. Просто устал. Здорово устал... ото всего.

Ольф как-то странно смотрел на меня, и я догадался, о чем он думает, и сказал:

— А впрочем, можете считать это болезнью или как вам угодно. Но не смотри так — твоя могучая мысль слишком уж явно читается на твоей физиономии. Я не сумасшедший, и мои догадки отнюдь не бред больного воображения. Через месяц-полтора вы сами убедитесь в этом.

Ольф спохватился и сделал вид, что рассердился:

— Никто тебя сумасшедшим не считал и не считает... Но ты говоришь такие вещи, что так сразу их не переваришь. Ведь если это правда, то есть твои предположения, то это же... черт знает какое открытие!

— Уж лучше назвать это закрытием.

Наверно, тон у меня был не слишком-то веселый, и Ольф подозрительно посмотрел на

меня:

— Закрытие? Ну, знаешь ли... Не каждый год делаются такие закрытия... Можно подумать, что ты не рад своей удаче.

— Чему уж тут радоваться...

Ольф с изумлением уставился на меня:

— Ты что, серьезно? Или придуриваешься? Не понимаешь, что означает это твое закрытие?

— А что оно, действительно, означает? Что столько времени, средств, а может быть, и человеческих жизней было потрачено зря? Я уже сейчас могу составить список по меньшей мере из двух десятков работ, и работ значительных, то есть признанных таковыми, результаты которых начисто уничтожаются нашей работой.

— Но ведь... если и так... это же великолепно! Разве ты виноват в этом? Наоборот — тебе в ножки надо поклониться? Нет, Димка, ей-богу, — Ольф вскочил на ноги, — до меня только сейчас начинает доходить, что ты сотворил. И не строй похоронную рожу, не делай вид, что ты не понимаешь значения твоей работы. Это же... Ух, черт, даже не верится!

Ольф в возбуждении ходил вокруг костра и радостно восклицал:

— Вот шум-то теперь подымется, а? Нет, подумать только, — такой фитиль поставить легиону ученых мужей! А этот параноик еще чем-то недоволен! Посмотреть на этого чудика, так можно подумать, что его постигло величайшее разочарование в жизни! Или ты еще не уверен в своем «закрытии»? — остановился он вдруг передо мной.

— Как раз в этом-то я уверен.

— Тогда объясни мне толком, что тебе не нравится? — Он присел передо мной на корточки и требовательно посмотрел на меня. — Валяй, выкладывай все, я ведь не отстану от тебя.

— А что выкладывать? Я уже все сказал.

— Это... насчет напрасных трат?

— Да.

— Нет, ты все-таки кретин! — взорвался Ольф.

— Ольф, но ведь все так просто. Ты не забыл, над чем мы работаем? Над созданием теории элементарных частиц. Еще раз повторяю — над созданием. А наша работа и мои выводы хоть на шаг приблизили нас к этому созданию? Нет...

— Да как же это нет? — с яростью зашипел Ольф. — Чего ты мелешь? Что ты понимаешь под созданием? Прямую линию, соединяющую две точки? Неуклонное, непрерывное поступательное движение по этой линии? Так, что ли? Если так, то, конечно, ты ничего не открыл и ничего не создал! Но если так ты представляешь себе процесс созидания, то ты безнадежный дурак, кретин, идеалист! Познание — это не прямая линия и даже не кривая! Это чудовищно разветвленное дерево с бесконечным множеством ветвей и веточек, и где-то там, на вершине, — Ольф мощным жестом простер руку к небу, — то самое драгоценное яблоко, которое нам надо сорвать! А, черт, но ведь даже само это выражение — «дерево познания» — говорит за себя. Если уж библейские мудрецы додумались до таких вещей, то тебе-то, материалисту, уж и вовсе полагалось бы иметь представление о том, что такое процесс познания. Это нагромождение бесчисленного количества ошибочных теорий и несостоятельных идей, среди которых прячутся золотые жилки истины! Это умопомрачительный лабиринт, план которого известен разве что господу богу! Но этого чертова бога не существует, и нам, человекам, приходится самим выбираться из этого лабиринта! Но скажи, сделай такую милость, как из него выбраться, минуя тупики? Как?! Ты и сам отлично знаешь, что другого способа не существует. И если ты обнаружил один из этих тупиков — великая тебе благодарность за это... — Он действительно сделал глубокий поклон. — Ибо это означает, что одним тупиком стало меньше, и шансы найти единственно верный путь автоматически повысились. Пусть ненамного, пусть мы даже не знаем, на сколько именно, но повысились, разве нет? Да или нет?

— Допустим...

— Не допустим, а точно! Тогда какого тебе рожна надо?

— Послушай-ка меня, Ольф, — остановил я его. — Не надо мне ничего доказывать, я все это, как ты мог бы догадаться, и сам знаю.

— Я думаю, — сразу сник Ольф. — Сейчас это даже школьники знают.

— Вот именно. Мы говорим о разных вещах. Ты судишь с каких-то позиций «вообще», а судить так — значит всегда быть правым. И ты прав, разумеется. Возможно, и я рассуждал бы точно так же, окажись на твоём месте. Даже наверняка так. Но то, что это сделал именно я, а не кто-то другой, заставляет меня смотреть на все эти вещи по-иному. Что моя работа будет признана значительной, успешной и принесет известность и все такое прочее — это я тоже знаю. Более того, я даже думаю, что ничего более значительного — опять же с этих позиций «вообще» — я не сделаю за всю свою оставшуюся жизнь.

— Ну, это ты загнул...

— Ничего не загнул. Пожалуйста, не перебивай меня. Все твои красивые слова о древе познания, лабиринте и тупиках — те самые прописные истины, которые, не задумываясь, пускают в ход, когда хотят оправдать свою беспомощность и несостоятельность.

— Кто это хочет?

— Все. Если хочешь — все человечество.

— Ого...

— А разве нет? Разве не очевидно, что это самое человечество сплошь и рядом признает успехом то, что в конечном счете оказывается ошибками и заблуждениями?

— О господи... — простонал Ольф. — Да откуда оно, это самое человечество, может заранее знать, что это ошибки и заблуждения?

— Не может, конечно. Но что это меняет?

— Димка, еще немного — и я начну думать, что ты в самом деле свихнулся.

— Все может быть.

— Ты что, не понимаешь, что с такими взглядами просто невозможно жить? Не понимаешь, что нельзя отнимать у человечества, и уж тем более у отдельных людей права на ошибки? Если во всем заранее предполагать ошибки... да ты знаешь, к чему это приведет? К тому, что потом уже ничего не будет! Не то что каких-то достижений, но даже этих самых ошибок! Ничего! Нуль, бесконечная деградация — вот что будет! Это ты понимаешь?

— Отлично понимаю, Ольф. И все-таки ничего не могу поделать с собой.

— Димыч, это пройдет. Это все временно.

— Дай-то бог...

— Это пройдет, Дима, обязательно пройдет.

— Знаешь, я ведь не случайно просил тебя прислать статьи Дирака — не только потому, что они понадобились мне для работы. Я вдруг задумался о его судьбе... С тех пор как он предсказал существование античастиц, прошло сорок с лишним лет, а Дирак не сделал больше ничего, что можно было бы хоть как-то сравнить с этим предсказанием... Я, разумеется, не ставлю себя на одну доску с Дираком, но как подумаю, что, может быть, действительно достиг своей вершины именно в этой работе и теперь мне остается только спускаться вниз...

— А ты помнишь, что сказал о Дираке Ландау?

— Да. — Я невольно улыбнулся. — Когда Дирак делал доклад в Харькове, Ландау приговаривал: «Дирак — дурак, Дирак — дурак».

Ольф неодобрительно посмотрел на меня:

— Это ты помнишь, а другое забыл...

— Что именно?

— А то, что на одном из совещаний Ландау говорил и такое: «Кто спорит, что Дирак за несколько лет сделал для науки больше, чем все присутствующие здесь за всю жизнь?»

— Это было гораздо позже.

— Ну и что?

— А потом, обрати внимание: за несколько лет... А что остальные сорок лет? Дирак

ведь до сих пор живет и здравствует... на проценты со своего капитала. Почему так?

— Ну, мало ли почему...

— А я догадываюсь почему.

— Да? — Ольф с любопытством посмотрел на меня.

— Видимо, подобные вспышки озарения требуют такой огромной духовной работы, что человек растрчивает себя практически мгновенно. Даже, думаю, не за несколько лет, а может быть, за считанные дни, если не часы. А потом неизбежно наступает расплата и в конечном итоге прозябание.

— Но Дирак-то не прозябает, — возразил Ольф.

— Но я не Дирак — это, во-первых. А во-вторых — смотря с чем сравнивать. Если с другими — конечно, это не прозябание. Но если с тем, что он сам сделал во время этой вспышки, — это именно прозябание. А сравнивать нужно все-таки с этим.

— Послушай, — сказал Ольф и замялся.

— Да?

— А как у тебя это было? Ну, в смысле... сколько времени заняло... когда ты догадался?

— Не знаю, — не сразу сказал я. — Вероятно, несколько часов. Остальное уже шло по инерции.

— Знаешь, что меня поражает... в твоей истории? Твоя непостижимая уверенность. Ведь еще никто, кроме тебя, не знает об этом... а по твоим словам, и вообще по виду, чувствуется, что ты абсолютно уверен в своей правоте.

— Так оно и есть... А почему — не знаю.

Я встал и увидел, что уже утро.

— Ну что, будем досыпать?

— Да разве уснешь теперь, — сказал Ольф и, взглянув на меня, добавил: — Да, я не сказал сразу... Я привез тебе письма.

— Письма? От кого?

— От ребят, от Дубровина. И от Аси.

Он вынес из избы несколько конвертов. Один был очень толстый, без надписи. «От ребят», — догадался я. От Аси было три письма, я посмотрел на штемпеля и увидел, что два пришли сразу после моего отъезда, а третье — месяц спустя.

Я сунул конверты в карман и сказал:

— Пойду, пройдуся.

Мне не хотелось при Ольфе читать эти письма. Он кивнул:

— Иди. А я, наверно, и в самом деле попытаюсь заснуть.

Я прошел немного по берегу, сел на камень, вытащил письма и вскрыл толстый конверт. Там было с десяток листков, исписанных разными почерками. Я бегло просмотрел их — записки Жанны почему-то не было. Я сунул листки в конверт и принялся за письмо Дубровина. «Дима, мальчик мой», — прочел я первую строчку и остановился. Так Дубровин обращался ко мне впервые. Я попытался представить, какое лицо было у него, когда он писал эти слова, — и не мог. «Наконец-то мы узнали, где ты. Я просто не знаю, как мне теперь говорить с тобой. Я не думал, что твой отъезд, твое долгое молчание причинят мне такую боль. Мне казалось, я достаточно хорошо знаю тебя, хорошо понимаю твое состояние, и, откровенно говоря, это долгое молчание оказалось для меня неприятной неожиданностью. Ты не должен был так делать. О чем я только не передумал за эти два месяца, каких только бед не представлял... Но теперь, слава богу, все позади. Странно, наверно, тебе читать это? В разговоре таких слов я не сказал бы, а в письме... что ж, в письме все можно. Можно и сказать, что ты стал для меня одним из самых дорогих мне людей, что твоего возвращения я жду как... не помню уже, ждал ли я кого-нибудь так, как тебя. Прошу тебя, возвращайся.

Твой А. С.».

Короткое, неожиданное письмо Дубровина без труда сделало то, чего напрасно добивался Ольф. Я еще не решил, что уезжать нужно непременно сейчас, но знал, что мое одиночество кончилось. Я не мог не выполнить такой просьбы Дубровина. Я решил, что подумаю об этом потом, и принялся за письма ребят, уже зная, что будет в них.

Ольф не преувеличивал — им действительно было скверно. Растерянность прорывалась в каждом письме, хотя они наверняка писали их, не советуясь друг с другом. По-видимому, они и в самом деле не могли работать. Дело было, конечно, не в моем отъезде... Я вспомнил, что даже не спросил Ольфа, чем конкретно они решили заняться. Это было не так уж и важно — любой из тех вариантов, которые мог предложить им Ольф, наверняка не устраивал их.

Я закурил и долго смотрел на море, не решаясь прочесть письма Аси. Было время — перед отъездом сюда, — когда я панически боялся одного вида этих узких длинных конвертов с множеством разноцветных марок. Сейчас страха не было, но читать эти письма мне не хотелось. Я знал, что между нами все кончено, но эта определенность не избавляла от боли — ни меня, ни тем более Асю. Ей приходилось намного хуже, чем мне. Она была одна, без друзей, в бесконечно чужой стране, и порой я просто не представлял, как она выдерживает все это. И если бы я мог хоть чем-нибудь помочь ей... Но время, когда я мог что-то сделать для нее, прошло. Иногда мне хотелось плакать от жалости к ней, от бессмысленности того, что случилось с нами. Разумом я понимал, что мы оба расплачиваемся за те ошибки, которые творила по собственной воле, и что их не могло не быть после самой главной ошибки — нашей встречи, нашего решения жить вместе. Мы слишком понадеялись на то, что все образуется, все будет хорошо, если есть главное — наше желание быть вместе. И ведь как сильна была эта уверенность... А теперь? Но если уж суждено было случиться нашему разрыву, почему на Асю должна ложиться главная тяжесть? Наверно, все было бы проще и легче для нее, если бы ушел я. Или появился бы кто-то третий. Но никакого третьего не было, и первой ушла Ася. И не просто ушла, а заранее, в течение нескольких месяцев, обдумала все, тщательно подготовив свой отъезд... Она была уверена, что я не смогу простить ей именно этой долгой подготовки, и, кажется, оказалась права. В первые дни, да и потом, меня особенно сильно мучило именно это. В феврале (или еще раньше? когда она решила уйти от меня?) Ася уже знала, что уедет. Знала об этом, целуя меня при встрече, отвечая на мои ласки, обсуждая наши планы на будущее. И я ничего не замечал. Ничего, совсем ничего! А ведь каждое ее слово было ложью... Зачем она делала так? Почти в каждом письме Ася объясняла мне это, иногда одними и теми же словами. Если бы она сразу сказала о своем решении, она вряд ли смогла бы уйти. У нее наверняка не хватило бы сил на это, и ей не хотелось уходить от меня. И еще — она не хотела мешать моей работе, особенно на таком ответственном этапе... Все было разумно и очень логично в ее объяснениях, и я верил ей — даже тому, что она не хотела уходить от меня. Но это была какая-то неестественная, даже, пожалуй, бесчеловечная логика. В основе этой логики была ложь, и эта ложь автоматически распространялась не только на те четыре месяца. (Логика, ложь — какие похожие слова... Нет ли между ними связи?) Ведь ложь никогда не возникает вдруг, на пустом месте. Зародыш этой лжи лежал где-то в далеком прошлом, может быть, еще в самом начале наших отношений. Понимала ли это Ася? Кажется, да. И эта ложь делала почти невозможной любую попытку возврата к старому. Почти — потому что такая попытка все же была. Даже две.

Когда в тот день я пришел с работы и прочел письмо Аси, оставленное на журнальном столике, я почти ничего не понял. Я тут же уехал в Москву, взял на вокзале такси и помчался в Шереметьево. Письма я с собой не взял, и, когда по пути в аэропорт пытался вспомнить, что же написала Ася на одиннадцати страницах, мне это не удалось. Из всего письма я понял только одно — что Ася уезжает от меня, а я не хочу этого и обязательно должен вернуть ее. Потом, после ее писем из Каира, я подумал, что, если бы мне удалось застать ее в аэропорту, она осталась бы. Но Ася все точно рассчитала. Когда я приехал в Шереметьево, самолет уже

два часа был в воздухе. Я вернулся в Долинск, перечитал письмо, снова почти ничего не понял и сел писать. Я писал почти всю ночь, заклеил конверт и положил его в ящик стола. Осталось дожидаться письма Аси из Каира, узнать ее адрес, надписать конверт и отнести его на почту. И если бы Ася сразу написала мне, я так и сделал бы. Но первое ее письмо пришло только через три недели. Ася и это рассчитала — что мне понадобится какое-то время, чтобы обдумать все. Да, понятие «женская логика» к ней никак не подходило, тут уж надо отдать ей должное... Так все логично было в этом втором письме, что я взял свой толстый конверт и, не вскрывая, сжег его. Потом я пошел в магазин, добыл два ящика из-под сигарет и стал упаковывать Асины вещи. Я сделал все так, как она просила: один ящик отправил в Каир, а другой — в Москву к какой-то ее подруге. Перечисление того, что и куда нужно отправить, заняло в ее письме почти целую страницу. Она не забыла упомянуть, что вещи надо переложить шариками нафталина, и указала, где они лежат — в шифоньере, третий ящик сверху, в правом дальнем углу. Я отыскал там несколько пакетиков с нафталином. Мне показалось, что этого слишком много, но я мудро решил, что кашу маслом не испортишь, и положил все. Ася даже объяснила, зачем нужно отправлять второй ящик в Москву, — она подумала, что мне неприятно будет видеть ее вещи, они о многом будут напоминать мне. Что ж, и это было логично...

Через два дня пришло третье письмо. Логики в нем было уже гораздо меньше, чем в первых двух. А потом письма пошли одно за другим, чуть ли не ежедневно. И в них порой вообще не было даже намека на какую-то логику. Ей было очень плохо, и я, как мог, пытался утешить ее и оправдывал все ее поступки. После пятого или шестого письма я понял, что, если позову ее, она вернется. Два дня я обдумывал это, а потом сел и написал ей. Я предлагал забыть все и попытаться наладить нашу жизнь. Письмо вышло убийственно логичным, в нем, насколько я мог сейчас вспомнить, не было ни одного живого человеческого слова. Писал я его в институте, в перерыве между своими выкладками, и, закончив, снова принялся за работу. У меня было искушение отправить письмо не перечитывая, а там будь что будет, главное — решение принято. Но вечером я перечитал его и, конечно, не отправил. Я больше не писал ей — просто не мог. А вскоре уехал сюда и решил, что больше не буду думать об этом. Что кончено, то кончено.

К некоторому моему удивлению, я и в самом деле почти не думал об Асе в эти два месяца. Значит, действительно все было кончено. Вот почему сейчас мне очень не хотелось читать ее письма. И все-таки прочесть надо... Я вскрыл последнее, третье письмо.

«Дима, родной мой... Ты не отвечаешь на мои письма, и я решила, что тоже больше не буду писать тебе. А вчера вечером получила письмо от Ольфа, в котором он пишет, что ты заболел и уехал, и даже он не знает куда. Господи, что было со мной... Я проревела всю ночь, и мне страшно, так страшно, Дима... Наверно, я все-таки очень люблю тебя. Забудь обо всем, что я писала тебе прежде, — все это неправда. Я люблю тебя — сегодня ночью я поняла это. Я люблю тебя — и если что-нибудь случится с тобой, я просто не знаю, как я смогу жить дальше...»

Я отложил письмо и полез за сигаретой. Вот так... И Ася тоже решила, что моя «болезнь» — из-за ее отъезда. Особенно если Ольф намекнул ей на это. Мне стало так скверно, что заломило в затылке. Я закурил и стал читать дальше, уже зная, что последует за этим вступлением.

«Дима, я сделала огромную ошибку. Постарайся понять меня и, если можешь, прости. Я знаю — ты человек великодушный и незлопамятный. И очень умный. Ты не можешь не понимать, чем было вызвано мое решение. Ты же знаешь — в нем не было и не могло быть ни злого умысла, ни какого-то расчета. Я хотела только одного — чтобы тебе было хорошо. Хотя нет, не совсем так. Я считала, что для нас обоих это лучший выход из положения. Я ошиблась, теперь-то я очень хорошо понимаю это. Но кто не ошибается? И ведь любую ошибку можно исправить — если, конечно, очень хотеть этого. А я очень хочу. Ничего другого в жизни я не хотела так, как этого. Хочу надеяться, что это возможно. Может быть, не сейчас, не сразу, ты подумай, не спеши с ответом. И если решишь, что это возможно, —

сообщи мне, и я сразу вернусь. Но в любом случае *как можно скорее* сообщи о себе. Мне надо знать, что с тобой ничего не случилось. Я напишу Ольфу, чтобы он при первой возможности переслал тебе это письмо, и ты сразу дай мне телеграмму, хотя бы несколько слов. Прошу тебя, сделай это сразу...»

Письмо было длинное, и я с трудом дочитал его до конца. В нем еще раз двадцать встречалось «я люблю тебя», но я совершенно спокойно читал это. И не потому, что не верил ей, — Ася писала искренне. Я хорошо понимал, что заставило ее писать так. Страх и отчаяние. Одиночество и чернота каирской ночи. И то, что страх был за меня, за мою жизнь, почти не трогало меня. Наверно, на ее месте я точно так же тревожился бы, писал отчаянные письма и предлагал начать все сначала. И если бы это случилось, к прежним ошибкам прибавилась бы еще одна, и рано или поздно нам обоим пришлось бы расплачиваться и за нее. Несмотря на всю искренность Аси, в ее словах все же не было правды. Правда была в других ее письмах. Особенно в самом первом, написанном в течение многих дней. В том письме выверено каждое слово, сделаны самые точные и, возможно, единственно правильные выводы. Ася, видимо, очень много думала об этом, и письмо получилось на редкость убедительным. Потом я много раз перечитывал это письмо, и сейчас мне было легко вспомнить его...

«Мы ошиблись, Дима. Грустно и больно писать это, но уж лучше говорить прямо. Мне кажется, за любовь мы приняли желание любви. Мы оба хорошо сознавали, что есть немало такого, что надо бы заранее как-то решить, но понадеялись на то, что все решится само собой. Я не могу без волнения вспоминать о том, с какой деликатностью и бесконечным терпением ты старался сгладить все углы и шероховатости, с какой нежностью и бережностью относился ко мне во все эти годы. Мне кажется, что и я пыталась делать все, что в моих силах... Но, видимо, не так уж много было у меня этих сил. И если что-то и решалось благополучно, то далеко не само собой и далеко не все. Мы, видимо, все же очень разные люди, и никакими стараниями, никакими совместными усилиями не удастся сгладить эту разницу. Я хорошо понимаю себя и, надеюсь, тебя тоже. Ты же всегда понимал меня гораздо хуже. Это не упрек, милый, — это только факт. И твое непонимание происходит оттого, что ты всегда представлял меня лучше, чем я есть на самом деле. Пожалуйста, не думай, что я занимаюсь самоуничтожением. Я просто трезво смотрю на вещи. Я всегда умела это делать — пожалуй, даже слишком хорошо. Я человек совершенно заурядный, с заурядными желаниями и соответствующими возможностями. Я почти всегда знаю, что я могу, а что нет, — и поступаю соответственно. Вообще я довольно быстро осознала тот круг деятельности, из которого мне никогда уже не вырваться. Я могу быть неплохим переводчиком, неплохим — но и не слишком хорошим — преподавателем, довольно средним филологом-лингвистом. И все это — до конца жизни. Для тебя же никаких границ, никаких кругов не существует — вот главная, непостижимо огромная разница между нами. Ты, если можно так выразиться, человек абсолютно творческий, я — натура столь же абсолютно нетворческая. Казалось бы, что в этом страшного — мало ли семей, где талант преспокойно уживается с бездарностью? Я не знаю, как это у них получается — если только получается. Наверно, это вполне возможно, если каждый хорошо осознает свой круг возможностей и не станет требовать от другого того, чего он дать не в состоянии. Но ты-то на это не способен. Мысль о моей посредственности не только никогда не приходила тебе в голову, но, выскажи я ее, ты бы совершенно искренне возмутился. И был бы по-своему прав, потому что свою одаренность ты никогда не воспринимал — по-моему, и не способен воспринимать — как что-то исключительное.

Сегодня четверг, завтра мне нужно ехать к тебе, а я боюсь. Я чувствую, что в твоём мире происходят сейчас какие-то важные события, а я не могу понять их. И никогда не смогу — вот что самое страшное. Стыдно признаваться, но, уезжая от тебя, я порой испытываю чувство облегчения, и бывает это все чаще и чаще. Здесь, среди людей, с которыми я живу и работаю, мне легко. Все понятно и не слишком сложно. С тобой все иначе... Слишком сложно и трудно, и я больше не могу выдерживать этого.

Мне очень не хочется уходить от тебя, поверь мне. Я человек не слишком сильный, мужества во мне немного, и мне страшно начинать новую жизнь. Но начинать надо. Поэтому-то я и уезжаю в Каир. Мне еще в прошлом году предлагали это место, и я едва не согласилась. Решила сделать еще одну попытку. Попытка не удалась — а что я еще могу сделать? Ничего. Не суди меня слишком строго. Я действительно не могу иначе...»

Вот такое письмо оставила мне Ася перед уходом. В нем было еще немало всяких здравых логических рассуждений. Так, Ася подробно описывала и тот день, когда мы отмечали наш успех. Но самое-то примечательное было в конце письма:

«Много я написала, пытаюсь объяснить, почему ухожу от тебя. Все это правда, Дима. А может быть, все это слишком уж сложно и надуманно, чтобы быть правдой. Говорят, что правда всегда проста. Не знаю. Возможно, что это и так, и в нашем случае правда действительно проста и заключается в том, что я просто не люблю тебя и никогда не любила. Но если бы я считала так, то, поверь, не стала бы так длинно и не слишком вразумительно оправдываться. Да я и не оправдываюсь. Я хочу, чтобы ты понял меня...»

Вот такое было то письмо, о котором Ася просила теперь забыть. Но забыть о нем я уже не мог, если бы и захотел. А я уже и не хотел.

Два других письма я только посмотрел — в них не было ничего существенного. Я еще немного посидел на камне и пошел к Ольфу. Когда скалы кончились и началась песчаная отмель, я разулся, завернул штаны до колен и пошел босиком по полосе прибоя. Вода была холодная, но мне нравилось так ходить, я проделывал эту процедуру ежедневно и потом всегда чувствовал себя отлично. Солнце поднялось уже высоко, и я надел темные очки. Сквозь их коричневые стекла все кругом стало казаться еще красивее. Жаль, что придется так скоро уезжать отсюда. Говорят, такая погода держится здесь чуть ли не до середины октября. До двадцать четвертого оставалось еще двенадцать дней, и я решил, что можно на неделю задержаться здесь. Да и Ольфу не мешает проветриться. Походим по побережью, поохотимся, побываем у рыбаков, — а там и в путь.

69

Проснувшись, Ольф застал Дмитрия за странным занятием — он сворачивал огромную самокрутку.

— У тебя что, сигареты кончились?

— Есть еще.

— Интересно, — сказал Ольф, приняхиваясь к дыму. — Махра?

— Она самая... Ну, вставай, хватит вылеживаться.

Ольф словно и не слышал его. Наблюдая за тем, с каким наслаждением Дмитрий затягивается едким вонючим дымом, он спросил:

— Решил опроститься?

— Где уж нам... Ты встаешь?

— А зачем?

— Пройдемся по берегу, к рыбакам сходим.

— А успеем вернуться?

— Там заночуем.

— Ну, тогда встаю.

Выбравшись из «берлоги», Ольф с наслаждением потянулся и с завистью сказал:

— Господи, живут же люди... Тут им и океанарий, и красная икра ложками, и даже почту на дом приносят... А ты такую благодать своим хмурым видом и мерзостным табачищем искажаешь. А правда, с чего это ты на махру перешел?

— Потому как крепкая, — в тон ему ответил Дмитрий. — Кстати, как Жанна поживает? В колхозном письме ее почерка я почему-то не обнаружил.

— Да? — удивился Ольф. — Странно... Коньячок к рыбакам заберем?

— Можно. Так как же Жанна?

— А что еще возьмем?

— Слушай, ты, шпагоглотатель... — Дмитрий сердито сдвинул брови. — Я тебя о чем спрашиваю?

— А о чем?

— Как Жанна?

— А ты еще раз спроси. А то я так давно путного человеческого слова от тебя не слышал, так уж давно...

— Что с ней?

— Ничего.

— А чего ты крутишь тогда? Не можешь по-человечески ответить?

— Могу. Уважаемый тов. Кайданов! На ваш запрос: «Как Жанна?» — отвечаем: «Как верная Пенелопа, ждущая своего Одиссея. С уважением — Р.Т. Добрин».

— Ольф, перестань. Я ведь серьезно.

— И я серьезно. Правда, Одиссей в такую даль не забирался по причине несовершенства тогдашнего транспорта, но писем тоже не писал — вероятно, вследствие отсутствия регулярных почтовых сообщений.

— Почему она не написала?

— А куда было писать-то?

— Ну сейчас-то, с тобой...

— А кто сказал, что не написала?

Дмитрий несколько секунд молча смотрел на него и тихо спросил:

— Где письмо?

— В рюкзаке.

Дмитрий круто повернулся и пошел в избу.

— Эй, погоди, я сам достану... — Ольф кинулся за ним и выхватил рюкзак из рук Дмитрия. — Неприлично рыться в чужих вещах... Держи, пан Цыпа.

Дмитрий осторожно взял письмо, положил на топчан и вытер ладони о куртку. Не глядя на Ольфа, негромко спросил:

— Что же ты сразу не сказал?

— А ты спрашивал? Я, может, этого вопроса с первых минут жду. А ты... — Дмитрий взглянул на него, и Ольф сразу умолк, отвел глаза в сторону и неловко пробормотал: — Тоже мне, олимпийское спокойствие изображал. На все, мол, ему наплевать...

— Выматывай отсюда.

— Ладно, иду. Мог бы и повежливее...

Ольф мигом выкатился из «берлоги», сокрушенно качнул головой: «Черт, кажется, переборщил... Надо было сразу отдать».

Читал Дмитрий долго. Ольф, не вытерпев, поднялся на ветхое крыльцо, встал в проеме двери и смиренно спросил:

— Могу я взойти?

— Взойди, — разрешил Дмитрий, не поворачивая головы. Сидел он, сгорбившись, перед топчаном, зажав ладони между колен. Письмо Жанны уже было в конверте, лежало поодаль.

— Солнце-то уже в три дуба стоит, Одиссей. Трогаемся, что ли?

— Сейчас тронемся.

— Только, бога ради, не умом.

— Когда поезд на Южный?

— На какой Южный?

— На Южно-Сахалинск.

— В шесть с чем-то. А тебе зачем? — удивился Ольф.

— Значит, успеем, — сказал Дмитрий, взглянув на часы.

— Куда мы должны успеть? — спросил Ольф.

— В Южный.

— А дальше?
— А дальше — в Москву. — Ольф молча смотрел на него, и Дмитрий добавил:
— А из Москвы, естественно, в Долинск.
— Вот это я и хотел услышать от тебя, — спокойно сказал Ольф. — Ты немного одичал здесь и разучился разговаривать по-человечески, но я тебя приучу... Начнем укладываться?
— Да.
На гребне сопки Ольф сбросил рюкзак, сел на валежину.
— Перекурим, Одиссей, попрощаемся с пространством.
Дмитрий нехотя сел рядом, посмотрел на часы:
— Не опоздать бы.
— Успеем.

Молча сидели несколько минут. Ольф, щурясь от света большого солнца, заговорил наконец:

— А пространство вокруг них сияло огромное, светоносное, почти необъятное и совершенно пустое — если, конечно, не считать такой ерунды, как материя, изучению которой они посвятили всю свою недолгую прекрасную жизнь. И покидали они его с сожалением, грустью и радостью... С сожалением — ибо пространство сие прекрасно, а им более не дано увидеть его. С грустью — потому что не дано им в совершенстве познать его, а с радостью — потому как в другом, менее необъятном пространстве, за десять тысяч верст по прямой, ждут их верные Пенелопы. А что на свете может быть прекраснее верности? Ничего, и десять тысяч раз ничего... Идем, Одиссей.

На прямой рейс до Москвы билетов не было, и они полетели через Хабаровск. Там предстояло ждать пять часов. Дмитрий сходил в парикмахерскую, сбрил бороду — как ни уговаривал его Ольф оставить ее до Долинска, — и они основательно устроились в ресторане, приготовившись к долгому ожиданию. Дмитрий все больше молчал, рассеянно оглядывался кругом и был заметно невесел. Ольф, внимательно разглядывая его, сказал:

— Что-то не пойму я тебя, Димыч. Сорвался как на пожар, — видно, Жанкино письмо тебя погнало, сегодня же увидишь ее — а почему-то невеселый. Как будто боишься чего-то, что ли...

— Может, и боюсь. — Дмитрий недовольно посмотрел на него. — Я же дикий все-таки, а может быть, и того... в самом деле чокнутый.

— Дурак ты, братец.

— И это возможно.

— Чего тебе бояться? Как она встретит тебя?

Дмитрий не ответил.

Ольф нерешительно заговорил:

— Вот что я тебе скажу, Димыч... Сам знаешь, в твои личные дела я никогда не вмешивался и советов не давал. А сейчас один небольшой совет все-таки хочу дать...

— Ну, дай.

— Жанна будет нас в аэропорту встречать, я дал ей телеграмму...

— Зачем?

— Она просила... Если помнишь, я всегда относился к ней настороженно и в нашем гипотетическом треугольнике неизменно держал сторону Аси...

— Не было никакого треугольника, — недовольно перебил его Дмитрий.

— Я же сказал — гипотетическом. Не было, так мне мерещилось, что мог быть... Так вот, мимоходом сообщу, что бывшая моя неприязнь к Жанне быльем поросла. И не потому, что Аси нет. Узнал я ее за эти два месяца — и очень рад, что ошибался. Что она написала там тебе — не знаю и знать не хочу. И какое у тебя к ней отношение — тоже не ведаю. Но об одном прошу — будь с ней поосторожнее при встрече.

— Что значит поосторожней?

— Ну, поласковее... А то она такая стала... от одного неосторожного слова сорваться может. А все твоя одиссея довела...

— Ладно, я понял, — буркнул Дмитрий.

— Кстати, Асе ты телеграмму дал?

— Да.

Ольф чуть было не проговорился, что тоже послал ей телеграмму, но вовремя спохватился.

Задержаться пришлось не на пять часов, как предусматривалось расписанием, а на восемь.

К концу этого срока Дмитрий совсем изнервничался — поминутно бегал в справочное, поругался с дежурным по аэропорту и наконец накинулся на Ольфа:

— Какого черта ты телеграмму дал? Будет теперь ждать там.

— Ничего, больше ждала, — спокойно сказал Ольф. — И не лайся. Впредь будешь знать, что это такое — ожидание.

Взлетели наконец — прямо на огромное закатное солнце. Ольф, устраиваясь в кресле, меланхолично проговорил:

— Однако, суточка у нас получаются — ровнехонько в тридцать два часа. Вот каждый день бы так — то-то бы дел наворочали.

Дмитрий ничего не сказал — и молчал все девять часов полета.

Самолет уже шел на посадку, тяжело и длинно содрогаясь огромными косыми крыльями, размеченными на концах тусклыми, размытыми туманом сигнальными огнями. Стюардесса объявила, что температура в Москве плюс шесть, идет дождь, на что только что проснувшийся Ольф демонстративно передернул плечами и обиженным тоном сказал Дмитрию:

— Слыхал? Ну какого дьявола, спрашивается, унесло нас от такой благодати? Нет, чтоб еще месячишко побыть там...

Дмитрий продолжал молча смотреть в окно. Ольф выждал немного и нудно затянул:

— Сидели бы сейчас у рыбаков, наворачивали бы икру ложками, и никаких тебе забот, дождей...

— Если верить Данте, — отозвался наконец Дмитрий, — болтунам в аду заливают глотки кипящей смолой.

— Чу, слышатся звуки божественной эллинской речи, — развеселился Ольф.

— Так ведь до ада еще черт знает сколько лет — это, во-первых. А во-вторых, никакого ада вовсе и нет. А в-третьих, я попаду в рай — за выдающиеся заслуги по охране спокойствия душ выдающихся людей. Разве я не охраняю спокойствие твоей души? И разве ты не выдающийся человек?

— Слушай, заткнись, а?

— Слушаюсь, — тотчас же согласился Ольф. — Раз выдающийся человек не в духе...

Дмитрий безнадежно махнул рукой:

— Вот трепло...

Потом шли они по длинному узкому коридору, впереди, за прозрачными оргстеклянными дверями, стояла толпа ожидающих, Ольф разглядел в ней Жанну и посмотрел на Дмитрия — он шел, плотно сжав губы, и, щурясь, неуверенно смотрел перед собой. Ольф чуть отстал и увидел, как фигура Дмитрия неловко протиснулась мимо дежурной, Жанна качнулась к нему, и на пол посыпались цветы. Ольф наклонился, чтобы подобрать, но чьи-то ноги уже наступили на них. Ольф разогнулся, увидел неестественно белую, подрагивающую руку Жанны на шее Дмитрия, встал так, чтобы загородить их от людей, и, положив им руки на плечи, осторожно подтолкнул к выходу:

— Ладно, ребятишки, давайте выбираться.

Жанна споткнулась и судорожно вцепилась в Дмитрия. И выбрались уже на свободное место, а Жанна все держалась за него, низко склонив тяжелую, густую корону влажных волос, и как будто боялась поднять от пола глаза. Потом она провела рукой по лицу, боязливо взглянула на Ольфа и растерянно спросила:

— А цветы? У меня же цветы были...

И стала оглядываться кругом, избегая взгляда Дмитрия, увидела растоптанные цветы и заплакала:

— Ну вот, всегда мне не везет...

— Да будет тебе... — начал было Ольф — и замолчал.

Дмитрий быстрым движением притянул к себе Жанну, она неловко ткнулась губами ему в подбородок, он обеими руками обхватил ее голову и зашептал что-то в ухо.

Ольф отвернулся, полез за бумажником, вытащил багажные квитанции и сказал:

— Ждите здесь, я сейчас.

Он направился в огромный, гудящий множеством голосов зал, и через несколько шагов чьи-то сильные руки резко остановили его.

— Ольф!

Он поднял голову — и увидел Лешку Савина, Игоря Воронова, Майю, Дину, Аллу. Ольф широко раскинул руки, сгреб их в охапку.

— Ну, молодцы, что прибыли! Видали? — Он кивнул на Дмитрия и Жанну. — Привез вашего Дмитрия Александровича, берите его за рупь двадцать. Вам завернуть или так возьмете?

— Так возьмем, — засмеялась Майя.

— Ну-с, ждите еще пару минут, заворачивайте их в целлофан, а я за шмотками. Савва, подойдешь потом, поможешь.

Когда Ольф и Лешка выбрались с вещами, они увидели такую картину: Дмитрий стоял в центре, Жанна по-прежнему так крепко держалась за него, словно боялась упасть, а ребята тесно окружили их, как будто опасались, что кто-то может похитить Дмитрия.

— Ну, пастырь, — сказал Ольф, — как ты находишь свое стадо? А вы, бараны и баранессы, держите своего пастуха покрепче, а то он чего доброго, улизнет в Африку, к белым медведям.

В Долинск приехали почти в два часа. Ребята проводили их до дома, долго прощались во дворе. Прощались бы и еще дольше, очень не хотелось им расходиться, но Ольф скомандовал:

— Стадо, по хлевам! Завтра наговоритесь.

Сам он, остановившись на площадке, тихо сказал:

— Нуте-с, влезайте, я через минуту на минутку загляну, выпьем по рюмашечке. Выпить-то найдется, Жан?

— Найдется.

— А рюмашечку я заслужил?

— Две. — Жанна засмеялась и открыла дверь квартиры Дмитрия.

Пришел он, конечно, не через минуту, а через полчаса. Дмитрий лежал на диване, Жанна сидела рядом с ним и, положив руку ему на плечо, что-то тихо говорила, низко склонившись к его лицу. На шаги Ольфа она повернулась медленно, и лицо у нее было уже не такое, как в электричке, — спокойное, глаза светились нескрываемой радостью. А в электричке сидела она как-то очень неудобно, не поднимая глаз от пола, и почти ничего не говорила.

— Ну и минутка у тебя, — весело сказала Жанна.

— А вы, я смотрю, уже причастились.

— Было дело. Садись, наливай.

— Я, однако же, точно на минутку, — сказал Ольф, налил всем и, не садясь, высоко поднял свою рюмку. — За наш ренессанс — и за вашу удачу.

Дмитрий приподнялся на локте, молча выпил. Жанна дала ему ломтик лимона, чуть пригубила свою рюмку и, заметив движение Ольфа, спросила:

— Уже идешь?

— Да-с. Минута на исходе, а я человек слова. Иногда.

Жанна вышла проводить его, прикрыла дверь в комнату.

— Ну что? — тихо спросил Ольф.

— Все хорошо. — Жанна даже глаза закрыла, покачала головой. — Так хорошо, что даже не верится. Спасибо тебе. — Она пригнула голову Ольфа, поцеловала его и легонько подтолкнула к двери: — Иди. Завтра скажешь, что мы после обеда приедем.

Спустя час Ольф говорил Светлане:

— Столько уже лет знаю я его, а там — поразил он меня.

— Чем?

— Когда он рассказал мне, что в действительности означают результаты нашей работы, — у меня голова кругом пошла. И что меня изумляет до сих пор — ведь вместе всю работу делали, все, что знал он, мне известно было, — а ведь и капли подозрения у меня не возникло, что тут что-то еще, кроме голых этих результатов, может быть. Все-таки, талантище он необыкновенный, может быть — и гений, хотя при жизни такие титулы и не принято раздавать.

— А знаешь, — сказала Светлана, уютно устраиваясь на его плече, — я всегда почему-то немножко боялась его. Еще с первой встречи, тогда, на Балтике. И даже не представляю, что я когда-нибудь смогла бы понять его... вот так, как тебя понимаю.

— Ничего удивительного, я сам иногда не понимаю его. Он как будто иначе устроен, чем все люди. И что побаиваешься, тоже понятно. Мне там за него просто страшно стало...

— Страшно?

— Да. Такое впечатление было, будто он взвалил на себя какой-то невыносимый груз, и никто не видит его, а тяжесть — чувствуется. Вот и страшно — вдруг не выдержит? Может, этот груз и называется талантом?

— А ты у меня что, не талант?

— Ну, по сравнению с ним я школьник. Когда-то я думал, что мы более или менее равны, но очень давно это было. И знаешь, глядя на него, я, грешным делом, иногда думал: и хорошо, что бог мне такого таланта не дал. Все-таки тяжела эта ноша... Ой, как тяжела...

70

Жанна пошла провожать Ольфа. Я слышал, как они о чем-то тихо говорили, потом хлопнула дверь. Жанна прошла на кухню и включила колонку.

Я оглядел комнату. Было в ней как-то очень уж чисто и непривычно уютно.

Жанна вернулась, села рядом со мной и положила руку мне на шею. Я прижался к ней щекой.

— Устал?

— Есть немножко.

— Три часа уже... А сколько на Сахалине?

— Одиннадцать. О чем это вы с Ольфом любезничали?

— А тебе все знать надо?

— Я смотрю, вы наконец-то ладили с ним.

— Да, — живо отозвалась Жанна. — Он... очень хороший. Прости, раньше я была несправедлива к нему. — Она улыбнулась и склонилась ко мне. — Как он забавно сказал: за наш ренессанс — и за вашу удачу.

— Язык у него вообще недурно подвешен.

— Но иногда он так говорит, что не поймешь — то ли всерьез, то ли шутит...

— Он и сам не всегда это знает.

— Наверно. — Жанна засмеялась. — Знаешь, он как-то очень растерялся без тебя, особенно в первое время. О ребятах я уж не говорю. Когда я им сказала, что ты прилетаешь, они такой сабантуй устроили... Вообще я впервые поняла, как много может значить один человек...

— Смотри, зазнаюсь...

— Ну вот еще...

Она все еще избегала подолгу смотреть на меня и теперь отвернула голову, пряча лицо,

прижалась ко мне и тихо спросила:

— Похудела я, да?

— Немножко.

— Ничего, теперь поправлюсь.

Я осторожно перебирал руками ее волосы, случайно вытащил несколько шпилек и почувствовал, что Жанна улыбается.

— Что ты?

— Приятно...

— Остальные тоже можно?

— Конечно.

Я вытащил все шпильки, волосы рассыпались, и я удивился, как их много, и сказал ей об этом.

Жанна выпрямилась и с улыбкой спросила:

— А ты не знал?

— Нет. Я ведь впервые вижу тебя такой.

Она снова отвернула голову и с усилием сказала:

— Иди... мойся, вода уже набралась.

Я молча смотрел на нее. Наверно, и она думала сейчас о том, что будет потом, полчасика спустя, и так же, как я, боялась этого.

— Ну иди же, — повторила она, все еще не глядя на меня, и я сел, осторожно обнял ее за плечи и прикоснулся губами к ее шее. Она вдруг судорожно схватила мои руки и прижала ладони к своим губам: — Господи, как я ждала тебя... Нет, не надо пока целовать меня, прошу тебя.

И я тут же отпустил ее и пошел в ванную.

Когда мы приехали в институт, я сразу пошел к Дубровину. Я почему-то без стука открыл дверь его кабинета и заметил, что Дубровин вздрогнул.

— Извините, я напугал вас...

Он снял очки — я даже не знал, что он пользуется ими, — и медленно поднялся.

— Ничего, Дима, это ничего...

Он вышел из-за стола, я протянул ему руку, но он словно не заметил ее и обнял меня — и тут же легонько оттолкнул и проворчал:

— Ну, путешественник, садись, рассказывай.

— Да что рассказывать... Вот, явился.

— Вижу, что явился... — Он с явным одобрением оглядел меня и спросил: — Здоров?

— Да. А вы?

— Я — как обычно. Икры привез?

— Да.

— Когда угощать будешь?

— Хоть сегодня.

— Можно и сегодня. Прошу вечером ко мне. — Он знакомым движением склонил голову к левому плечу, внимательно посмотрел на меня. — Видел своих гавриков?

— Частично.

— Тогда иди смотри полностью. Заждались они тебя.

— Подождут еще.

— Ишь ты... Иди, иди, мне все равно некогда с тобой... разговоры разговаривать. Чего смеешься? — рассердился Дубровин.

— Я не смеюсь.

— Ну, улыбаешься.

— Рад, что вижу вас.

Дубровин отвернулся и буркнул:

— Иди, мне действительно нужно работать. Вечером поговорим.

Я пошел к своим «гаврикам». Они явно перестарались с торжественностью встречи.

Кто-то караулил в коридоре и при виде меня тут же юркнул в большую комнату. Когда я увидел стол с шампанским и их парадные одеяния, я сказал, оглядывая серьезные, торжественные физиономии:

— По-моему, не хватает трибуны и оркестра.

— Трибуны нет, а оркестр щас будет, — мигом среагировал Савин.

Он дал кому-то знак — и из угла грянул «Ракоци-марш». «Гаврики» встали чуть ли не навтыжку. Я прошел в угол, к проигрывателю, убавил громкость и, когда марш закончился, сказал:

— Здравствуйте.

День этот превратился в сплошное празднество.

Не успели мы вернуться из института, как уже пора было отправляться к Дубровину. Там мы засиделись за полночь. Я боялся, что Дубровин заговорит о моих дальнейших планах, но он словно мимоходом обмолвился, что главное сейчас — доклад в Академии наук, все остальное — потом.

И ребята деликатно молчали, разве что поглядывали иной раз с ожиданием — не скажу ли я сам чего-нибудь? Все же из некоторых их реплик я понял: они я мысли не допускают, что я не буду работать с ними. На другой день как-то само собой устроилось «чаепитие», и мне были продемонстрированы все достижения последних двух месяцев. Достижения были не бог весть какие, но я, конечно, не стал говорить им этого. Я сказал «недурно», и на большем они не настаивали. Потом я почти не показывался в институте — считалось, что я готовлюсь к докладу. Я действительно полдня готовился к нему, а потом засел за свою работу.

Доклад прошел, по общему мнению, «сверхблагополучно». Я был уверен, что еще никто не докопался до истинного смысла наших результатов, — не прошло и месяца, как была опубликована наша статья, и имена наши, как говорил Ольф, были «покрыты мраком неизвестности» и потому не привлекли внимания. Да и «время летних отпусков» только что закончилось, сессия была первой после долгого перерыва, и настроение у всех было не слишком-то рабочее. И действительно, вопросы мне задавались самые обычные, дежурные: «уточните, пожалуйста», «скажите, пожалуйста», «поясните, пожалуйста», «будьте добры». Такая вежливость говорила сама за себя — по рассказам Дубровина я знал, что при обсуждении каких-то спорных работ обычно бывает не до джентльменских тонкостей. И я столь же вежливо уточнял, пояснял, говорил — и следил только за тем, чтобы случайно не проговориться.

На следующее утро я спросил Жанну:

— Куда поедem в отпуск?

Она с радостным удивлением посмотрела на меня и переспросила:

— В отпуск?

— Вот именно. Ты же, насколько я знаю, еще не была в отпуске.

— Нет.

— Вот и давай думать, куда поедem.

— А когда? Ты же еще не закончил.

О своей работе я рассказал Жанне в первый же день после приезда. В отличие от Ольфа она почти не удивилась моему «закрытию», и сначала я даже подумал, что она не поняла меня. Но она поняла — если и не все, то самое главное.

— Мне нужно еще недели три. Самое большее — месяц.

— За месяц мы что-нибудь придумаем.

Тревожило меня объяснение с Дубровиным. Я знал, что он просто не поверит тому, что эти полтора месяца мне нужны только для отдыха. Но и говорить что-то конкретное до окончания работы мне не хотелось.

И действительно, Дубровин сразу догадался, что я чего-то недоговариваю.

— Разумеется, ты волен использовать это время как тебе вздумается, твоего отпуска никто не отменял. Но... если ты объяснишь... — Он испытывающе посмотрел на меня, и мне

пришлось сказать:

— Объясню. Но не взыщите, в самых общих чертах. Результаты нашей работы натолкнули меня на одну идею, которой я и занимался все это время. И я хотел бы разделаться с ней, — небрежно закончил я.

Дубровин недовольно посмотрел на меня и сказал:

— Информация, прямо скажем, небогатая. Ну что ж, дело твое, заканчивай. Помощь нужна?

— Пока нет.

71

Он закончил эту работу двадцать первого октября, дождливым сумрачным вечером. Жанны еще не было. Дмитрий аккуратно сложил листки, разобрал на столе книги и журналы и прошелся по комнате. Почему-то захотелось посмотреть, что делается на улице, и он погасил свет и подошел к окну, увидел пустой двор, слабо угадывающуюся стену сосен за дорогой и темное низкое небо над ними. И простоял так до прихода Жанны.

— Ты почему в темноте? — спросила она.

— Да так...

— А я уже привыкла видеть свет в твоем окне. Выхожу из-за угла и сразу смотрю. А сейчас не увидела и почему-то испугалась... — Жанна виновато улыбнулась и попросила: — Если будешь выходить куда-нибудь, не выключай свет, хорошо?

Дмитрий молча кивнул и помог ей раздеться. Жанна поцеловала его, внимательно глядя на него, догадалась:

— Закончил?

— Да.

— И... что же?

— То, что и предполагал.

Жанна села в кресло и, не спуская с него глаз, медленно сказала:

— Интересно, что же дальше будет.

— Дальше? Поедем в отпуск.

— Я не о том.

— А я о том.

— Теперь ты покажешь мне?

— Конечно.

Дмитрий принес ей листки, Жанна как-то боязливо взяла их и попросила:

— Дай сигарету.

Дмитрий дал ей закурить и пошел на кухню готовить ужин. Жанна читала очень долго, и, когда он пошел звать ее, она все еще сидела в кресле и смотрела на листки, разложенные на журнальном столике.

— Пойдем, — сказал Дмитрий, — уже все готово.

Жанна молча взяла его руку и притянула к себе. Дмитрий присел на ручку кресла и обнял ее.

— Дима... — тихо сказала Жанна и замолчала.

— Да?

— Понимаешь... это настолько необычно...

— Наверно. Тут с ходу не разберешься.

— Может, я и потом не смогу разобраться, но... я чувствую, что ты прав.

— Еще бы, — хмыкнул Дмитрий. — Я тоже почему-то уверен в этом.

— Наверное, я сказала не то, чего ты ждал...

— Вот еще. Именно этого я от тебя и хотел — чтобы ты верила в меня. А теперь идем ужинать, остынет все.

Жанна вдруг прижала его ладонь к своим глазам.

— Что ты? — встревожился Дмитрий.

— Ничего, сейчас пройдет. Это от волнения. Знаешь, когда я читала... просто не могу передать, что я чувствовала. Я все-таки не ожидала, что это окажется таким... не знаю даже, как сказать... сложным, необычным, даже немножко страшным.

— Ну вот еще, страшным... Что в этих каракулях может быть страшного?

— Для тебя, может, и ничего...

— А ну их, пойдем ужинать. Есть хочу.

— Пойдем.

За ужином Дмитрий спросил:

— Так куда же мы поедем?

— А куда хочешь?

— Мне почти все равно.

— Я на всякий случай написала в Одессу, там у меня подруга, можно на первое время у нее остановиться.

— Можно и в Одессу, — согласился Дмитрий. — Много тебе времени нужно, чтобы собраться?

— Дня три-четыре.

— Для ровного счета — пять.

— Пусть будет пять, — засмеялась Жанна.

На следующее утро Дмитрий перепечатал статью — получилось всего восемнадцать страниц, — разобрал экземпляры и поехал в институт. Он сразу пошел к Дубровину и положил перед ним статью, вложенную в свежий номер «Советского спорта». Дубровин сначала просмотрел результаты хоккейных матчей и удовлетворенно хмыкнул:

— «Спартак»-то выправляется, а?

— С каких это пор вы стали болельщиком? — удивился Дмитрий.

— Нельзя, что ли?

— Почему же...

— Болельщиком я не стал и не стану, но, знаешь, когда все начинают спрашивать друг друга, что случилось со «Спартаком» и со Старшиновым, грешным делом можно и подумать — а вдруг это и в самом деле очень важно? Может, чем черт не шутит, даже важнее, чем все наши теории? Все-таки, как пишет пресса, — любимая игра миллионов! Шутка ли — миллионов, ни больше ни меньше. А нас, кабинетных мыслителей, какие-то жалкие десятки или сотни тысяч... Вдруг на старости лет, подводя итоги, начнешь жалеть, что пошел в доктора наук, а не в хоккеисты. А в самом деле: Старшинова знают все, даже такие профаны, как я, а кто знает Дубровина? Ты, да я, да мы с тобой. Обидно, а?

— Очень, — в тон ему ответил Дмитрий. — Я смотрю, вы сегодня недурно настроены.

— Это уж точно, — довольно улыбнулся Дубровин. — Наметились очертания финиша. Не только тебе заканчивать работы, однако. А ведь это дьявольски приятно — заканчивать работу, а? И итог виден, и — тем еще хорошо, что за новую можно взяться.

— И долго вам еще кончать?

— К Новому году, надеюсь, успеем. Нуте-с, это и есть твоя идея?

— Да.

— Читать надо быстро?

— Желательно.

— Ну, коли желательно, значит, и обязательно.

Дмитрий пошел к своим, дал второй экземпляр Ольфу, и тот сразу же заперся в кабинете. Дмитрий побыл немного с ребятами и поехал домой.

Вечером Жанна сказала ему, едва успев раздеться:

— Звонил Алексей Станиславович...

— И что же?

— Спросил, когда мы собираемся уезжать. Я сказала, что дня через три-четыре. Тогда он попросил ненадолго отложить отъезд.

- Надеюсь, ты согласилась?
- В общем-то да... Сказала, что ты вряд ли будешь возражать.
- Однако ты дипломатка... А что он еще говорил?
- Ничего. Сказал «до свидания» и повесил трубку.

Дмитрий засмеялся:

- Это в его стиле.
- Ты думаешь, его просьба только из-за твоей работы?
- Уверен. То есть не то чтобы только из-за моей...
- А что еще?

— Там, в моей статье, есть кое-что, прямо его касающееся. И боюсь, что это «кое-что» изрядно испортит ему настроение, — сказал Дмитрий, невесело усмехаясь. — Вообще эта работа не одного по темечку стукнет. Многие, наверное, помянут меня недобрым словом... И Дубровину быть среди этих многих совсем ни к чему, а что делать?

— Ну, он-то тебя недобрым словом поминать не будет.

— Не будет, конечно, да я не о том. Просто не хотелось бы мне играть роль невольного разрушителя чужих замыслов. А уж по отношению к Дубровину — тем более. — Дмитрий заметил, что Жанна как-то уж слишком пристально смотрит на него, и спросил: — Тебя смущает моя самоуверенность?

— Нет, я вот о чем подумала... Пытаюсь представить себя на твоём месте, на месте Дубровина... Что бы я чувствовала? И еще знаешь что... Ведь на месте Дубровина мог бы оказаться человек, который всеми силами постарался бы как-то помешать тебе.

— Это было бы бесполезно. Мои выводы говорят сами за себя, я тут всего лишь посредник.

— Но ведь наукой-то занимаются живые люди.

— И это верно. Но, слава богу, на месте Дубровина сидит Дубровин, а его в таких вещах подозревать бессмысленно. Ольф приехал?

— Да.

— Как он?

— Не знаю. Молчал всю дорогу.

— Ничего, потом наверстает.

За ужином Дмитрий почувствовал сильную усталость, даже решил не дожидаться чая и виновато сказал Жанне:

— Знаешь, я, наверное, пойду лягу.

— Иди, чай я тебе принесу.

Когда Жанна принесла ему чай, Дмитрий, погладив ее руку, тихо сказал:

— Ты не волнуйся, я просто устал. После окончания работы у меня почти всегда так.

— Ольф говорил, — невесело сказала Жанна. — Но у тебя такое лицо...

— Ничего, теперь отдыхать будем... Долго отдыхать.

— Как ты говоришь это слово — «долго», — с тревогой сказала Жанна. — Почему долго?

— Целый месяц — разве не долго?

— Ты не так сказал.

— Все так, Жаннушка... Давай-ка спать, а? Я уже разучился засыпать без тебя.

— Сейчас я тоже лягу.

Но пока Жанна относил чашки на кухню и раздевалась, Дмитрий уже заснул.

Прошло несколько дней. Дубровин никак не давал о себе знать, и даже Ольф не показывался — что было совсем уж странно. Но Дмитрия это не беспокоило. Он много спал, днем читал, вечером, по настоянию Жанны, выходил вместе с ней прогуляться, но всегда старался поскорее вернуться домой и сразу ложился спать.

На четвертый день явился Ольф. Сидел невеселый, неразговорчивый, и Дмитрий наконец сказал:

— У тебя такой вид, как будто тебе очень хочется выпить.

— Выпить? — Ольф посмотрел на него. — Представь себе, нет. Совсем не хочется.
— Впервые слышу, что ты отказываешься от выпивки.
— Да? — зло оскалился Ольф. — С таким идиотом, как ты, и совсем разучишься пить.
— Позволь узнать, чем я заслужил такую анафему? — осведомился Дмитрий.
— Тем, что существуешь на свете, — мрачно изрек Ольф.
— Вот как? Забавно. А разве это моя вина?
— Нет. Это твоя беда.
— Возможно, — серьезно согласился Дмитрий.

Жанна, до сих пор молча наблюдавшая за их перепалкой, вспыхнула:

— Ольф, или замолчи, или уходи.

Ольф без всякого удивления воспринял ее вспышку и молча ушел. Но через полчаса он явился снова, со статьей Дмитрия, и уселся в кресло, зажав в кулаке свернутые в трубку листы.

— Не мни, пожалуйста, — попросил Дмитрий, — а то придется перепечатывать.

— Надо будет — перепечатаю, — буркнул Ольф.

— Тебе что-нибудь неясно?

— Неясно? — Ольф уставился на него. — Что тут может быть неясного?

— Тогда в чем дело? Чего ты свирепствуешь?

— А что прикажешь делать, если я не понимаю, *как* все это могло получиться?

— Что все?

— То, что ты написал здесь, — Ольф хлопнул статьей по колену.

— Ты же сам сказал, что там все ясно.

— И сейчас скажу. И все-таки — непонятно.

— До сих пор считалось, что «ясно» и «понятно» — слова-синонимы.

— Ну, значит, я болван.

— А все-таки — в чем дело?

— Ни в чем. — Ольф рассердился и бросил статью на столик. — Или у меня шариков не хватает, или у тебя они не в ту сторону крутятся. В общем, какая-то несовместимость.

И Ольф опять ушел — теперь уже окончательно.

72

Дубровин пришел к нему в субботу утром и сказал:

— Одевайся, пойдешь со мной. И возьми с собой все, что касается твоей статьи.

— Что все? — не понял Дмитрий.

— Все — значит все. Черновики, варианты, заметки. В общем — все.

На улице Дубровин упорно молчал и шел явно не прогулочным шагом — торопился, хромал сильнее обычного, а когда Дмитрий спросил, куда он ведет его, Дубровин буркнул:

— Увидишь.

Пришли они к Александру Яковлевичу. Дмитрий догадался об этом еще в подъезде — дом, в котором жил Александр Яковлевич, был известен всему городу.

Дверь открыл сам хозяин — высокий, красиво поседевший старик с густыми бровями и светлыми глазами. Дмитрий до сих пор видел его лишь издали, за столом президиума, и теперь удивился тому, что выглядит Александр Яковлевич явно моложе своих семидесяти двух лет, что у него сильные, совсем не старческие руки с длинными гибкими пальцами. Дубровин представил их друг другу, Александр Яковлевич, задержав руку Дмитрия в своей, густо сказал:

— Однако, погодка не для прогулок, а?

— Это уж точно, — проворчал Дубровин, стряхивая со шляпы капли дождя. — Чаем угостишь?

Дмитрию показалось, что он ослышался, — Дубровин был на тридцать лет моложе своего прославленного учителя и, однако, говорил ему «ты».

— И даже с коньяком, — весело сказал Александр Яковлевич.

— Мне твои коньяки боком выйдут, ты вон его угощай.

— А я тебя и не заставляю.

Александр Яковлевич провел их в кабинет, показал на кресла:

— Алексей, займи гостя, пока я чай приготавливаю.

— А что его занимать, не красная девица... — начал было Дубровин, но Александр Яковлевич уже шел к двери, пообещал с порога:

— Я — быстро.

И действительно, очень скоро пришел с подносом и, расставляя на столике чашки, спросил у Дмитрия:

— Чай, надеюсь, пьете крепкий?

— Разумеется.

— Даже так... А сигары курите?

— Не приходилось.

— Попробуете?

— Можно.

Дмитрий старался говорить спокойно — и опасался, что тон его может показаться слишком уж небрежным. Но, кажется, все получилось как надо — Александр Яковлевич с явным одобрением оглядел его, пододвинул ящик с сигарами, взял одну и показал, как нужно обрезать.

— На первый раз увлекаться не стоит, выкурите треть — и достаточно. Затягиваться тоже не рекомендуется.

Сигара оказалась крепчайшей, чай — необыкновенно вкусным, Дмитрий похвалил его, на что Дубровин насмешливо отозвался:

— Вот это уж зря, а то Александр Яковлевич и так считает, что он крупнейший специалист по чаю во всем городе. Самолично закупает чай в Москве и непоколебимо убежден, что обладает какими-то сверхсекретными способами заварки.

Александр Яковлевич не обратил внимания на эту тираду. Помешивая чай, он внимательно оглядел Дмитрия и серьезно сказал:

— Значит, вы и есть Дмитрий Александрович Кайданов... Дима. Не возражаете, если я буду вас так называть?

— Нет.

— Сколько вам лет?

— Тридцать один.

— Возраст самый подходящий... — Для чего «подходящий», Александр Яковлевич не договорил, задумался о чем-то и с сожалением сказал: — Почему-то совсем не помню вас, Дима.

— И не удивительно, ты же его не знаешь, — вставил Дубровин.

— Мало ли кого я не знаю, однако память на лица у меня неплохая, встречались же мы где-нибудь в коридоре.

— Нет, — сказал Дмитрий, — я редко бываю в вашем корпусе.

— Ну, неважно. Жаль, что Алексей раньше нас не познакомил.

— Нужды не было, — ворчливо сказал Дубровин.

— А теперь, выходит, нужда появилась? — с усмешкой спросил Александр Яковлевич и сам себе ответил: — Да, теперь определенно появилась. Ну что ж, приступим к делу... Ты ничего не говорил ему? — спросил Александр Яковлевич у Дубровина.

— Нет.

Дмитрий почувствовал, что лицо у него пошло красными пятнами, — как ни был он уверен в своей правоте, но теперь, в ожидании приговора, трудно было сдержать свое волнение. Александр Яковлевич заметил это и, взяв с письменного стола его статью, медленно заговорил, словно пробуя каждое слово на вес:

— Алексей сразу показал мне вашу статью, и вот все эти вечера мы с ним только тем и

занимаемся, что обсуждаем ее. Факт в нашей с ним совместной работе единственный, надо сказать, и говорящий сам за себя. Обвинения, выдвинутые вами, по существу, против всех основных положений современной теории элементарных частиц... — Александр Яковлевич сделал паузу и повторил: — Да, именно против всей теории, вполне можно сказать и так... Так вот, эти обвинения столь серьезны и значительны, что мы попытались сразу же встать на защиту этой теории, которой оба отдали не один год нашей жизни. Звучит несколько высокопарно, но — так оно и есть. Неделя — срок не слишком большой, но и не такой уж маленький. За это время мы не только не смогли опровергнуть ни одного из ваших обвинений... Выпейте-ка коньяку, Дима, — прервал себя Александр Яковлевич, взглянув на лицо Дмитрия, и сам налил ему.

Дмитрий выпил, поперхнулся и закашлялся.

— Это... от сигары, — наконец выговорил он.

— Конечно, — чуть улыбнулся Александр Яковлевич. — Третью вы уже почти выкурили, так что можете пока отложить ее. Нет-нет, гасить не нужно, она сама погаснет... Так вот, Дима... Наши попытки защитить наше любимое детище пока что закончились полнейшей неудачей... С чем вас и поздравляю, — неожиданно сказал Александр Яковлевич. — Из этого, конечно, еще не следует, что других также должна постигнуть неудача. Возможно, мы просто неважные адвокаты. И наверняка не сделали всего, что могли, — этим еще предстоит заняться. Но одно несомненно: ваша работа — серьезнейший удар по существующей теории, удар такой силы, что даже если и удастся отбить его, это наверняка приведет к необходимости значительно изменить многие из устоявшихся представлений на природу элементарных частиц... Вы хорошо поняли, что я сказал?

— Да.

— В таком случае займемся более конкретными вещами. Статья вызывает множество различных предположений и вопросов, ответы на которые сейчас вряд ли возможны. Несомненно, что эти вопросы и предположения возникли и у вас, но вы, как я понял, намеренно избегали всего, что нельзя было подкрепить достаточно вескими аргументами.

— Да.

— Что ж, это хороший метод работы, хотя и не слишком практичный. Мы тут с Алексеем немного поспорили по этому поводу. Я хотел предложить вам расширить статью, дополнить ее некоторыми не совсем очевидными, но довольно существенными положениями. Нет ничего страшного в том, что пока эти положения будут не слишком доказательными, можно отыскать для них безукоризненные формулировки. Что вы об этом думаете?

— Мне кажется, этого не нужно делать.

— Что я тебе говорил? — насмешливо вставил Дубровин.

— Ваш обоюдный идеализм достоин, конечно, всяческого уважения, — серьезно сказал Александр Яковлевич, — но я-то стреляный воробей и как-никак лицо официальное, и мне далеко не безразлично, в каком виде будет опубликована эта работа. И уж не обессудьте, но я просто обязан позаботиться о том, чтобы статья вышла в свет в наиболее полном виде — разумеется, без ущерба для научной строгости. Так что давайте все-таки подумаем, как это сделать. Того, что здесь есть, явно недостаточно. И в конце концов, зачем нужно уступать кому-то первенство даже в области гипотез? Нет уж, друзья мои, — решительно сказал Александр Яковлевич, — придется вам согласиться со мной.

— А что ты конкретно предлагаешь? — спросил Дубровин.

— Во-первых, все-таки дополнить статью. Вы, судя по вашему багажу, захватили с собой черновики?

— Да.

Дмитрий выложил все свои листки. Александр Яковлевич пододвинул к себе его статью и сказал:

— Что ж, давайте заглянем за кулисы...

«Закулисный» разбор продолжался часа четыре. За это время Дмитрий совсем

освоился. Наконец они составили довольно внушительный список гипотез и предположений. Некоторые из них оказались полнейшей неожиданностью для Дмитрия. Когда он признался в этом, Александр Яковлевич добродушно заметил:

— Друг мой, чего же вы хотите? Это и естественно. Все мы в молодости расточительны и действуем по принципу: лес рубят — щепки летят. Щепок вы не замечаете — лес мешает. Ну, а с годами начинаешь ценить и щепки. У вас это еще впереди... Давайте думать, что делать с таким богатством. На мой взгляд, вот эти четыре гипотезы непременно должны войти в статью. — Александр Яковлевич жирно выделил четыре пункта. — Возражений нет?

— Есть, — сказал Дмитрий. — Из этих четырех гипотез только три мои.

— Слушаю.

Дмитрий показал. Александр Яковлевич с любопытством посмотрел на него:

— Вот как? А чья же четвертая?

— Ваша.

— А почему я не знаю об этом?

— Знаете, — засмеялся Дмитрий.

— Друг мой, мне ваши лавры ни к чему, у меня и своих хватает. Ваша гипотеза, ваша, я ее только чуть-чуть переоформил.

— Ничего себе чуть-чуть.

— Вот именно, чуть-чуть. Не будь вот этого вашего уравнения, которое вы с такой легкостью готовы были выбросить в корзину, мне и в голову не пришла бы эта, как вы выражаетесь, моя гипотеза.

— Я потому и хотел отбросить это уравнение, что не понял до конца его смысла.

— Но позвольте, уравнение-то ваше, а не мое.

— Ну и что?

— Нет уж, вы ответьте, — даже как будто рассердился Александр Яковлевич, — уравнение ваше?

— Мое. А гипотеза все-таки ваша, — упрямо сказал Дмитрий.

Они еще с минуту вежливо препирались, и Дубровин наконец не выдержал:

— До чего же приятно слушать вас... Ну прямо рыцари без доспехов. Александр Яковлевич, есть же элементарный выход из этого положения. Насколько я помню, ты еще в первый день предлагал предпослать его статье что-то вроде вступления-комментария под двумя нашими подписями. Поскольку без такого комментария все равно не обойтись, не проще ли сделать так: включить этих трех приبلудных китов в статью Димы, а четвертого, из-за которого вы так элегантно спорите, а заодно и весь остальной улов, — еще в одну статью, но уже коллективную, под тремя подписями.

Александр Яковлевич помолчал и хмыкнул:

— Однако ты мудрец, Алексей. Хоть так и не принято делать, но почему не попробовать? Одним выстрелом убьем всех зайцев. Без комментария действительно не обойтись...

— Почему? — спросил Дмитрий.

— Да потому, — сказал Александр Яковлевич, — что рядовая читающая публика — а ее, как и всяких рядовых, большинство — очень не любит, когда ее начинают поучать люди без имени, то есть, по их представлениям, такие же рядовые. А так как дерзость автора статьи очевидна, то наверняка она в первую очередь и будет отмечена. Ну и посыплется на вас незаслуженные обвинения.

— Я этого не боюсь, — сказал Дмитрий.

— Не сомневаюсь. — Александр Яковлевич учтиво наклонил голову. — Но надо подумать и о статье. Ей это, несомненно, повредит. А что вы имеете против нашего сотрудничества?

— Ничего, конечно, — поспешно сказал Дмитрий.

— И отлично. Наверно, мы действительно так и сделаем — напишем коллективную статью. Поскольку ты, Алексей, возглавишь список авторов, тебе и карты в руки. Пиши, да

поскорее.

— Хорошо, — согласился Дубровин.

— А может, меня все-таки не нужно включать? — робко спросил Дмитрий.

— А вам не подходит наша компания? — Александр Яковлевич улыбнулся и встал, не дожидаясь ответа. — А теперь — прошу обедать.

73

На стол подавала маленькая, очень старая женщина, назвавшаяся Антониной Васильевной. Что-то мешало Дмитрию думать, что она — жена Александра Яковлевича: уж слишком почтительно обращались они друг с другом, да и представлялись очень разными. За обедом деловых разговоров не вели, лишь в самом конце Александр Яковлевич неожиданно спросил Дмитрия:

— Вы, кажется, собираетесь в отпуск ехать?

— Да.

— А какие планы на будущее?

— Нн-не знаю, — замешкался Дмитрий, недовольно взглянув на Дубровина.

Александр Яковлевич его ответу как будто не удивился и спокойно осведомился:

— Почему же не знаете?

Дмитрий промолчал — он растерялся и просто не знал, что говорить, — и Александр Яковлевич тактично перевел разговор на другое. Но после обеда, когда они вернулись в кабинет и закурили, Александр Яковлевич снова заговорил об этом:

— Мне кажется, Дима, что вы не совсем четко представляете масштабы сделанного вами и того, что еще предстоит сделать. В этом... — Александр Яковлевич взял в руки его статью и значительно покачал ею, — предстоящей работы не на один год и для многих сотен, если не тысяч, людей. Это вы понимаете?

— Приблизительно.

— А надо бы точно, ложная скромность здесь неуместна. И конечно, было бы странно, если бы вы не занялись самыми важными проблемами, поставленными вами же.

Дмитрий помолчал и сумрачно сказал, не глядя на Александра Яковлевича:

— Но я действительно не знаю... — И неожиданно для самого себя добавил:

— Я не знаю даже, смогу ли я вообще работать дальше.

— Алексей мне немного говорил об этом, — мягко сказал Александр Яковлевич. — Вы уж не сердитесь на него за это.

— Ну что вы...

— Состояние это, в общем-то, неудивительное, даже, пожалуй, естественное для тех, кто пытается разобраться в тайнах мироздания. И если, конечно, оно исключение из правил, а не правило. В моей жизни было два подобных кризиса, когда я не мог работать и ни во что не верил — ни в себя, ни в других, ни в разум человеческий. А у вас это впервые?

— Нет, — сказал Дмитрий. — Второй раз.

— Уже второй... Для тридцати лет многовато.

— Для него — в самый раз, — серьезно сказал Дубровин.

— Вот как. — Александр Яковлевич улыбнулся. — Ну что ж, тебе лучше знать. Да и то сказать — мы в его годы таких работ все же не делали.

Дмитрий покраснел и не знал, куда глаза девать. Александр Яковлевич словно не заметил этого и, подвинув кресло поближе к Дмитрию, заговорил:

— Только, пожалуйста, не думайте, что мы разыгрываем сцену для поднятия вашего духа. В этом нет никакой необходимости — вы человек не из хлипких, сужу об этом с уверенностью потому, что такая работа не для слабых духом. И что работать дальше вы будете, и работать крепко, значительно, — Александр Яковлевич сжал пальцы в кулак и энергично взмахнул им, — я ничуть не сомневаюсь... Ничуть. Просто вам нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Разумеется, сейчас я не собираюсь вытягивать из вас каких-то

конкретных ответов и обещаний. Но, уж не обессудьте, и оставлять все на милость вашу и божью тоже не могу, именно значительность вашей работы не позволяет делать этого... Поезжайте, отдохните как следует, в сроках вас никто не ограничивает, и подумайте вот о чем... Сколько человек у вас в секторе?

— Тринадцать.

— Мало, очень мало... Мы, откровенно говоря, уже решили укрупнить вас, перевести ваш сектор рангом выше, сделать его лабораторией. Как вы на это смотрите?

— Никак, — сказал Дмитрий.

— Хм, — задумался Александр Яковлевич. — Так-таки и совсем уж никак?

— Да. Жаль, но ничего более конкретного пока сказать не могу.

— Но вы подумаете об этом?

— Конечно.

— Видите ли, друг мой, я хоть и дал вам обещание не требовать от вас конкретного ответа — и от обещания этого не отказываюсь, — но войдите и в мое положение. Конец года на носу, надо утрясать планы будущего года, и хотите вы этого или нет, но вашей работе, в чем бы конкретно она ни заключалась, в этих планах должно быть отведено значительное место. Ждать еще год — просто преступление. Это вы понимаете?

— Да. Но поймите и вы меня. Если бы я мог что-то ответить, я сразу сделал бы это.

— Несомненно. Но, простите за назойливость, так как я не сомневаюсь, чем закончатся ваши раздумья, то сделаем вот что: вы едете отдыхать и думать, а мы действуем так, словно вы уже дали согласие на руководство лабораторией, и, по возможности, планируем все необходимое для вашей дальнейшей работы... Я вижу, вам это не очень нравится?

— Да.

— Мне тоже. — Александр Яковлевич развел руками. — Я предпочел бы более конкретный ответ, но что делать? Деловая проза частенько входит в конфликт с нашими эмоциями. Вы можете предложить какое-то другое решение?

— Нет. — Дмитрий покачал головой. — Но и это мне не представляется удачным. Мне будет крайне неприятно, если я не оправдаю ваших надежд.

— Я думаю. И все-таки мы рискнем.

Дмитрий пожал плечами и промолчал.

На улице Дубровин предложил:

— Зайдем ко мне?

— Можно, — не слишком охотно согласился Дмитрий.

Они прошли в кабинет и несколько минут сидели молча. Наконец Дубровин спросил:

— Ты чем-то еще расстроен — кроме разговора о лаборатории?

— Вы думаете, этого мало?

— И не слишком много. Тебя ведь насильно никто не заставляет.

— Ну конечно, — Дмитрий усмехнулся. — Все выглядит очень даже мило. Ты можешь не соглашаться, но мы все-таки настаиваем. И попробуй откажись — сразу выйдешь дураком и неблагодарной свиньей.

— Ну, это уже слишком.

— Ничего не слишком. Я не знаю, что вы говорили Александру Яковлевичу о моем... кризисе, но боюсь, что вы не слишком хорошо и сами понимаете, что это такое. Дело обстоит хуже, чем вы думаете. Я не стал особенно возражать Александру Яковлевичу, потому что это бесполезно, да и похоже, что лабораторию в самом деле надо создавать... Создавайте хоть целый институт, если моя работа стоит того. Но уж позвольте мне самому решать, смогу ли я принять участие в этой работе, а тем более руководить ею. Я сделал все, что мог, — и кончено на этом. А что дальше будет — увидим... И на вашем месте я не стал бы слишком рассчитывать на меня. Если я и выберусь... из этого кризиса, — Дмитрий криво усмехнулся, — то вряд ли скоро. А терять даже один год — это, как считает Александр Яковлевич, преступление. Если так — заранее ищите другого руководителя. Я наверняка ничем не смогу быть вам полезным... в ближайшем будущем по крайней мере. Я не только

не могу сейчас ничего делать, но и не хочу, понимаете? Ничего не хочу. Я еле-еле закончил эту работу, и большего не требуйте от меня.

— Дима, — тихо сказал Дубровин, — успокойся, пожалуйста. Не будем больше говорить об этом. Поезжайте куда хотите и на сколько хотите. Жанне тоже надо как следует отдохнуть.

— Это уж точно. — Дмитрий поднялся. — Я пойду, Жанна будет волноваться.

Дмитрий стал одеваться, но вдруг хлынул такой дождь, что Дубровин решительно отобрал у него пальто, и они снова вернулись в кабинет. Дмитрий встал у окна и смотрел, как яростно сечет дождь тонкие голые деревья. Потом повернулся к Дубровину и спросил:

— Антонина Васильевна — его жена?

— Да. Непохоже?

— Почему же...

— У них такая история — хоть роман пиши. Знакомы они с детства, но в гражданскую потерялись, несколько лет искали друг друга и не нашли. Он женился на другой, она вышла замуж, пошли у обоих дети, — в общем, у каждого своя жизнь. А в сорок седьмом, когда им уже по пятьдесят было, случайно встретились на улице и, представь себе, сразу же узнали друг друга. Как оба уверяют — только по глазам. Проговорили один вечер, другой — и решили, что расставаться им не надо. Дети у обоих были уже взрослые. Она ушла от своей семьи, он — от своей, и вот с тех пор и живут вместе.

— Давно вы его знаете?

— Лет двадцать.

— Я все-таки пойду, Алексей Станиславович...

— Дождь-то еще не кончился.

— Он, похоже, до самой зимы не кончится.

— Тогда возьми зонт.

Домой Дмитрий пошел не сразу. Остановился под узким карнизом закрытого магазина, плотно прижался спиной к его прозрачной стеклянной стене. Закрыл зонт, закурил, долго смотрел на пустую, чисто вымытую дождем улицу. Волнение, пережитое при разговоре с Александром Яковлевичем, казалось уже чем-то далеким, теперь спокойно думалось: ну вот, все кончилось самым благополучным образом, уверенность в своей правоте не подвела тебя и на этот раз, работа оценена на «отлично» — и что же дальше? Ответ может быть вроде бы только один: работать и работать. Прав Александр Яковлевич: работы этой не на один год, и кому же, как не ему самому, возглавить ее...

Но он знал, что не сможет больше работать. Ни сейчас, ни позже. И спасительное стандартное утешение, что все это временно, естественная реакция на чрезмерные нагрузки, не помогало. В конце концов, усмехнулся он, жизнь — явление тоже временное. Глупая, пошлая «философия» — все так, но вот беда: то, что глупо и пошло, еще не означает, что это неверно... А, к черту... И он пошел домой. Ольф тоже был у него, и, судя по всему, они заждались его.

— Виноват, ребятишки, — улыбнулся им Дмитрий с порога. — Великие дела требуют великого времени... — И, не дожидаясь их расспросов, сказал: — В общем, все верно, можете меня лобзать и поздравлять... Ну, что же вы?

Жанна обняла его. Дмитрий, поглаживая ее по плечу, посмотрел на Ольфа и тихо сказал:

— Как хорошо, что вы есть, ребятишки...

Потом Ольф заставил его рассказать все подробно, восхитился Александром Яковлевичем: «Могучий старик!» — и, подумав, сказал:

— Знаешь, что мне пришло в голову? Что нам очень везет с учителями. Сначала Ангел вытягивал нас, потом Дубровин, а теперь вот — Александр Яковлевич... И все за-ради так, наших прекрасных глаз для? И противников-то у нас, по существу, не было, один пунктиром наметился, да и то уничтожился, стопроцентным джентльменом оказавшись. А где же пресловутая борьба нового со старым, новаторов и консерваторов?

— Подожди, будет тебе еще борьба, — пообещал Дмитрий.

— Ну, когда-то еще будет, а до сих пор почти не было. Все нас приветствуют, все идут навстречу, — вот только чепчики в воздух не бросают. Это мы такие везучие — или так быть должно?

— Наверно, и то и другое.

— Да? — Ольф скептически посмотрел на него. — Ну ладно. А раз уж зашел об этом разговор — позволь мне покаяться.

— В чем?

— Я был неправ тогда, поддерживая Валерку, — уже серьезно сказал Ольф.

— До меня только сейчас по-настоящему начинает доходить, в чем тут дело. И Ангел, и Дубровин, и Александр Яковлевич помогают нам, конечно, не ради наших прекрасных глаз...

— Я думаю, — улыбнулся Дмитрий.

— Просто, наверно, так надо. И мы перед ними в долгу, который, очевидно, придется возвращать другим. Я, по своей несознательности, не понимал, что время возвращать долги уже настало...

— А сейчас понял? — насмешливо спросила Жанна.

— Сейчас — да, — серьезно сказал Ольф.

74

В Долинске стояла унылая бесснежная зима. Дмитрий и Жанна приехали вечером, и через полчаса Ольф уже заявился к ним. Открыла ему Жанна; Дмитрий слышал, как Ольф о чем-то тихо спросил ее и потом встал в проеме двери и оценивающе прищурился:

— Привет, бродяжка.

— Привет, — заулыбался Дмитрий, направляясь к нему.

— Винца-то южного привезли?

— А то как же.

— Ну, тогда можно и поручкаться... — Ольф милостиво пожал Дмитрию руку, потом ткнул его кулаком в бок и довольно ухмыльнулся: — А ничего, мясцоросло. Женщина, — обратился он к Жанне, — выпить-то дашь?

— Сейчас, садитесь.

Открыли бутылку вина, и Дмитрий спросил:

— Ну, как живы-здоровы?

— Да по-всякому. Кто жив, кто здоров, а некоторые — и то и другое.

— Дубровин как?

— Сам увидишь, — нехотя отговорился Ольф.

— Болеет, что ли?

— А ты здоровым-то его часто видел?

— А как выглядит?

— Неважно.

— А ребята как?

— Ребята? — Ольф немного подумал, словно вспоминая. — А ничего ребята.

— Далеко продвинулись?

— Куда? — Ольф сделал невинное лицо, и Дмитрий догадался, что дело нечисто.

— Ты дурачком-то не прикидывайся... Сдвиги какие-нибудь есть?

— Ну, как им не быть, — уходил от ответа Ольф.

— А ну выкладывай, — приказал Дмитрий.

— Да чего там выкладывать... — Ольф вздохнул. — В общем, оставили мы эту работу.

— Это как же понимать? — удивился Дмитрий.

— А так. Не хотят ребята заниматься этой мелочью.

— А чем же они хотят заниматься?

— Твоей работой.

— Какой моей работой?

— А той самой, которую ты родил в тихоокеанском уединении.

— Та-ак... — Дмитрий встал и прошелся по комнате. — И кто же подал им эту блестящую идею?

— Никто. Сами додумались.

— Ах, вот как, сами... — Дмитрий остановился перед ним. — А как все это объяснить Ученому совету?

— А это уже не моя забота.

— А чья?

— Твоя и Дубровина.

— А он знает об этом?

— Конечно.

— И как ему понравилась такая самостоятельность?

— Очень даже понравилась, отче, — с удовольствием сказал Ольф, откидываясь в кресле и смакуя вино. — Это, во-первых. А во-вторых, никакой самостоятельности вовсе даже и не было. Можно сказать, наоборот. Он сказал, что недурно придумано и, если бы мы сами не додумались до этого, рано или поздно так решили бы сверху. Что, Одиссей, съел?

— Н-да, дела. — Дмитрий покачал головой. — И чем же конкретно вы занимаетесь?

— Пока что ликбезом. До сих пор толком не поняли ни одной твоей закорючки. Ждем тебя как господина бога, чтобы ты хоть немного просветил нас.

...Утром Дмитрий сразу пошел к Дубровину, но его не было. И только после третьего телефонного звонка услышал знакомый голос:

— Слушаю.

— Это я, Алексей Станиславович... Здравствуйте.

Дубровин несколько секунд помолчал, словно не узнавая его, и невнятно сказал:

— Приходи ко мне.

Он сидел за пустым столом — очень непривычно было видеть его ничем не занятым — и показался Дмитрию необычно маленьким.

— Ну, здравствуй. — Дубровин, не вставая, протянул ему через стол руку и кивнул: — Садись, рассказывай.

— Да что рассказывать... Вот, явился, — почему-то смешался Дмитрий.

— Об этом мне еще утром доложили.

— Быстро, однако.

— А ты как думал!

Дубровин так внимательно оглядывал его, что Дмитрий улыбнулся:

— Ну, как товар?

— Товар хорош, — серьезно сказал Дубровин. — Поправился, потолстел и глядишь... почти приемлемо.

— А как вы?

Дмитрий ожидал услышать обычную для Дубровина отговорку, но он вздохнул и невесело сказал:

— Скверно, Дима. Надо почку удалять.

— Так плохо?

— Да.

— Когда?

— Предлагают сейчас, но я поторговался — и отложили до весны. Сейчас очень уж некогда.

Дубровин как-то неловко, боком вылез из-за стола, прошелся по кабинету, прислонился к стене и, пристально глядя на Дмитрия, спросил:

— Что, рассказывать тебе действительно нечего?

— Нет, — сказал Дмитрий, опуская глаза.

— Тогда я расскажу кое-что. С января организуется новый отдел, смысл и назначение которого — заниматься проблемами, поставленными тобой. Как тебе нравится эта новость?

— Никак.

— Плохо, что никак... Ладно, поехали дальше. Будет в отделе пока две лаборатории: одна твоя, другая... — Дубровин чуть помедлил, — моя.

— Ваша? — с удивлением спросил Дмитрий.

— Да. Начальником отдела буду я. Чем ты так удивлен?

— Но ведь у вас были другие планы...

— Были, а теперь нет. Точнее, твоя работа заставила их изменить — и настолько, что от них почти ничего не осталось. — Заметив, что Дмитрий хочет что-то сказать, Дубровин сухо проговорил: — Твои эмоции, а тем более сожаления по сему поводу по меньшей мере неуместны.

— А законченную работу это сильно задело? — прямо посмотрел на него Дмитрий.

— Пока трудно сказать, но похоже, что да. Однако — все это уже в прошлом, а нам теперь придется основательно подумать и о будущем.

Дубровин так явно выделил это «нам», что Дмитрий поморщился.

— Насколько я тебя понял, ни к какому определенному решению ты еще не пришел?

Дмитрий хотел сказать, что решение у него более чем определенное — руководить лабораторией он не сможет, — но посмотрел на Дубровина и тихо ответил:

— Нет.

— Жаль, — жестко сказал Дубровин. — Значит, придется мне пока одному всем заниматься.

— Почему одному? Ольф...

— Ольф в таком деле не помощник, — оборвал его Дубровин. — Ладно, не будем об этом. Нет, так нет. Но кое в чем тебе все же придется помочь мне сейчас.

— В чем?

— Тут приходили трое, изъявивших желание работать у нас. Тебе нужно поговорить с ними, и, если решишь, что они нам подходят, мы возьмем их.

— Хорошо, я поговорю, — сказал Дмитрий.

— Это первое. Второе — Шумилов уходит из института.

— Почему? — удивился Дмитрий.

— Решил, что работать он здесь не сможет. Вероятно, правильно решил...

— А как же его лаборатория?

— Об этом и речь. Лабораторию решено расформировать. Часть людей я беру к себе, часть уходят в другие отделы, а шестеро изъявили желание работать у тебя.

— Именно у меня?

— Да. Тебе придется поговорить и с ними. Одного ты возьмешь или всех — это уже твое дело.

— Но, Алексей Станиславович...

— Никаких «но», — решительно остановил его Дубровин. — Я отлично помню твое «нет», но этим все-таки изволь заняться, у меня и без того забот хватает. К тому же я их почти не знаю, а ты работал с ними.

— А о чем мне с ними говорить?

— Вот уж не знаю, голубчик, — развел руками Дубровин. — Судя по тому, как ты раскусил Мелентьева, опыта в этом деле тебе не занимать.

— Мелентьев — другое дело.

— Почему другое? Подбирай людей так, чтобы с ними можно было долго и хорошо работать.

«Кому?» — чуть было не спросил Дмитрий, но, перехватив взгляд Дубровина, промолчал.

То спокойное, бездумное настроение, с которым Дмитрий вернулся в Долинск, исчезло в первые же дни. Он видел, что все ждут, когда же он возьмется за работу. А работать он по-

прежнему не мог. Совсем не мог. Несколько раз он брался за те наметки, которые они втроем сделали перед отъездом в Одессу, но хватало его не больше чем на час. Он просто ничего не понимал в том, что сам же писал всего месяц назад. И не только это. Просматривая журналы, Дмитрий тут же убеждался, что не в состоянии как следует осмыслить даже самую несложную информацию. Разглядывая строчки уравнений, он видел только какие-то греческие и латинские буквы, очень хорошо понимал, что каждая из них в отдельности означает, но связать все эти звенья в единую цепь почти никогда не удавалось. Как только ему казалось, что он начинает что-то понимать, тут же возникал какой-нибудь вопрос, и все рассыпалось. Он просто разучился мыслить. А главное — ему и не хотелось этого. Он каждый день отправлялся в институт, запирался в кабинете, клал перед собой папку с бумагами, но, случалось, даже не раскрывал ее, а весь день читал. До Нового года он перечел почти все романы Дюма. Где-то рядом, по коридору, работала его группа, были Жанна и Ольф; но Дмитрий почти не встречался с ними, разве что вместе ходили обедать. Он не знал, как объяснить Жанне свое затворничество, и, когда наконец заговорил об этом, она тут же остановила его:

— Дима, не надо ничего объяснять, я же вижу, как тебе это неприятно. Делай так, как считаешь нужным. Мы не будем тебя беспокоить, я уже сказала ребятам, чтобы они не обращались к тебе ни с какими вопросами.

— Да? — только и нашел он что сказать. — Очень хорошо.

И его действительно оставили в покое. И с Дубровиным Дмитрий виделся только мельком, и тот ни о чем не спрашивал его. С теми, кто хотел работать в его лаборатории, Дмитрий поговорил на следующий день и сказал Дубровину, что можно брать всех. Дубровин, не глядя на него, небрежно сказал:

— Хорошо, после Нового года оформим. Если насчет кого-нибудь передумаешь, сообщи.

И Дмитрий с облегчением взялся за романы Дюма. Время от времени он напоминал себе, что надо еще раз попытаться сесть за работу, и минут двадцать честно старался разобраться во всей этой чепухе, а когда убеждался, что у него ничего не получается, чуть ли не с радостью откладывал бумаги в сторону и снова принимался за чтение. Когда надоедало читать, он вставал, ходил по кабинету, смотрел в окно, просматривал старые подшивки «Крокодила» и решал кроссворды. Но рано или поздно приходили минуты отрезвления, он начинал понимать, что долго так продолжаться не может и надо как-то выбираться из этой отупляющей трясины. Но как? Его все больше пугала непроходящая неспособность к сколь-нибудь связному логическому мышлению. Однажды, натолкнувшись в своей же двухлетней давности статье на слова «эрмитова матрица», Дмитрий почти с ужасом обнаружил, что не знает, что это такое. Не не помнит, а именно не знает. А ведь он сам писал эти два слова и помнил, что эрмитова матрица — что-то не слишком сложное, вроде синуса в геометрии, но что именно, даже приблизительно представить не мог. Он тут же уехал домой, чтобы заглянуть в учебник, и в автобусе вспомнил случай, бывший с ним когда-то в университете. После долгого дня работы он спустился вниз, чтобы купить пачку лезвий, и, подойдя к киоску, обнаружил, что не знает, как они называются. Он долго стоял перед киоском и смотрел на маленький красный пакетик с надписью «Спорт». Он знал, что пакетик никакого отношения к спорту не имеет, что по-английски это называется «bracle», что за этим он специально спустился с четырнадцатого этажа, — но для чего ему это нужно и как эта штука называется по-русски, он никак не мог вспомнить. И, дождавшись, когда разошелся народ, он сказал продавщице, ткнув пальцем в стекло на прилавке:

— Дайте мне это.

— Что «это»? — не поняла продавщица.

— Ну... вот это.

Продавщица посмотрела, куда он показывал.

— Пасту?

— Нет, рядом.

— Лезвия?

— Да-да, лезвия, — обрадовался он.

И, вспомнив сейчас этот эпизод, Дмитрий почти успокоился. Значит, такое с ним уже бывало — и бесследно прошло. Он вспомнит эрмитову матрицу точно так же, как вспомнил когда-то про лезвия. И вообще нет никаких оснований для паники. И его забывчивость, и непонимание, и нежелание работать — естественная реакция на крайнее перенапряжение, которому он подвергал свой мозг. Один Сахалин чего стоит...

О Сахалине Дмитрий сам вспоминал порой с удивлением. Он обдумывал свои идеи почти непрерывно, даже во сне, и иногда, очнувшись на минуту, не сразу понимал, где он и почему вокруг скалы и море, а не стены его кабинета. Однажды, задумавшись, он ушел далеко по берегу и, споткнувшись о камень, сильно ушиб руку, огляделся и увидел, что все вокруг незнакомо ему. Только взглянув на часы и вспомнив, когда он отправился в путь, Дмитрий догадался, что прошел, вероятно, километров пятнадцать, и повернул назад. А через час ему показалось, что он сошел с ума. Он стоял у скалы, смотрел на глубокую, шумно вскипавшую перед ним воду и никак не мог понять, как же он перебрался через это явно непроходимое место. Поверху? Он отошел назад и озадаченно покачал головой — верхом, бесспорно, пройти тоже было нельзя. Но ведь как-то он попал сюда, не дух же святой его перенес... Он даже пощупал свою одежду, чтобы убедиться, что она сухая и ни вплавь, ни вброд он не перебирался. Потом он сел на камень, закурил и только минут через пятнадцать догадался, в чем дело. Прилив! Ну конечно же прилив... Как, оказывается, все просто...

Случалось и раньше, что он, увлекшись работой, забывал о еде и сне, но такой полной, почти абсолютной отрешенности от пространства и времени, как на Сахалине, у него никогда еще не было. И стоит ли теперь удивляться, что мозг отказывается подчиняться ему? Пройдет еще какое-то время, все восстановится, и он снова начнет работать...

Дома он посмотрел учебник, тут же, бегло прочитав всего несколько строк, вспомнил эрмитову матрицу и совершенно успокоился. Почему-то очень захотелось спать, Дмитрий лег и проспал три часа. А проснувшись, не сразу понял, что сейчас — утро или вечер. За окном было темно, часы показывали четверть шестого. Наконец он догадался, что должен быть вечер — ведь Жанны рядом не было, — и стал думать, почему он в постели. «Кажется, я зачем-то вернулся домой... Зачем? Ах да, эрмитова матрица... При чем тут эрмитова матрица и что это такое?» Минуту или две он думал об этом, но вспомнил только, что перед сном прочел об этой матрице в учебнике и все понял. А что именно понял — этого он не знал. Вернее, когда-то знал, но совсем забыл — и теперь уже никогда не узнает и не вспомнит. Никогда. И работать он тоже уже никогда не сможет... Это было так очевидно, что он хотел даже посмеяться над своими недавними надеждами. Но смеяться он не мог — ему хотелось плакать. Он отвернулся лицом к стене, закрыл глаза и подумал: да, это конец. Очевидно, силам человеческим положен какой-то предел, и он этого предела достиг. Именно так, и это все объясняет.

Думать об этом было слишком больно, и он хотел встать, чтобы заняться чем-нибудь, но посмотрел на часы и увидел, что сейчас должна прийти Жанна, — и остался лежать. Но когда она открыла дверь и, торопливо сбросив на кресло пальто, сразу прошла к нему, он даже не пошевелился. Жанна немного постояла, потом осторожно разделась, легла рядом с ним, прижалась к его спине и положила ему руку на лоб. Дмитрий прижал ее ладонь к своему лицу и неожиданно заплакал: от жалости к самому себе и — почему-то — к ней, от счастья своего одиночества, от необычного ощущения теплой тяжести ее тела. «Господи, как же мне повезло, — суеверно подумал он. — Что я делал бы сейчас без нее?» Он хотел сказать это ей, но почувствовал, что засыпает.

его пунктов гласил, что руководство вновь созданной тридцать первой лабораторией временно возлагается на доктора физико-математических наук Кайданова Д.А. Дмитрий прочел об этом утром, машинально задержавшись у доски приказов по пути в свой кабинет.

— Можно вас поздравить? — сказал кто-то, стоявший рядом.

— Да-да, благодарю, — пробормотал Дмитрий, тщетно пытаясь вспомнить, кто это, и пошел к Дубровину. Не поздоровавшись, он сказал с порога:

— Алексей Станиславович, там приказ вывешен...

— И что же? — сказал Дубровин, протягивая ему Руку.

— Здравствуйте... В пункте третьем есть две маленькие неувязочки.

— Какие?

— Во-первых, формально я еще не доктор физико-математических наук...

— Насколько мне известно, позавчера ВАК утвердила твою кандидатуру. Диплом вышлют, вероятно, недели через две. Какая вторая неувязка?

— Я не давал согласия на руководство лабораторией. Даже временное.

— Ну, не давал, так и не руководи, — безразлично сказал Дубровин, разглядывая бумаги на столе.

— Как это понимать?

— А так, — вздохнул Дубровин. — Да ты сядь... Можешь считать, что никакого приказа не было. Тем более что ты не расписывался под ним и формально имеешь полное право ничего не делать. Ровным счетом ничего. Только прошу учесть, что в таком случае все твои обязанности, — Дубровин особенно подчеркнул это «все», — придется исполнять мне.

— Алексей Станиславович, зачем вы это сделали? — тихо спросил Дмитрий.

Дубровин промолчал.

— Вы это специально?

Дубровин устало посмотрел на него:

— А если и так?

И тут Дмитрий не выдержал. Он вскочил и закричал высоким, самому показавшимся незнакомым голосом:

— Да поймите вы, черт возьми, я не благородная институтка, меня не надо упрашивать! Если бы я мог работать, я бы не то что согласился, а сам бы потребовал, чтобы мне дали лабораторию, людей, средства! Но я не могу, поймите вы это наконец! Я сейчас способен только на то, чтобы читать детективы и решать кроссворды! Вы сами говорили, какую значительную работу я сделал, — так подумайте о том, чего это могло стоить мне! Я же интеллектуальный труп, развалина! Или вы думаете, что я набиваю себе цену и мне нравится, чтобы меня упрашивали? Скажите честно — вы так думаете?

— Нет, Дима, нет, — быстро сказал Дубровин. — И, пожалуйста, успокойся.

— Тогда зачем вы так делаете? — с горечью спросил Дмитрий. — Или вы думаете, мне приятно слышать, что вы, тяжело больной человек и человек мне очень дорогой, должны делать за меня мою работу? Неужели вы думаете, что я сам не сказал бы вам, что согласен, если бы мог сделать это?

— Сядь, Дима. — Дубровин вышел из-за стола и, положив ему руку на плечо, повторил: — Сядь, пожалуйста.

Дмитрий сел, и Дубровин сказал:

— Прости, я виноват. Действительно, не надо было так делать... Дай-ка закурить.

— Вам же нельзя, — тихо сказал Дмитрий, но полез за сигаретами.

— Одну можно.

Они закурили, и Дубровин, морщась то ли от дыма, то ли от боли, заговорил:

— Действительно, я сделал это специально. Думал, что так будет лучше. Ты весь ушел в себя, даже Жанна ничего не знает, и мы можем только гадать, что с тобой творится. Я и подумал, что этот приказ... как-то поможет тебе сдвинуться с мертвой точки. Это, во-первых. А второе — раз уж лаборатория создана, ею должен кто-то руководить, хотя бы формально.

— Я же вам давно говорил — поищите кого-нибудь, если уж Ольф не подходит.

— Кого-нибудь нельзя, Дима, — твердо сказал Дубровин. — Нужен именно ты. Потому что не только твоя лаборатория, но и весь отдел будет работать над твоими проблемами — ты не забывай об этом. И мне, как начальнику отдела, теперь постоянно будет нужна твоя помощь. А потом... — Дубровин помолчал, — мое состояние. Мне очень скверно, Дима. Боюсь, что и до весны не дотяну. А уложат меня месяца на два, если не больше. У меня ведь и вторая почка не очень хорошо работает. А на кого отдел оставить? Ты же сам понимаешь, как важно с самого начала не наделать ошибок.

— Алексей Станиславович, — с отчаянием сказал Дмитрий, — я все понимаю, но я не могу... Верите вы мне?

— Ну разумеется, — торопливо сказал Дубровин. — Давай не будем об этом говорить. Подождем, пока ты придешь в себя.

— А вы уверены, что это будет?

— Конечно.

— А я нет...

— Дима, ты не думай об этом. Это пройдет, обязательно пройдет.

Дмитрию показалось, что Дубровин и сам напуган его словами, и он попытался улыбнуться:

— Будем надеяться.

— Ты постарайся не думать так. Ты думай, что это обязательно пройдет, и очень скоро. Ну все, хватит. Знаешь что? — вдруг оживился Дубровин. — Давай-ка выпьем, а?

— Да что вы, ей-богу! — изумился Дмитрий. — Вот этого вам уж точно нельзя.

— Это мы еще посмотрим. — Дубровин встал, налил из графина воды в два стакана и довольно улыбнулся. — К этому ни один эскулап не придерется. А знаешь, к чему я все это веду?

— Нет.

— Будем пить на брудершафт. А то ты кричишь на меня — и в то же время на «вы» величаешь. Неестественно как-то.

— Извините.

— Вот выпьем, тогда и извиню. Давай-ка, как это делается... — Дубровин с самым серьезным видом продел свою руку в руку Дмитрия и кивнул: — Ну, пей.

И, поцеловав его, сказал:

— Вот теперь можешь еще раз извиниться.

— Извини, — улыбнулся Дмитрий.

— То-то. А вообще — правильно накричал на меня. Дураков надо учить. А то я тоже хорош... разнюнился. Ничего, Дима, я выдержу, не смотри так жалостливо. Нам с тобой еще долго вместе работать. Только бы мне совсем не свалиться... Ну все, иди.

Дубровин легонько подтолкнул его, и Дмитрий, оглянувшись на него с порога, ушел.

Придя в свой кабинет, он с отвращением засунул недочитанную «Королеву Марго» в нижний ящик стола и, придвинув папку с бумагами, еще долго не решался открыть ее, страшась очередной неудачи. И неудача, как и прежде, была полная. Насилюя себя, он просидел над выкладками до обеда, но у него ничего не получалось. После обеда он с полчаса поболтал с Жанной и Ольфом, всячески оттягивая минуту, когда придется идти к себе в кабинет.

Дмитрий засел, за одну из своих старых статей, надеясь, что так будет легче восстановить утраченные навыки, — и к вечеру с грустью обнаружил, что если и есть какие-то сдвиги, то иначе чем ничтожными их не назовешь. И статья представлялась ничтожной, и тратить на нее время казалось бессмысленным. Но на следующий день, обложившись черновиками, он снова взялся за нее, шаг за шагом проделав выкладки двухлетней давности. Время все равно девать было некуда, и он весь день просидел над статьей и к концу дня, просматривая эту бессмысленную работу, подумал: «К Грибову сходить, что ли? Терять-то все равно нечего». Но что сказать ему? Он был здоров как никогда, спал, по словам Жанны,

как младенец, Ольф утверждал, что цвет лица у него «более чем прекрасный», он мог легко отмахать на лыжах двадцать километров и останавливался лишь тогда, когда Жанна и Ольф начинали отставать. (Лыжные прогулки втроем давно уже вошли у них в привычку.) Чем он может быть болен? Тупостью? Но вряд ли найдется на свете врач, который может излечить это.

И все-таки было уже не совсем то, что прежде. Если раньше только мысль о работе вызывала отвращение, то теперь, понимая, что само собой ничего не произойдет, Дмитрий просиживал за работой целыми днями. И хотя результаты ее по-прежнему можно было расценивать лишь, как убогие, — они все же были. С прежним уровнем, конечно, и сравнивать не приходилось, — но что-то уже было. Он не приходил в отчаяние от того, что чего-то не понимает, а спокойно разбирался в непонятном. И если и злился, то лишь на то, что выздоровление идет слишком медленно. Вот если бы это произошло сразу, от какого-нибудь толчка или шока... Поймав себя на этой мысли, Дмитрий зло обругал себя: «Чушь собачья... Чертовщина... Метафизика... Какой может быть толчок? Работать надо...»

76

И все-таки «чертовщина» случилась, и очень скоро.

Они возвращались домой, и Жанна, сойдя с автобуса, сказала ему:

— Ты иди, а я по магазинам пройдуся.

— Пойдем вместе, — предложил Дмитрий.

— Да нет, не надо. — Жанна почему-то смутилась. — Иди, я недолго.

Но пришла она только через два часа, и Дмитрий, истомившийся ожиданием, недовольно посмотрел на нее:

— А говорила — недолго.

Жанна поцеловала его и весело сказала:

— Не сердись, милый, мне нужно было.

Она стала готовить ужин, и Дмитрий, приглядываясь к ней, заметил, что настроена Жанна как-то необычно — то и дело беспричинно улыбалась, говорила невпопад и явно была очень довольна чем-то.

— У тебя какие-то новости? — спросил он наконец.

— Все может быть, — ответила Жанна, отворачиваясь, и Дмитрий видел, что она едва сдерживается, чтобы не рассмеяться.

Он неодобрительно покосился на нее и принялся за чай. А потом, минут пятнадцать спустя, он подошел к книжному шкафу и, тронув рукой корешки переплетов, вдруг повернулся к ней — и увидел, что Жанна смотрит на него откровенно ликующим взглядом, и наконец догадался, еще не смея поверить себе:

— Ты что... беременна?

Жанна молча кивнула, и Дмитрий, сев на первый попавшийся стул, тихо позвал ее:

— Иди сюда, Жанна медленно подошла к нему. Дмитрий, сцепив руки у нее на спине, осторожно прижался лбом к ее животу и поцеловал скользкую ткань ее блузки.

— Ты лучше меня целуй, — тихо засмеялась Жанна.

Он посадил ее на колени и обнял так, словно хотел руками оградить ее всю от каких-то неведомых опасностей. Он знал, что надо спросить Жанну еще о чем-то, что должно быть связано с этой новостью, и не сразу догадался:

— Сколько уже?

— Почти два месяца.

— Что же ты раньше не сказала? — наивно спросил он.

— Надо же мне было самой увериться.

— А теперь... уверена?

— Да. Врач сегодня подтвердила.

— Поэтому ты так долго и ходила?

— Ну конечно.

Вечером, в постели, Жанна призналась ему:

— Знаешь, я уже начала бояться, что у меня... ничего не получится. Пошла здесь к врачу, потом в Москву съездила — говорят, что все в порядке, а я все больше боюсь. Для тебя ведь это было бы... очень плохо, да?

— Сейчас уже не знаю.

— Плохо, я знаю. Я же видела, как тебе хочется ребенка.

— А сейчас разве не видишь?

— Все вижу, все знаю, — засмеялась Жанна. — Давай спать будем.

И она действительно скоро заснула, но Дмитрий еще долго смотрел в темноту и, думая об этой необыкновенной новости, все не мог до конца осмыслить ее. Он ни за что не признался бы Жанне, что его самого уже начало беспокоить то, что она так долго не могла забеременеть. Но ему и в голову не приходило, что дело может быть в ней. А если бы у них действительно не было детей — что тогда? Сейчас думать об этом было легко. Никаких «бы» — все будет! И ждать-то осталось всего семь месяцев... Ему вдруг почему-то стало беспокойно, и он не сразу догадался, в чем дело. Возраст Жанны... Дмитрий нехотая вспомнил то ли где-то прочитанное, то ли от кого-то услышанное: женщины уже чуть ли не в двадцать пять лет считаются старородящими (слово-то какое уродливое!). А Жанне в апреле исполнится тридцать три. Для первых родов, наверно, не так уж и мало... И как ни успокаивал он себя тем, что таких, как она, наверняка сотни тысяч, если не миллионы, и рожают же они, — беспокойство все усиливалось. Что ему до этих миллионов, если Жанна у него одна-единственная... Он осторожно повернулся на бок, почувствовал ее дыхание на своем лице — и вдруг страх за нее, страх перед той болью, которая ожидает ее в недалеком уже будущем, заставил его тронуть ее за плечо. Жанна спросонья потянулась к нему губами, он поцеловал их и тихо спросил:

— Спишь?

— Угу...

— Слушай, Жаннета, а это... не опасно?

— Что?

— Ну, роды-то у тебя первые.

— Ну и что? — не понимала Жанна.

— Как что? Тебе же все-таки уже за тридцать.

— Тоже мне старуху нашел, — обиженно пробормотала Жанна и поудобнее устроилась у него на руке. — Спи, это не твоя забота.

— Как это не моя?

Жанна окончательно проснулась:

— Ты, что ли, за меня рожать будешь?

— Слушай, я же серьезно...

— А я — нет.

— Что тебе об этом сказали? — не унимался Дмитрий.

— Хорошо сказали... Что телосложение у меня на редкость гармоничное и все пройдет как надо. И вообще я вся красивая... Не веришь?

— Нет, — улыбнулся Дмитрий, вспомнив ее слова: «Пожалуйста, не говори мне о моей красоте».

— А вот смотри...

Жанна взяла его руку и провела ею по своему лицу, потом по груди, бедрам и подогнула колени, чтобы он мог дотянуться до ее ног.

— Вот видишь, какая я... И даже могу говорить об этом, и чуть-чуть похвастаться... И не бойся, что я такая старая.

— Ужасно боюсь.

— Слушай, давай все-таки спать, а?..

Жанна, уткнувшись. Лицом ему в шею, скоро заснула. А Дмитрий пролежал без сна

почти до утра. Он уже совсем не боялся за Жанну и стал думать о том, что надо подавать на развод. С Жанной он заговаривал об этом только однажды, вскоре после приезда с Сахалина. Она неодобрительно посмотрела на него:

— А других забот у тебя сейчас нет?

— Все равно делать когда-то надо.

— А почему именно сейчас?

— Ну... лучше уж сразу кончить с этим, — не очень уверенно сказал Дмитрий, не глядя на нее.

Но на самом деле он совсем не думал так. Да, Ася была уже в прошлом, но это прошлое было еще слишком близким, и ему очень не хотелось возвращаться к нему. И Жанна, отлично понимая это, решительно заявила:

— Пожалуйста, не делай этого сейчас. Я вовсе не горю желанием как можно скорее заполучить отметку в паспорте о том, что я законная мужняя жена. Если уж хочешь знать, мне даже неприятно, что ты можешь подумать так.

— Как «так»?

— Что меня беспокоит эта формальность.

— А может, она меня беспокоит? — Дмитрий, не подумав, решил все свести к шутке, но Жанна огорченно вздохнула:

— Еще того лучше... Ты думаешь, что говоришь?

— Нет, — смутился Дмитрий.

— Оно и видно.

— Прости, пожалуйста, я действительно не подумал.

— Ладно уж, — сжалась над ним Жанна. — Но больше не надо так говорить.

— Не буду.

Ася, видимо, знала о перемене в его жизни. После четырех месяцев молчания она снова написала ему. Письмо было спокойное, Ася подробно рассказывала о том, что уже привыкла к Каиру, к языку, к климату — вот только по зиме очень скучает, — что относится к ней хорошо и работа ей нравится. А в конце она словно мимоходом писала, что, если ему нужен развод, она, разумеется, не станет возражать и, если нужно, приедет, но лучше было бы обойтись без этого. И Дмитрий решил, что завтра же надо сходить в суд и все узнать.

Утром, просыпаясь от прикосновения Жанны, будившей его, и еще не совсем проснувшись, он уже знал, что день сегодня начинается необыкновенный, — и тут же вспомнил, в чем эта необыкновенность. Можно было называть это «чертовщиной» и «метафизикой», но Дмитрий очень хорошо видел, что все, знакомое прежде, выглядит теперь определенно по-другому. Казалось, все тот же ковер висел на стене, так же поблескивала посуда в шкафчике, такое же зимнее утро нехотя начиналось за окном, — и все-таки было все не то и не так, как вчера. А главное — другой была Жанна. Дмитрий все утро присматривался к ней, пока Жанна шутливо не возмутилась:

— Димка, перестань так смотреть!

— Как?

— Так... — Жанна покраснела, засмеялась и обняла его: — Чудак ты, Дима.

— Почему чудак?

— Не знаю... Ты сейчас как ребенок.

— Уж и обрадоваться нельзя, — попробовал обидеться Дмитрий.

— Почему же нельзя... Но на работе не надо так на меня смотреть.

— А сейчас, значит, все-таки можно?

— Сейчас все можно...

По дороге в институт Дмитрий с уверенностью подумал: с работой тоже все будет по-другому. Не сегодня, так завтра, вообще — очень скоро.

Через три дня он сам будет изумляться тому, как мог не понимать такие элементарные вещи. Непонятное не только стало очевидным, но и казалось на редкость простым, даже примитивным. Он за полдня разобрался в осенних наметках и легко увидел несколько новых

интереснейших возможностей продолжения работы. Он опасался упустить счастливое время, знал, что продлится оно недолго, а потому просиживал в своем кабинете до позднего вечера. Возвращаясь домой, почти не разговаривал с Жанной, и она ни о чем не спрашивала его, но по ее взглядам Дмитрий видел, что она обо всем догадывается. Да и вся группа, похоже, заметила перемену в его состоянии.

А потом пришел день, когда он понял, что счастливое время все же кончилось. Работоспособность восстановлена, но никаких идей больше не будет. Пока, разумеется. Потом они, конечно, появятся снова... А впрочем, почему «конечно» и «разумеется»? Давно ли само собой разумеющимся было убеждение, что работать он больше не сможет? С тех пор не прошло еще и месяца... А когда *это* появится снова? Ведь если такое бывало уже дважды — и всего за какие-то шесть лет, — то наверняка будет и в третий раз. И в четвертый, если, конечно, третий не окажется последним. А, да пропади оно пропадом, вдруг неизвестно отчего почти взбесился Дмитрий, будет так будет, ничего не поделаешь. Пока ведь это кончилось, и он снова может работать. Есть целая куча недурных идей, с которыми придется основательно повозиться, и возни этой, похоже, хватит на несколько лет. Если, конечно, уже через месяц или даже завтра не выяснится, что все они гроша ломаного не стоят... Но и об этом думать пока не нужно. Просто надо работать. Главное, есть та печка, от которой можно танцевать. И чтобы сделать первое па, надо завтра пойти к Дубровину и сказать ему, что он согласен. Можно пойти и сейчас или хотя бы позвонить... И Дмитрий набрал номер, послушал длинные гудки и не сразу сообразил, что рабочий день уже давно закончился — был восьмой час вечера. Ну что ж, завтра так завтра...

Вернувшись домой, Дмитрий увидел довольную физиономию Ольфа, стоявшего в дверном проеме. Пока он раздевался, Ольф с таким многозначительным видом смотрел на него, что Дмитрий не выдержал:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что с меня бутылка?

— Две, — ухмыльнулся Ольф.

— И обе выпьешь?

— С вашей помощью.

— А есть за что пить?

— Нет, ты только посмотри на него! — с возмущением обратился Ольф к Жанне, выглянувшей из кухни. — Он еще сомневается, есть ли за что пить! А ну, глянь сюда...

Ольф посторонился, и Дмитрий увидел накрытый стол, на котором действительно стояли бутылка коньяку, шампанское и даже цветы.

— Оцени, отче! — торжественно сказал Ольф. — Бутылки — дело плевое, но цветы, цветы! Из-за них я унижался и пресмыкался аки червь!

— Благодарю, — церемонно наклонил голову Дмитрий, догадываясь, из-за чего такой переполох.

Ольфу явно очень хотелось, чтобы Дмитрий порасспрашивал его, но, так и не дождавшись этого, он снова возмутился:

— Ты бы, Одиссей, хоть приличия для поинтересовался, из-за чего такой сыр-бор разгорелся?

— А из-за чего?

— Во негодай. — Ольф покачал головой. — Нет, я просто не могу смотреть на эту постную физиономию... Женщина, иди сюда! — крикнул он Жанне.

Она вышла, и Ольф, взяв ее под руку, горестно начал:

— Смотри, ради кого мы старались... Что изображено на этой личине? Ради чего мы облачились в лучшие свои одежды, мудрили над яствами и питьями, сбивались с ног, стараясь успеть к его приходу в час икс... Да ему не коньяк надо было ставить, а портвейн за рупь тридцать две! Не цветы, а копеечную открытку без марки и адреса! А посмотри, во что одет этот шаромыжник... Можно подумать, что это пришел не доктор наук, а ночной сторож после суточного дежурства. Все штаны в пепле, штиблеты не чищены... — сокрушенно покачал головой Ольф.

— Ладно уж, простим его, — засмеялась Жанна.

— Не прежде, чем он облачится во фрак...

Жанна, целуя Дмитрия, сказала:

— Правда, Дима, иди переоденься.

— Слушаюсь.

Когда он вышел, Ольф и Жанна стояли рядом и держали расписной деревянный поднос, на котором лежал журнал и что-то тонкое и плоское, обернутое цветной бумагой. «Диплом», — догадался Дмитрий. Ольф, тряхнув шевелюрой, провозгласил:

— Вот, отче, прими... Мы, наместники доброй и справедливой судьбы на этой грешной земле, одаряем тебя твоим же собственным могучим трудом, в ближайшем будущем потрясущим основы всей современной науки... Жаннета, приступай.

Жанна, стараясь сдержать смех, с поклоном подала ему журнал. Дмитрий поцеловал ей руку и сказал:

— Мерси, мадам.

— А также, — возвысил голос Ольф, протягивая диплом, — преподносим тебе знак формального признания твоих великих заслуг. К сожалению, ты будешь не самым молодым доктором наук в нашей стране, но и далеко не самым старым.

Ольф обнял Дмитрия, смачно поцеловал его и недовольно проворчал:

— Фу, табачищем от тебя несет... Женщина, дай в качестве компенсации тебя облобызаю.

Жанна подставила ему щеку. Ольф осторожно приложился к ней, Жанна засмеялась и сама поцеловала его.

— А теперь — за стол! — скомандовал Ольф.

Потом, поглаживая блестящие журнальные страницы, Ольф задумчиво сказал:

— Ну теперь грянет гром небесный... — И со вздохом признался: — Знаешь, Димыч, когда я прочел это — с грустью обнаружил, что понял еще меньше, чем осенью... Почему так? Я же, надеюсь, не из самых бездарных кандидатов, не говоря о нетитулованных чернорабочих науки? Как же тогда они примут это?

— Поживем — увидим, — сказал Дмитрий.

77

Ни завтра, ни через неделю Дмитрий к Дубровину не пошел.

На следующий день он внимательно просмотрел свою статью и мысленно продолжил ее теми идеями, которые возникли в последние дни. Пытаясь сформулировать общее впечатление, он вдруг подумал: «А может быть, лучше было бы не делать этого?» И, хорошо понимая, что не сделать нельзя было, все-таки думал: «Возможно, это и есть одна из тех „безумных“ идей, о которых говорил когда-то Бор... Но заниматься-то этими безумными идеями придется людям вполне разумным, нормальным. В частности, Ольфу, Жанне, всем ребятам...» Некстати вспомнилось вчерашнее признание Ольфа: «Понял еще меньше, чем осенью». А как же тогда понять другим? Вот сейчас в десяти шагах от него сидят и ждут, когда он придет к ним и что-то объяснит. А как это сделать? Они, конечно, будут всю стараться, работать до изнеможения, — но к чему это приведет? Что, если они никогда не справятся с этим? Если им это просто не по силам? А ему самому?

Допустим, этих идей действительно хватит на несколько лет работы. А что дальше? Ведь совершенно очевидно, что снова наступит такой момент, когда придется делать очередной скачок, чтобы как-то осмыслить и разрешить клубок накопившихся противоречий и проблем. Наивно думать, что его идея, пусть даже и «безумная», наконец-то приведет к созданию «истинной» теории элементарных частиц... Мир-то бесконечен и неисчерпаем, это же азбучная истина. В лучшем случае его идеи — лишь очередной шаг на пути к этой «истинной» теории. И даже если он сделает его — что дальше? Очевидно, следующий шаг... А хватит ли у него сил сделать его?

Он встал и прошелся по кабинету, пытаясь как можно спокойнее и по возможности объективно оценить сделанное им.

Допустим, его работа — действительно большое открытие, как уверяют Дубровин и Александр Яковлевич. Пусть даже, предположим на минуту и это, выдающееся... Но почему именно ему удалось сделать его? Потому что он талантлив? Наверное, так. Но что это такое — талант? В сущности, лишь условное обозначение чего-то, существующего в природе. Снег назвали снегом, думал он, глядя в окно на заснеженные сосны, потому что его надо было как-то назвать. А можно было снег назвать талантом, а талант — снегом. И кажется, была такая мера веса, называвшаяся талантом... А что такое, в частности, его «что-то, существующее в природе»? По-видимому, главная особенность его таланта — крайнее перенапряжение мозга, после которого наступает какое-то патологическое истощение — и физическое, и духовное... Возможно, у других все это иначе, но у него, к сожалению, именно так. Конечно, куда лучше быть всегда исправной машиной, безостановочно генерирующей и обрабатывающей новые идеи, но ему это не дано. После каждой «генерации» ему, очевидно, придется становиться на ремонт. И ремонтироваться, бесспорно, после каждой поломки придется все дольше и дольше. До тех пор, пока он не сломается совсем. Интересно, когда это может произойти? — с любопытством, как не о себе, подумал он. Наверняка раньше его физической смерти... И что же тогда? Медленное угасание, воспоминания о славном прошлом? А собственно, почему бы и нет? В конце концов, не он первый и наверняка — не последний...

Дмитрий вспомнил, что уже думал об этом на Сахалине. Кажется, тогда эта мысль не слишком угнетала его — наверно, потому, что работа еще не была окончена, и обо всем остальном думалось мимоходом. Значит, надо браться за работу и сейчас...

Но ему еще долго не удавалось побороть себя. За работу он взялся, но по-прежнему просиживал в одиночестве в своем кабинете и никак не мог решиться пойти к Дубровину. Слишком хорошо помнились недавние месяцы пустого, бессмысленного существования. И при одной мысли о том, что это снова повторится, — а он был уверен, что так и будет, — ему становилось плохо. И думалось: в этот раз его спасли Жанна и будущий ребенок, а кто и что будет спасать в следующий раз? А если этот следующий раз действительно окажется последним?

И все больше мучила его мысль: имеет ли он право связывать свою «безумную» идею с другими людьми? Пусть они сами этого хотят, но ведь они просто не знают, что им предстоит. Что, если эта работа для многих окажется, в конце концов, непоправимым психологическим крушением? И хотя он хорошо понимал, что рассуждать так теперь, когда «джинн» уже выпущен из бутылки, по меньшей мере нелогично, ведь его работа существует уже независимо от него и не в его власти ни запретить, ни уничтожить ее, — решиться было трудно. Он вздыхал про себя: «Если бы можно было всю жизнь работать одному...»

Но это, конечно, было невозможно. И Дмитрий, уже зная, что не может не согласиться на руководство лабораторией, все же со дня на день откладывал разговор с Дубровиным и при редких встречах с ним виновато отводил глаза.

«Гром небесный» грянул очень скоро — уже на девятый день после выхода статьи. В десять часов Дмитрию позвонил Александр Яковлевич и, ответив на приветствие, сказал:

— Вот что, Дима, давай-ка быстренько ко мне.

Александр Яковлевич впервые обратился к нему на «ты», и Дмитрий довольно заулыбался:

— Слушаюсь, Александр Яковлевич... Через час буду.

— Ты делаешь успехи.

— Одну в день выкуриваю, — сказал Дмитрий.

— Значит, скоро совсем на них перейдешь... — Александр Яковлевич помолчал и неожиданно спросил: — А газеты ты читаешь?

Дмитрий с удивлением посмотрел на него:

— Конечно.

— И эту тоже? — показал Александр Яковлевич.

— Эту — нет.

— Ну так прочти, есть тут одна любопытная статейка.

«Статьейка» оказалась на полстраницы и называлась внушительно — «Безответственность». Дмитрий, еще не понимая, зачем ему нужно читать эту статью, бегло просмотрел начало, потом бросил взгляд на конец статьи, мельком заметил свою фамилию, но сначала прочел подпись: «В.И. Михайловский, академик, лауреат... член...», а затем снова наткнулся на свою фамилию и прочел весь абзац: «Совершенно очевидно, что публикации таких работ, как статья Д.А. Кайданова, наносят ощутимый ущерб престижу советской науки. В сущности, авторы подобных статей недалеко ушли от печально знаменитых изобретателей „вечного двигателя“, и поныне посылающих свои „гениальные“ творения в различные инстанции...» Дмитрий почувствовал, что у него начинают гореть уши, и вернулся к началу статьи. Автор утверждал, что «наряду с огромной армией серьезных, добросовестных ученых, честно делающих свое нелегкое дело», есть небольшая группа «юных авантюристов от науки», во что бы то ни стало жаждущих сенсаций и дешевого успеха. Оказывается, эти «юные авантюристы», не удосужившись как следует даже разобраться в элементарных основах сложнейших современных теорий, «ничтоже сумняшеся» объявляют их неверными и взамен выдвигают свои, якобы «бесспорные» и «истинные». В частности, молодой кандидат физико-математических наук Д. А. Кайданов, спекулируя объективными трудностями теории элементарных частиц, в недавно опубликованной статье утверждает — ни много ни мало! — что многие положения этой сложнейшей из наук «по меньшей мере сомнительны» и «нуждаются в пересмотре». Завидная самоуверенность! Но это только цветочки, ягодки впереди. Здесь юный ниспровергатель еще сомневается... Там же, где он берется что-то прямо утверждать, у не слишком искушенного и легковверного читателя волосы должны подняться дыбом, если хоть немного из того, о чем столь безапелляционно сообщает нам автор, соответствовало бы действительности... Но, к счастью, этого «не может быть, потому что этого не может быть никогда». Попытки «лихим кавалерийским наскоком» потрясти основы науки неоднократно предпринимались и раньше, но все они неизменно заканчивались печальным конфузом для инициаторов этих «атак». «И здесь уместно задать автору вопрос: думал ли он о том, на что посягает? Приходило ли ему в голову, что эти самые основы наук закладывались задолго до того, как он появился на свет, и что занимались этим тысячи и тысячи людей во многих странах мира — и нередко с риском для жизни?»

Дальше шло еще с десятков подобных патетических восклицаний, из которых Дмитрий узнал о себе несколько любопытных вещей. Что он, например, «дилетант, довольно искусно балансирующий на грани ложной глубокомысленности и невежества», что ему «явно не мешало бы заглянуть в учебники», что его «удивительная логика несравнима даже с женской». («Пусть простит мне это сравнение лучшая половина рода человеческого!» — тут же восклицал Михайловский.) И что некоторые его утверждения настолько ошибочны, что указывать на эти ошибки, очевидные даже для студента-третьекурсника, как-то неловко. Затем выражалось удивление по поводу того, как мог такой солидный и авторитетный журнал допустить «столь безответственную публикацию». А заканчивалась статья так: «Как только что стало известно автору, Д.А. Кайданову присвоено звание доктора физико-математических наук. Новость, которая, несомненно, повергнет в изумление всякого, кто отважится на неблагодарный и заведомо никчемный труд ознакомиться с только что опубликованной статьей новоявленного „светила науки“. Но еще большее изумление вызывает тот факт, что Ученый совет одного из крупнейших научно-исследовательских центров страны решился на такую акцию, а ВАК, — очевидно, по недосмотру, ничем другим это объяснить нельзя, — утвердила ее. Не следует ли из этого напрашивающийся вывод, что ученым советам всех институтов, и, конечно, в первую очередь ВАКу, следует повысить требовательность к уровню кандидатов, представляемых к высоким научным званиям?»

Дмитрий сложил газету и спросил:

— Можно взять на память?

— Бери. — Александр Яковлевич с любопытством посмотрел на него и улыбнулся: — Валидол, я смотрю, тебе вряд ли понадобится.

— Нет.

— Ну и... как тебе это? — Александр Яковлевич показал сигарой на газету.

— Да в общем-то никак... Неприятно, конечно. И неумно, хотя он академик, лауреат и член чего-то.

— Что верно, то верно, — согласился Александр Яковлевич. — Ума там не то что на палату, но и на собачью конуру не наберется. Мне даже неловко стало... за свое академическое сословие. Однако славу он тебе создал настоящую. Правда, скандальную, со знаком минус, но ведь известность-то какая, а? — Александр Яковлевич насмешливо прищурился. — Теперь несколько миллионов человек будут знать, что Кайданов — спекулянт, авантюрист, одержим манией величия и никакой он не доктор наук, а проходимец и чуть ли не самозванец...

— Переживу как-нибудь.

— Да уж придется... Ладно, повеселились — и хватит. — Александр Яковлевич сразу стал серьезным. — Что делать думаешь?

Дмитрий с удивлением посмотрел на него:

— Ничего, разумеется. Это же демагогия чистейшей воды.

— До этого я и сам додумался, — неласково сказал Александр Яковлевич. — А с демагогией, выходит, не надо бороться?

— А как вы представляете эту борьбу?

— Как — это уже второй вопрос. Ты же, кажется, считаешь, что принципиально не стоит бороться... — Дмитрий промолчал, и Александр Яковлевич сердито спросил: — Я правильно тебя понял?

— Примерно, — нехотя отозвался Дмитрий.

— Ты только посмотри на него, Алексей, — с удивлением обратился Александр Яковлевич к Дубровину.

— И смотреть не хочу, — отозвался Дубровин. — Я же тебе говорил, что он чокнутый.

— А чего вы на меня накнулись? — обиделся Дмитрий. — Мало того, что меня печатно облаяли...

— Выходит, что мало, — жестко сказал Александр Яковлевич.

— Я же сказал — как-нибудь переживу.

— Да не о тебе речь, а о твоей работе.

— Моя работа говорит сама за себя. Ничего добавить к ней я не могу. Если она стоит чего-то — поймут, кому надо.

— Ничего не скажешь, удобная позиция. — Александр Яковлевич язвительно прищурился. — Твои идеи будут извращать, шельмовать, издеваться над ними, а ты ручки в брючки и в сторону? Пусть другие защищают их — так, что ли?

— Я никого не прошу защищать мои идеи.

— Он, видите ли, не просит! — повысил голос Александр Яковлевич. — Мальчишка! Он, видите ли, считает, что его великие идеи сами себя защитят! А если нет — что тогда? Ты подумал о том, почему появилась эта статья?

— Откуда я знаю...

— Ну так я тебе скажу! И не так уж трудно это понять! Твоя работа задела — и очень больно — интересы многих людей. А эти люди, между прочим, живые, у них свои человеческие и вполне понятные и простительные слабости и недостатки. Они, как правило, честолобивы, немало уже достигли и стремятся к новым достижениям, к признанию. И вдруг на их пути появляешься ты, какой-то новоиспеченный докторишка наук... Естественно, первая их реакция — ополчиться против тебя... И заметь — я говорю отнюдь не о карьеристах, а о вполне добросовестных, честных ученых. И Михайловский совершенно искренен в своем негодовании. Он абсолютно уверен в том, что выступает против тебя не

потому, что твоя работа полностью отвергает немалую долю его прежних достижений, а с благородной целью защитить истину от посягательств какого-то проходимца. Не забывай, что твоя работа настолько сложна, что с первого взгляда вряд ли кто способен понять ее. Даже и мы с Алексеем не сразу поняли — при всей нашей доброжелательности к тебе... Чего же тогда от других требовать?

— Но, в конце концов, вы все-таки поняли...

— И что же? Ты предлагаешь ждать, когда поймут другие? А когда это будет — ты знаешь? Ты думаешь, эта статья — все? Нет, голубчик, это только начало, сигнал к атаке. Теперь на тебя набросятся все кому не лень. И шишки посыплются крупные. И не получится ли так, что твои идеи будут надолго погребены под кучами словесного мусора?

— Что же вы предлагаете?

— Прежде всего — ты должен начисто выкинуть из головы эти непротивленческие идеи. Драться придется, дружок, драться... — Александр Яковлевич успокоился и сел за стол. — И драться в первую очередь именно тебе, а мы в этой заварухе — твои верные помощники, но не больше. Алексею впору со своими болезнями справиться, а я... — Александр Яковлевич помолчал и спросил: — Ты знаешь, сколько мне лет?

— Семьдесят два.

— Увы, почти семьдесят три... — Александр Яковлевич грустно улыбнулся.

— И сколько я, по-твоему, еще проживу? Десять лет? Наверняка нет. Пять? И это сомнительно. Я дал себе три года, и, поверь, буду считать, что мне повезло, если удастся прожить этот срок с ясным умом, не впадая в старческий маразм, как тот же Михайловский. А у меня еще очень много дел, Дима... Надо закончить свою работу, надо подыскать себе преемника, привести в порядок архив, надо, в конце концов, съездить на родину, побродить по старым местам, даже, черт возьми, перечесть старые письма, но на это времени уже вряд ли хватит... Так что большой помощи ждать от меня не надо. Разумеется, если приспичит, я брошу все и займусь твоими делами, но, конечно, не ради любви к тебе, а ради твоих идей. Но это на крайний случай, и дай-то бог, чтобы этого крайнего случая не было. Так что — хочешь не хочешь, а придется тебе засучить рукава и помахать кулаками. А мы уж с Алексеем рядышком, на подхвате... Так, что ли? — Александр Яковлевич подмигнул Дубровину. — Где надо — не погнушаемся и своими титулами тряхнуть, а их у меня побольше, чем у Михайловского; понадобится — и власть употребим, а она у меня пока что тоже немалая... Но это, так сказать, антураж, а черновую работу тебе придется самому делать.

— Не знаю, как это у меня получится.

— А мы поможем.

— И с чего я должен, по-вашему, начинать?

— Вот это уже деловой разговор, — повеселел Александр Яковлевич. — Во-первых, надо решать с твоей лабораторией. Когда думаешь приступить к руководству?

— Сегодня, — сказал Дмитрий.

Александр Яковлевич подозрительно посмотрел на него, нажал на кнопку звонка и сказал вошедшей секретарше:

— Анна Михайловна, подготовьте приказ на Кайданова.

Когда секретарша вышла, он признался:

— А мы с Алексеем, откровенно говоря, приготовились метать по этому поводу громы и молнии. Он — громы, а я — молнии...

— И чего я тогда торчал здесь? — недовольно спросил из своего угла Дубровин.

— Ладно, не ворчи... Это, в общем-то, главное, из-за чего я тебя вызывал. Сегодня у нас четверг, так?

— Да.

— Так вот, друзья мои, давайте-ка послезавтра вечером соберемся у меня дома и попробуем набросать план антикампании по защите хилого новорожденного дитяти, мать которого — истина, отец — Кайданов, а восприемники — рабы божьи Алексей и

Александр... Идет?

— Идет, — сказал Дубровин, вставая.

Поднялся и Дмитрий, но Александр Яковлевич сказал:

— Подожди, распишешься на приказе. Не приезжать же из-за этого еще раз. Времени у тебя теперь будет мало.

Дмитрий сел и спросил:

— Александр Яковлевич, а вы знаете этого Михайловского?

— Разумеется.

— Хорошо?

— Не столь хорошо, сколь давно. Лет этак... — Александр Яковлевич помолчал, припоминая, — сорок шесть или сорок семь.

— Неужели он ничего не понял в моей статье?

— Похоже, что так.

— Но как же это возможно? — с недоумением спросил Дмитрий. — Все-таки он академик...

— Как видишь, возможно. К сожалению, научные титулы даются пожизненно.

— А что он за человек?

— Да как тебе сказать... Когда-то был очень неплохим физиком и вполне заслуженно получил все свои титулы и звания. А что дальше с ним случилось, можно только гадать. То ли достиг своего потолка, то ли еще что, но лет пятнадцать назад он вдруг совершенно перестал воспринимать какие-либо новые идеи. И даже, как видишь, предпочитает бороться с ними... Случай, конечно, не самый типичный, но, к сожалению, и не столь уж редкий. И это не первый его демарш... Но на сей раз неуважаемый Василий Иванович явно дал маху. — Александр Яковлевич покачал головой. — И мы тоже, между прочим. Если бы в этом же номере была и наша коллективная статья, вряд ли Михайловский стал бы так писать. А может, и вообще промолчал бы...

Секретарша принесла отпечатанный приказ, Александр Яковлевич подписал его и пододвинул Дмитрию; он, не читая, расписался, и Александр Яковлевич улыбнулся.

— Что-нибудь не так? — спросил Дмитрий.

— Да нет, все так... Мне потому смешно, что ты даже не посмотрел, какой тебе оклад положен.

— Какой? — озадаченно спросил Дмитрий, даже не подумавший о том, что оклад может измениться.

— Не скажу. Будешь получать — сам увидишь... Ладно, идите. Жду послезавтра, часикам к семи.

78

Возвращались они вдвоем, на той же машине. Дубровин насмешливо хмыкнул:

— Однако, отделал тебя старик... И поделом.

— Я уже сам хотел идти к тебе.

— Да, дождешься тебя... А на статью плюнь. Этот Михайловский просто старый маразматик, правильно о нем Александр Яковлевич сказал. От практических дел он уже отошел, всерьез его давно никто не принимает. Так что и серьезных последствий эта писанина иметь не будет.

— А несерьезных?

— А несерьезные будут, конечно. В частности — шушуканья за твоей спиной и мысленные указывания пальцем. А то и реальные.

— Это не самое страшное.

— Не самое, конечно, но все же неприятно. По себе знаю.

— Тебя тоже так потчевали?

— Не так, но похоже.

— Все-таки немного странно... Какая-то почти детская озлобленность, как будто я лично оскорбил его.

— Так оно и есть, — невозмутимо сказал Дубровин. — Он как раз из тех, кто любой выпад против своей работы принимает именно как личное оскорбление. А кроме того, тут, вероятно, и счеты с журналом. Когда-то Михайловский был членом редколлегии и однажды пытался бурно протестовать против опубликования какой-то статьи. Его почти никто не поддержал, статью напечатали, и Михайловский демонстративно вышел из журнала. Так что, как видишь, оснований злобствовать у него предостаточно.

— Что значит предостаточно? Можно подумать, что ты считаешь это естественным.

— Не естественным, конечно, но и ничуть не удивительным. Старик трижды прав — наукой, как и прочими делами, занимаются живые люди, каждый со своим комплектом достоинств и недостатков. И не у всех эти комплекты выглядят так идеально, как у нас с тобой.

— Издеваешься?

— Немножко, — серьезно сказал Дубровин. — Но отчасти говорю правду. Ты думаешь, мне было очень приятно, когда я сообразил, что твоя работа вынуждает меня почти полностью изменить мои планы? Как бы не так!

— Однако же ты не только не стал сопротивляться, но и поддерживаешь меня?

— А что мне остается делать? Что толку... это самое... против ветра? Намочишь и штаны и репутацию. Я не настолько глуп, чтобы позволить амбиции взять верх над доводами логики. Да и вообще над чем-либо.

Дмитрий улыбнулся:

— Только этим и объясняется твоя поддержка?

— А с чего ты взял, что я тебя поддерживаю? Я себя продвигаю. Разумный симбиоз. Я просто воспользовался удобным случаем, и вот результат: благодаря тебе я стал начальником отдела...

— Как будто ты раньше не мог им стать, — сказал Дмитрий, отлично зная, что Дубровин уже несколько раз отказывался от этого назначения.

— Ну, мало ли я когда-то кем-то мог стать... А через пару лет мы выдадим такое, что все ахнут. Лавры, как начальнику, опять же достанутся мне. А ты как был бесхребетным гнилым интеллигентом, так и останешься им.

— А ну тебя... Слушай, Алексей Станиславович, — осторожно начал Дмитрий, — ты вроде собирался на время операции оставить отдел на меня.

— Это ты к чему?

— А к тому, что незачем тебе ждать до весны.

— Ишь ты какой приткий... Ты сначала со своим хозяйством разберись.

— Это недолго, недели хватит.

— Вот тогда и поговорим... А может, ты меня заранее от моих лавров отпихиваешь?

— Что-то ты сегодня очень веселый.

— А почему бы и нет? — Дубровин улыбнулся и ласково положил ему руку на колено. — Просто очень рад, что ты наконец-то выбрался из этой ямы. Я ведь только тогда понял, насколько все серьезно, когда ты психанул и наорал на меня. И стал уже побаиваться, что это надолго.

— А у тебя так не бывало?

— Так, пожалуй, нет, — покачал головой Дубровин и вздохнул. — А еще, откровенно говоря, тому радуюсь, что теперь мне полегче будет.

— Ложился бы ты прямо сейчас на операцию.

— Сейчас не сейчас, а недельки через две сдам тебе дела и лягу. Кстати, тебе придется перебираться из своего закутка.

— Зачем?

— А затем, что *noblesse oblige*.²

— Я же серьезно.

— И я не шучу. Ты теперь не кустарь-одиночка, а глава солидной лаборатории и замначотдела. К тебе теперь на поклон будут идти, с заезжими гостями кофе будешь распивать, да и разносы учинять в комфортабельной обстановке сподручнее.

— Может, и секретаршу прикажешь завести?

— Со временем — обязательно, — серьезно сказал Дубровин. — Можешь даже сейчас подыскать себе какую-нибудь симпатичную девицу, если, конечно, Жанна не будет против.

— Ты что, серьезно?

— Конечно. Всякой писаниной самому заниматься нет никакой необходимости. Ты теперь — общественный капитал, и институт кровно заинтересован в том, чтобы использовать тебя с максимальной отдачей.

— Ладно, убедил, — пришлось согласиться Дмитрию. — Но, надеюсь, я не обязан сидеть в кабинете все время?

— Да хоть совсем не появляйся, лишь бы дело делалось.

— А куда прикажешь перебираться?

— В бывшие шумиловские апартаменты, естественно.

— Почему именно туда? — неприятно удивился Дмитрий.

— А потому, что больше свободных помещений нет. А чем тебе плох этот кабинет? — Дубровин сделал вид, что ничего не понимает. — Он даже лучше моего.

— Вот и давай меняться.

— Э, нет. Я человек консервативный, привычек своих не люблю менять. Бери у коменданта ключи — и вселяйся.

— Откровенно говоря, — пасмурно сказал Дмитрий, — я предпочел бы остаться в своем закутке.

— А я вот предпочел бы сейчас сидеть на зеленом бережку и подергивать удочкой. Да ведь нельзя... Хотя бы потому, что зима.

— Разве ты рыбак?

— Был, — вздохнул Дубровин и, помолчав, начал с улыбкой рассказывать: — А знаешь, у меня ведь тоже подобная история была — как у тебя с нами. Лет двенадцать назад я получил результаты, которые основательно противоречили одной из работ Александра Яковлевича. Я долго набирался смелости, чтобы сказать ему об этом. А когда он убедился, что я прав, первым же и поддержал меня. Лет мне было тогда примерно столько же, сколько тебе сейчас, и я примерно так же не понимал некоторых элементарных вещей, потому что спросил его, почему он сделал это. Он так посмотрел на меня, что я почувствовал себя последним дураком и начал извиняться. И знаешь, что он мне сказал? «Молодой человек, я слишком стар, чтобы служить чему-то еще, кроме истины». История, как видишь, повторяется.

— А ты тоже слишком стар?

— Я?.. Нет, наоборот, я слишком молод. И слишком честен, — серьезно сказал Дубровин.

Дмитрий хотел сразу пойти к Жанне и Ольфу, но, подумав секунду, зашел к себе в кабинет, заперся и развернул газету. При повторном чтении статья Михайловского показалась ему еще менее убедительной. Вот уж действительно — демагогия чистейшей воды... Но почему Михайловский написал ее? Неужели он действительно совсем ничего не понял? Поверить этому было нелегко. Все-таки Михайловский — фигура в науке далеко не рядовая, без упоминания его имени не обходится ни один учебник физики. «Совершенно перестал воспринимать какие-либо новые идеи», — вспомнил он слова Александра Яковлевича. Почему? «Достиг своего потолка...» А что, собственно, означает эта фраза? А

² положение обязывает (франц.).

если и он уже достиг своего потолка? Опять о том же... Все-таки почему он никак не может избавиться от этих мыслей? Черт возьми, совсем неплохо было бы походить на тех целеустремленных «сверхположительных» героев, которые, однажды решив что-то, без страха и сомнения идут по намеченному пути...

Он запрятал газету в дальний ящик стола, где лежала забытая «Королева Марго», и пошел к Жанне и Ольфу.

— Обедать идете?

— Так ведь рано еще, — сказал Ольф.

— Действительно, — пробормотал Дмитрий, взглянув на часы — не было еще и двенадцати.

— А с чего это у тебя так быстро аппетит разыгрался? — улыбнулась Жанна. — Вроде бы утром я кормила тебя нормально.

— Аппетит? — машинально переспросил Дмитрий. — Да мне и есть-то не хочется.

— А зачем тогда народ баламутишь? — уставился на него Ольф.

— Так это... — смешался Дмитрий. — Я думал, можно пораньше начать.

— Что начать?

— Работать.

— А мы, по-твоему... — начал Ольф и осекся, догадавшись, в чем дело. — Вот что... Ты хочешь сказать, пастырь, что наконец-то соизволил принять под свое крылышко стадо?

— Что за гнусный способ выражаться, — недовольно заявил Дмитрий.

— Да или нет?

— Да. — Они молча смотрели на него, и Дмитрий добавил: — Вышел приказ Александра Яковлевича... В общем, я назначен руководителем лаборатории. Постоянно.

Ольф вышел из-за стола — и вдруг замахнулся на него локтем.

— Как бы врезал сейчас... По-человечески сказать не можешь? Обедать пойдем, — по-козлиному проблеял Ольф, — пораньше начать, приказ вышел... Эх, ты!

— Ладно, виноват, братцы...

— Еще бы не виноват...

— Скажи ребятам, что после обеда объявляется общий сбор.

— Есть, товарищ начальник, — уже весело сказал Ольф. — А почему ты им сам не скажешь?

— Да ладно тебе, — усмехнулась Жанна. — У тебя язык тоже не отвалится.

— Это уж точно, — согласился Ольф. — Тем более такой, как у меня. Ладно, пойду последний раз исполнять свои временные функции.

Когда дверь за Ольфом закрылась, Жанна подошла к Дмитрию и боязливо спросила:

— Значит, у тебя... все кончилось?

— Да, — тихо сказал Дмитрий. — А ты очень боялась за меня?

Жанна вымученно улыбнулась:

— По-всякому... Иногда очень, иногда была уверена, что это ненадолго, а временами просто страшно становилось. — Она глубоко вздохнула. — Но я ведь неплохо держалась, правда?

— Да. — Дмитрий осторожно погладил ее по виску. — Ты вообще очень храбрая женщина. И я не знаю...

Договорить он не успел — вошел Ольф и объявил:

— Начальник, они все в сборе и хотят, чтобы ты начал немедленно.

— Можно, — согласился Дмитрий.

Когда они вошли в большую комнату, все сосредоточенно устраивались за столами, а Савин торопливо заканчивал вытирать доску. Дмитрий внимательно оглядел всех, чуть дольше задержался взглядом на новеньких — после разговора при оформлении на работу он не сталкивался с ними, — взял мел и, поддернув повыше рукава свитера, начал:

— Ну что ж, приступим... Приблизительно вы уже знаете, чем нам предстоит заняться. Сейчас я постараюсь в самом общем виде изложить те идеи и предложения, которые

возникли у меня после того, как мы закончили эксперимент. Вы, вероятно, знаете, что идеи эти не совсем обычные, и у вас наверняка возникнет множество вопросов. Их я прошу пока оставить на потом и для начала лишь внимательно выслушать меня. По ходу дела вы увидите, что некоторые из этих идей и предположений существенно противоречат установившимся взглядам и фактам. Поэтому предлагаю вам на время забыть — по возможности, разумеется, — о некоторых вещах, как будто бесспорных и очевидных. О каких именно — сейчас вы сами увидите...

Дмитрий старался говорить как можно проще, избегая громоздких выкладок, но по их напряженным лицам видел, что они плохо понимают его. Поставив последнюю точку, он сказал:

— Вот что мы пока имеем. Как видите, слишком много неясного и спорного. И я сам еще очень многого не понимаю. Я даже не знаю, по какому из всех этих возможных направлений пойдет наша работа. И возможно, что выяснится это еще не скоро. И к чему приведут наши усилия — тоже не знаю... — Он помолчал и, оглядывая притихшую аудиторию, продолжал: — Откровенно говоря, я приготовил для вас небольшую речь. Мне хотелось рассказать, прежде всего, о тех трудностях, которые нас ждут. Что трудности эти будут очень велики, для меня очевидно. Я даже думаю, что не всем они окажутся по плечу. Возможно, и мне тоже... И я хотел, чтобы вы как следует подумали, прежде чем браться за эту работу. То есть я и сейчас этого хочу, — поправился Дмитрий. — Но вот расписывать черными красками предстоящую нам нелегкую жизнь мне почему-то уже не хочется. Хотя жизнь у нас действительно будет нелегкая, это я вам могу обещать довольно твердо. Но когда я рассказывал и смотрел на вас, мне пришло в голову, что пугать вас — дело достаточно безнадежное. И не только потому, что народ вы бесстрашный.

Кто-то засмеялся, и Дмитрий тоже улыбнулся.

— Я думаю, вряд ли вы обидитесь на меня, если я скажу, что поняли вы пока что не очень много...

— Вернее, очень немного, — сказал Ольф.

— Возможно, — согласился Дмитрий. — Какое из этих двух выражений больше соответствует истине, выяснится в ближайшее время. И вполне может быть, что, когда вы поймете чуть больше, кто-то из вас решит, что эти проблемы вовсе не стоят того, чтобы тратить на них время и силы...

Предупреждая начинающийся шумок протеста, Дмитрий поднял руку:

— Товарищи теоретики, вы напрасно так реагируете на мои слова. От души желаю никому из вас не приходиться к такому решению, но предусмотреть его необходимо. И если такое все же с кем-то случится, убедительная просьба — откровенно сказать мне об этом. Поверьте, так будет лучше для всех нас. И ничего зазорного в этом нет. Я почему-то думаю, что сейчас никто из вас такого не скажет, но со временем...

Он замолчал, и кто-то сказал:

— Ясно, Дмитрий Александрович.

— Ну что ж, тогда приступим ко второму заходу... С чего начнем?

Наступило минутное замешательство, и наконец Полюнин неуверенно сказал:

— Наверное, с самой первой строчки.

— Что ж, с первой так с первой...

Дмитрий взял мел, но вся доска была исписана, а стирать как будто ничего нельзя было. Он задумчиво потер переносицу и сказал:

— Пожалуй, нам понадобится еще одна доска.

— Это мы мигом, Дмитрий Александрович, — торопливо вскочил Савин. — Орлы, за мной!

И трое отправились за доской. Дмитрий внимательно глядел на первую строчку, думая о том, с чего лучше начать, и слышал жалобный голос Дины Андреевой:

— Дмитрий Александрович...

— Да? — Дмитрий повернулся к ней.

— Есть хочется...

— Есть? — не сразу понял ее Дмитрий. — Ну да, конечно...

Он взглянул на часы и увидел, что говорил почти два часа, и хотел сказать, чтобы все шли на обед, но на Дину набросились со всех сторон:

— Динка, нишкни!

— Ты же давно собиралась на диету сесть... Вот и начинай прямо сейчас!

— Презренная раба желудка!

— Охальница!

— Никуда мы не пойдем!

— Да там уже и есть нечего!

Дина возмутилась:

— Чего набросились? Я и сама не хочу идти! Но за бутербродами мы можем сбегать, пока доску принесут?

— А это идея!

— Братцы, шапку по кругу!

— У сей женщины весьма практичный ум!

— И пивка не мешало бы...

— Обойдешься...

Кто-то действительно пустил по кругу роскошную меховую шапку, и в нее посыпались рубли и мелочь.

— Кто у нас самый быстрый?

— Витька, жми!

И уже минут через двадцать, торопливо дожевывая бутерброды и вытирая пальцы бумагой, они приготовились слушать Дмитрия.

Обнинск. 1963–1973